

# ОБРАЗЫ ИНДИИ

Георгий  
ГАЧЕВ





Георгий ГАЧЕВ

# ОБРАЗЫ ИНДИИ

*(Опыт  
экзистенциальной  
культурологии)*



Москва  
«НАУКА»

Издательская фирма «Восточная литература»  
1993

*Издание осуществлено  
при спонсорском участии СП  
«Тангра МС»*

Редактор издательства  
В. Г. ЛЫСЕНКО

**Гачев Г. Д.**

- Г12      Образы Индии (Опыт экзистенциальной культурологии). Предисл. П. Гринцера.— М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1993.— 390 с.  
ISBN 5-02-017086-0

Георгий Гачев — известный советский литературовед и культуролог, давно занимающийся сравнительным описанием национальных культур Евразии и Америки.

В публикуемой книге, написанной в жанре научно-художественной прозы, автор исследует образы Индии в древнегреческой (Страбон), русской (Афанасий Никитин), французской (Монтескье) и германской (Фр. Шлегель) картинах мира. Размышляя над поэмой древнеиндийского поэта Лшвагхоши (Асвагоши) «Жизнь Будды», он сравнивает идеи и образы буддизма с соответствующими христианскими представлениями.

Г 0503010000-017  
013(02)-93      Без объявления

ББК 83.3(0)3 (5 Ид)

ISBN 5-02-017086-0

© Г. Д. Гачев, 1993

Как правило, мы начинаем читать любую книгу с заранее сложившимся ожиданием. Ожиданием встречи с определенной авторской позицией, определенным стилем, определенным жанром. И если это ожидание не оправдывается, оно часто оборачивается предубеждением, отчуждением. Тот, кто знаком с другими книгами Г. Гачева, приблизительно знает, что его ждет. Но многие, вероятно, не знакомы, и в первую очередь к ним обращено это короткое предисловие.

«Образы Индии» — название, настраивающее на информативное, научное чтение. Между тем с первых страниц книги убеждаешься, что перед тобой не очерк, не описание, а вскоре — что и не вполне наука. Книга как бы целиком вписывается в контуры научного знания, но — к разочарованию, скажем, ученого-индолога — весьма мало считается с принятыми научными критериями. Легко поэтому поставить в вину автору неполноту материала (отобранного иногда «по случаю», иногда «по вкусу»), нестрогость аргументации (подменной подчас прихотливыми ассоциациями и метафорами), указать на противоречия в тексте, слишком смелые толкования и прямые ошибки, ложные этимологии и т. п. Однако, как это ни парадоксально, подобного рода перечень неточностей, недоговоренностей, ошибок при оценке книги Г. Гачева выглядит неуместным. Приходится признать, что она не укладывается в привычное научное измерение, призвана не убеждать, а скорее заражать читателя своими идеями и наблюдениями. Она не об Индии, какая та есть сама по себе (а есть ли такая Индия?), но об образе Индии, складывающемся не из фактических доказательств, а из впечатлений, для которых факт мало что значит без интуиции, догадки, домысла.

Так, может быть, речь идет о книге художественной, тем более что Г. Гачев известен не только как ученый, но и как оригинальный писатель, критик? Однако и это определение едва ли верно. Во всяком случае, в книге доминирует не эстетическая, а познавательная установка, и пользуется Г. Гачев не художественными образами, а, по его же словам, мыслеобразами, в которых воображение подчинено рассуждению, а эмоциональное начало — рациональному.

Если же попытаться охарактеризовать жанр книги, то ее можно было бы назвать своего рода интеллектуальным дневником, но дневником не событий жизни, а авторского чтения и размышлений об этом чтении. Отсюда аккуратно проставленные даты написания большинства отрывков (от 68 до 89 года), отсюда обращенные к самому себе вопросы и увещания: «Что с того?», «Ну да, так оно и есть», «Теперь только мне понятно», «Лучше об этом и толковать не буду» и т. п. Отсюда естественный переход во второй части книги, касающейся «Жизни Будды» Ашвагхоши, к литературной форме «заметок на полях». Отсюда постоянное присутствие автора, его вовлеченность в материал и увлеченность, так что постепенно авторский образ мыслей и чувств стано-

вится для нас не менее важным, чем заявленные в заглавии книги образы Индии.

Действительно, ведение дневника — занятие сугубо личное. Желая увидеть, осмыслить Индию, Г. Гачев расставляет вокруг нее зеркала: зеркало описаний грека Страбона, зеркало путешествия русского Афанасия Никитина, зеркала рассуждений француза Монтескье и немца Фридриха Шлегеля. Отображения дополняют друг друга, совмещаются, двоятся. Сквозь очертания Индии просвечивают облики древней Эллады, средневековой России, Франции века Просвещения, Германии эпохи романтизма. Но расставляет зеркала все-таки автор. И наряду с Индией, Грецией, Россией, Францией, Германией, а может быть, и прежде них в фокусе читательского внимания оказывается он сам.

Г. Гачевым выбран такой угол зрения, который отвечает его собственному мировосприятию и обнаруживает за комментируемыми текстами излюбленный им метатекст — национальные модели мира, или, в его терминологии, космологосы Индии и других стран, заключающие в себе нерасторжимое единство природных и социальных, материальных и психических феноменов. В свою очередь, чтобы объяснить космологос, Г. Гачев «переводит» все, что он читает и знает, на особый язык, язык четырех изначальных стихий (земли, воды, огня и воздуха) и связующей их чувственной стихии — Эроса. По убеждению Г. Гачева, «все просвечивает во всем»: характер климата — в национальном характере, свойства характера — в свойствах религиозных верований, черты веры — в чертах повседневного поведения. И неожиданным образом своеобразный, казалось бы, подход Г. Гачева находит устойчивую опору в самой индийской традиции, последовательно отождествляющей (например, в упанишадах) различные уровни бытия: элементы мироздания и ведийские гимны, времена года и части тела, цвета спектра и человеческие чувства.

Это далеко не единственный пример того, как чисто субъективные на первый взгляд интерпретации Г. Гачева способны обретать объективное подтверждение, объективную научную ценность. Но, как уже было сказано, не в научных результатах главная цель и ценность книги.

Некогда древнегреческие путешественники и философы очертили первый в истории Европы образ Индии — «земли чудес и мудрецов». Спустя долгое время, на рубеже XVIII—XIX веков, немецкими романтиками был создан новый образ Индии — идеальной, духовной, мистической страны, противостоящей материальному, прагматичному, рациональному Западу. И тот и другой образы были в значительной мере условны, отражали собственные устремления и потребности их создателей, сопрягали действительное с иллюзией. Но в принципе подобного рода условные образы — безусловный и необходимый инструмент познания. Без предварительного представления трудно оценить и осмыслить любой факт или явление. И не случайно античный образ Индии господствовал на всем протяжении Средневековья и начала Нового времени, а романтический образ Индии (как, кстати говоря, и многие другие романтические образы и концепции) укоренился в европейской культуре не только XIX, но и XX века.

Г. Гачев рисует свой образ Индии (и вместе с ним и вступавших с нею в общение стран). В какой-то мере он следует романтической традиции, но в большей — находит иные точки отчета и иную основу для соотношений, избегая, в частности, прямолинейного и догматического противопоставления Вос-

тока и Запада. Что-то в этом образе, вероятно, покажется читателю надуманным, а что-то угаданным, что-то ошибочным, а что-то верным, что-то от фантазии, а что-то от знания. Однако нельзя не согласиться, что Индия увидена по-новому, и увидена свежим и острым взглядом. И потому, хотя заранее можно предвидеть, что книга найдет и горячих сторонников, и не менее горячих противников, ни для кого, я полагаю, она не окажется неинтересной.

*П. Гринцер*

Каков жанр и смысл этой книги? Она — фрагмент фрески «Национальные образы мира» — труд, что я делаю вот уже четверть века<sup>1</sup>. То — мой способ путешествовать: умом и воображением. При этом главная задача — постичь Космо-Психо-Логос каждого народа, страны, то есть прочитав здешнюю ментальность (особенное миропонимание) в связи со стилем природы и национальным характером людей.

Мое интеллектуальное путешествие (как у Стерна — «сентиментальное путешествие») в Индию было предпринято в 1968 году. К тому времени мною уже были сделаны работы про русский<sup>2</sup>, эллинский, болгарский<sup>3</sup> образы мира и я приступил к германскому. В последующие годы предстояли путешествия во Францию<sup>4</sup>, Англию<sup>5</sup>, Италию<sup>6</sup>, Северную Америку<sup>7</sup>, в Космос Ислама, в Китай, а также в Эстонию, Грузию, Армению<sup>8</sup>, Киргизию<sup>9</sup>, Казахстан, Азербайджан.

Но духовный узел Земли — это Индия, и душа рвалась ею пропитаться. Читал книги: по природе, истории, философии, религии, литературе. Вошел в круг наших индологов: Т. Я. Елизаренкова предоставила возможность прочитав свои переводы гимнов Ригведы и Атхарваведы (тогда еще в рукописи); П. А. Гринцер давал консультации по литературе и направлял мое чтение; ходил я на лекции А. М. Пятигорского по Бхагавадгите и буддизму... Ну и писал свои соображения...

— Но зачем все это? Просто — для себя? Так сказать, «Индия — pro domo sua»<sup>10</sup>?

<sup>1</sup> См. книгу: Национальные образы мира. М., 1988; а также статьи: О национальных картинах мира. — Народы Азии и Африки. 1967, № 1; Национальные образы мира. — Вопросы литературы. 1987, № 10; Европейские образы Пространства и Времени. — Культура, человек и картина мира. М., 1987.

<sup>2</sup> Образ в русской художественной культуре. М., 1981; Космос Достоевского. — Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск, 1973; О русском и болгарском образах пространства и движения. — Поэтика и стилистика русской литературы. Л., 1971.

<sup>3</sup> Ускоренное развитие литературы. М., 1964.

<sup>4</sup> Гуманитарный комментарий к естествознанию. — Вопросы философии. 1976, № 12.

<sup>5</sup> Английский образ мира и механика Ньютона. — Вопросы истории естествознания и техники. 1987, № 4.

<sup>6</sup> Итальянский образ мира. — Вопросы литературы. 1987, № 10.

<sup>7</sup> Американский образ мира. — Вопросы литературы. 1987, № 10.

<sup>8</sup> Гроздь и Гранат. Грузия и Армения (О национальной символике в кино). — Литературная Грузия. 1979, № 7.

<sup>9</sup> Чингиз Айтматов и мировая литература. Фрунзе, 1982.

<sup>10</sup> Для самого себя (лат.)

— Да, именно так: никакого казенного задания и плановой работы не имел и на издание своих писаний не целил, а просто из чистой любознательности, как вольный мыслитель, вел себе дневник уразумений, свой образ Индии дилетантски рисовал...

— Однако, возможно, в этом-то и ценность подобного «самовоспитания Индией»: настроить душу в резонанс, свой камертон заведя,— это первое, что нужно при вступлении в новую реальность. Отдать отчет в своих удивлениях — первичных (которые затем смажутся и забудутся) — это и специалисту по данной культуре требуется.

По Демокриту, каждый предмет излучает свои оболочки в мир; эти истечения наплывают на нас съемными образами — и так совершается познание. Не имея прямого контакта и непосредственных впечатлений от Индии, я принялся изучать и сравнивать образы Индии, разновременные и разностранные: взгляд из Греции (Страбон), из России (Афанасий Никитин), из Франции (Монтескьё), из Германии (Фр. Шлегель) и из разных эпох; завел как бы диалог (а точнее, ПОЛИ-лог) и между ними, друг с другом, и мой с ними: не скользя, но внимая, пропитываясь каждым и реагируя в беседе.

Но так как я вырос и воспитался в другом ареале, то и русский, и западноевропейский арсенал образов и понятий при этом вступили в интенсивную работу. Ими вооруженный, я шел постигать Индию, но она, своими рефлексам, давала встречное постижение идеям и архетипам Европы и России. Диалог характерных образов и специфических символов разных культур — вот что стало совершаться в моих записях.

Это и есть «интеллектуальное путешествие». Ибо не по чудесам природы и памятникам страны наше странствие, но в духовную культуру проникновение, ошупь идей и теорий — свое, личное, вживание и передумывание заново. Вступая в «пещеру» неисчислимых духовных сокровищ, перебираешь драгоценные сверхидеи, стремясь срастить их с опытом своих дум и с путем своей жизни. Так что не ОТвлеченное, а ПРИвлеченное тут размышление об Индии. Я не индолог-специалист и претендую дать не информативное знание, а индивидуально-интимное переживание идей и понятий, связанных с Индией, рассказ о встречах с ними и борениях ума в их постижении.

В подзаголовке стоит «ОПЫТ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ».

Общепринята и признана культурология объективная, научная. Она делается как? Факт культуры сопоставляется с другим, приводятся мнения разных ученых на этот счет и сюжет (эрудиция), автор обосновывает свое — с помощью новых данных, логики рассуждения; однако при этом исключается он сам как человек живущий так, а не иначе, с такими именно своими проблемами, чувствами, настроениями в момент, когда мыслит о данном элементе культуры или научной проблеме. Научный этикет и ритуал требуют абстрагирования от «я», жизни и эмоций

ученого: считается, что это не имеет никакого отношения к научному делу.

Между тем экспериментальная наука двадцатого века обратила внимание на активность прибора в процессе опыта: его устройство и состояние неизбежно влияют на ход опыта и в своем поле деформируют подопытный материал, особенно если тот живой: из прибора истекают излучения, он создает ситуацию диалога именно с собой таковым, а не иным... Так что результаты контакта прибора и факта зависят и от прибора и его состояния, и на это (на «помехи» чистоте опыта, на привносимые значения) должен ученый делать поправку при вычислении результата.

Ну а в теоретическом мышлении — что прибор? А я сам, человек живущий и мыслящий и это не без значения: какие свои потайные загвоздки и сюжеты я могу решать и какой личный интерес преследовать на сублимированном уровне данной отвлеченной проблемы или обдумывая данный факт культуры. Он уже перестает быть «данным», но становится и произведенным («фактом»-актом), сотворенным моей душой в контексте проблем моей жизни. И не только помехи из этого проистекают, но и жизненно-страстная, эросная энергия, что одушевляет предмет и своей волей направляет ассоциации, понимания, самую логику — двигаться в том именно, а не ином направлении. На все это и делает рефлексию экзистенциально мыслящий ученый. Им творится ПРИвлеченное мышление (к ответственности и перед собой — как человеком живущим), и с его посредством извлекаются новые смыслы, каких не откроет в предмете и факте культуры мышление ОТвлеченное.

Я не сразу вышел на такой тип мышления и стиль писания. Сначала я писал объективные труды в общепринятом научном стиле, а отдельно — дневник жизни. Но потом они стали как-то перепутываться. На первых порах я стал различать их цветом: предметные мысли писал черной ручкой, а личные — синей (цвет души). Но «в один прекрасный момент» я просто забился в истерике не в силах решить, как, куда начать записывать зреющую мысль: затевается вроде из личной ситуации (в очереди сдавать стеклотару, к примеру), но я уже предвижу, как она воспарит к самым разотвлеченным проблемам духа и зареет в беседе с Декартом, Кантом... И тогда принялся писать уж сплошным потоком.

Текст об Индии написан еще в период относительно раздельных потоков жизни и мышления, но они уже и тут начинали пронзывать друг друга, что совершенно разовьется в последующих моих сочинениях: о Французском, Английском, Итальянском, Американском, Еврейском, Болгарском образах мира, о Русском Эросе и еще... Но и в тексте об Индии культурологические мои уразумения добываются через погружение факта или мысли не в «литературу вопроса», а в купель моего существа, и там во глубине идет обработка его ассоциациями,

интуициями, из этой моей экзистенции черпая содержания и понимания. Так что правомочно будет уже здесь обозначить мой метод и дело — как экзистенциальную культурологию.

30 апреля 1988 г.

Нечаянная радость вчера техредом мне возвещена: желательно пустырь на две почти страницы заселить мыслями. Ради Бога — их навалом!.. Однако об Индии мне нечего добавить: давно вышел я из притяжения этой планеты и отлетел постигать иные звезды и галактики миропониманий. Прошло 25 лет. Тогда я только начинал свои интеллектуальные путешествия в страны и национальные культуры, теперь, похоже, завершаю — пора... И имеет смысл — хоть как дайджест и резюме — дать результаты. Но тут к намерению спокойно дифференцировать национальные понятия о мире и системы ценностей примешивается вздыбленная ныне страстно-политическая ситуация НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА, решать который, как обезумев, бросились и огромные народы-массивы, и каждое племя свою кукольную государственность учреждать. И остро встает прагматический вопрос: ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО — мое исследование и описание? Какая польза и прок, к чему может побуждать, вести?

Во-первых, заявляю: Национальное — не высшая ценность для человека, это лишь одно из измерений его бытия среди равномогущих сверхидей и сущностей. Выше и труднее — Личность, Истина, Дух, Любовь... Национальное — подсобье, уровень породы-природы (поначалу). Но как надо изучать Природу — чтобы человечество в согласии с ней развивало за Историю — Дух и Культуру, так надо изучать и контекст национальной ментальности, дабы человек мог пронзать эти плотные слои атмосферы и развиваться выше: в Свободу и Личность, а Любовь-Эрос да пресуществляется в Любовь-Агапэ. Так что Национальное — это и почва, и помеха. Как почва, оно плодородяще: умозрения поэтов и философов, идеи науки и даже теории физики там корень своих интуиций имеют. Галилей, Декарт, Ньютон внесли архитектурность Италии, «самосделанность» англосакса, баланс француза — в системы физики и математики. Как раз это мне было любопытнее всего выявлять в начале моих трудов над этой темой — варианты Инварианта единой истины Целого. Однако эпиграфом работы я недаром взял изречение Гераклита: «Для бодрствующих существует единый и всеобщий космос (из спящих же каждый отвращается в свой собственный)». Значит, национальные образы мира — это сны народов об Едином. Зачем же заниматься «снами»? А чтоб не принимать их за действительность. В то же время через сопоставление и взаимную критику разных «снов» можно попробовать и до подлинной реальности добраться.

Однако в принципе Национальное — из тех вопросов, про которые мудро сказал генерал де Голль: есть вопросы, которые нельзя разрешить, с ними надо научиться жить — не решенными... Так мыслил и Будда, и другие мудрецы, отказываясь отвечать на последние метафизические вопросы. И парадокс: политическая одержимость национальным вопросом так же не дает ныне изучать и понимать национальные особенности в быту, мышлении, психике — как прежде идеология казенного «интернационализма», что игнорировала этот аспект. Если тогда тут же «опасение мне: а не питаете ли Вы своими занятиями национализм?» — то ныне: нельзя издавать — чувства заденете, а они так щепетильны к попытке определения — значит, ограничения!.. Выходит: стрелять — не обидно, а мыслить — обидно? Мои ведь интеллектуальные головоломки на национальную тему — во избежание физических как раз...

Национальное — вертикаль (или шар). Всемирная единая цивилизация — горизонталь, поверхность. Их диалог — в этом поле силовых натяжений — питает Историю и Культуру мира. Судьба и Свобода — полюса-ориентеры тут. Национальный Космос — как судьба, Предопределение данному Народу, есть ПРИРОДИНА его страны, чему он — и Сын и Супруг и призван любить-возделывать ее в ходе Труда (как Свободы от Природы). Культура есть чадородие их супружества за историю. Причем Труд и Природа — в дополнении: через труд создается то, чего не дано стране от природы — земля в Нидерландах и проч.

Итак, Национальное — частично и есть относительная ценность. Но азарт изучения этой части может застить остальные, и частный аспект начинает выступать как главное ценный и определяющий. Эта односторонность видения есть в моих национальных описаниях — и в этой книге об Индии. Однако увлеченность есть Эрос, энергия. Без страсти не делается ничего истинно великого — говорил Гегель. Да и самого малого — зачатия. Свет клином сходится в данный миг на возлюбленном «предмете», на этом смертном мотыльке, — и тогда совершается порождение и творчество, которые ускользают количественной меры: всякое существо и культура превосходят в своем роде. Вот этот СВОЙ РОД СОВЕРШЕНСТВА и призваны выявить описания национальных образов мира <sup>11</sup>.

---

За прошедшие 4 года еще кое-что опубликовано из работ этой серии — «Национальные образы мира». Книжки: Чингиз Айтматов в свете мировой культуры. Фрунзе, 1989; Неминуемое. Ускоренное развитие литературы. М., 1989; Русская Дума. М., 1991; Книга удивлений, или Естествознание глазами гуманитария, или Образы в науке. М., 1991. Статьи (эссе): Русский Эрос.— Опыты. М., 1990; Национальный Космос.— Современная драматургия, 1990, № 2, 5; Американский образ мира, или Америка глазами человека, который ее не видел.— Европа+Америка, 1991, № 1, 2 и сл.; Космософия России.— День, 1991, № 4; Зависеть от народа (Парадокс о национальном).— Столица, 1991, № 16.

Книга первая

# ОБРАЗЫ ИНДИИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

*Опыт  
„спектрального анализа”  
национальных мировоззрений*



2.XI.68. Расширим диапазон. Нам надо понять две ипостаси бытия: Германский и Индийский космологосы. Это разные галактики, с отличным сочетанием стихий, элементов, идей, слов. В этих двух мирах бытие сказалось двуязыко: начертало себя письменами гор, лесов, рек, сезонов, растений, животных, небес и вод, тел людских, жилищ, пищ, богов, идей, людей, обществ, времени, историй. Наша задача — прочитать эти письмена бытия, его естественный завет каждому из этих мирсв. Наиболее драгоценны для такой расшифровки первые переливания бытия в слово, Логос, первый лепет миров — как они сами заголосили, что из бытия вычленили и что первым делом про себя и все (и какое «все») узнали и высказали. Старшая Эдда и Гимны Ригведы — наш первый материал<sup>1</sup>.

Наиболее враждебен такому прояснению заветов бытия в их чистоте исторический подход, ибо он поворачивается спиной к бытию и, приняв изо всех субстанций лишь одну — время, уже вечностью, пребыванием и истиной-естиной (абсолютной) не интересуется, но занимается лишь относительной, да и не истиной, а — правдой (от прав=пряч: прямой линией мысля, как лишь и может общество), принесшейся в смертные люди. А правда — не истина. Недаром ложь (или почтеннее названная: как «вымысел» в искусстве) способна уловить и выразить истину не меньше, чем правда (права, науки, логики). История начинает отсчет по прямолинейной и необратимой шкале времени.

Но Бытию как раз чужда необратимость и прямолинейность; ближе ему — круговращательные движения, кругооборот в природе, циклы. Недаром во Вселенной тела описывают возвратно-вращательные движения, а тела цивилизации и труда — для прямолинейного движения создаются. И даже то вращательное, что есть (колесо, мотор), — попрано, подмято, подсобно: для прямолинейного движения на его основе. В колесе, которое подмято для прямолинейного движения машины, — как бы символ отношения цивилизации (и истории) к бытию. Наша ж задача — реконструировать национальное бытие под национальной историей, колесо — под путем машины по дороге.

<sup>1</sup> В первоначальном замысле работа затевалась — как параллельное, сряду, друг за другом исследование Индийства и Германства. Но, естественно, начав вникать в первый предмет, я потонул в роскошестве его проблем. А уж Германский образ мира продумывался и раньше, и потом, в других сочинениях. — 30.3.89.

Кстати тут и о трении. Его нет в рассеянном бытии<sup>2</sup> (оттого там *perpetuum mobile*), и ангелы во мгновение ока везде. Трение предполагает двоих, а не единое бытие: значит, возникает оно после раскола бытия и появления полов-половинок. Трение — их соитие во Эросе и предполагает тягу, притяжение и отталкивание плотных. Преодолеть силу трения = преодолеть Эрос, Материю-мать, тягу матери-земли, попрыгать Гею, матриархат и т. д. Это и делает мужской Бог-демиург = дух, труд, Логос, Слово, творящий мир и вещи, воспроизводящий их в духе и имени, после того как все они порождены материей. Творение по сути есть претворение, наименование. И культура возникает как -ургия против -гонии, как поправление Эроса (культура в человеке — перелом и сублимация *libido* и естества), но вознесение искусства. И все усилия труда и изобретательность цивилизации — чтобы уменьшить силу трения (оно же — земное притяжение). Это и в средневековых поисках вечного двигателя, и в ракете, преодолевающей земное притяжение, и в увеличении КПД двигателей (где враг — трение, Эрос частей, механизмов, их притяжение и притирка друг ко другу).

Призвание цивилизации на земле — открыть и развить прямую линию (и в духе: правота, прямота — вот доблесть человека) и прямолинейное движение до такой степени разогнать, чтобы оторваться по касательной от шара земного и вернуться в рассеянное бытие; или пронестись по Вселенной искусственным метеоритом, вызвав в ней раскол, пертурбацию и новообразование (или возвратный распад<sup>2</sup>) миров...

Но трудно движима доска по земле: прилипают друг к другу, в обнимку и в притирку прижимаются. Их надо оторвать друг от друга. Этот раскол, уже вторичный (не в бытии, а в природе), производит человек чрез труд по образу и подобию своему — по вертикали: сам стояч — так и доску ему надо вознести над землей, чтоб поплыла. И так он кладет между природой и культурой (тем, что сам создает) бытие = колесо. У бытия заимствует человек принцип вращательного движения. И все облегчающие труд человека устройства основаны на вращении и колесе (рычаги, вóроты, блоки, моторы) в услужении у прямолинейности.

Бытие в первом акте, саморасколовшись, породило Эрос — как силу воплощения. Чтобы вернуть воплощенное и причастить порожденное вновь к рассеянному бытию, и идет на Земле труд цивилизации и истории. Они — органы бытия, его возвания — запрягают Эрос: в оттолкновении друг от друга на расстояние колеса мужское и женское, тянясь друг к другу и в невозмож-

<sup>2</sup> В те годы (1966—1972) у меня из многих чтений и вдумываний сложился простой и многообъясняющий миф о мире. Единое претерпевает Раскол — и вот уже Двоица начал; меж ними — Эрос (притяжение-отталкивание). Рассеянное Бытие стремится к Воплощению; Воплощенное — к возврату в Рассеянное Бытие. Два последних симметричных тезиса позволяли пропускать через себя массу явлений природы, истории, культуры, организовывать и опыты своей личной жизни и поведение. — 30.3.88.

ности соединиться, развивают бешеную скорость вращения и совместный полет в рассеяние, где уже дистанция не имеет значения, как Паоло и Франческа в вихрях обнявшись. Ибо **вращение — это несбыточное притяжение** (соединение по прямой) и потому устремляющееся в косвенность (касательность): прямолинейное движение не прямо в объятия друг ко другу, но вместе друг с другом — в бок, как бы стремясь скорее обойти препятствие, гору (иль пропасть), прямо их разделяющую.

Но какая именно работа задается от бытия данному народу в данной стране на его историю и какое трение преодолевать — это записано в скрижалях природы: какое небо, ветер, зима, почва — все это заповеди, подсказы от бытия: ибо в жизнеустройстве в зависимости от склада стихий и протекает труд и цивилизация людей на данном месте природы.

И чтоб история нам не мешала разглядывать чистое местное бытие, отвернемся от нее и от принципа Времени и рассмотрим германский космос в слове Эдды прежде индийского в гимнах Ригведы. По истории — Ригведа на полтора тысячелетия раньше Эдды. По бытию они — одновременны, однослойны; а по времени природы Земли (природа уже имеет время, скорее: сроки — они, а не времена, отмечаются как кальпы и юги в индийских космогониях) германский космологос отражает более близкую к рассеянному бытию стадию его воплощения в природу (там туманности и пустоты — зим и холодов, народу меньше), чем в более жирном и плотном, перенасыщенном плотью и жаром (откуда *tapas* = миротворческая и бытиевозвратная: в аскезе — сила) космосе Индии. И как показывают мамонты на Севере, тропики и жизнь там могли быть раньше, чем там, где сейчас Индия.

Но что архаичнее? — нам не важно: ибо тут опять засасывающая вражина — шкала Времени. Однако начнем, пожалуй, с более легкого для нашего рассудочного сознания способа проникнуть в космосы Индии и Германии, а именно: с косвенного о них слова — с описания Германии у Тацита и Индии у Страбона; глазами средиземноморского космоса Бытие здесь воззрилось и уставилось на иные свои ипостаси.

## Панорама Евразии

3.XI.68. Общее для Европы представление об Индии — «страна чудес». Чудо — то, что сверх меры и рассудка, способности судить своим людским умом. Следовательно, там — сверхчеловеческий ум, зона божеств (все религии — с Востока недаром). Ну да: Восток ведь это — восход солнца, в зоне первопричин. Оттуда — начала народов: индоарийцев, гуннов, болгар, татаро-монголов, тюрков — сгущается там бытие, оседает массаами атомов и пускает их катиться против часовой стрелки (=против ритма Времени) — вращения Земли с Запада на Восток.

Все переселения народов и направление кочевий — отсюда, против Времени, и их призвание — оборачивать историю вспять (что и делали переселенцы: варвары-готы — с античным миром, половцы-печенеги — с Русью, с ней же — татаро-монголы, арабы — с Египтом, Палестиной и Испанией, турки — с Византией...).

История — колесо; ее необратимость — в pendant<sup>3</sup> тому, как на одно направление заведена, запущена вращаться планета Земля, если только цивилизация не произведет такой взрыв, в результате отдачи которого Земля обратит вращение свое (иль провиснет без вращения в пространстве, нейтрализуется), а история — течение свое.

Во всяком случае, первый признак Востока в глазах Запада, Европы — бóльшая причастность к свету, солнцу, огню-теплу, бóльшая, отсюда, исконная посвященность в причины и тайны всего сущего, одаренность этим знанием, тогда как человеку Запада этого приходится добиваться усилием, напряжением, трудом — тянуться кверху, противоборствуя более сильной здесь тяге земной. Ну да: житель Востока более причастен к выси мира (**Восход**), а Запада — к падению на Землю, к стихии земли, к низу мира; и все низости в истории — творятся с Запада<sup>4</sup>, и отсюда распространялись приземляющие оковы повсюду (колонизация и империализм).

Отсюда следует ожидать, что из стихий надземные бóльшую роль здесь играют: воздух, огонь, вода, тогда как на Западе земля — ось и середина, и столько же бытия видится под нею, сколь и над нею. Здесь — разработанные представления о хтонической сфере подземья: Аид, Персефона, Изиды-Озирис; зерно — умирающий и воскресающий бог; у Платона в «Федоне» анатомировано нутро земли; вспомним также дифференцированные представления об аде в христианстве, о царстве тьмы и геенне огненной; а в германстве — культ глубины (Tiefe) в душе и в мысли.

На Востоке же если и есть противостояние света и тьмы, то тьма не крепка, не есть земля и недра («твердый орешек»), но тоже полувоздушна (Ормузд и Ариман). И в индуизме подземье очень слабо намечено: трудно там локализовать в подземье и царство мертвых, и его бога Яму. И погребение-то — не в землю зарывание, но сжигание; иль труп — в воды Ганга; иль, как в Тибете, где земля камениста, — грифам, т. е. в воздух, в высь мира, иль в бок (когда в воду), иль зверям = лемонам, пожирающим трупы: ракшасам и якшам — опять в надземном уровне. В Индии — не внедряются в Землю, ее глубь не смотрят: и хоть есть там глины золотые и серебряные, но богатства свои предпочитают брать из воды (искатели жемчуга в волнах моря, в раковинах), а не в разработке недр, куда, напротив, направ-

<sup>3</sup> В соответствии (франц.).

<sup>4</sup> Ну, ты и загнул! — 30.3.89.

лено воззрение горняка-германца<sup>5</sup>. И то еще верно, что стихия земли в Индии не маняща в недра свои, но отталкивающа: каменисты горы — Гималаи, Декан. А если почва там плодородная, то ведь не земле она этим обязана, но воде: наносы ила поверх земли могучими реками и прибоем моря.

Итак, земля там непривлекательна (нет и войн за захват земли, и противоречий вгрызающейся в низ собственности на землю); не самость она, но от себя самоотрицательна: ввысь взор обращает по линиям гор — хребтов их и рамен. Там ведь высочайшие горы мира и наиболее земля ввысь устремлена, грудью выпячена, а не вогнута, засасывающа себя любить, как в равнинах Европы, а тем более — в низинах, у моря отвоеванных, Фландрии и Нидерландов. Оттого на Западе — частная собственность на землю (атомы-тела людей более плотные, плотнее здесь воплощение рассеянного бытия в точки-индивидуумы-«неделимые»; на Западе, где свило бытие крылья, где пало оно и где основной организующий миф — о грехопадении человека — мифа этого ведь нет в Индии, — атому-телу требуется при падении место под солнцем, в пространстве, жизненное); а на Востоке, где воплощение рассеянного бытия более кипуче и кишаче и где массивны скопища атомов и нет пустот меж одним телом и другим, — там не разглядеть под кишением живых существ и растений земли и невозможна индивидуальная, но лишь общинная собственность на землю (ср.: Маркс о восточноазиатской общине). В России — «мир». Правда, здесь просторы и народу мало, но, хоть и полно места на земле каждому, община тоже складывается — по слабости в России вертикальных тяготений и по силе оттягивающих — горизонтальных: в сторону, в «родимую сторонку».

В Индии конфликты меж людей не из-за того, что один взял у другого землю, но из оскорбления наземного — например коров священных и т. д.

Наука геология сообщает нам, что мировой океан — воды первоначально покрывали землю. А может, вообще земля была каплей расплавленной жидкости (какой мы себе представляем солнце — шар раскаленных паров), в которой по мере остывания поляризовались земля и воздух (атмосфера), а связным меж тремя стихиями был огонь («Джатаведас» = «знающий существа» — эпитет Агни в Ригведе). То же сообщает книга Бытия: что «Божий дух носился над водами»; и по Тютчеву, в Последнем катаклизме:

...покроют воды,  
И божий лик изобразится в них.

Итак, земля выступает из вод мирового океана = проявляется во времени (как в фотографии в ходе «выдержки» = времени —

<sup>5</sup> И в медицине сопоставим: запрет на анатомирование трупа в Индии, развитие терапии травяной и внешним укалыванием на Востоке, т. е. не вскрывая нутра тела, — и развитие анатомии и хирургии на Западе.

проступают очертания) рельефами своими. И по мере превращения капель<sup>6</sup>, с одной стороны, в атомы — частицы-песчинки и в пузыри воздуха, с другой — на землю оседали, высаживались из просторов рассеянного бытия (=иль на земле в этих особых условиях возникали, что одно и то же, ибо эти «особенные условия» устроило само бытие в ходе своего раскола) истины-сути-существа-идеи-эйдосы-виды-семена-искры жизни, огни — словом, живые существа всех родов и видов, как залогов всеединства расколотого бытия и имеющего быть воссоединения всего и возврата воплощения в рассеянное бытие. Это — огни, и люди-огни по преимуществу (недаром они начинаются с откраденного Прометеем огня). Их суть — вгрызаться в землю (=труд, цивилизация) и стремиться ввысь — к идеалу, к духу, к свету, что есть возврат в рассеянное бытие, но уже зачерпнув из земли запрятавшееся туда «Черное солнце» (термин манихейства) =сопелый во тьме и без воздуха, под коркой-тюрьмой, в плену земли огонь: нефть, уголь, энергию атома. До людей то же делают растения (чья ткань набухает от света, воздуха и воды) и которые суть труба между надземьем и недром — ядром Земли) и животные — разносчики живота-жизни, уплотнители земли **удобрением**.

Так и древние предания: что духи-ангелы, грехопав, отяжелев, отвердев, породили людей (что душа посылается на воплощение в тело), и нынешние мифы: что некогда на Землю высадились разумные существа с других планет, прилетев на кораблях-эйдосах-архетипах всякого умения, знания и существования, — варианты одного подсказа бытия.

Этот подсказ дан и нам в карте земного шара. Две трети поверхности — океан. Потом Запад — землян, Восток — водян: там Великий, или Тихий, Океан, и солнце, по идее, встает не из земли, а из воды. Земля ж расширяется и проступает к Западу: на Востоке узкий мыс Японии; потом разрозненные острова и мысы: Чукотка, Камчатка, Курилы, тысячи островов Индонезии, Австралия. Потом собирается в протяжение континента (Китай, Русь, Индия), там кулак и узел гор. И далее распускается в ширь и ровнь: Европа — Африка, а меж ними лишь рудимент Океана — щель Средиземного моря, т. е. вода среди земель уже пленена, а не как было на Востоке: земли среди вездесущей воды. И моря здесь недаром так земельно-каменно называются: Черное море (от тьмы, а не световоздуха), Мраморное, Мертвое, Красное (кроваво-ржавое, ибо кровь =огневода, как и окисление =сгорание металла), тогда как на Востоке воды — Желтое море, Тихий (самодостаточный, благой, ибо Великий, уверенный в себе) Океан.

Однако признаюсь, что во всем этом рассуждении я вчувствовался и проникся эллинским воззрением, по которому вначале — вода (Фалес). И Платон многократно исходит из древних

<sup>6</sup> Ниже предлагается некая поэтическая космогония. — 30.3.89.

мифов о потопах<sup>7</sup>, о гибелях и циклах цивилизации: о затонувшем материке Атлантиде (в «Тимее»), о началах обществ на вершинах гор (в «Законах»). «Избежавшими тогда гибели оказались чуть ли не исключительно горные пастухи — слабые и скры (люди=огни) человеческого рода, спасшиеся на вершинах» (Законы, 677В). И Страбон развивает это эллинское толкование происхождения народов, стран и государств: «По предположению Платона, после потопов возникли 3 формы цивилизованной жизни: первая — на вершинах гор, примитивная и дикая, так как люди испытывали страх перед водами, которые еще держались как раз на поверхности равнин; вторая развилась по склонам гор, так как люди уже постепенно стали набираться храбрости, потому что равнины начали высыхать (таким образом, храбрость — от большей сухости человека, который более воспламенен, тогда как страх=сырость, большая причастность воде: плач, слезы от страха, — нежели огню; страх гнетет, и душа по артериям, как капля, загоняется в пятки, туда стесняется); третья образовалась на равнинах. Можно, пожалуй, говорить равным образом и о четвертой, пятой формах и даже больше; последняя же форма цивилизации возникла на морском побережье и на островах, после того как люди совершенно избавились от подобного рода страха. (Ну здесь Страбон явно как высший образ человеческого бытия трактует свой родной эллинский космос, который есть острова среди моря=самостоятельные крепкие атомы-индивиды в пустотах бытия.) Действительно, большая или меньшая решимость приблизиться к морю заставляет, по-видимому, предполагать также некоторые различия ступеней цивилизации и нравов, так же как и дикости и дикости, которые до некоторой степени составляют уже переход к культурной жизни на второй ступени» (Страбон. География, кн. XIII, 1, 25).

Историк склонен эти отличия расположить по времени и назвать словами: «лучше» — «хуже», «культура» — «варварство», помещая добро в прогресс, а зло — в регресс. Однако с точки зрения бытия и его измерений (истина, святость, чернота — грех, совесть) — в отличие от уровня жизни и человечества (правда, добро—зло, стыд) — ни один космологос не оставлен бытием, и «ниже» здесь (по склону горы) не значит «хуже», а так данному народу заповедано: здесь стоять! сей именно необходимый бытию форпост удерживать и стадию воплощения рассеянного бытия (иль уже рассеяния воплощенного) собой осуществлять. С этой поправкой на оценку — т. е. на бесценность — можно и принять вывод Страбона, по которому цивилизация распространяется сверху вниз: «Совершавшиеся тогда такие переселения в нижележащие местности, по моему мнению,

<sup>7</sup> Циклы цивилизации, отсчитываемые по воде, потопам, — мировоззрение средиземноморских народов: эллины, иудеи... Германцы же рассуждают по огню — видят циклы мировых пожаров: гибель богов в «Эдде» — пожар Валгаллы; «Закат Европы» Шпенглера — тоже сгорание огня-света.

указывают также на различные ступени образа жизни и цивилизации» (География, кн. XIII, 1,25).

**Осаждение народов на землю** (ибо как вода, оседая, наносит ил, частицы песка, так и твари оседают на земле из рассеянного бытия в ходе его воплощения: народы=наносы, пласты, слои) идет слоями сверху вниз=с Востока на Запад. Это сохранено нам в преданиях о смене веков и поколений людей (см., в частности: Гесиод «Труды и дни»). Первыми осели самые вышние, горние народы, приближенные к солнцу-золоту<sup>8</sup>: золотой век и поколение людей. Соответствует ли этому периоду осадок нынешней желтой расы, иль она вторична, судить не берусь, однако священность желтого цвета (=цвета золота) в Китае и Агни-огня в Индии — на связь с этим слоем указывает. Местонахождение золота на земле (=представителя солнца из металлов, в зоне недр=черного солнца) — тоже преимущественно Восток: Колыма, Аляска, Лена, а также средняя, зенитная, полоса, приближенная к солнцу: экватор и тропики (Атласские горы иль ЮАР); цветные металлы — в полосе средиземноморской и Средней Азии; медь — Балхаш и т. д.

Следующий век и поколение и слой — серебряный, бледнолицые, цвет Луны и Ночи; цвет света, воздуха и снега=истины=белизны. Таковы индоарийцы, расы Европы и России.

Переходные — бронзовый и медный век: инки, майя, семиты (творцы архекультур), эллины-римляне, отчасти романские народы — смуглолицые.

Белые же=выцветшие; свет их — от тьмы и ночи кругом: бледность. И их упование — низ мира (и тепло им оттуда — огонь черного солнца, добываемый огнивом: трение железа о камень — искра!) и что там — **железо**. Недаром страны Запада славны железом (и углем): Рур-Эльзас, Англия — им оно больше всего нужно. Золотым же народам (в частности, Индии) не нужно железа, и нет там его залежей. По Платону, у первых народов, осевших после потопа на вершинах, не было надобности в железе: «**Железо, медь и все руды слились вместе и стали скрытыми, так что было очень затруднительно их извлекать. Поэтому редко удавалось тогдашним людям срубить дерево. ...Значит, столько же времени не существовали тогда, или даже до нее, и те искусства, для которых нужно железо, медь и тому подобное. ...И вот в те времена совершенно исчезли во многих местах междоусобия и войны. ...В изобилии имели они одежду, подстилку, жилища и утварь, как огнеупорную, так и простую. Ибо ни одно из искусств, касающихся лепки и плетения, не нуждается в железе**» (Законы, 678Д—679А).

Однако Платон объясняет миролюбие послепотопных людей также их малочисленностью и изолированностью: «**Ввиду своей малочисленности люди с удовольствием взирали друг на друга**

---

<sup>8</sup> Недаром и географам бытийственная интуиция подсказала обозначать горы золотым=желто-коричневым цветом.

в те времена» (679С), — что есть типично эллинский взгляд, видящий в мире атомы (и социальные) и пустоту. В Индии ж миролюбие — и при кишмя кишении людском.

И то еще характерно, что для Индии тепло — с верха мира, от солнца падает лучом, а для германцев тепло и жизнь — из низа мира: вздымается огнем, пламенем очага, который питают уголь (недро, глубина, черное солнце) и дерево=застывший язык пламени снизу вверх. Так что северные народы, когда им жарко, как бы на сковородке поджариваются, в геенне огненной снизу кипят, — а южные народы (иудеи, арабы) испепеляются гневом Божиим сверху. Огонь на Севере передоверен Богом черту.

Свет и тепло сверху из просторов даны — в Индии; в Германии ж — снизу и из точки: из искры-свечи — в ширь и стороны, от «я» во вне, из *Innere*<sup>9</sup>; и свет от «Я» сознания возжигает мир (субъект полагает объект; априоризм; трансцендентальное Канта; Идея Гегеля; Труд, производящий все,— Маркса). Свет в Индии обволакивает человека из пространства; в Германии ж от человека, его очага, *Haus'a*<sup>10</sup> и *Burg'a*=«жизненного пространства» — распространяется в якобы (ими предполагаемое) «мертвое» пространство Востока; и *Drang nach Osten*<sup>11</sup> принимается — чтобы воживить его будто и упорядочить.

Вообще, если движение с Востока на Запад — оседание слов и переселение народов, кочевье, то движение с Запада на Восток — поход (Александра Македонского, Крестовые, Ермака в Сибирь, тевтонов в Литву). Поход — сбитый клин, «свинья»=рыло, римская «фаланга», французский строй и маневр. Все это — способ с малым занять великое, распространиться (=возжжение искры). Переселение ж народов — это как стекают ручьи в узкую линию реки и оседают: из бассейна мировых пространств — на место, на ту или иную землю стекаются и густеют там.

(О черной расе не берусь высказываться — неясно в этой схеме.)

---

<sup>9</sup> Внутреннее.

<sup>10</sup> Дома; замка.

<sup>11</sup> Стремление на Восток.



## ЭЛИНСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНДИИ

18.П.70.<sup>1</sup> Речь идет, по сути, о восприятии Индии греками в походе Александра Македонского, т. е. о том всемирно-историческом контакте Европы и Азии, когда цивилизация Европы впервые выступила активной стороной. (Хотя Троянская война?..) Страбон писал на стыке эр (64/63 г. до н. э.— 23/24 г. н. э.), но основными источниками его сведений об Индии продолжали оставаться сообщения спутников Александра.

«При описании Индии Страбону пришлось иметь дело со множеством разноречивых источников об этой стране (XV, 1,2). Известия современных купцов и мореходов об Индии он совершенно отбрасывает. За основу описания, по-видимому, взят рассказ Эратосфена, и затем к нему добавляются сообщения „прочих писателей“ (XV, 1,14), т. е. Патрокла Ктесия, Аристубула, Онесикрита, Непарха, Мегасфена, Артемидора и Деймаха... Большинство этих писателей (спутников Александра) Страбон зна-

<sup>1</sup> Эта главка написана через полтора года после основного текста. Тогда я попытался представить свою работу в качестве плановой (а не для себя, так сказать, «налево» написанной), литературоведческой в Институт мировой литературы Академии наук для коллективного труда «Литературные связи Востока и Запада в древности» и постарался наукообразить слог и объяснить свой метод. Ученые (С. С. Аверинцев, М. Л. Гаспаров, П. А. Гринцер, Е. М. Мелетинский, Б. Л. Рифтин, В. И. Семанов) допускали правомерность моей интерпретации, однако тогдашней дирекцией работа была отвергнута, так что книга вышла без моей главы.— 30.3.89.

ет, по-видимому, через Эратосфена и Посидония»<sup>2</sup>. Эратосфен (писатель III в. до н. э.) тоже пользовался рассказами очевидцев похода Александра, которые тогда были лишь свежее.

Глава об Индии в «Географии» Страбона подвержена исследованиям разнообразных толков: и собственно географическим, и историческим, и филологическим... Эти задачи не в моих силах и интересах. Но для изучения национальных образов мира Страбона «География», как кругообращающийся эллинский глаз во все стороны известной тогда ойкумены, представляет зрелище и даже драму восприятия одного образа мира другим<sup>3</sup>. Один космологос взирает на внезапно из расщелины бытия явившийся иной, странный. И его удивления служат не только зацепками новых явлений и предметов и средствами их описания, но бросают возвратно-отраженный луч на территорию, откуда этот взгляд вышел, так что она может быть описана (точки ее на экране зафиксированы и грани найдены), если удастся установить на диковинных данному сознанию вещах иного мира как бы углы преломления световых волн и их векторы.

Но кто-то должен ставить экран и осуществлять созерцание со стороны. Вот почему для описания эллинского восприятия Индии нельзя ограничиться эллинским восприятием Индии, ибо надо видеть, как располагается предмет сам по себе или, так как это вполне недостижимо, хотя бы с еще одной точки зрения. Ее мы имеем, созерцая эллинское восприятие Индии из русского космологоса и пользуясь теми сведениями и об Индии, и об Элладе, которые разными путями дошли до нас. В частности, я пользуюсь для дополнительного освещения вещей еще и германским образом мира, некоторое описание которого я предвзительно производил в работах «Германский образ мира (по „Ифигении в Тавриде“ Гете)» и «Образность в „Критике чистого разума“ Канта».

Если каждый образ мира представляет собой космологос, т. е. слиток определенной вещественности и духа, взаимно друг другу присущих, то в главе об Индии «Географии» Страбона космос один — индийский, а логос другой — эллинский. Вещи ваши, идеи наши: перед глазами у нас проходят реалии индийского мира: природа, реки, горы, животные, обычаи и нравы, но повадись наш при этом — эллинский взгляд на вещи, его особый запас и склад идей, именно так явления из марева бытия выхватывающий, устрояющий и располагающий.

Таковы наши данные. Задача же — по этим наличным определить то, что с ними связано и подразумевается: по взглядам,

<sup>2</sup> Страбон. География в 17 книгах. Перевод, статья и комментарии Г. А. Стратановского. М., 1964, с. 787—788.

<sup>3</sup> Правда, Страбон — грек римской эпохи, жил в Риме и писал «Географию» отчасти для сведения цезарей, чтоб знали, чем они располагают и управляют. Так что взгляд его несколько шире, чем эллинский, но греко-римский, средиземноморский; однако по отношению к Востоку это тоже локальная, сторонняя точка зрения.

бросаемым эллинским логосом,— его космос, по вещественности индийского космоса — его логос, духовный склад.

Описание космологоса может иметь достоверность, лишь когда он берется как целостность в соотношении всех его элементов. Такое знание присуще лишь самой Истине. Мы же можем говорить о гипотетической целостности в том или ином соотношении тех или иных элементов, как они нам открываются в их важностях и смыслах. Здесь подстерегает произвол выбора и засасывает в пучину заблуждения и кажимости, где и топит и погубляет.

К сожалению, когда исследуют нечто в целостности его внутренней структуры (что, впрочем, видится единственно верным, ибо одни и те же внешние вещи, факты существуют как части и члены различных целых, получая только внутри них свои значения), как нашему уму избежать кондачка в постулатах, в тех исходных понятиях: А, В, С... из которых строится структура?.. Она, целостная, предносится внутреннему взору, но как уловить эту идею, ее брак с веществом, начертанный и априорно заключенный на небесах?

Наш материал и моя склонность предрасполагают меня к иному пути, более эмпирическому. Ведь и факты об Индии, сообщаемые умом Страбона, разрозненны (хотя не случайны), и знание мое ограничено и отрывочно, так что браться на этих основаниях зыбких за описание целостностей космологосов не надежно, хотя и не невозможно, ибо реконструируют же целое по случайно дошедшим частям: палентологи, археологи, расшифровщики древних языков. Будем же любовно и цепко держаться за частичные сведения, сообщения о предметах, фактах; вглядываться в них, толковать их значения и собирать из них мозаику индийского мира, а также ловить возможные от них отблески на исходный эллинский образ мира, имея как идеал, конечно, понять их целостности. Любовно в ощущаясь в трепыхания синицы в руках и благодарно отзываясь на них сердцем, стою с тоской во взоре, устремленном к журавлю в небе.

## **Язык четырёх элементов**

На каком же языке, в каких понятиях вести описание? У Страбона свой, и у Индии свой, и у нас в советской России в двадцатом веке. Если бы описывать только внутренние, имматериальные структуры, мог бы подойти язык условно-договорных значений и знаков: А. В. С... Но от них труден переход к реалиям, вещественности, от логоса — к космосу (да и нет в них перехода от нашего гносиса и к самому логосу, имеющему бытийственно-коренное существование). К тому же эти знаки не были бы вняты Страбону и Индии, и приходилось бы сначала зашифровать и переводить в них текст, а затем уже рассуждать. Теплота предметности в этой процедуре бы выдохлась.

Но есть один «метаязык» (есть и другие, но этот мне внятнее), неизбежно пребывающий в смене времен, в прибое племен языков. Его морфология, слова: «земля», «вода», «воздух», «огонь»; а «Эрос=движение, связь (Любовь и Вражда Эмпедоклы, притяжение и отталкивание современно-научные) — синтаксис. Его термины вняты и эллинским натурфилософам, которые называли их «четырьмя стихиями», и индийским упанишатам, где они выступают как «махабхута» — «великие элементы» правда, здесь пять: еще эфир, «акаша», а в разных системах — ольше еще). Но и современное научное сознание не будет от их отрешиваться. Ведь что такое четыре «агрегатных состояния вещества», как не земля (=твердое), вода (=жидкое), воздух =газообразное), огонь (=плазма)? Значит, материя, всяческая редметность мира укладывается в них, они ее зачерпывают.

Но они расширяемы и в духовную сторону: языки обиходный поэтический непрерывно производят это зацепление духа багами метафор, и вся художественная образность мира распределена в семейства по гнездам четырех стихий. Но и дальшую зону духовного с ними можно углубиться. Например, аристотелевские «четыре причины» (категории уже чисто духовного порядка) допускают приурочение к стихиям, и вероятное распределение может выглядеть так: земля=материальная причина, огонь — деятельная причина. Это кажется безусловным. Вода=элементарная причина, энтелехия (ибо предполагает течение, откуда куда); воздуху остается формальная причина (духовны, невестественны эйдосы, идеи, хотя и световы они, огненны...).

Таким образом, кроме физики в них обозначается и метафизика, способность выражать идеальное. В этой универсальности ольше преимущество этого метаязыка перед всяким возможным условно-договорным (система Р, элемент q и т. д.). В нем всегда опущен корень в безусловное (материальное ли, духовное ли...).

И еще: радостна его демократичность, понятность, даже ребенку, который может опереться на вещественный уровень и понимать на нем, о чем идет речь, позволяя в то же время отвлеченным умам воспарять по стихиям в эмпирии духа и мыслить о нем его реалии.

И поскольку никто не отлучен от этого метаязыка, по его аналам может и наше воображение подключаться к тому же Страбоу и, его читая, как бы сотрудничать в представлении разных вещей и толковании их значений. Так, посредством некоторого совоображения, и попытаюсь я воживлять и уразумевать вещи, явленные в сказании об Индии из «Географии» Страбоу. Ибо вещи кричат метафизическими смыслами, суть телодел, которые читать, свежевать надо.

С точки зрения литературоведческой дело, что здесь предтоит, может быть обозначено как анализ образности, производимый отчасти посредством образов. Родственное узнается одственным, образ прочитывается чрез образ.

4.XI.68. Так что же примечательным увиделось греку Страбону в космосе Индии?

Эллинские купцы совершают плавание (причастность к воде), а индийский мудрец порастил воображение эллинов тем, что «сжег себя в Афинах, подобно тому как это уже сделал Калан, доставив подобное зрелище Александру»<sup>4</sup>, — то есть причастен огню. Соответственно стремление эллинов в резонанс стремлению воды — течь по поверхности, вдаль и вширь растекаться; а индусам, причастным вертикальному стремлению огня, совершенно чуждо стремление распространяться вширь, завоевывать земли: **«Ведь никогда индийцы, по его (Мегасфена) словам, не посылали своего войска за пределы страны» (6)**. Так это будет и в дальнейшей истории Индии, что казалось бы странным при перенаселенности страны: отказ от плоскости земли и отворот от сторон — стран ее. Энергия населения уходила в надстройку над землей многоэтажного кастового и духовного здания (которое выросло, как костер, в котором самосжигался народ за время истории, не замусоривая свое пространство), и в нем высший слой — брахман — бывал нередко гораздо беднее низшего — вайшьи — купца, земледельца, промышленника, и последний подавание подавал первому, которому в ашраме санньясина положено было не заботиться о доме и пище и побираться нищим (см.: «Законы Ману», гл. VI).

Далее эллин выносит суждение о фигуре страны: **«Фигура этой страны становится ромбоидальной, причем каждая из больших сторон превышает противоположную на 3000 стадий» (11)**. То — эллинский метро-пластический подход к явлениям мира как атомам, тягущий разум внешней формы и фигуры. Для индусов самих не была проблемой и предметом для мысли фигура их земли. Для эллинов же ромб об очень многом говорит. В «Тимее» Платона атомы четырех стихий распределены по фигурам: огонь — пирамида (и верно: язык пламени — пирамидальной формы, как кипарис, тоже к жизни-смерти причастное дерево); земля — куб, устойчивый, увесистый; а меж этими полюсами располагаются: атом воздуха — гексаэдр, его сечение образует ромб; атом воды — октаэдр: приближается к шару — капле. Так что сама фигура земли индийской на причастность к идее, к стихии воздуха, к пране и духовным мирам, — намекает. Ромб Индии — как ковер-самолет<sup>5</sup>.

Теперь перейдем к более подробному исследованию первоэлементов Индии глазами эллинов. И для них, у кого первый фи-

<sup>4</sup> Страбон. География в 17 книгах. М., 1964, кн. XV, гл. 1, 4. Поскольку Индии посвящена лишь первая глава книги пятнадцатой, при цитировании достаточно указывать лишь цифру абзаца.

<sup>5</sup> Ромбом оказался эллинам Пенджаб, северо-запад Индии, который они обошли. Но и весь полуостров Индии, включая Декан, представляет собой ромб. Пенджаб и вся Индия — подобные многоугольники. Пенджаб — как бы идея Индии.

лософ Фалес началом всего положил воду (Диоген Лаэртский, I, 24, 27), естественно было на нее из стихий первым делом воззриться.

Демииург Индии, се бог-творец — вода. Пенджаб = Пятиречь. Вода создала землю: реки создали гигантские равнины = плоскости людям для жизни, нанесли почвы. И современная наука подтверждает это воззрение эллинов на Индию: «**Равнина покрыта слоем аллювия настолько мощным, что подстилающие коренные породы** (т. е. собственно земля, а не почва наносная, что есть земля, опосредованная водой и ей подчинившаяся) **нигде не выходят на поверхность**»<sup>6</sup>. Так что низ мира для индуса — не самость и увесистость, тяга и сила земного притяжения (этого ньютоново-западного закона в Индии не открыть!), но сама земля порождена из вод, а воды — сверху (дожди), сбоку — реки, океан; и, по мифам, многое в мире произведено из пахтанья богами мирового океана с помощью волшебной палочки: в качестве мутовки богами была взята гора Мандара в Бенгалии. «**Реки равнины, широко разливающиеся в половодье, продолжают покрывать ее новыми слоями аллювия** (так что видно, что земля — не самость, не абсолют, как вода, но производна, приносна — относительна: от наводнения к половодью), **отчего почвы здесь необычайно плодородны**»<sup>7</sup> И плодородие — от воды.

Итак, местность, пространство мира определилось из воды (недаром в Ригведе бог Варуна, в котором наиболее просвечивают черты творца и зиждителя мира, — сопряжен по телу своему с космическими водами). Но и время, ритм жизни, сезонов — тоже водой прочерчивается, диктуется. Времена года в Индии не так распределяются, как в Европе и на Руси, — по теплу солнышка и воздуха: зима — лето; солнце здесь, в тропиках, всегда дано, и среднегодовая температура в Индии в основном равна +24°, и «в целом температурный режим относительно устойчив»<sup>8</sup> Зато вода, влага дается единожды — в период муссонных, с юго-запада, дождей. Это сезон дождливый — «варша» (июль—август). Тогда выпадает до 90% годовых осадков. А что опричь его — время сухое, которое уже внутри себя подразделяется на пять относительно прохладных и жарких сезонов.

От рек — благо (многие гимны Ригведы — о ниспослании дождя через тучных коров небесных = облака), а основное бедствие — наводнение<sup>9</sup> Ощущение захлебыванья выразительно, как интимно-знакомое, передано в джатаке о Супараге в «Гирлянде джатак» Арья Шуры — тонут там мореплаватели в волнах океана. На Руси основное стихийное бедствие — пожар, метель.

<sup>6</sup> Народы Южной Азии. М., 1963, с. 14.

Там же, с. 14.

<sup>8</sup> Там же, с. 16.

<sup>9</sup> «К концу муссонного периода реки и ручьи широко разливаются, затопля обширные территории и вызывая иногда катастрофические наводнения в отдельных областях» (там же, с. 16).

Итак, константа Индии — вечное тепло. Оно — всеединое. Постоянная переменная — вода, дающая оппозицию: влага — сушь. Она — начало различения, двоицы, «да» — «нет». Солнце, оболочка югня-света, ощутимо дальше отстоит от нас, земли, нежели оболочка воды-воздуха, так называемая «атмосфера». Воздух и даже свет — эфир ведь тоже жидкость — это и в Европе так понимал Декарт (ср. его «Трактат о свете»); а в Индии, где воздух напоен и влажен, это особенно так понимается; и дыша, впивают ее, прану, эросную силу жизни, а не сухой деятельный — рабочий дух, как в славном, здоровом, морозном, ядерном, ядерном-атомарном воздухе Севера.

Вода-воздух обуславливает огне-свет: разрешает ему или не разрешает так или иначе явиться, пропускает его сквозь свой предбанник в том или ином образе. Вода-воздух — цензор огня-света, женское — мужского.

Вода — стихия обоеполоая (Океан и Фетида — прасущества, родившие многое мира в космосе Эллады, по Гесиоду). Дождь — мужское семя с небес. Но воды земные, ближние — уже женски. Форма же им мужеска: Байкал, Каспий, Терек, Дунай, Рейн, Днепр, Дон, Енисей — с ярко выраженными берегами, средь гор. Когда же река впечатляет больше массой и гладью водной, нежели строптивым нором течения (как Нил) иль характером русла там, где воды больше, чем берега, она именуется женски: Волга, Амазонка, Лена... И в Индии Инд (Синдху) — он, но Ганга — она (см. в Махабхарате рассказ о новом рождении восьми падших богов-небожителей Васу чрез супружество Ганги с Шантану — Адипарва, гл. 91—94). Рассмотрим пока женскую ипостась воды.

В Индии женщин сравнительно с мужчинами меньше, чем в Европе<sup>10</sup>, где мужчины перебивают друг друга в деятельности: горизонтальной — войн, и вертикальной — работы, стройки, шахты, индустрии, земледелия. И законы в Индии очень уважительны к женщине; и даже в современном мире лишь в Индии и Цейлоне женщины — премьеры правительства: Индира Ганди и Сиримаво Бандаранаике<sup>11</sup>.

Однако наполнение женского начала, его содержание иное, нежели в Европе. В Европе женщина — это прежде всего земля: Гея в эллинизме, Эрда (die Erde) в германстве (ср. норна Урд-судьба в Старшей Эдде), русская мать-сыра земля, где женское начало уже на воду больше распространяется. Женщина — утроба, нутро, недра, пасть, и волк Фенрир в Эдде, что пожрет богов в конце мира, — из мира матерей-великанш, так что се — мировая утроба, могила, преисподняя, смерть.

<sup>10</sup> «Почти во всех странах Южной Азии (как и в ряде других азиатских стран) численность мужского населения заметно превышает численность женского...»

В Европе, наоборот, как правило, преобладает женское население» (там же, с. 23).

<sup>11</sup> Писано в 1968 г. Ныне женщин-премьеров больше и в Европе, и в Азии. — 30.3.89.

В Индии женское начало не столь жестко, оно мягче, его наполнение — вода-воздух<sup>12</sup> (и земля, конечно, но не так всепоглощающе, как в Европе). Она сочнее, воспаряюща мужчину и в телесном соитии, а не только в духовно-платоническом, куртуазном, отвлеченном от телесности культе Прекрасной дамы. Если соитие в Европе и христианстве всегда — падение, притяжение низа, то в индуистских мировоззрениях именно телесный Эрос тоже воспаряющ (страстный жар бхактов, тантризм). Недаром и книгу о наслаждении «Кама-сутру» написал брахман Ватсьяна. В «Кама-сутре» в позах любви женщина многожды допускается располагаться превыше мужчины. Женское здесь обволакивает со всех сторон, тогда как в Европе женщина затягивает в бездну низа, прорву, могилу земли, и любовь здесь — сильна, как смерть.

Мягкость, терпимость мировоззрений Индии, пассивность и нейтралитет во внешней политике тоже сопряжены со стихией воды, которая нейтральна, по Гегелю.

Чтобы глубже вникнуть и полнее представить разнообразные духовные смыслы, какими изобилует и переливается стихия воды, обратимся за вспомоществованием к Гегелю, который в «Философии природы» дал глубокомысленное ей истолкование. Правда, при чтении приводимой ниже выдержки из Гегеля надо сделать поправку на то, что Гегель толкуёт первоэлементы глазами германского космоса огне-земли и огонь отнимает всю активность, тогда как, по Индии, вода имеет часть активности при себе, и в любви, как ее подают литература Индии, женщина часто более активно действует и находит себе возлюбленного<sup>13</sup>.

**«Нейтральное состояние, — мыслит Гегель, — в котором огонь исчезает, потухший огонь, есть вода (все германец сводит к огню: ср. выше у него — „воздух есть спящий огонь“, с. 147)...** Не обладая самостоятельной единичностью (в отличие от тел земли, которые — индивидуумы, самости), не будучи, следовательно, неподвижной и определенной внутри себя, эта противоположность характеризуется всецелым равновесием; она разрушает всякую механическую, положенную в ней определенность (топит и разбедает, растворяет тела, вещества, фигуры, формы); ограниченность формы получает лишь извне (как Индия в союзе из гор<sup>14</sup>: пассивно извне полученные пределы, а не определенные изнутри — исчерпанием поиска, активности „я“, — как

<sup>12</sup> Хотя и Афродита — пеннорожденная, а пена = воздух-вода.

<sup>13</sup> М. Я. Калинович в работе «Природа и быт в древнеиндийской драме», на основе девяти классических индийских драм воспроизводя суммарный образ героини, замечает: «При всей своей скромности, обычно героиня первая дает понять любимому свои чувства. С этой целью она то посылает к застенчивому юноше свою наперсницу, то ногтем на лотосном листе, мягком, как брюшко пугая, пишет любовное признание». Цит. по: Избранные труды русских индологов-филологов. М., 1962, с. 181.

<sup>14</sup> Хотя внешне географически Индия равномерно опоясана океаном и горами, но основная масса населения располагается по долинам рек меж Гималаями, Иранским нагорьем и Деканом, так что по ощущению верно, что живая Индия — в пространстве среди гор.

границы, например, Германии) и ищет ее во внешних телах (прилипание). Она имеет в самой себе не непрерывное беспокойство процесса (как огонь=„я“, воля, самость), а лишь его возможность, разрешимость, равно как и способность получить форму воздуха и затверделость, испариться и превратиться в лед (Эту последнюю возможность Индия может лишь подозревать отдаленно — на ледниках Гималаев, но не есть это превращение воды в землю, в твердь, такой будничной, подкорковый, подразумеваемый=само собой разумеющийся факт, как в германстве), причем, однако, эти формы являются некими состояниями, остающимися внешними ее характерному, ей лишь свойственному состоянию (а именно:), отсутствию всякой определенности внутри себя».

Для индуса не встает этот вопрос: «Что я такое в отличие от другого?», тогда как проблема самоопределения — основная для человека Запада задача: вычленение «я» своего как тверди и тарана и субъекта в мире как чем-то окружающем, пассивном объекте. Нет поиска своей формы в умозрениях индусов: ее нет<sup>15</sup>, «я» нет, принцип личности «аханкара» — иллюзия («Бхагавадгита», буддизм), как это бы и свойственно мыслить воде. И мир не есть твердая расщепленность на субъект и противостоящие ему объекты, но есть, по буддизму, например, поток, неразличенность субъекта—объекта; а существо любое представляет собой кучу (скандхи) ощущений, поток дхамм, текучих, аморфных «атомов»-пунктиров, а не твердей<sup>16</sup>.

«...Вода есть элемент, лишенный самости противоположности, пассивное бытие для другого, между тем как огонь есть активное бытие для другого (вот германский подход к бытию через исходное различение: „я“ — „не-я“, я — другой); вода, стало быть, обладает существованием как бытие-для-другого. Она не обладает в самой себе абсолютно никаким сцеплением, никаким запахом, вкусом, формой. Ее детерминация состоит в том, что она еще не есть особенное (как женщина-мать=потенциальный сын или дочь). Она представляет собою абстрактную нейтральность, а не подобно соли индивидуализированную нейтральность (мужчины, апостолы, святые — „соль соли земли“), и потому она уже очень рано была названа „матерью всех особенных вещей!“ (Вот!) Вода текуча, как воздух. Но эластично текуча, так что она распространяется во все стороны (и несет в себе априорно форму равнины, плоскости, которую и дарует земле, так что равнинные страны сотворены демиургом — водой, и недаром в равнинной России земля названа почтенно „матерью-сырой землей“). В ней больше земного, чем в воздухе, и она ищет

<sup>15</sup> Nāmaṅgāra, «намарупа», стадия «имя—формы» — одна из низших, состояние в мире майи, должна быть превзойдена и отброшена очень рано, тогда как в духовных учениях Запада ей приходит пора сниматься гораздо позже, чуть ли не в конце пути, а главное его содержание занимает поиск своего «я», его самоопределения и осуществления (Фауст).

<sup>16</sup> См.: Розенберг О. Проблемы буддийской философии. Пг., 1918.

центра тяжести, больше всех других примыкает к индивидуальному и тянется к нему (как женское к мужскому).

...Следствием этой пассивности является то, что вода (в отличие от воздуха) несжимаема... (на этом гидравлический пресс основан). Она оказывает противодействие лишь в качестве массы (не как нечто отдельное, индивидуализированное, как героинборцы, выдающиеся личности в Европе и германстве), а именно оказывает противодействие в своем обычном состоянии, капельно-жидком (как Махатма=Великая душа — Ганди понял, что в духе индийского принципа — пассивное сопротивление, непротивление злу, при котором зло — зубья и клинья нападающих тонут и вязнут в аморфной массе). Можно было бы думать, что сжимаемость есть следствие пассивности; в действительности, однако, дело обстоит наоборот: вода несжимаема вследствие своей пассивности, т. е. величина занимаемого ею пространства остается неизменной (как Индия все в тех же исконных границах пребывает. Правда, охватил ее сейчас двумя клещами огненно-земный, трудовой более, мужеский и активный ислам: Пакистан зубьями вонзился в Инд с одной стороны и в дельту Ганга — с другой. Пара Пакистан—Индия такая же мужеско-женская во Эросе пара, как далее на Востоке: Япония—Китай, а в Европе: Германия—Россия).

...Третьим следствием этой пассивности является легкость, с которой ее частицы отделяются друг от друга, и стремление воды прилипнуть, т. е. та ее особенность, что она смачивает прилегающие предметы. Она остается висеть на каждой вещи, находится с каждым телом, с которым она соприкасается, в более тесной связи, чем с самой собой. (Поэтому усилие, которое в буддизме осуществляет человек, есть: „отчепись!“ всему липкому, цапучему воинству Мары, что пристаёт и обволакивает со всех сторон,—а не усилие христиански-европейского аскета преодолеть жар и тягу низа. Буддист стремится выйти из потока рождений, ускользнуть от налипающих капель-семян.)»<sup>17</sup>

Женское обволакивает индийскую жизнь не только атмосферой влажной, но и, еще телеснее,— покровом растительности, чащобой-переплетенностью=пряжей лианно-криволинейной. Ведь тропическая растительность являет по преимуществу кривые, изогнутые, клубящиеся формы, обнимающие нас, пригибающие и прикрепляющие к земле: не пробиться глазом ввысь сквозь объятия многослойной широколиственности,— в отличие от стержней-фаллов европейских северных дубов, кедров, елей, сосен, которые по стволам своим устремляют, как по рельсам, дух наш ввысь. Нет, в Индии так направляют взор лишь плечи гор — они окраинны, не будничны; а буднична пригибающая растительность леса. Да она и полуживотна! Вон как описывает ее Страбон со слов Эратосфена: «В силу этого (от жара и влажности), говорит он, так гибки и ветви деревьев, из которых делают

<sup>17)</sup> Гегель. Сочинения. Т. II. Философия природы. М.—Л., 1934, с. 148—150.

ободья для колес, и по этой же причине на некоторых деревьях появляется шерсть (так понят был животнo-мыслящими эллинами хлопок: на растение смотрят сквозь призму овцы, как тут же на сахарный тростник — сквозь образ пчелы)... Он говорит о тростнике, который дает мед, хотя и без пчел...

Много в Индии необыкновенных деревьев, в числе которых есть одно, ветви которого склоняются к земле, а листья — не меньше щита... Там есть какие-то большие деревья, ветви которых достигают даже 12 локтей; затем они продолжают расти вниз (! чудо, нечто невиданное в Европе, как арка-свод!), как бы согнувшись, пока не коснутся земли<sup>18</sup>. Потом, распростершись по земле, они пускают корни подобно отводкам; затем, снова поднимаясь, образуют ствол; из этого ствола ветви, опять подобным же образом согнутые при росте, дают новый отводок, потом еще новый и так далее, так что из одного дерева образуется огромный зонт, подобный палатке со множеством подпорок» (21). Это естественный город, дворец, многозалье — как то, что образует утроба земли своими пещерами, сталактитами и сталагмитами. Это-то европейцам знакомо, такой склад женского начала — как складки утробы земли<sup>19</sup>. Но чтоб такое выросло на поверхности! Это уж творит и погибает индийская влага-воздух, курчавясь и лианясь под жгучими ласками солнца-огня. Такое дерево — это кентавр по-индийски, а именно: полу-растение — полу-животное; в нем застыла ходьба сороконожки, шестивие змеи по земле. Недаром змея — наиболее характерное существо (изо всех стран мира) именно для индийского космоса (здесь и заклинатели змей). А змея — как раз самодвижный ствол ползучий.

## Космос переходов

5.XI.68. Итак, индийский мир бросается в глаза эллинскому сознанию как космос переходов; растение движется, как животное (описанные выше деревья); животное — безного, стволом ползает — змеей (Страбон, XV, 1,45); возле человека — обезьяна (29), так что он, оказывается, не исключительное существо; потому идеи «человек — царь зверей» и такого резкого самоотличения человеком себя от животных, как в Европе, в Индии не было: здесь естественнее, напротив, переселение душ в разные существа, — но не во времени (как на это согласилась европейская теория эволюции, где существа выстраиваются в прогрессивный затылок друг другу), а всегда, сейчас, и обезьяна, уме-

<sup>18</sup> Грандиозная мифологема: дерево, чьи корни — в небе, растущее кроною к земле, — неоднократно является в индийских священных текстах. Таково дерево «ашваттха» в «Бхагавадгите» (XV, 1—4) и дерево Брахмо из «Катхупанишады».

<sup>19</sup> См. недро земли, разъятое в «Федоне» Платона, где кишки=реки огненные и ледяные, озера=пузыри и т. д.

рев, превращаема в жучка, а не в высшую ступень Ното sapiens.

Вот это дивно привыкшему к определенности и четкости форм средиземноморскому взгляду греков=горцев островных у вод: текучесть и клубление, космос марева. И в эллинстве, и в Индии вода толкуется как первоначало (Фалес). Но в Элладе вода — лохань моря, неподвижна по горизонтали, описывает лишь крутооборот — испарением вверх и дождем вниз; напротив, люди по ней усилием (на ладях — кораблях, ветрами — воздухом) движимы. Здесь же, в Индии, ветров нет, воздух-дух стояч, отдает воду на пожирание огню сверху, откуда жаркая влажность, марево стоит<sup>20</sup>. А самодвижна, активна вода: «С этими сообщениями о наводнениях рек и об отсутствии ветров с суши сходятся данные Онесикрита» (20). Вода, текущая по горизонтали, — как змей, щупальце бытия, здесь обладает чуть ли не свободой воли: выбирает себе путь, русло, кожу-берега меняет, линяет: «Можно с вероятностью предположить, что эта страна подвержена сильным землетрясениям, так как от большой влажности земля становится рыхлой и получает трещины, так что даже реки меняют русла. Во всяком случае он (Аристобул) говорит, что, посланный с каким-то поручением, он видел страну с более чем тысячью городов вместе с селениями, покинутую жителями, потому что Инд, оставив свое прежнее русло и повернув налево и другое русло, гораздо более глубокое (Инд живой: свойство живого существа — свобода выбора), стремительно течет, низвергаясь, подобно катаракту (водопаду)» (19).

Так что землетрясение объясняется не нутром земли, как в Европе, где то — волнение утробы земли, а вулканы — ее как бы периодические кровотоечения, менстрации; не соотношением стихий огня и земли, — но накожной щекоткой, эрозией земли активной водой, обладающей стремлением (в Элладе вода моря-океана никуда не стремится, самоудовлетворена; стремятся лишь ветры и человек). Земля вообще в Индии, на эллинский взгляд, — тварь воды рабочей: реки=руки бытия, вылепляющие формы существ. Подтверждает это Страбон рассказом о деятельности рек в Анатолии и Египте: «Неарх приводит следующие примеры речных наносов: равнины Герма, Каистра, Меандра и Каике получили такое название потому, что речные отложения увеличивают эти равнины, скорее образуют их, так как все наносы, приносимые с гор (в виде ила), — это плодородная и мягкая почва. Реки несут ил вниз по течению, так что эти равнины являются как бы их порождениями, и совершенно правильно сказано, что равнины принадлежат рекам (ну да, реки — руки: берут материал-глину с одного места: горы, Гималаев — и переносят, укладывают на другом месте, строя равнину так же, как

<sup>20</sup> А ветер, чем севернее, тем важнее: течение воздуха там бурно, а не течение рек (Волга течет плавно и раздольно, не порывисто, как Инд и Ганг, раздражающиеся наводнениями), зато ветер севернее — самум, смерч, буран, метель, вихри снежные: движение в духе пробуждает.

человек из равнины строит гору-город). Это высказывание Нearchа тождественно тому, что Геродот говорит о Ниле и прилегающей к нему области, что она — дар Нила. На этом основании Нearch правильно замечает, что Нил называли тем же именем, что и египетскую страну» (16).

Подобным же образом понаименовали греки так названную ими «Индию». Ведь самоназвание этой страны — «Бхаратаварша» = «страна бхаратов», по народу. Греки же обозначили ее по реке Инду (Синдху): мол, Индия — Индова, земля реки; народа же такого — «инды» — нет. Напротив, страны Европы названы по имени осевших народов: «земля англов» (England), «земля немцев» (Deutschland).

Если Индия — равнины, нанесенные реками, в сосуде из гор, то для средиземноморцев-эллинов образ равнины и одинаковости — не земля, а море: оно среди земель, в сосуде из гор, тогда как в Индии оно только по краям, наподобие, как и для Руси Окиян-море — некое трансцендентное пространство. Так что вода как начало всего у Фалеса есть как раз образ пребывающего Единого, в покое и равенстве себе, откуда и куда всё. В Индии ж вода — не только начало, а, как и огонь, — посредник, деятель.

И не только земли вода демиург: она прямо творит формы существ. «По мнению Онесикрита, именно дождевая вода является причиной своеобразия у животных; в доказательство он приводит изменение масти чужеземного скота, пьющего эту воду, на масть туземных животных» (24). Формы падают с неба — как эйдосы Платоновы. Но в отличие от сухого, прозрачного эллинского космоса, где праформы, прообразы названы «виды» (идеи-эйдосы), т. е. от стихий света-огня и воздуха, в космосе-мареве Индии они скорей «водосы» — капельные молекулы<sup>21</sup>.

## Огонь — вода

Точнее: взаимодействием огня и воды (как эйдосы — взаимодействием огня и воздуха) производятся структуры, строение вещества и формы существ. Вот как рассуждает далее Страбон о курчавости волос эфиопов и о гладкости волос индусов:

<sup>21</sup> Библейский Иаков, чтобы умножить стадо данных ему в награду овец пестрой масти, испещрил нарезкой кору прутьев «и положил прутья с нарезкою пред скотом в водопойных корытах, куда скот (всяческий и белой масти) приходил пить и где, приходя пить, зачинал перед прутьями.

И зачинал скот перед прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами» (Бытие, 30, 38—39.— Эпизод этот напомнил мне П. А. Григгер и надоумил).

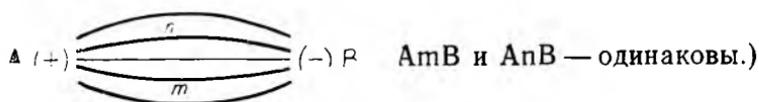
Вода здесь давала эросную силу (любовный напиток), но безразличную к форме. Определение ж и форма получались через свет и зрение (глядение овец на пестроту прутьев). Здесь иудейство обнаруживает близость своего космолога к Средиземноморью, у которого краев оно расположено: не так уж далеко от эллинства, где формотворен свет (вид, идея, эйдос).

«В этом он (Онесикрит) прав, но вовсе не прав, считая причиной черного цвета и курчавых волос эфиопов только воды и критику Феодекта, который возводит причину этих особенностей к солнцу. Феодект говорит так:

Близ их пределов Солнце совершает путь,  
И в ярко-черный красит сажи цвет  
Тела мужей, и в кольца вьет власы,  
Сплавляя формой неизменного огня (Фрг. 17).

(Ну да: на огне волос и растение свивается.)

Но все же Онесикрит, может быть, и прав в своем утверждении. Ведь, по его словам, солнце вовсе не ближе к эфиопам, чем к остальным народам, но оно стоит перпендикулярно над ними, и, следовательно, тепло его сильнее (опять эллинский геометрический взгляд на мир: перпендикуляр — кратчайшее расстояние от точки до линии, а вот у народов с мышлением, например, электричеством это уже было бы неважно: работа и время прохождения по силовым линиям



Поэтому неправильно называть солнце „близко-предельным“, так как оно находится на одинаковом расстоянии от всех народов (так что важен, по эллину, угол наклона при равном отстоянии: по-гречески „наклонение“ и есть „климат“<sup>22</sup>). И тепло тоже не является причиной такого явления; ведь тепло не влияет на младенцев во чреве матери, так как в утробу не проникают солнечные лучи (Вот ход мысли к недру земли, к врожденности формы — типичный у европейцев, но здесь, для Индии, он остается, и опять причина выводится наружу, в надземье). Более правы те, кто приписывает черный цвет воздействию солнца и происходящему от него обжиганию при очень большом недостатке поверхностной влажности кожи. Поэтому я утверждаю, что у индийцев не выются волосы и их кожа не так сильно обожжена из-за влажности окружающего воздуха» (24).

Итак, индийцы смуглы и черноволосы — от воздействия наружного огня, чья сфера и оболочка дальше отстоит от водовоздушной атмосферы и есть как бы стратосфера по отношению к ней; но гладковолосы и мягкокожи и мягкохарактерны — от смягчающей смазки влаги, которая укрощает страсть огня к низу, утоляет ее. Огню, значит, поддан цвет тварей (он клеймит, пятнает, причащает их к своему измерению: свет-тьма; в разных соотношениях их братство=степень родства в данном существе

<sup>22</sup> Греч. klima: 1) склон, спуск, скат; 2) страна света, климатический пояс. Для России другие земли — «страны»=стороны (боково-равнинное мышление); для эллинов — «склоны» (мышление греков-горцев, а горы развивают чувство формы, углов и граней).

ве и месте, ясного и черного солнц отмечает), но не форма. Солнце, огонь — маляр, живописец; вода заведует рисунком, очертанием, графикой (так течения рек вырезают офорты на земле).

Здесь толковать становится трудно, потому что зыбко: то ли эллин воспроизводит тут на Индии структуру своего космоса, то ли реальную индийскую воспринимает. У греков вода — начало всего в нашем, низовом, поднебесном мире изменения. А над твердью небес — огонь. Пифагореец Филолай «самую высшую часть периферического (огня), в которой находятся элементы в состоянии совершенной чистоты... называет Олимпом, пространство же ниже движущегося Олимпа, в котором расположены пять планет вместе с солнцем и луной, [он называет] космосом, лежащую же под ними подлунную часть [пространства], что вокруг земли, где [находится] область изменчивого рождения, [он называет] Ураном»<sup>23</sup>. Звезды же — дыры в тверди небе, через которые просвечивает огненная оболочка. И по Анаксимандру, «этот огонь обнаруживается сквозь отверстие в некоторой части (обода) как бы рядами молнии. Это и есть солнце»<sup>24</sup>. Хотя, по Гераклиту, огонь образует и всю внутренность космоса.

Акцент индийской космогонии — несколько иной. Как и у многих народов, вначале — космические воды. В них плавает яйцо будущего мира<sup>25</sup>. Расколовшись, оно раздвигает космические воды и образует срединное пространство, вакуум для жизни и стремления, причем назначение верхней скорлупы — образовать небосвод как твердь, удерживающую окружные космические воды мирового Океана от пролития и затопления жизни. В этом, по Ригведе, — назначение Варуны-миродержателя: блюсти мировой закон-строй-плот, *rta* — «рита», задача которого — держать. Отсюда, от глагола *dhar* — «держат», и произошло именование основного закона в Индии — «дхармой» («дхамма» — в палийском буддизме).

Варуна есть небосвод как твердь, подобно одноименному ему эллинскому Урану. Но за Варуной — воды, что сквозь отверстия светил им время от времени пропускаются; за Ураном — огонь. Конечно, и Варуна недаром парно сопряжен с светоогненным Митрой. И везде все есть. Я ж подчеркиваю, огрубляя, акценты в сочетаниях элементов.

Под небосводом начинается уже наш, ощущаемый, эмпирический мир. В нем — своя иерархия элементов. И в индийском космосе здесь основные деятели — огонь и вода. Огонь в трех ипостасях: солнце, молния, огонь очага — межмировой посред-

<sup>23</sup> Антология мировой философии. Т. I. ч. 1. М., 1969, с. 289—290.

<sup>24</sup> Там же, с. 272.

<sup>25</sup> См.: Топоров В. Н. К реконструкции мира о мировом яйце. — Труды по знаковым системам. Вып. III. Тарту, 1967, с. 81—99.

ник. Эпитет Агни в Ригведе — Джатаведас — «знаток существ», ибо проникает и пребывает во внутренности всех существ и предметов и потому их знает, ими заведует.

Что огонь-вода — основное в Индии стечение стихий,— под-сказывает и Ригведа, где больше всего гимнов Агни (огню) и Соме (напитку). Чрез Агни земное (жертва, молитва) воспаряет и доносится до верхней оболочки мира, где боги; чрез Сому боги приглашаются снизойти на Землю, испытать, отведать и причаститься человечеству. Сочетание огонь-вода в надземье творит большинство особенностей Индии (в Элладе они четче распределены: огонь-свет — верх мира, вода — низ, бок — море. В Индии же они сплелись в воздушном пространстве, образовав влажный жар, марево жизни), ибо огонь и вода образуют суть живого: кровь и семя суть огневода и световода; все жизненные соки — огневода: как соки — вода, как бьющие вверх — пламя, воля и стремление. Эрос, если его выразить чрез стихии, есть огневода. Потому в Индии сам воздух дышит плодородием, откуда йоги вдыхают жизненно-порождающую силу — «прану». И космос Индии, и жизнь, дух-мысль напоены зачатиями: буйное тропическое преизобилие жизни, существ — растений, животных, людей. Потому для мысли предмет: соотношение человека с мирами и сериями иных существ (богов, обезьян, асуров, ракшасов) отрегулировать, кого и когда можно/нельзя есть («Законы Ману», гл. V); и главное — как преодолеть кишение жизни и цепь рождений.

Вот как этой разлитой в воздухе огневоде — источнику плодородия — дивится эллин Страбон: «По словам Эратосфена, вследствие испарений таких больших рек и воздействия пассатных ветров Индия орошается влагой летних дождей, а равнины заболачиваются» (13). «Мегасфен, отмечая плодородие Индии, указывает, что земля там приносит дважды в год двойной урожай. Подтверждает это и Эратосфен, который называет один посев зимним, другой — летним (равно как и дожди). Действительно, говорит он, не бывает ни одного года без дождей в эти два срока. Отсюда и происходят изобильные годы, так как земля никогда не остается бесплодной. Плодовые деревья приносят также много плодов; в изобилии встречаются корни растений, в особенности большого тростника; они сладки в сыром и вареном виде, так как и дождевая вода, и речная вода нагревается от солнца. Поэтому Эратосфен хочет в некотором смысле сказать, что процесс, называемый у других „созреванием плодов или соков“, у индийцев носит имя „сваривания“ и при „созревании“ плоды получают столь же приятный вкус, как от варки на огне» (20).

То есть, не так нужен и важен очаг, а следовательно, и дом — основные в Европе и германстве, где очаг — синоним жизни, а мироздание — бытия. Жизнь протекает в Индии более прямо в открытом бытии, а не под покровом крыши и стен, в очеловеченном, по мерке человека скроенном пространстве

дома. Нет поэтому и такого резкого противостояния, раскола бытия на Haus и Raum (дом и пространство), Innere и Äußere (внутреннее и внешнее), субъект и объект, «Я» и «Не-я», — что так существенно в германстве. Здесь плавно перетекает бытие в жизнь человека и наоборот; и смерть не столь категорична, абсолютна и страшна: отчасти оттого в Индии знают драму, но не знают трагедии, и конфликты здесь не остры (ни в семье, ни меж кастами общества, ни в мышлении и логике: противоречие толкуется не как взаимоисключающая противоположность «или-или», но как многостепенное различие)<sup>26</sup>.

С другой стороны, то, что плод и корень свариваются уже прямо в котле пространства, а не на домашнем очаге, — есть подаяние бытия человеку, манна небесная; и меньше, следовательно, сил и труда должен он тратить на жизнь: пищу, одежду и кров. Космос не взывает здесь к труду так категорично, как, например, в Германии, где или будешь работник в поте лица своего, иль пропадешь от голода и холода (недаром они созвучны: ибо совместны, как пища и тепло).

**«Хотя землю засевают там наполовину высохшей, но все же она, разрыхленная первым попавшимся орудием (вот как благорасположен космос к жизни: воткни ветку — плодоносное дерево вырастет), дает зримые и прекрасные плоды. По словам Аристобула, рис стоит прямо в воде» (18).**

Если европейские злаки: рожь, пшеница, гречиха, просо и т. д. — золотисты, коричневы, суть в основном огнеземля, в относительно сухом космосе произрастают, то рис, как лилия и лотос, — бел оттого, что в воде живет и вода выпивает цвет; его жизнь — воплощение союза огня и воды, так же как лотос — символ Эроса. Лилия и в Европе символ — только более сухой, духовной любви, и обратима к Деве Марии, тогда как одноплановый лилии лотос — образ и влагалища, и позы мудрости (асана лотоса = падмасана, поза Будды), и нет в Индии противопоставляющего различия духовной и телесной любви.

**«Южная Индия похожа на эти страны (Аравию и Эфиопию) в отношении солнечного зноя, но отличается от них обилием вод; там воздух влажен и более питателен и более способствует оплодотворению, точно так же как земля и вода. Поэтому-то**

<sup>26</sup> Внешняя причина отсутствия трагедии — запрет изображать смерть, потому что распад формы безобразен. Но это смерть с технической точки, а у нас речь — о психологической, о переживании смерти, о к ней отношении. Для европейца смерть — конец абсолютный, предел; для индуса — очередное линяние, смена кожи в беспредельности перевоплощений.

Резкость различий и противостояния возможны лишь в четко определенном космосе, где есть противодействие, ударяясь о грань. То же и в логике. Европейская двучленная оппозиция: «да» — «нет» в Индии имеет уже размягченный четырехчленный вид тетралеммы, отсылающей в беспредельность живого Ничто. По Нагарджуне: «Все есть истина. Все есть неистина. Все есть истина и неистина. Все есть не истина и не неистина». См.: Мьяль Л. О нулевом пути. — Труды по знаковым системам. Вып. II. Тарту, 1965; Куль И., Мьяль Л. К проблеме тетралеммы. — Труды по знаковым системам. Вып. III. Тарту, 1967. См. также: Маковельский А. О. История логики. М., 1967.

как наземные, так и водные животные в Индии оказываются крупнее, чем в других странах (в их масштабах количество жизни сказывается: здесь Жизни больше среди Бытия, нежели в других странах, где, например, как в России, больше Бытия, нежели Жизни. Слон — это воплощенное, заземленное небо-небосвод, а корова=облако: недаром в Ригведе постоянно название облаков-туч стадом небесных тучных коров, из вымени которых огневода=молоко-семя прольется). Нил, впрочем, также более других рек способен к рождению живых существ, а среди крупных животных особенно порождает земноводных (в Египте более подчеркнута „землевода“, нежели в Индии, где мощнее надземная жизнь: леса, слоны, тигры, обезьяны, птицы и т. д.— все это словно сострижено с черепа земли в гололовом Египте: недаром и люди изображаются там гологоловыми). Египетские женщины иногда рожают по 4 младенца сразу. Аристотель же сообщает, что какая-то женщина родила семерых, и называет Нил многоплодным и питательным вследствие умеренности солнечного зноя, который, оставляя все питательные элементы, излишки заставляет испаряться (=забирает с собой. В Египте солнце-огонь как бы само мыслит ясно и отмеривает, сколько надо здесь оставить жизни. Нет здесь такой плотной атмосферы, санпропускника паров, водо-воздуха, которые не дают солнцу самому видеть, что делается с его лучами внизу, за этим маревом, так что оно отдает лучи, энергию вслепую, а вода уж там распределяет и творит формы и образы. За то, что вода в Индии активна именно в воздушном пространстве, ругаются апсары: это индийские русалки, ундины, нимфы, сирены, но живут они не в озерах и реках, морях, на земле, а между небом и землей витают).

Вероятно, от этого же зависит, согласно Аристотелю, и следующий факт: на нильской воде можно варить при половинном огне по сравнению с другими водами (подобный феномен известен Европе, но именно в горах: от высоты и уменьшения давления воздуха — т. е. диктуется воздухом, а не огнем-солнцем. Здесь же сама вода содержит в себе огонь, заложенный в нее сверху; потому снизу надо пол-огня подкладывать)... **И водные животные в Индии крупнее и многочисленнее (нежели в Египте), а из облаков там льется уже кипяченая вода» (22—23).** То есть просолочная! готовый напиток Сомы, семья. В Европе подобная вода — соленая вода моря, океана; в ее солености ее солнечность<sup>27</sup>, горькость=горелость, вложенная в

<sup>27</sup> Не случайно их созвучие: русское «соль» и «солнце», французское *sol* (почва, земля) и *soleil*. Здесь братство ясного солнца (которое есть свет-огонь в небе) и черного (которое «грехопало», воплотилось, стало твердью-землей, почвой, солью) проговаривается о себе: почва родит, растением испускает огонь кверху; соль — сила, энергия, сжатый огонь, его прибирает к рукам вода — в соленой воде морской, и там в своей оранжерее взращивает Жизнь; ее начало — соленая капля как капля семени. И земля таит солнце как соль: ее огонь горит в горечи ядер, семян растений; и все способные к творчеству (превращению в труде) вещества земли суть соли.

нее огненность: соленая вода мирового Океана — это гигантские семенники, яичники жизни на земле; недаром она оттуда, по всем данным и мифологии и науки, и зародилась: из мирового яйца средь вод.

А раз такова — полуогненна — просто вода в Индии, то там, естественно, нет надобности человеку в'оживлять влагу-сырость свою — спиртными напитками. Эллин Страбон отмечает, что в Индии не пьют: «По рассказам других писателей, в Индии нет вина. Поэтому там, согласно Анархасису, не встретишь ни флейты, ни другого музыкального инструмента, кроме кимвалов, бубнов и трещеток, которые в ходу у фокусников» (22). (Н. В.—ударные инструменты — отмечают ритм; еще больше в ходу они в Китае.) Иные видели в Индии «виноградную лозу, хотя плоды последней в этой стране не созревают. Действительно, из-за сильных дождей виноградные гроздья опадают, не успев почернеть при созревании» (8). Се огневода из пространства, ревнуя назревающую снизу соперницу, побивает ее камнями-каплями.

В индийском космосе марева, где человек и так пьян, нет нужды в пьянящих напитках: скорее в остужении он нуждается для возбуждения жизненной активности — и эту роль играет богатейшая культура духа в Индии, которая снизу старается восполнить недостаток сухого воздуха в пространстве, отодвинуть, осушить влажную атмосферу за счет активности Атмана и Брахмана\* И в Индии так же необходимо дышит тысячелетия очаг духа (в религиях, в философиях), как в Европе, при недостатке солнца, горит очаг огня=Труда материального — снизу. Ну да: европеец, попав в парную индийского космоса, разваливается, слабеет, задыхается — как воины Александра Македонского, которые страдали здесь от влажного жара (огневода явилась и главным национальным защитником от завоевателя, щитом бытия, закрепленным за данным народом, так же как в России — русский мороз и «ветер, ветер да белый снег»), — если не причастится к индийской гигиене дыхания — духа-воздуха, впитывания праны — т. е. к духовной культуре Индии.

Что космос Индии — огневода, увидим, взглянув на костюм персонажа из театра Катхакали на вкладке между 622 и 623 страницами книги «Народы Южной Азии»<sup>28</sup>. Здесь верхняя половина от пояса — огненно-красная (красная ткань, а на ней золото украшений), а нижняя, юбка, — индиго-синяя, цвет воды. Так две основные сферы и распределяются: верхняя — огнесфера, ближайшая же к человеку — водосфера.

\* Ред.: Атман и Брахман — вне всякой активности, даже духовной. Они — точки, точнее, точка (Атман в конечном счете равен Брахману, он и есть Брахман: «Ты есть То») абсолютного покоя, неделания, чистого созерцания, единственная точка опоры в море активности. Индийский дух (Атман-Брахман) не дышит; стихия воз-духа и все, что с ней связано, — область активности майи, материи, т. е. неподлинного бытия.

И «медь у них в употреблении литая, а не кованая» (67). Т. е. от «лить», течь: земля превращена в поток расплавленной огневоды, и вещь создается течением жидкости, вода — демиург, тогда как в Европе медь куют: бьют, телесным наказанием размягчают, землей о землю, искры и слезы из глаза вещества вызывая и так чрез удар, труд (=огнеземля) форму силой, усилием и насилием лепя. «Однако он (Неарх) не объяснил причины этого (она — от склада космоса, а не просто от людского обычая), хотя и указывал на вытекающее отсюда неудобство, так как сосуды, изготовленные из такой меди, при падении разбиваются, как глиняные» (67).

Ну да: огневоды, потока творенье, сосуды эти землю, вертикаль не удовлетворяют в отличие от эллинских, которые суть огнеземли творенье: битые при зачатии ударом по вертикали, они получили прививку, иммунитет к падению — возможному в ходе жизни удару о землю.

### Эрос. Цвет. Запах

6.XI.68. Что из стихии воды нам еще можно извлечь? Нет в Индии стоячих вод (ср. северная поэзия прудов, озер<sup>29</sup>, омутов, в которых путь в глубь мира видится: в ад — «в тихом омуте черти водятся»; или озерная прозрачность глаз души северянки); нет и родников, ключей — живчиков, источников жизни, бьющих из-под земли, что так любимо в Германии, например: Brunnen<sup>30</sup> (что brennt: родник кипит, низовая огневода, фонтан), Quelle — источник = первопричина всего.

Одно уточнение надо о воде сделать: дождь-то ведь der Regen (немецкое) — мужеск, есть излинные семени неба на землю. И капля — der Tropfen. Сверху, от неба — света — огненной сферы падает вниз, вождедея, луч. Когда он проходит через сферу влаги (вода-воздуха), на него страстно наворачиваются пузыри-пары, обволакивают, и луч превращается в струю. По рельсам луча воды воздуха достигают земли — иначе они на воздушных подушках облаков парят, реют и носятся. Когда же молния-луч раскроит чашу облака, пробьет волей страсти дыру в ней, — тогда высвобождаются воды заключенные. Так что дождь внизу мокр, а сверху сух — есть бомбардировка паров электро- и световыми частицами, которые по мере падения одеваются в капли. Потому от дождя плодородие: не от капли, но от искры, в ней содержащейся. Капля же сама по

<sup>29</sup> «В Индии и Пакистане нет сколько-нибудь значительных пресноводных озер» (Народы Южной Азии, с. 19). А как важны озера для Севера и необходимы: в Кенигсберге, например, свыше ста естественных и искусственных озер.

Правда, в поэзии Индии частый атрибут — озеро и лотосы в нем. Но эти озера большей частью сооружены искусственно, имеют декоративное значение, надеты на бытие априорной структурой изящного.

<sup>30</sup> Колодец, источник.

себе — нейтральна. Ну да: гроза ведь явление электрическое, т. е. исходно — не мокрое, а огне-сухое. Но ток зарядов превращается в поток капель, которыми бомбардируется земля.

В джатаке о рыбе из «Гирлянды джатак» Арья Шуры вот как толкуется знойное время года:

«Постепенно подошло знойное время года, и пруд (пруд!), из которого, словно томясь от жажды, пили ежедневно и жадно, как будто измученные усталостью, и знойные лучи солнца, и изнуренная ими земля, и горячий ветер, жаждавший освежиться, — обратился в болото.

В невыносимый летний зной пылающее солнце и знойный ветер, как будто разражающийся пламенным дождем, и горячая, как бы больная лихорадкой земля, — все, словно в гневе, осушают воды».

(Все стихии — как животные: и огненный тигр, и бегемот земной, и птица воздушная — впились в воду: она словно прокладка меж ними, умеряющая, амортизирующая и живительная.)

И вот, «силою заслуг Великосущного и его правдивости... покazались на небе в необычное время черные тучи; они низко нависали под тяжестью воды (как чаши, сосуды), из них слышались глухие, приятные звуки грома (как акустика, звук в целом пространстве: туча — как зал концертный); лианами молний (лиана — рука, объятие, образ страсти) были украшены их громадные темные вершины — головы, как будто они открывали рты (туча = корова с рогами и выменем — ртом); казалось, они обнимали друг друга (эротический акт совершается в небе, в воздухе прямо), медленно склоняя головы и простирая вперед руки.

Как тени гор, те тучи черные темнели (тучи = водосы-эйдосы, прообразы отвердевших на земле гор — так это в космосе Индии, где вода — демиург) и, закрывая зеркало небес, ширь горизонта словно ограничив, распространяли всюду мрак вершинами своими (совершается акт творения мира — и такова всегда гроза).

И массы облаков, казалось, смеялись от сверканья молний (молния — мужское, облако — женское) и непрерывно гром приятный издавали (от сшибок тел в любовном трении), и в звонких гимнах воспевали их павлины, от радости танцуя.

Как нити жемчуга, струилися дождя потоки (вот: жемчуг = искра в капле: оттого она и светится, самосветна); пыль улеглась; и от пыли поднялся сильный аромат, повсюду разносимый ветром.

...И молния весь мир ежеминутно золотистым бледным светом озаряла; ее лиана, радости полна, под звуки турьи, что из облаков неслись, свой чудный танец исполняла»<sup>31</sup>.

Самоубийственно, испепеляюще в Индии вожделение неба

<sup>31</sup> Арья Шура. Гирлянда джатак, или сказания о подвигах Бодхисаттвы. М., 1962, с. 149—151.

к земле, и, не будь умеряющей влаги вод, орошающей, ясное солнце (свет) прямо пошло б на стыковку с братом — черным солнцем — тьмой, землей,— и оба б погибли, взорвавшись и рассеявшись в бытие; ибо свет и тьма должны быть удалены друг от друга: сойдись они (например, свеча и потолок) — и свет подавлен будет, и тьма потеряет свое имя и существование: станет неизвестно, что воцарилась тьма. Потому прокладка пространства меж ними нужна, коль бытие пошло в этом месте Вселенной (где Земля) на дело воплощения. Оттого является и цвет — благодаря призме воздуха и воды,— и запах, ароматы (на что в Индии развит утонченный вкус и культура — см.: «Кама-сутра»).

Цвет — свет, но не прямой, а преломленный (эффект призмы — спектр) под разными углами — ребрами, гранями, формами, видами, эйдосами, т. е. чистыми прозрачными формами, как они бытуют в воздухе, в пространстве, но еще без наполнения землей, материей<sup>32</sup>. Эти формы — готовность на материю, воспринять ее в себя, и потому суть заранее — съезживание рассеянного бытия, его самоорганизация в предвидении наполнения (это как у Канта априорные трансцендентальные формы возникают в нашем сознании до опыта, но его именно в виду имея, ориентируясь на возможный опыт, к нему подготавливаясь). Цвета-то ведь и в небе: закат, радуга. И цвет — духовный символ (во флагах национальных и гербах).

Запах же небо, свет, воздух, высь не имеет: *coela pop olent* — «небеса не пахнут» (перефразируя индустриальное: *pecunia pop olet* — «деньги не пахнут»). Запах — гарь земли, ее ответ, ее клич лучу: «да», согласие (тогда — благоухание), или «нет», отращение (тогда смрад и зловоние, как чернь — самозащитное оружие у каракатицы в воде). Запах подымается снизу, как цвет накладывается сверху. И он пьянит — как опиум и собственное курение земли, что делает неадекватными пьянь от напитков, которые как раз распространены в непахучих, абстрактных, с точки «зрения» ароматов, космосах Севера: России, Скандинавии и т. д. Спиртные напитки там исконны, куренье ж — наносно, тогда как в южном космосе вино — излишне, заносно и запретно (ислам), а куренье естественно, органично: здесь зоны опиума, гашиша, сандалового дерева ароматов или священной травы куша (Кифа), возжигаемой при жертвоприношениях<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> Как на картинах Чюрлениса: внизу маленькая плотная черная лодка или мельница, а в воздухе, в небе носятся, как платоновские идеи, ее радужные прообразы разной степени плотности и величины (как херувимы, серафимы или прочие чины небесной иерархии).

<sup>33</sup> Запах, поскольку он есть огнеземля, — питателен. Мегасфен рассказывает — пусть иногда небылицы, но характерные — о безротых людях: «...это были кроткие люди, живущие у истоков Ганга. Питаются они только испарениями жареного мяса и запахами плодов и цветов, так как вместо ртов у них лишь дыхательные отверстия, они страдают от зловония и поэтому с трудом выживают, в особенности в военном лагере» (57).

Цвета в Индии, ее палитра тоже многоглагольна. Яркость, броскость красок (попугай, павлин), их насыщенность. Недаром один цвет, а именно ярко-синий, так и называется «индиго»<sup>34</sup>. Цвет — жизнь. Свет — бытие, истина. Очень трудно в Индии из-за плотного, пахучего, ароматического слоя жизни разглядеть бытие, к нему вознестись. Потому воспомоществование религий, мудрости, йоги требуется. Жизнь здесь дана, бытие — искомо.

Другое дело — на Севере. Здесь серый цвет — цвет рассеяного бытия — дан полгода, и к тому же то и дело поступает и в иные, относительно цветные полгода лета. Столь же бытийствен цвет белый — цвет истины = естины, которая есть второй этаж бытия, более ближний к существованию и людям, — потому их прямо собой покрывает (снегом, саваном). Цвета же все здесь неярки, блеклы, рассеянны (розовый, голубой и т. д.). Жизнь здесь лишь пунктиром намечена, а бытия — хоть отбавляй: оно — данность. Потому устремление человеческой активности здесь: из бытия — в жизнь, ее создать, уплотнить, помочь ей трудом, тогда как в Индии устремление человеческой активности — на приглушение прущей преизобильной жизни (идеал буддизма: нирвана — букв. «угасание» — одно из значений), удушающей дух. Здесь природа не дает от себя роздыху: вечна зелень (зеленый — цвет природы) — вечнозеленые растения, деревья покрывают страну, занимая зеленью глаз и не предоставляя ему того последовательного разнообразия цветов во времени, что составляет основную прелесть жизни в Европе и где времена года — основной предмет лирической поэзии и философских медитаций: скоротечность жизни, смерть, но и возрождение<sup>35</sup>.

## Времена года. Страны света

Времена года не выражены в Индии резко; не имеет бытие столь контрастных перепадов и вытеснений, а всегда пребывает сравнительно однородно — вечнозеленым. Ну да: в Европе непрерывно один космос абсолютно вытесняет другой — на том же пространстве; на экране данной земли иной кадр бытием инкрустируется, иные письмена наносятся, так что

---

Говорится там же и об «амикторах» — безносых (т. е. отрицание запаха), о племени «всаядцев» и «сыроядцев», что в логике космоса Индии, где «из облаков там льется уже кипяченая вода» (23), — возможно.

<sup>34</sup> Цвет-«варна»; социальный класс (каста) есть краска, и 4 варны — брахман, кшатрий, вайшья и шудра — образуют спектр индийского космоса. Недаром каждый социальный слой имеет присущий ему цвет: брахман — белый, кшатрий — красный, вайшья — зеленый (синий), шудра — черный. См. об этом у Дюмезиля — о трехчленности индоевропейского мировоззрения (Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986).

<sup>35</sup> Конечно, медитации о смене так называемых «времен года», сезонов, наличествует и в индийской поэзии. Напоминаю — везде у меня речь лишь об акцентах и соотношениях.

от прежнего — лета — не остается ничего подобного зимой. Полная смерть, абсолютная ограниченность явлений. Зато потом и чудо возникновения — из ничего, рождения цвета из света, краски из белизны, зелени из снега.

Резкая отдаленность явлений, тел, сущности, времен друг от друга дана; а их связь, воссоединить в мысли связь всего — является предметом духовных (и трудовых) усилий. Связи налицо нет — ее воображаешь, потому она — идеальна, идеализм.

В Индии ж — вечная зелень: лишь в мае—июне, сезоне жары, листва несколько опадает от суши (аналог осени). В однородном мареве есть колыхание, космос здесь не резких переходов<sup>36</sup>, от существа к существу (от человека к обезьяне), от сезона к сезону. Связь, текучесть и перетекание одного в другое дана (переселение душ; трансформизм налицо, он статичен в одновременности, тогда как в Европе трансформизм является в форме идеи эволюции, перетекания и смены форм во времени). Искома же статика бытия и Всеединое. Потому в Европе развилась наука, естествознание, в бесчисленных отраслях своих любовно проникающее и ощупывающее разнообразие бытия, для разных существ и качеств духовные рамки-модели создающее; а в Индии — умозрение, талант прозревать сквозь разное — единое.

Потому в Европе столь важна — ургична — категория Времени как распорядителя, от Бытия к нам поставленного: по его воле из рамки страны кадр лета вынимается и вставляется диалогически осени. Отсюда — упование на Время, на историю, и принцип «время — деньги». В Индии же со временем не считаются, оно там — мелкий божок, не из первых субстанций. И история в ее бытии еле намечена.

Но продолжим анализ эллинского восприятия Индии в походе Александра Македонского. Показателен сам маршрут похода в передаче Страбона: эллин жметя к горам и морю и избегает равнин и рек<sup>37</sup>. «Вместе с тем он (Александр) услышал, что некоторые реки сливаются в один поток и притом все больше, чем дальше они текут, так что эта страна становится все более трудно проходимой, в особенности же при недостатке кораблей. Из опасения этого Александр перешел реку Когру и начал покорение горной области, которая обращена к востоку» (26). «Путь до Гидаспа шел большей частью в южном направлении, откуда же до Гиспаниса — более к востоку; в целом путь проходил, держась более предгорьев, чем равнин. Как бы то ни было, Александр возвращался назад к Гидаспу и к якорной

<sup>36</sup> Даже в атомных теориях это проявляется: в Европе атом — частица самодовлеющая, «я», центр, ядро; в Индии (в буддизме) атомы = «дхаммы», проносящиеся частицы, пунктиры, волны, волевые промежутки. Индийский атом — тире, тогда как европейский — точка. Толкование дхамм дается здесь по Розенбергу (см.: Розенберг О. Проблемы буддийской философии. Пг., 1918).

<sup>37</sup> Эллинский страх реки проступает и в «Илиаде» — как бежали ахейцы от разлива разгневавшейся реки Ксанф, радевшей родной Трое!

стоянке кораблей, где он построил флот, и затем поплыл на Гидаспу». Напуганы были эллины слухами, «будто равнинные области выжжены солнцем и подходят более для диких зверей, чем для обитания человеческого рода» (32). У эллина, чья модель мира — шар, врожденный страх к плоскости.

Еще обратили внимание эллины на то, что реки в Индии текут с севера, а затем в широтном направлении расходятся, в отличие от Нила, который узкой полосой течет с юга на север; **«разлив Нила происходит от южных дождей, тогда как у индийских рек — от северных»** (19). Это сказывается на иерархии стран света в индийском мировоззрении, где наиболее почтенен — восток (откуда солнце), затем север (где «Хима» = зима — «лаи», горы и воды), запад и последний — юг<sup>38</sup>. **«Поскольку, продолжает он (Аристотель), нильская вода протекает по прямой линии через узкое и длинное пространство земли, меняя на своем пути много широтных и климатических поясов (как каскад по шкале сезонов, водопад по времени), тогда как индийские реки, напротив, разливаются по равнинам большей величины и широты, долго оставаясь под теми же широтами, постольку индийские реки более питательны, чем Нил»** (23). В Ниле, пока он проходит разные климатические пояса, сезон уничтожает сезон (как смена времен года на севере), так что добро от одного пояса не прибавляется, а нейтрализуется добром от другого. В Египте — приверженность к оси земли: Нил и есть ее воспроизведение водными средствами. В Индии ж — к ее суточному вращению: на восток стремится Ганг, в запад впадает Инд. Рекамы подчеркнута, дублирована широта. Пара восток—запад в индийском сознании может иметь большее значение, чем север—юг (в отличие, например, от Англии или Италии, где соотношение обратно). Остальные страны мира более или менее равносторонни, равнозначны и равнодушны в своем отношении к странам света (Китай, Россия, Германия, Франция, США и т. д.). Гимны Ригведы во многом предназначены, чтобы стимулировать очередной восход солнца, зари, Ушас, помочь им подняться песнопениями брахманов. Если брахман проспит, солнце может и не взойти на небо.

При устройстве мира и человека космос Индии был как бы обделен воздухом, человек — легкими; потому эта сфера бытия здесь нуждается в особом пестовании, культе и культуре — духовной. Платон в «Тимее» так понимал соотношение стихий в устройстве человека: **«Предвидя же возможность сердцебиений от ожидания ли чего-нибудь ужасного или прилива гнева, зная, кроме того, наперед, что во всякой подобной вспышке кипучих**

---

<sup>38</sup> «Выносить умершего шудру полагается через южные городские ворота, (тела) же дваждырожденных в соответствующем порядке — через западные, северные и восточные» («Законы Ману», V, 92). По комментарию С. Д. Эльмановича, «вайшия — западными воротами, кшатрия — северными и брахмана — восточными». По А. Я. Сыркину, «на севере, по преданию, находится мир богов, на юге — мир предков» (Чхандогья упанишада. М., 1965, с. 209).

состояний главную роль будет играть огонь, и придумывая, какую бы помощь оказать сердцу в этих состояниях,— боги устроили и приладили к нему механизм легких (как радиатор и водяная подушка при моторе, для охлаждения разгоряченного двигателя), которые и мягки и не наполнены кровию и, кроме того, наподобие губки имеют чрез всю внутренность просверленные скважины, для того чтобы они принимали в себя воздух и влагу, охлаждали сердце и этим доставляли ему освежение и успокоение в состоянии разгорячения. По этой же причине они провели в легкие особые каналы от дыхательного горла и обложили сердце легкими, как бы подушками, чтоб оно во время сильного волнения, ударяясь об это эластичное тело и охлаждаясь от прикосновения к нему, с одной стороны, само себя меньше изнуряло, а с другой — больше повиновалось разуму и его (вышним) порывам»<sup>39</sup>.

Итак, легкие — водовоздух для умерения преизобильного дарового огня в мире и человеке. Потому в Индии не как в Северной Европе и Руси огонь, тепло, жар есть источник жизни, но «прана», которая духовно-влажной природы (как и более сухая «пневма» эллинов Анаксимена и Гиппократы) и которую человек поглощает через правильное дыхание, тем овладевая «гунами», собой, материей, телом,— и сам тем разрабатывая сферу воздуха в бытии, раздвигая воздуху место, раздувая не огонь, а воздух, его умножая в бытии, недостатку его своим духовным усилением восполняя. Подобное и в буддизме, который антиогнен («огонь желаний») и борется с ним через кротость (воду) и духовность.

Кстати, по всему выходит, что связь огня с воздухом: что воздух поддерживает горение — не была знаема ни в эллинизме, ни в Индии, да и в Европе до XVIII в., до Лавуазье. Огню друг — земля: материал для горения, враг — вода; воздух же — относительно нейтрален. Но это в общем и сейчас так: в воздухе лишь четверть его — кислород — поддерживает горение, а две трети — азот, что душит огонь.

## Животные и человек

7.XI.68. Всякий, кто со стороны, особенно из Европы или Руси (как Афанасий Никитин), попадал в Индию, дивится кишашему множеству животных там и их невиданным размерам, формам и свойствам. Индия — это тропики, жар и влага, горы и вечно-зеленые буйные леса, диковинные животные и чудеса в людях (фокусы факиров, йоги, мудрецы). Где-нибудь в степи, в поле, в море, в снегах, человек — выдающийся есть пуп. Там, где жизни мало иль нет, если там дома, корабль, сады, жизнь — то это человек причина, и имеет право быть предметом восхи-

<sup>39</sup> Платон. Тимей. Пер. Карпова, с. 70.

щения бытия и своей гордости. Но в Индии человек лишь иждивенец благодатной всем природы, нисколько не более важный, нежели обезьяна, а тем более слон: на нем не меньший отблеск божественности, нежели на человеке. И чем человек здесь может быть славен, так это не тем, как он славно устроил жилье среди небытия (европеец и русский справедливо будут хвастаться домом и уютом, делом рук своих и труда, ибо здесь, в холодах, принцип: действовал — или замерзнешь), но тем, как он обуздал жизнь, остановил природу и вот сидит, неизбежно в падмасане — позе созерцания, остановив течение жизненных соков и дыхание, — или истаял и самосжегся. Здесь, в космосе преизобилия благ жизни и влажного жара, принцип: замри или вспотеешь, а чуть шевельнешься — можешь раздавить жука, который, может, брат твой родной по прежнему или будущему рождению.

Так что если в Европе, по их космосу, справедливо ставят вопрос: люди или животные, и во всех выкладках европейских философов (Платон, Аристотель, Гоббс, Руссо, Кант, Гегель, Маркс) начинают с самоотличения человека от животного, резкую грань меж ними междуя: «люди — не животные», — то в Индии даже законодательство Вед, Ману, буддизма относимо и к животным (и к облакам и деревьям — это уже меньше): все существа должны вести себя праведно. Ведь Бодхисаттва в разных своих воплощениях дал образец, как должно вести себя, будучи птенцом перепела, рыбой, обезьяной, зайцем, оленем, буйволом, оленем, слоном и т. д. (см. джатаки)<sup>40</sup>.

Но сам буддизм, не включая растения, камни и металлы в живое, узок и эгоистично-человечен в сравнении с джайнизмом, по которому «не только люди и животные, но все, начиная от Солнечной системы до капли росы, имеет душу... Растения являются дживами с одним чувством. Каждое растение может быть телом одной души или может иметь множество воплощенных душ... Те растения, каждое из которых представляет собой колонию растительных жизней, могут быть тонкими, а потому и невидимыми и распространяться по всему миру»<sup>41</sup>. То есть, существуют мировые растительные души-боги: один отросток одной души вот этим дубом на Черном море воплотился, а другой — морозным узором на окне автобуса в Москве.

В Индии нет такой резкой грани, как в Европе, между животными домашними и дикими<sup>42</sup>: и обезьяна сегодня здесь (во

<sup>40</sup> В Ведах, в Махабхарате, в «Законах Ману» это законодательство нечеловеческим существам дано имплицитно, подразумеваемо, но иногда и эксплицитно, как в первой главе «Законов Ману», где объявлены дхармы растениям и животным: «какого рода деятельность установлена здесь для каких живых существ, это подлинно объявлю вам, а также способ рождения» (42).

<sup>41</sup> Радхакришнан С. Индийская философия. Т. 1. М., 1956, с. 272.

<sup>42</sup> «Благодаря бережному и покровительственному отношению населения животный мир весьма богат и птицы иногда становятся бичом сельского населения (в Европе этого бы не допустили: животных бы истребили, коль мешают выгоде человека)» (Народы Южной Азии, с. 20).

дворе), а завтра там — в лесу, и священные коровы разгуливают по аэродромам. Приручение (N. В.— сам термин от слова «рука»: «своя рука — владыка» — европейско-германский принцип, где Кулак из основных национальных архетипов<sup>43</sup>) не столь здесь насильственно и связано с изменением породы, как в Англии, где, от искусственного отбора исходя, Дарвин задумался об естественном отборе в природе: т. е. узкий человеческий подход и труд ради корысти и целесообразности — опрокинул на природу: будто и она конечна и страхом смерти подгоняема и действует по принципу экономии, как рачительный фермер.

В Индии явно бытие совместило многие миры существ, повелев им сжиться в мирном сосуществовании<sup>44</sup>, а не по европейскому принципу исключительности: или я (человек), или они (леса, волки...), отчего история общества в Европе начинается с вырубания, выкорчевывания и сожжения лесов, с истребления хищных животных и т. д. Здесь это понятно: скудна жизнь, ее не хватает на всех, приходится бороться и принцип силы (хитрости—ума) выдвигать (и в науке европейской: все «силы» — тяготения, тока, атомного ядра, передовых классов). Но возможно другое совершенство в живом существе: суметь так прожить, чтоб своим вторжением не осквернить ни на йоту круговращение по своим орбитам других миров и присущих им существ: боги, асуры, гандхарвы, апсары, ракшасы, якши, пшачи, человеки, слоны, змеи, попугаи, обезьяны — это же все как марсиане, венериане, сатурниане, земляне, со своим совершенным в своем роде строением, укладом общежития и понятиями. Если я чувствую лишь себя и понимаю лишь свой уклад, да еще объявлю себя царем существ и природы, так что право силы: «сметь!» беру на себя,— я ее всю переколошматю по своему скудному умишку, а потом в растерянности буду глазеть, как дело рук моих обрушивается на меня (машины давят людей, атом взрывает цивилизацию, а взрыв Земли может необратимые последствия вызвать и в орбитах Меркурия, Юпитера и всей Солнечной системы, и во вселенной).

Таков возможный результат принципа избыточного Я, его вторжения в бытие через силу и диктат своего ума и воли. Этот подход, однако, не своеволен и случаен: само бытие, поместив человека в непригодном без его активности космосе Европы,— подсказало ему, натолкнуло на принцип действия, который, стало быть, бытию так же угоден и требуется, как и индийское уважение к другим существам, их формам и их законам. Но вот чудо! Добро бы в Индии не плотно жили разные народы, а разделены б пустыми просторами (ну как в России), тогда терпимость понятна — места вдоволь, так что можно исповедовать

<sup>43</sup> Кулак по-немецки Faust, т. е. Фауст,— почти синоним германского духа.

<sup>44</sup> «Большинство наших домашних животных у них встречается в диком состоянии» (Страбон, XV, 1, 56).

принцип: сам живи и другим жить не мешай. Но в Индии-то все притерто, переплетено, кишмя кишат существования: голову повернул — и уже проткнул лбом орбиту меркуриан, допустим. И тем не менее в согласии и в многопринципье течет многоплановое бытие<sup>46</sup>. У нас, на Западе, принципиальность — это значит исповедовать один принцип, но не как смиренный, а как воинственный, так чтоб со своим уставом в любой чужой монастырь соваться и в этом видеть похвальное: я — принципиальный, значит, не для себя, а для принципа стараюсь, значит, мне все можно. Это рассуждение — тоже из гниертрофии «я», принципа личности. Уж настолько оно разрослось, что всякий, кто чем угодно его смирил (круговой или порукой блатного мира, вступлением в какую-либо другую часть-партию, вдохновением ли творчества, любовью к Богу), уже похвален по принципу: чем бы дитя ни тешилось (чем бы ни укротить), лишь бы не плакало = лишь бы «я» о себе не кричало.

В текучем космосе Индии само собой разумеется ненастаиванье на «я», которое и так рассеянно и рассеиваемо, так что это не проблема — соединение «я» с Целым, как на Западе. Проблема возникает уже на другом уровне: как быть (а не как жить)<sup>47</sup> среди разной жизни, которая тоже, очевидно, причастна к бытию и от него себе тоже слово и закон имеет? Так что непротивление и ненасилие чужеродному (которое европеец ничтоже сумняшеся обзывает «злом»: зло — это то, что мне непонятно, что не есть «я») — есть первая заповедь бытия в космосе Индии. С другой стороны, если совершается война и я иду убивать своих братьев, родственников, наставников (как Арджуна, выезжая на поле Куру в завязке «Бхагавадгиты» — книги «Махабхараты»), то опять же не «я» иду убивать «своих», так что на мне грех и ответственность и я могу и должен что-то изменить, — нет, я должен исполнять дхарму кшатрия, т. е. вести себя, как присуще тому, которому по структуре

<sup>46</sup> Если же бытию угодно положить предел каким-либо существам, то оно делает это своими руками-реками, а не активностью людей: науськивая их на змей, например, как китайцы на воробьев: «Неарх удивлялся множеству пресмыкающихся в Индии и их зловредности. По его словам, во время наводнений животные сбегают с равнин к поселениям, недоступным наводнению, и наполняют жилища. Из-за этого жителям приходится устраивать свои ложа на возвышениях (т. е. потесниться, чтоб дать место и эвакуированным), а иногда даже покидать жилища, когда пресмыкающихся слишком много. Если же большая часть их не погибнет от воды, то страна может превратиться в пустыню» (45). Вообще попадающие в Индию дивятся изобилию даровому, а в Китай — богатству трудовому, от искусства; в Индии же оно — от бытия, на пенсии у которого как бы существует сей космос.

<sup>47</sup> Когда это слово одно лишь раздалось в Европе: to be or not to be («быть или не быть» вместо to live — «жить»: «как жить?», «жить же надо!», «что делать?», которые все узкие, житейско-корыстные, человеческого лишь уровня вопросы), европейский мир обомлел, услышав в этом прорыв из иных орбит, набат бытия. Но быстро закрылось небо, и облака приземлили на более земные хлопоты в казенном доме: что делать? куда идти? и т. д. Лишь слыша философов, как гуси на гром, задирают на миг головы и опять окунаются в свои благие пропитанница.

своей — вращаться на орбите=по закону касты воинов и по их доблестям: долг кшатрия — мужественно сражаться, не щадя жизни своей и чужой, а супротивника себе не он выбирает, ему подставляет его бытие, а оно знает, как ему распорядиться своими существами и когда кому срок приспел этого воплощения и пора переходить в существование на ином уровне. Так что, коли убьет своего старого наставника Дрону, Арджуна не неблагоприятность совершит, а даст учителю, кроме смертных мук, и насладиться плодом школы своей и поможет ему стяжать доблесть и заслугу (ибо умереть на поле битвы — счастье кшатрия) — и в свое время перескочить электрону на другую орбиту, а на этой, значит, умереть.

Так что главная добродетель человека в индийском космосе — это подозревать возможность иных существований и так, с широкими мозгами, найти и выверить и четко исполнить именно себе присущую дхарму<sup>48</sup>. А это, когда знаешь наличие и возможность рядом живущих существ по иным, отличным дхармам,— трудно. В Европе, где только я один, человек, царь зверей, живу,— легче иметь однозначный закон, очищенный до абстрактного правила: «люби ближнего, как самого себя», или «поступай согласно такой максиме, чтобы она могла послужить принципом всеобщего законодательства» (категорический императив Канта). Мерила здесь: «я» и «все» — люди, о которых я могу судить опять же по себе: что им хорошо, а что плохо.

Но в презнобильном существовании космосе Индии мало такого абстрактного правила, нельзя брать себя, человека, мерилом истины (Протагоров принцип: «человек есть мера всех существ, существующих — что они существуют, несуществующих — что они не существуют», — смехотворно узок и убог в Индии), ибо сам человек — текучий пунктир, тире, глагол-связка, а кругом много иных, более устойчивых и прекрасных существований и их истин-естин: Ганг, слон, павлин, заря Ушас и т. д. И надо или знать их дхармы, структуры и законы этих существ и их миров,— или, если это не открыто, благородно воздерживаться от суждения и действия» и не рыпаться, а исполнять открытую мне мою дхарму (а она мне заповедана устройством моего существования — в письменах кровообращения, волос, ума и его слов к телу и их конфликтов).

---

<sup>48</sup> Вот Мегасфен сообщает: «Нередко случается, что в одно и то же время и в одном и том же месте войны стоят в боевом порядке, рискуя жизнью в бою с врагами, а земледельцы, не подвергаясь опасности, пахут и копают землю под защитой воинов» (40). По мировоззрению европо-русской тотальности и вездесущности и ко всему способности и переходимости «я», здесь бы надо мужикам с дреколем встать «всем как один» на отпор врагу. Нет, не воздается в Индии понятию «врага» и «зла» столько чести, чтоб всезахватывающим в народном сознании стать и расстроить органическое разделение дхарм — способов существования разных каст=миров существ. И многократно вызванивается в «Бхагавадгите» повеление: «Лучше плохо выполненная своя дхарма, нежели хорошо выполненная чужая».

Невмешательство в мир руками («рукам волю не давай»), зато словами, мыслями — вот чем человеку дано вторгаться в мир, раздвигая зону воз-духа; и индусы используют слово, гимн, мысль активнейше: культ вызывает к существованию мир богов, слово брахмана помогает солнцу подняться на небо: бытие насквозь психично; по индусам и по буддизму, психология и психотерапия и есть онтология и метафизика бытия<sup>49</sup>, что сказывается и в способе казни. **«Жертвенное животное не закалывают, но душат, чтобы принести его божеству неизувеченным и невредимым»** (54).

Эллины в Индии удивляются любви индусов к животным: не колют коров, не мешают обезьянам разгуливать, — вообще тому, что там есть этот «институт» священных животных и так их много. Но это все как раз признак широты мировоззрения, допущение иных, нежели наша, людская, возможностей бытия.

На это расширение мозгов и представлений оказываются способны и иностранцы; попав в индийский космос и заразившись его удивлением бытию, начинают бормотать то, что по возвращении, в трезвом уме, у себя в Европе иль на Руси принимается за рассказы и чудеса. Страбон скептически посмеивается, однако не без подозрения на истину приводит рассказы эллинов, побывавших в Индии, о ее диковинах. Абисар «содержал двух змей: одну — в 80 локтей, а другую — в 140, как говорит Онесикрит. Последнего скорее следовало бы назвать главным кормчим небылиц, а не кормчим Александра. Действительно, хотя все спутники Александра предпочитали выслушивать чудесные истории вместо правды, Онесикрит, по-видимому, превзошел всех их по части басен. Впрочем, он рассказывает и кое-что правдоподобное и стоящее упоминания, так что даже недоверяющий ему не может обходить молчанием его сообщения. Во всяком случае, относительно змей передают и другие писатели, что их ловят в Эмодских горах и держат в пещерах» (28).

Описание Индии закономерно поэтому оказывается заполненным более сообщениями о жизни слонов, змей, их привычках, нежели о людях. Так и Страбон, начав перечисление семи (его число) социальных слоев в Индии, заговорив о третьем — касте пастухов и охотников, отвлекается на обширное описание охоты на слонов и вообще их повадок. Хотя люди в Индии загоняют и ловят и спутывают слонов, однако от этого не полагают себя умнее и священнее слонов: ведь и человека обкусывает мошकारа и съедают черви — так что такими комарами на слоне люди здесь смиренно себя толкуют. Недаром «коня и слона частному лицу держать не разрешается; конь и слон счи-

---

<sup>49</sup> См.: Пятигорский А. М. О психологическом содержании учения раннего буддизма. — Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 20. Тарту, 1968, с. 170—212.

таются царской собственностью, а уход за ними вверен особым надсмотрщикам» (41). Ну да: слон=небосвод, конь=ветер; конечно, они конгениальны, соразмерны ну городу, ну народу, стране, государству, а не частной капле — человеку. В Европе же, при выпуклости «я», физическое восседание поверх коня мнится отвечающим и бытийственной иерархии (жучок и клещик «я», конечно, может впиться в круп и глаз, в хвост и в гриву). И хитроватый русак Афанасий Никитин, без пиетета к лошадям, в Индии капиталец нашил как раз на торговле конями — как вещами, а не как священными существами. А что по бытийственной иерархии слон и конь бывают выше человека, вот откуда видно: при богах разные священные животные — слон Ганеша, обезьяна Хануман, а есть ли люди, даже в виде героев, — что-то мне не запомнилось... В Европе и люди есть на Олимпе: возлюбленный мальчик Ганимед; и герои в Валгалле...

И действительно, что есть слон? Да это же Сатурн и существо из этого мира. И год (цикл) обращения у него иной: «По словам Онесикрита, слоны живут до 300 лет, а в редких случаях даже до 500. Наибольшей силы они достигают около 200 лет. (По времени — и пространство (по Сеньке ведь и шапка!): размеры слона грандиозны.) Встав на задние ноги, они хоботом опрокидывают башенные зубцы и вырывают деревья с корнем. (И ум в них великий, но особый его склад и норы, к которому люди с благоговением прислушиваются. Во всяком случае, в индийской классической литературе, в драмах, страстный слон — дублер героя и героини, модель любовного поведения. Однако слону, как и марсианам Уэллса среди людей и их микробов, приходится туго: особая у них чувствительность на то, к чему человек туп.) «Однако слоны страдают множеством болезней, которые с трудом поддаются лечению. Лекарством против глазной болезни служит промывание глаз коровьим молоком (как человек-землянин лечится, например, уранием — металлом, представителем космоса Урана на Земле, ибо склад атома урания имеет тот же год распада и плотность, что присущи тем, кто пребывает на Уране); от большинства же других болезней помогает питье черного вина; при ранениях применяют топленое коровье масло (так как оно выводит из тела острые кусочки железа) (вот, вещество планеты „Корова“ — как магнит по отношению к железу, веществу Земли; так и Земля притягивается к Солнцу, гелию), а нарывы размягчают, прикладывая куски свинины» (43).

Другая орбита=дхарма существования, а значит, состав, ум и истина — у обезьян, и даже самоуверенные эллины перед ними заробели (умом, а не храбростью): «В упомянутом выше лесу, по рассказам, водится чрезвычайно много необычайной величины хвостатых обезьян, поэтому македоняне, увидев однажды на каких-то голых холмах множество их стоящими фронтом в боевом строю (так как это животное в не меньшей степени,

чем слоны, обладает почти человеческим разумом<sup>50</sup>), вообразили, что перед ними человеческое войско. Они двинулись было на обезьян, как на врагов, но, узнав истину от Таксила (бывшего тогда у Александра), остановились. Ловля этого животного производится двояким способом» (29). Ловля и ее приспособления суть освоение орбиты этого существа человеческими мерами: клей, мешок для обезьяны или ров для слона — априорные формы людских понятий-ухватов (Begriff, понятие. по-немецки буквально «ухват»), чтобы вз-ять, схватить суть этого существа.

Дважды отмечает Страбон особую страстную ярость у собак в Индийском космосе: четырех собак натравили на льва. «Сопиф приказал оттащить одну собаку, взяв ее за ногу, а если собака не послушается, отрубить ей ногу. Сначала Александр, жалея собаку, не согласился резать животному ногу; после того как Сопиф сказал, что даст ему взамен четырех, царь уступил, и собака позволила отрезать себе ногу медленным сечением, прежде чем бросила кусать свою жертву» (31).

Здесь в собаке тот же разлитый в воздухе Индии и пронизывающий существа Эрос, сила притяжения говорит, что и в особых притягивающих качествах веществ: «Некоторые (предметы), выделяющие испарения, также обладают способностью притягивать к себе и как бы поглощают летящие над ними предметы, как янтарь — мякину, а магнит — железо. Быть может, подобного рода естественные силы присущи и воде» (38). Из современного естества знания известно, как при особых условиях, например, при повышенном давлении или в условиях вакуума, иными становятся свойства элементов, так что в особом стечении стихий индийского космоса могут менять нрав и металлы, и люди, и воды: «В горной стране, продолжает Мегасфен, есть река Сила, на поверхности воды которой ничего не держится... существуют такие тонкие слои воздуха, что ни одно крылатое существо не может держаться на них» (38). Это почти вакуум, а идею возможности пребывать человеку в состоянии невесомости (парить, летать в трансе) давно открыли йоги.

## Мудрость Змеи

10.XI.68. Для Индии характерны змеи. Змея — волна. Ну да: весь космос Индии — текуч, марево, волновой (а не атомарной) природы, так что здесь естественнее возникнуть не корпускулярной, а волновой теории света. Что буддийский «атомизм» на самом деле имеет в виду потоки дхамм, тире, а не точки,— говорилось выше. Змея — это первоэлемент бытия: волна, павшая из рассеянного бытия на землю и воплощенная. Как вол-

<sup>50</sup> В устах эллина это хвала. Понять же, что слон имеет иной, несоизмеримый человеку разум и знает из бытия то, что человеку и не снилось,— это может индус, но не эллин.

на, змея—вода. Однако она же — и язык пламени, который тоже «змеится», вьется, ползет и взвивается. Змея жалит (т. е. жжет, спалит, сжигает). Яд — это капля-искра в концентрации. Это квинтэссенция индийского бытия, только не пятая сущность, а скорее перво-второсущность его. Ибо космос Индии определен выше как — огневода. Змея и есть воплощение этого принципа. Как язык жалящий пламени, змея — огонь, мужское начало; как волна — вода, женщина. Змей — представитель мирового Эроса сразу в двух ипостасях: женщинам является в сновидениях и уносит их в сказках огненный дракон — фалл (он же — искуситель Евы в Библии). В ощущении же мужчины женщина — змея лукавая, обвивается, оплетает и жалит язычком.

Итак, змей — существо, причастное к бытию и его тайнам. Наги (=змеи) — род существ такой же в индийской космогонии почтенности, как боги, асуры; во всяком случае, первее людей. Они участвуют в творении космоса. «И, сделав Мандару мутовкой, а змея Васуки веревкой, боги и все дайтьи и данавы начали затем пахтать океан, вместилище вод, о Брахман, помогаясь амриты (напитка бессмертия)» (Махабхарата: Адипарва, гл. 16). А грандиозное змеиное жертвоприношение входит в чреду основных космических событий вокруг битвы пандавов и кауравов на поле Куру (сюжет Махабхараты).

Потому и обращаются со змеями в Индии с пиететом: заклинатели змей музыкой, т. е. духовным касанием, уговором, опеванием на них воздействуют (а не как к другим тварям — силой, руками, материальными воздействиями). Нет, змея, слыша музыку<sup>51</sup> факира, узнает родную музыку сфер горних, откуда упала, и, заворожная, отрешается от работы своей на земле — казнить и отзывать существа назад в бытие. Да, змея — нить (судьбы, парки, норны), и когда она к человеку подползает и кусает — значит, срок ему подошел: то нить его к нему явилась, в предсмертьях открылась ему его суть и сторож, и ангел-хранитель, и с мечом казнитель.

Змей — самое мистическое и многозначное из существ. Змея — растение, ствол, вертикаль, связь между пространством подземным и недром земли осуществляет: ветви, ствол и корни — все змеевидны. Свойственность, что существует между змеей и растением, отмечает и Страбон, говоря о самых опасных тонких змейках не больше одной пяди. «Действительно, их находят спрятавшимися в палатках, в вещах, в стенах (как посланцы судьбы, притаившейся до срока, — как в черепе Олега коня). Укушенные ими с мучениями истекают кровью, которая льется из всех пор, а затем умирают, если им не окажут немедленной помощи. Впрочем, помочь легко в силу целительного свойства индийских корней и зелий» (45). Корень = зем-

<sup>51</sup> У змей нет органа слуха. «При заклинании на змей действует не звук дудочки заклинателя, а его движения». См.: Хаксли Дж. Людвиг Кох. Язык животных. М., 1968, с. 33.

ляная змея, обладает свойством нейтрализовать укусы змеи наземной — как отводить ток, заземлив его (так человека, пораженного молнией или электричеством, зарывают в землю, т. е. превращают его в корень). А змея — поскольку она — огонь, перун и молния павшая (та тоже ходит в небе зигзагами, змеится) — есть заряд электрический, а укусы — подсоединение, удар током. Недаром сходна реакция человека на удар током и даже просто на взгляд (не укусы) змеи: он содрогается (змеится), столбенеет, замирает, парализованный. Гипноз взгляда змеи и есть взгляд сверхсущности: сна, смерти, судьбы, — которая, из бытия спустившись, сгустившись, на нас свой луч направляет. А шутка ли, если эти сверхсущества, вездесущности, до того парившие в рассеянном бытии и оттого не могшие нам понятно явиться, — сгустились специально, сжались, перекрутились и вот жгутом проводов — сгустком сверхсил — на меня по трубке змеиной, чрез глаз ее обрушились снопом бытийственных лучей! Это как чрез колпак электрического стула меня насквозь пробивает, деревянит и обугливает.

Итак, змея — и растение, и животное. Она ползуча по земле, антивоздух, антидух, есть скорее выполз наружу черного солнца, его отросток и луч (струя нефти), вверх на землю из ада посланный. Змея — представитель Сатаны, лукавого. Ну, а когда говорят: «Будьте мудры, как змеи» — то ведь и Божий замысел змеей выражается. А образ вечности, символ Бытия: змея, свернувшаяся колесом и кусающая свой хвост, — сходение конца и начала.

Змея — животное, самодвижна. Змея — волна, т. е. уже и неорганическая природа тоже через змею выражима.

Недаром и смерть змее приходит чрез воду — разливы рек. Когда вода змеею заливает, она шипит, как и язык пламени, который тушат. «Неарх удивляется множеству пресмыкающихся в Индии и их зловредности. Если же большая часть их не погибнет от воды, то страна может превратиться в пустыню» (45). А пустыня — выжженная земля. Змеи — как ползучие языки пламени выжгли бы всю жизнь животную (жизнь по-славянски — «живот», и истинно живые — животные). Растения ж — более древнего и глубокого, к бытию близкого уровня. Их змея не тронет, на них бессильна; напротив, сама прячется в деревьях на сучьях, принимая благой вид растения.

Итак, выходит, что по времени и сути (что в некотором смысле одно и то же, ибо время, срок оборота — выражение сути, как число колец у дерева, как стоимость — время = деньги) змея переходна от растительного мира к животному царству. Ну да: она земноводно-пресмыкающееся, т. е. вылезание корня из земли и струи на землю, наружу, на самостоятельную жизнь. Однако конечностей еще нет: одно туловище, ствол, обрубок движется; нет разделения труда (голова, руки, ноги) — не расчленено ее понятие; и воздуха, выси мира не знает: не приподнята на сваях — конечностях, как дом — живот (= жизнь)

четвероногих. Ну да: ноги=сваи, чтоб над водой вознестись, стать телом с воздухом-душой внутри, в пространстве. Что змея — вода-огонь, видно из того, что змеи живут как в сырости, так и в пустынях и среди раскаленных камней в горах.

Кстати, то обстоятельство, что только в Индии есть заклинатели змей, т. е. способны люди находить общий язык со змеями, доказывает, что космос Индии — огневода, воплощенная равно и в феномене змеи, и в складе людей, здесь обитающих; так что змея — и язычок бытия, и язык людей, т. е. этого, здешнего космоса логос,— равноставны и могут быть эквивалентны и взаимопереводимы, могут узнавать друг в друге братьев<sup>52</sup>.

Еще чудесные существа=в'отелесненные сути, истины бытия в Индии: муравьи, роющие золото (37); энтокеты («спящие на ушах») «с ушами до ног, так что они спят на ушах и обладают такой силой, что вырывают деревья с корнями и рвут тетивы от лука» (57). Уши в нас, как знает китайская медицина, имеют, подобно коре мозга, точки, соответствующие всем органам, внешним и внутренним, тела: они имеют на табло ушей свои посольства — так же, как то, что совершается в недрах сложнейшей машины, отдается красными, синими огоньками и цифрами на доске перед наблюдающим. Потому укол в ту или иную точку на ушах оказывает воздействие на определенный орган. Силачи же индийские, что спят на ушах, все равно что обратили череп в кувалду. «Затем упоминалось другое племя — одноглазых с собачьими ушами, с глазом посреди лба; волосы у этих людей торчат дыбом, а грудь покрыта косматой шерстью» (57) и иные чудеса.

## Обычай

Что же отмечают эллины особенного в цивилизованных индийцах, в их быту и социальной жизни?

«Все индийцы отличаются скромным образом жизни, особенно во время походов; они не любят никакой беспорядочной возни (как броуново движение, анархия эллинских, европейских индивидов, каждый с „я“, — что требует укрощения сильной властью) и поэтому сохраняют дисциплину. Но больше всего они проявляют воздержанности в отношении воровства...». Вор отделяет вещи от человека, нарушает прирастание «я» к вещам, и это — бытийственное, метафизическое занятие. И Прометей —

<sup>52</sup> Змея, как и человек, есть синтез растения (ствол) и животного (самодвижение). Потому змей ближайшее имеет отношение к человеку (змеи — искуситель: внятно человеку его слово, имеют общий язык, братья), и посему антипод человека ближайше к нему воплощен в облике змея лукавого (извилистого). Так Люцифер (Сатана) — ближайший к Христу (Логосу) соперник, и если Христос принимает облик человека, то Сатана — змея. Ну да: Христос — он сам свет, а Люцифер — лишь «светоносный», т. е. отражение луча на теле, в'отелесненный луч — «волна» (13.II.69).

вор: украл огонь. И недаром столь распространено в космосах, где люди бытуют наиболее приближенно к рассеянному бытию и где люди должны раскалываться — и от денег, и от вещей отвязываться, и от насиженных мест и домов — и разметываться метелями природными или социальными по просторам, по пространству.

В Индии, стране тоже бытийственной, эллинам показалось, сравнительно с Европой, мало воровства вещей; ведь не нужно здесь много труда, и отсюда — привязанности к вещам, но благая природа все подает. Потом, воровство — горизонтальное отношение, оттяжка вещи от человека в сторону, что естественно в космосах, где даль и ширь интимны, в мире родимых сторонок и путей-дорожек дальних, тогда как в Индии важнее вертикально-кругооборотное, клубящееся отношение меж существами и стихиями.

**«...и это у людей, где нет писаных законов!»<sup>53</sup> В самом деле, по его (Мегасфена) словам, индийцы не умеют читать и писать, но разбираются во всех делах по памяти» (53).** Все это опять кажимость эллина (письменность в Индии уже была), но характерная. Письмо, бумага — вещь, отчуждение, дело рук. В Индии ж рот почтеннее руки, дыхание — огнеземли; культура здесь устна: знание гимнов, тех или иных упанишад. Брахман и есть живой пергамент, свиток: разверни — исполнит главу упанишад (на это заготовлен бытием).

Слово в Индии имеет иное, нежели в Европе, назначение в бытии. В космосе Европы оно более условно: знак лишь мира мысли, так что легко отменяется, если более совершенные и экономные системы знаков возникают: алфавит, математические знаки, ноты для песни и т. д. Материя воплощения вроде не срашена с содержанием мысли.

В Индии же сам дух более дыхание, более неотрывно телесен, так что заменить живое истечение слова из уст, с трепетанием воздушных струй, для слуха и пространства, значками для глаза и света — совсем не адекватное превращение, есть отмена как раз сути дела. Именно песнопением и в таком именно ритме раздражив воздух и пространство и послав соответствующие воздушные волны, цунами, в бытие, брахман может так

<sup>53</sup> Как отмечает Т. Я. Елизаренкова в предисловии к своему переводу избранных гимнов Ригvedы (рукопись), записывались Веды поздно, после тысячи с половиной лет безошибочного почти бытования в устной традиции. «Причем, даже будучи записанной, Ригведа продолжала передаваться устно. Причина этого заключается в том, что в Индии литература и наука были прежде всего устным словом брахмана, а не рукописью. (Это еще факт, а не причина; а бытийственная причина вот: в Индии уста важнее рук, слово — дела, тогда как в Европе, холодной и, по нужде, трудовой, слово застывает на морозе, так что здесь „больше дела — меньше слов“ — вот добродетель.) Рукописям не придавали особого значения, и в наши дни так же, как тысячелетия тому назад, ученые-пандиты обучают своих учеников (обучение это начинается с детства и длится многие годы) Ригведе и другим священным текстам индусов устным путем, не прибегая ни к каким изданиям и письменным комментариям».

его колебнуть, что реальную помощь оказать Солнцу — Сурье в его отлипании от низа мира, в преодолении силы земного притяжения (иль поверхностного натяжения вод Океана, из которого выныривает Солнце). И слово это должно каждодневно твориться, а не откладываться, как вещь про запас: Солнце же не может себе такого позволить: сейчас исчезну, а потом воздам сторицею — что оно вполне себе позволяет в космосе Севера (где полярная ночь и потом вечный день, зима и лето столь разны теплом). Оттого там, севернее, и мышление такое вырабатывается, что про запас оно как бы откладывается: в письмена, а не в сиюминутное колыхание, протекание мысли живой, телесной. Мысль — волна (в Индии) заменяется мыслью-атомом, вещью, отдельностью отграненной (в Европе). В Индии мысль-слово — марево, общее, коллективное устное достояние, как воздух, всеми устами приемлется. В Европе мысль есть «я-мысль», так же отвердевает в индивид, как и жизнь человека; оттого в Европе так важно индивидуальное авторство, прилепленность этой мысли именно к этому человеку, как вещь к вещи.

И сказать, что гимн, который поет брахман, есть мысль, — значит очень малое еще о нем сказать. Он так же есть и слово, и песня, и ритм, и утреннее отправление организма этого существа (как голошение птиц), и стрела от земли в помощь лучу солнца, как бы стартер луча — сонное солнце разбудить, и содрогание пространства, его колебание, некое прибавление к динамике бытия и т. д. Если в Индии «рукам волю не давай» — труду, зато мозгами, словами, гимнами — вот чем дано человеку вторгаться в мир, раздвигая зону воз-духа.

Д. Н. Овсяннико-Куликовский в работе «Религия индусов в эпоху Вед» исследовал космотворящую и боготворческую роль культа в Индии. «Дело в том, что в руках человека находится нечто такое, без чего боги не могут обойтись, сила, которая необходима богам, которая их питает, поддерживает их божественную мощь и даже бессмертие. Эта сила — культ вообще и „молитва“ (в ведийском смысле) в частности. Ясное дело, что такое понятие „молитвы“ как чего-то необходимого самому божеству, не есть наше понятие молитвы... Оно ставит человека на одну доску с божеством и устанавливает между ними отношения двух договаривающихся сторон». В Гимне РВ III.32,13 сказано «Посредством жертвоприношения я привлек Индру; я мог бы склонить его к новому благодеянию, его, который укрепился гимнами древними, средними и нынешними». «Прославим этого Индру, которого взрастили гимны» (РВ VIII.95.6). «Индру взрастили (упитали) гимны, как реки — океан» (РВ VIII.6.35). «Я побуждаю (привожу в действие) твое орудие посредством гимнов („речей“), я изошряю твои силы молитвой» (РВ X.120.5). «Равным образом, — продолжает исследователь, — бессмертие богов требует поддержки со стороны культа. Боги бессмертны, так сказать, потенциально; посредством культа это

бессмертие, если можно так выразиться, реализуется. Оно находится в таком соотношении с культом, как и их „рост“, „сила“, „оружие“».

Относительно же звучания гимнов: «Ведийская „молитва“ прежде всего есть *vac* („речь“) и *gig* („голос“), т. е. она непременно должна быть выражена в словах и пропета. Оба термина выражают представление речи-пения. Индийцы эпохи вед не имели понятия о молитве мысленной, о молитвенном настроении, независимо от его выражения в слове (ср. „умная молитва“ в византийской церкви и немая — в лютеранской. Звук гимна в Индии — реальное бытие мысле-пространства<sup>54</sup>). Молитва... действует именно своими словами, их звуками, ритмом речи, чарами этого ритма.

„Молитвы“ понимались как нечто объективное, независимое от молящегося человека; это отнюдь не просто функция души человеческой, это как бы самостоятельные и к тому же одаренные сверхъестественной силой существа, которыми люди пользуются в своих отношениях с богами»<sup>55</sup>.

Значит, брахман (молитва и каста, ее творящая) непрерывно совершает основной космогонический акт, поддерживает пазы и суставы мироздания в порядке. Служба брахманов — питание мира как строя. Такой идеи нет у эллинов: космос их сам собою держится. У индусов же космос питается дхармой людей, более психичен.

Потому в Индии душа онтологична, а бытие психично: дух и дыхание взаимоперетекаемы, человек отверзт, а не отделен от бытия крышей своей черепной коробки, и не укутан в свое тело, как в одежду и дом, что так твердо и стеноподобны в Европе и на Севере, где их функция — отделять, обособить человека от бытия (так же как органов чувств, которые, по германцу Канту и скептикам-англичанам: Беркли, Юму, — не связь наша с миром, но стена, от него отделяющая). Так что, вдыхая, мы засасываем в себя прану, мировой Брахман в свой атман: они сообщимы<sup>56</sup>.

А раз все открыто есть, течет и пребывает сразу, то не нужно закладов, удостоверений: «Так, в этой стране нет процессов о закладах и доверенных ценностях; им не нужно ни свидетелей, ни печатей, но все верят тем, кому поручают свои ценности. Домашнее имущество обычно без надзора» (53). Ну да: ведь слова человек произносит, обещание дает, клятву<sup>57</sup>. В откры-

<sup>54</sup> См. об этом в Брихадараньяке и Чхандогье упанишадах и в комментариях к ним А. Я. Сыркина.

<sup>55</sup> Цит. по: Избранные труды русских индологов-филологов. М., 1962, с. 151—155.

<sup>56</sup> О том, что психология и психотерапия в космологосе Индии суть одновременно онтология и гносеология, см.: Пятигорский А. М. О психологическом содержании учения раннего буддизма, с. 170—212.

<sup>57</sup> Широко ли распространен обычай клятвы в Индии? Проблема здесь в том, что клятва есть способ подкрепить слово, значит, оно без того слабо: это естественно в более закрытых космосах, где не все видно и слышно и

том бытия, как на духу: Брахмо слышит его колебания воздуха, и воздух запоминает, так что отомстит при нарушении. А там, где лето уходит напрочь, а вместо него белая зима воцаряется, — тут уж нужны залого и заклады: притом что на место бытия становится ничто, а потом бытие из ничто возникает. Как поверить зимой, что лето было, что лето будет? Ведь не подтвердишь этого прямым созерцанием и наличием, глянув в окно: нет его в непосредственной чувственной достоверности. И надо чрез опосредование: залого и удостоверения — его образ вызвать: чрез вещь, от лета оставшуюся, например хлеб; семена на посев = залого будущего прихода лета, чем оно сейчас бьется об заклад, что придет. Все это — отчуждения, опредмечивания, как и письменность, и клятва, и удостоверение. И слово здесь дается в дому, под крышей: бытию, значит, невидимо и неведомо, оно — не свидетель. Потому вещи и людей назначают в свидетели. И недаром в Элладе клянутся водой, Стиксом, т. е. стихией открытого бытия, — тем самым как бы не в доме, а в космосе слово произносят, и ему препоручают быть свидетелем и чтоб «Мне отмщение и Аз воздам».

**«Это, конечно, все разумно (что нет воровства, простота их и доверие друг к другу). Но никто, пожалуй, не одобрит другого их обычая — всегда жить только для себя... (Это неожиданно: добры, доверчивы — эти качества мы привыкли связывать с коллективизмом, духом общины. Между тем в Индии как нет твердого «я», так нет столь острой нужды и в совокупном «я» — общине, коллективе, обществе, в которые северные народы входят, как в дом и город, отгораживаясь ими от природы, от бытия. В Индии человек, живя, прямее причастен бытию, открыт ему, а не через посредство лишь круговой поруки общины, мира, класса, народа, страны, вероисповедания к нему приобщается. А касты? Касты — как породы существ людских, они не стоят горой друг за друга: внутри касты член ее, живя по дхарме касты, все равно прямо с бытием свою жизнь сообщает и сверяет.) ...и не иметь общего для всех часа обеда, завтрака, есть как кому заблагорассудится<sup>58</sup>; ведь другой способ еды более подходит для общественной и гражданской жизни» (53).**

Конечно, на Севере и в Европе, где жизнь — в домах и обществах и чрез отчужденные предметы протекает, пища есть такой предмет, общий залог, заклад; а совместная еда — удостоверение причастности данному коллективу: жевание есть каждый раз произнесение клятвы. Общая пища = общий дом, только не вне нас связующие крыша и стены, а внутри нас об-

---

трудно тайному стать явным. Потому на Западе и Севере, в Европе и России, так часто, направо и налево, клянутся, божатся — дешево это и буднично. На Востоке же клятва должна быть уникальнее и торжественнее. Уже у иудеев заповедь не упоминать имени Господа всуе и запрет на божбу.

<sup>58</sup> Этой же особенности — что каждый ест сам и в свое время — удивляется и Афанасий Никитин.

щий канат, на который мы нанизаны, общие кишки и адекватность. В Индии ж это расхлябаннее: как и дом легок, полувоздушен, открыт, так и еда — вакантна, дело аморфное, личное, как дыхание.

## Мужское и женское

11.XI.68. Повернутость жизни в надземное бытие сказывается в следующем парадоксе: индийцы любят украшения, драгоценности — их носят даже бедные и голодные, — но не копают землю в поисках золота, которое там есть. Страбон так об этом: «В стране Сопифа, как передают, находится гора, содержащая каменную соль (=солнечность материализовавшуюся) в количестве, достаточном для целой Индии. Неподалеку в других горах находятся замечательные золотые и серебряные рудники, как это указал Горг, опытный рудокоп. Так как индийцы не сведущи в рудокопном деле и по части плавки металлов и даже не знают о своих богатствах, то ведут дело довольно небрежно» (30).

Обратное этому — в Германии: там ум чтит глубину, взор вперен в недра земли, и вырастает народ гномов-карлов-нибелунгов-кузнецов. И кольцо нибелунга из недр выковано и на дно реки брошено. В Индии ж сами драгоценные металлы с неба падают иль, как ил, рекой наносятся: «Мифом является и сообщение Тимагена о том, что медь там лилась с неба дождем медных капель (возможно: осколки метеорита иль от молнии электролиз в атмосферных водах) и уносились (реками); ближе к истине рассказ Мегасфена о реках, несущих вниз по течению золотой песок» (57).

Все реки да надземная атмосфера — источники богатств, а не земля и ее недра. И взор индуса поэтому устремлен в пространство, а здесь свет, цвет, звук: украшения, побрякушки любят. В Германии же, чтящей глубь, напротив, аскетизм в отношении внешней красоты, и лютеранство всю эту нетерпимость немцев к средиземноморско-католическому вкусу и сверканию, украшениям, пышным одеждам, живописи и прочим радостям глаз — выразило, опустошив кирху, храм божий (=образ мирового пространства), от цветных металлов и оставив лишь холодный серый (цвет бытия) блеск труб органа<sup>59</sup>. А в Индии: «Относительно Кафеи передают как самое обыкновенное, что там исключительно высоко ценят красоту как коней, так и собак. По словам Онесикрита, самого красивого человека они выбирают царем, а относительно всякого новорожденного двухмесячного ребенка публично выносят решение, имеет ли он требуемую законом красоту и достоин ли он жить или нет.

<sup>59</sup> Ср. Тютчева «Я лютеран люблю богослуженье»: «В последний раз вам вера предстоит».

По приговору назначенного для этой цели должностного лица ребенок остается жить или его убивают<sup>60</sup>. (Рассказ очень эллинизирован: сильное государство предполагает, типа Спарты, берущее на себя бытийственное право жизни и смерти,— тогда как в Индии в принципе жизнь священна. Однако все равно важно: в Спарте и Риме решали вопрос о жизни ребенка на основе его физической ценности — склада земли в нем, а в Индии — на основании красоты: как выглядит в пространстве, угоден ли стихиям света и воздуха.) Мужчины раскрашивают себе бороды множеством пестрых красок, чтобы стать красивыми. Этому обычаю тщательно следуют многие другие индийцы (так как в их стране производятся замечательные краски), окрашивая волосы и одежду. Население, хотя во всем прочем и отличается простотой, страстно любит украшения. Рассказывают о таком обычае, характерном для кафеяцев: жених и невеста сами выбирают друг друга, а жен сжигают вместе с умершими мужьями по той будто причине, что они, иногда полюбив юношей, покидали своих мужей или отравляли их. Кафейцы установили этот закон, полагая, что это прекратит отравления» (30).

Клин клином: сжиганием — отравление, ибо оба — огненной природы: и огонь, и яд. Яд — кислота, сжигает — превращает твердь в окись (горючий газ недаром назван кислород). А смешал я в кучу вслед за Страбоном и любовь к украшениям, и сжигание жен потому, что все эти явления всевластного в Индии надземного космоса как источника жизни, всех благ и подателя мер и принципов. Яркая окраска, цвет — есть то или иное суждение луча, слово открытого бытия. (В помещении дома краски блекнут, остается свет и тьма, но не холодные: белые и черные, — а теплые, золотисто-коричневые, рембрандтовские, германские тона глубины душевной.)

А что значит следующее расположение пространства во дворце царя и тесное приближение женщин к его особе за счет отдаления стражи? «Уход за особой царя возложен на женщин, также купленных у родителей. Личная охрана царя и остальное войско расположены за воротами. Женщина, убившая пьяного царя, в награду вступает в супружество с его преемником, а их дети наследуют царскую власть. Царь не спит днем и даже ночью вынужден от времени до времени менять ложе из боязни злого умысла» (55).

Царь = огонь, Агни на жертвеннике, мужское. Женское марево вокруг, что обволакивает его, — это влажно-воздух индийской атмосферы, которая есть демиург индийской жизни среди бытия, и потому имеет право и власть рушить вялый Агни — душить пьяный фалл (т. е. водянистый, сырой). Это вертикально-пространственное соотношение стихий проступает в горизонталь-

<sup>60</sup> Не моя задача — выяснять достоверность сообщаемого; но характерная кажимость подлежит рассмотрению.

ной проекции во время третьего торжественного выхода царя (первый — в суд, второй — для принесения жертв). «Третий — на охоту, некоторым образом вакхический; при этом царь выступает в окружении женщин, а вне круга женщин идут копьеносцы» (55). Эти концентрические круги — распростертый на плоскости индийский надземный космос. Копьеносцы внешнего круга — это лучи огненной сферы вокруг сего мира. Более близкая, тесная к нам сфера — мировых вод, женского начала. Человек же — вертикаль, свеча в центре, горит как Агни.

В Европе человеку ангел — хранитель, мужской (или бесполой) дух. И царь окружен мужской свитой воинов. Огонь приближен, мужское начало усилено, хорошо — в холодах-то. В Индии (как и вот этот рассказ Страбона и как изображаются торжественные выезды в барельефах храмов и в литературе) царь окружен, его сопровождают женщины — как воды-хранители: «С обеих сторон путь процессии огражден веревками. Тому, кто пойдет за веревку к женщинам, грозит смерть. (Ибо то — нарушение космического миропорядка, чреватое пробоиной в атмосфере, куда хлынуть могут испепеляющие огни с внешней орбиты, где — жар, мировой тапас.) Впереди идут барабанщики и несущие колокольчики (раздвигая бытие звуком — как ледоколы на Севере проводят караваны). Царь охотится в огороженном пространстве, стреляя из лука с помоста (рядом с ним стоят 2 или 3 вооруженные женщины), а в неогороженных местах царь охотится со слона (=с тучи). Женщины же следуют за ним одни на колесницах, другие — на конях, третьи на слонах со всякого рода орудием, подобно тому как они выступают с царем в поход» (55).

Женщины — покров (как в христианской молитве: «покров мой дух святой», а Богородица, влага слезная — «прибежище», т. е. что не дано, а к чему прийти). Здесь же, в Индии, влага дана, окружает, как воздух, незамечаясь, и предохраняет и амортизирует стрелы гневного жара, в тропиках-то; воздух же — цель, усилие на него требуется; правильное, законное, нравственное дыхание, которому учат в школах, где воспитывают дыхание.

Вообще, переход от склада естественно-природного космоса к укладу социальному прямее всего разглядеть именно через отношение мужского и женского начал в обществе, отношение полов, уклад семьи, ибо мужское и женское есть то общее и связующее, что объединяет природу и общество, строй космоса и цивилизации. То, «что жители Кавказа открыто сообщаются с женщинами» (56), есть жизнь, открытая в космос, не прикрытая обособляющим человечество фиговым листом-крышей стыда, который есть опускание глаз долу, от ворот бытия поворот вспять, к себе, от бога — к «я».

Недопущение женщин к таинствам духа (в исламе, в индийских религиях) — это чтоб водой не залить огонь и воздух. «Брахманы не посвящают своих законных жен в философию из опасения, чтобы дурные жены не выдали непосвященным каких-

нибудь таинств (т. е. не пробили бы брешь в небосводе духа и чтоб он не улетел, воздух, иль не был залит,—герметической должна быть кабина корабля в космосе, и оттого герметичны для женщин и профанов многие духовные учения в человечестве), а хорошие — не покинули их. (То есть, хорошие женщины, приобщившись к духу, высушиваются, перестают быть женщинами-водами и испаряются, улечучиваются из жизни в пространство.) Действительно, презирающий удовольствие и страдание, равно как и самую жизнь и смерть, вовсе не захочет быть во власти другого. (А женщина, поскольку она есть жизнь<sup>61</sup>, ее источник, атмосфера, влага, если она станет презирать свой уровень и дело — жизнь, дезертирует от своей дхармы, сорвется со своей орбиты,—дело преизобильной жизни, к которому бытие назначило индийский космос, будет предано и сорвано. Так что в этой герметичности учений духовных для женщины надо видеть не их, учений, гордыню и самопревозношение, но, напротив, их смирение: они понимают свою частичность в бытии, что лишь на некоторое умножение воздуха и высушивание и охлаждение космоса влажно-жаркого назначены, что пристало делать именно мужчинам; однако они не позволяют себе вторгаться с этими учениями на другие уровни бытия, заражать их собой и нарушать исполнение своих дхарм существами других орбит, в частности — женщинами.) **Таковыми должны быть добродетельный мужчина и добродетельная женщина» (59).**

---

Несколько — о методе принятого здесь рассмотрения. Его постулат: (бытие) все во всем (насквозь просвечивает). Значит, цель мысли — установить прямое сообщение между всеми уровнями существ, вещей и идей в бытии; чтоб мораль понимала природу, а строение вещества мира (волна или атом) узнавало себя в змее и в библейском мифе о грехопадении. Чтобы все узнавало себя во всем сразу и понимало — минуя переродки опосредствований и постепенные пересадки на разных уровнях, без их корыстных феодальных таможен и сборов пошлин на свои понятия. В открытом космосе Индии (как во многом и в России) сообщение между всеми уровнями существ, вещей и идей возможно прямое, не опосредованное<sup>62</sup>.

Вот, например: «Из видов физического ухода за телом индийцы больше всего ценят растирание разными способами и, между прочим, гладят свое тело гладкой палочкой из эбенового дерева» (54). Кажется, эта особенность касается лишь уровня гигиены тела, не имеет отношения ни к духу, морали, ни к физике. Но вот спотыкаешься о слово «эбеновое». Из трения эбо-

---

<sup>61</sup> Ева по-древнееврейски означает «жизнь».

<sup>62</sup> В германском же космологосе, где основная модель — Хаус, дом, естественно распределение бытия на фундамент и надстройки, так что в следующий этаж не попадешь, минуя предыдущий, отчего здесь пересадки на опосредующие понятия необходимы.

нитовой палочки о мех обнаружили в древности явление электризации веществ, их взаимного притяжения (избранничества во Эросе) или отталкивания. Эбонитовая палочка, кстати, после трения скапливает на себе отрицательное<sup>63</sup> электричество.

Таким образом, трение эбеновыми палочками о кожу человека оттого доставляет чувственное наслаждение, что есть снятие с человека лишнего электрического напряжения, отвод его в землю, разряд на щеточки, как те, что собирают в генераторе,— или, напротив, насыщение, заряджение человека атмосферным электричеством, придание ему силы и бодрости. Царь, слушая дела в суде, одновременно массируется: «уход этот (за его особой) состоит в растирании палочками, так как царь одновременно слушает дела и растирается с помощью четырех массажистов, стоящих вокруг» (55). Во всяком случае, этот обряд — огненно-электрической природы<sup>64</sup>. В Ригведе много гимнов палочкам, из трений которых возникает Агни: они рождают его после трения=сонтия мужской палочки и женской дощечки (часто это уподобление в гимнах встречается).

Так у нас при рассмотрении=толковании прямо переходить можно от физики к религии, к морали (которая, по европейским построениям, основывается на удовольствии). Бытие все насквозь просвечивается во всем.

Высоко чтятся в Индии врачи (правда, они ниже брахманов-философов — увы нам в современном мире, где врач, конечно, многочтимее!). «Врачи... являются как бы философами, изучающими дела человеческие; они ведут простую жизнь, но не под открытым небом. (Как точно распределение людских профессий увязано в бытии! Философ-брахман, чье дело в Индии — дух, воздух, обязан жить на открытом воздухе, в лесу.) Философы пребывают в парке перед городом, в скромной ограде; они живут просто, спят на соломенных подстилках и звериных шкурах... Слушателю запрещено разговаривать, кашлять и даже плевать» (59) (то есть выделять воду, брызги: как дуть и плевать на возжженное и теплящееся пламя. А врач-философ тела человеческого, которое уже само есть закрытый дом в бытии,— может жить в доме.); «...питаются рисом и ячменной мукой, которую по их просьбе даст им всякий или кто предоставляет им гостеприимство» (60).

Врачи — как змеи, что из бытия приходят жизнь прервать; эти ж насылаются бытием к данному человеку, чтобы подкрепить его нить. Вот это кормление странников в Индии, как и в.

<sup>63</sup> Правда, это условно-европейское деление, где стеклянное электричество, скапливающееся на трудово-произведенном, а не естественно-природном, как эбеновая палочка, веществе, было горделиво принято за положительное.

<sup>64</sup> Как и китайское щекотание пяток, что говорит об ином складе стихий в космосе, где много электричества скапливается именно на полусе ступни, на стыке с землей: наверное, натруженные в работе и ходьбе ноги вобрали в себя электричество земли, по индукции она его в них навела,— и потому теперь приходится отводить это земное электричество в воздух: и поза потому лежа и приподняв над землею ноги.

России, и гонение нищих и бродяг в германстве — ср. Англия — явления не узко нравственные, но космические. Брахман, человек высшей касты, даже на стадии домохозяина, в идеале, нищенствует, кормится тем, что бытие подаст, не имеет запаса и на следующую еду<sup>65</sup>. Нищий — ничто, значит, он прямо соприкасается со всем, состоит на пенсии у открытого бытия, у Христа за пазухой, и юродивому действительно Бог подает в лице людей. Вот сама заведенность этого обычая в Индии: кормить странных — есть открытость дома и его окон и дверей в бытие. А это значит, что в лице нищего само бытие, его стихия: огонь, воздух, бог Шакра, как в «Гирлянде джатак» Арья Шуры, — заходит, надувается, залетает в твой дом. В германстве, в современном космосе, отказ от труда — есть оскорбление не человека только трудящегося, но и неуважение к складу местного бытия, к строю и составу космоса, который повелевает жизни уйти с дорог в дом. Потому нравственно там захлопывать дверь перед нищим, принимать законы против бродяг, учреждать социально-законную филантропию (армии спасения, и т. д.), — но не по прямому личному позыву и почину творить милостыню.

Расчет индуса на жизнь в открытом бытии и в том виден, чем лечат индийские врачи: «Путем колдовства они могут делать так, чтобы женщины рожали много детей по желанию мужского или женского пола. Лечат болезни они главным образом пищевым режимом, а не лекарствами (т. е. естественно-природным подаванием открытого космоса, его вкушением, а не трудовым делом рук человеческого искусства, чему, напротив, больше верят в Европе — всякой химии, т. е. тому, что из недр вещества и земли исходит). Среди лекарств больше всего ценятся мази и пластыри» (60). То есть — наружные, накожные, так сказать, «наземные», по отношению к человеку, который в пространстве есть земля, живот и утроба и имеет внутренние органы. На последние, напротив, воздействует европейская медицина химическими лекарствами, витаминами и хирургией.

Как врезаются здесь в горнорудном деле в недра земли (а в Индии и не знают, какие у них жилы там и артерии золотосодержащие таятся, — см.: Страбон XV, 1, 30), так и в телесное нутро членораздельно вторгаются, чему образец — хирурго-анатомическое рассечение и разрез утробы Земли-ада италианцем Данте<sup>66</sup>.

<sup>65</sup> В «Законах Ману» иерархия брахманов по святости так распределена: «Можно иметь (наполненное) зернохранилище, или же сосуд для хранения зерна, или же запас на три дня или не иметь запаса на завтрашний день. Из этих четырех дваждырожденных домохозяев каждый названный после должен считаться более достойным (чем предшествующий) и в соответствии с дхармой более совершенно победившим мир» («Законы Ману», IV, 7—8).

<sup>66</sup> Акад. Ф. И. Шербатской в работе «Научные достижения древней Индии» сообщает о неразвитости там анатомии, ибо тело не рассекаемо и не прикасаемо и оттого внутренность тела неизвестна. См.: Избранные труды русских индологов-филологов, с. 262—263. Однако теперь обнаруживают факты, опровергающие это утверждение.

«Но остальные их лечебные средства содержат много вредного. И те и другие гарманы (т. е. брахманы) упражняются в упорстве, с каким они переносят страдания, и в выносливости, так что могут стоять неподвижно в одной и той же позе целый день» (60).

## Йога. Космичность мышления

12.XI.68. Что значит эта неподвижность, в достижении которой знамениты индийские религии и философии? Это — вбить собою столп и ось: остановить преизобильно текущий индийский космос. «Он (Онесикрит) встретил 15 человек из них («софистов» — как эллин обозначает индийских мудрецов) в 20 стадиях от города; эти люди голыми в разных позах неподвижно стояли, сидели или лежали до вечера и затем возвращались в город. Самым трудным было выдерживать солнечный зной, столь сильный, что в полдень никто из прочих людей не мог бы легко даже ступить на землю босыми ногами» (63).

Эти люди — как громоотводы, принимают на себя клубление стихий, избыточное движение бытия в космосе Индии. Они заземляют солнце, его прямой луч. Дело в том, что человек в каждом космосе имеет особое назначение: или просто своим существованием, или деятельностью, трудово-материальной или мысленно-духовной, — уравнивать какие-то крены в сочетании стихий, склад которых образует данный космос. В Индии главное — преизбыток кишащей жизни, клубление и круговорот надземных стихий в атмосфере влаго-воздуха. А текучесть, переливчатость всего на все (оттого, что воды, реки — демиурги здесь) сметаet всякую вертикаль; попробуй стой в потоке! — стремясь и его изогнуть в волну, гибкую лиану. Космос сам по себе здесь вызывающе, нагло динамичен и превращающ, так что назначение человека здесь — статика, статуарность (в отличие от северного космоса оцепенелости или слабой, застенчивой, рабской тронутости и трогательности, которые надо расшевелить, взбудоражить, разогреть деятельностью). Потому мудрец останавливает, во-первых, себя, клубление желаний и истоки дхармы в своем микрокосмосе, а затем (или одновременно), приняв ту или иную позу = крюк, багор для уловления текучего, клубящегося космоса собой изобразив, — приступает к космообуздающему Атлантову труду. Только Атлант, помогая бытию, поддерживал слабый без человека эллинский космос, а индус-мудрец должен на скаку останавливать разошедшийся, распущенный космос.

Эллин Онесикрит, посланный Александром, чтобы научиться индусской мудрости... — Кстати, и это характерно, что в отличие от европейского проповедника, который всегда готов прийти к кому угодно, чтобы разнести истину или Слово Божие, индус-

ский мудрец статуарен<sup>67</sup>, и если кто хочет сподобиться знания, сам должен к ним прийти, ибо главная их принципиальная мудрость — быть осью и недвижимым столпом бытия, не двигаться самим и других останавливать. Какая ж то была бы истина, если б они, ради распространения недвижности, сами ходили — к царям, например! «До Александра дошли слухи, что эти люди ходят голыми, упражняются в выносливости и пользуются великим почетом; других людей они не посещают по приглашению, но велят приходите к себе всем, кто желает их видеть и заинтересован их делами и речами. При таких обстоятельствах, так как царю не подобало самому идти к ним или принуждать их против воли к совершению чего-нибудь несогласного с отеческими обычаями, Онесикрит и был послан к софистам» (63). Здесь Магомет должен был пойти к горе, ибо мудрецы изображают собой стойки, устои и стояки бытия.

Когда же индус Калан увязался вслед за Александром, его укоряли за потерю национальной мудрости: ибо, стронувшись с места, он тут же, этим актом самим, всю ее предал и ее лишился! «Калан следовал за царем в качестве восхвалителя его подвигов за пределы Индии, вопреки общему обычаю тамошних философов», «и в его присутствии добровольно принял смерть от огня (чем искупил свой грех перед индийским космологом). Таким и был Калан, человек необузданный, который превратился в раба за столом Александра. Поэтому Калана порицали, а Мандания хвалили. Посланные Александра приглашали Мандания прибыть к сыну Зевса, обещая в случае повиновения царские подарки, а за отказ угрожали наказанием. Софист ответил им, что Александр не сын Зевса, так как не владеет даже самым малым клочком земли; далее, он — Манданий — не нуждается в подарках того, кто сам ненасытен; наконец, ему не страшны угрозы, так как при жизни для него достаточно кормилицы — Индии (вот: индийский космос — кормилица, грудь и лоно, молочно-эросная влага. В гимнах Ригведы тучи = коровы, из их вымени — дождь: молоко, мед сочтется), а смерть только избавит его от измученного старостью тела, и он перейдет в лучшую и более чистую жизнь. Александр похвалил Мандания и согласился с ним» (68).

Это делает честь эллинской способности понимать и то и это, быть как мера и всепонимающий центр бытия (каким и является восток Средиземноморья среди остальных космосов Евразии). Однако сколь разительно отличны их принципы: Александр творит поход за десятки тысяч стадий от родины, чтобы сподобиться по(н)ятия мира, однако не может себе позволить пройти сто шагов к мудрецу, ибо это будет предательством его национального принципа и дхармы царя. Индусский же мудрец

<sup>67</sup> А расхожие миссионеры в буддизме махаяны? (Это я сам вопрошаю: ради глубины понятия смею противоречить себе, не добиваюсь гладкой «однозначности» и линейной «непротиворечивости», что есть критерий в этике «строго научного» мышления.— 2.4.89.)

Манданий странствует кругово и бесцельно (тогда как Александр движется по прямой) и побирается, однако на вызов эллинского принципа подвижности должен в чистоте явить вверенный ему принцип индийского космологоса, его воззвание к человеку и его уму: стоять недвижно и пребывать, — и тоже не может пройти сто шагов к Александру. Как бытие бережно разводит космологосы, дорожа их чистотой и самостью, боясь перемешиванья! Хотя перемешиванье тоже творится его волей — но именно как противоствась, в которой восхищенно ощущаются и ощущаются упругости национальных лон: ибо эросное дело воссоединения расколотого на множественность бытия требует великолепных в своей самости, совершенных в каждом своем роде партнеров.

И в другом месте эллины выше оценивают устойчивость чужеродного индусского мудреца, нежели его гибкость, податливость и подвижность, которой им не надо, ибо в ней они, эллины, и сами мастаки: хоть отбавляй ее у них. «Однажды они (два мудреца) пришли к столу Александра, обедали стоя и учили царя выносливости. Так, старший из них, отойдя куда-то поблизости, опрокинувшись навзничь, выдерживал солнечный зной и дождь (=огневоду — основное сочетание стихий в индийском космологосе, их мудрец принял на себя, остановил кругооборот, притянув его и заземлив собой) (шли уже дожди, так как было начало весны), а младший стоял на одной ноге, высоко подняв обеими руками шест около 3 локтей длины; когда эта нога уставала, он менял упор на другую и так продолжал стоять целый день. Младший оказался выносливее старшего; пройдя вместе с царем небольшое расстояние, он быстро возвратился домой (я это читал, и мне это звучало абсурдом: что за выносливость, если прошел так мало! — но, спустя обдумывание, дошло до меня, что выносливость в Индии — как раз на нестрогиваемость на соблазн подвижности) и велел сказать через посланного за ним Александру, что царь может прийти к нему сам, если желает чего-нибудь от него. Напротив, старший сопровождал царя до конца и, живя вместе с ним, переменял одежду и образ жизни» (61).

Итак, эллин Онесикрит, посланный Александром, чтобы поучиться индусской мудрости<sup>68</sup>, был необычайно шокирован, когда «софист велел ему... если он хочет слушать, снять одежды, голым лечь на те же камни и выслушивать его поучения» (64). — Чушь какая-то, маскарад! — мог реагировать на это предложение эллинский ум. — Ну какая разница, говорится ли слово мудрости стоя, лежа, сидя, одетым или голым! Какое отношение имеет мысль-слово к позе! — Ах, оказывается, есть великая разница, и отношение здесь прямое (кстати, даже эллин, если бы пошуровал в своей истории и памяти, мог бы наткнуться на

<sup>68</sup> Здесь продолжается мысль, прерванная обширным отклонением на две страницы в родственную теме тональность, которое все можно бы поместить в скобках.

термин «перипатетики» — «прогуливающиеся»<sup>69</sup>, или «стойки», где тот же индоевропейский корень, что и в «стоять»<sup>70</sup>, или «киники» — от *kynis* — собака, или на бочку Диогена: везде здесь поза — главный определитель, главное сказуемое, основной предикат, главное содержание, что высказывается учением): поза тела есть прямо мысль, концепция бытия, крюк, чтоб его зацепить, схватить и понять. (Понимать, по-немецки, — *begreifen* — букв. «схватывать», да и многие отвлеченные понятия на таких телесных жестах и позах, если покопаться, основываются, например, лат. *abstractio* — «оттаскивание», или немецкие *Verstand* — рассудок — «обстой», *Vernunft* — разум — «объятие» и т. д.) Поза (асана, по-индийски) есть прямо заявленная субстанция (букв. «подстояние») бытия или основной определитель, атрибут (букв. «приклад»<sup>71</sup>) концепции (букв. «схватыванья», «зачатия»).

Сращенность мышления с позой в Индии опять же говорит о том, что здесь человек не в доме своем, в обособленности от бытия оранжерейно пестует и выращивает дух, мысль, разум, слово как нечто лишь человеческое, спиритуальное, имматериальное, — но назначен на открытое сожительство мысли — слова прямо с жизнью в природе, в открытом бытии, отчего мысль — не отвлеченная, но голо-телесная, плотная, прямо материальная. Мысль открыта в бытие, есть ток самого бытия, так что не встает здесь гносеологической проблемы: как мыслью понять бытие, духом зачерпнуть материю. А не встает, потому что не разведены они, как в Европе, до полярности (так что в духе нет ни грана материи и наоборот: природа — бездуховна, лишена самосознания), а взаимотекучи и переливчаты.

Мысль в Индии потому совсем не есть лишь слово (и меньше всего слово), но также поза — асана, ритм дыхания, напев гимна ведийского, ритуал возжжения Агни, образ жизни и поведение. В Европе ж мы привыкли к обособленности мысли от всего этого, что ее собственная плоть — лишь слово, а остальное — особь статья, к мысли отношения не имеет. Так ее оторвали, выхолостили, а потом мудствуем: как ее, холостого мерина, с исполненным Эроса бытием спарить? Мысль поэтому справедливо (по космосу индийскому открытому) толкуется в Упанишадах как особая стихия, материя, первоэлемент — наряду с землей, водой, воздухом, огнем — «манас» и иные варианты духовного: атман, рич, вац, удгитха и т. д. Мышление в Индии таково, что телом своим (позой) мы делаем как бы узел для связывания этих духовных материй, сеть для их уловления и взаимного через нас крепления в бытии — как в структуре вещества положительные ионы образуют кристаллическую решет-

<sup>69</sup> *Peripatetikos* — совершаемый во время прогулки.

<sup>70</sup> Буквально же: «стойки» — от *Stoa*, портик в Афинах, где учил Зенон.

<sup>71</sup> Так что Митрофан фонвизинов был совсем не глуп в своем наивном, доморощенном, кандидовском философствовании, объявляя одну дверь «существительной», а другую — «прилагательной».

ку незыблемую, вокруг которой суется электроны, текущие током или образующие «дырки» (термин из теории полупроводников), раны, прорвы, зияния. И брахманы в индийском космогосе знают свой физический долг — крепить позой, словом, песнопением и поддерживать в определенном угле наклона под солнцем (час суток) твердь и строй сложившегося в Индии космоса: они встают на дежурство и вахту у ядер, положительных зарядов, их собой образуя и осуществляя.

Эту открытость мышления, его адресованность в открытое бытие, а во-вторых, телесность спиритуального подчеркивает и нагота мудрецов<sup>72</sup>. Голый — бесстыдный, значит, не обособленный от стихий бытия, не отвернувшийся от вод, огней, земель и воздушных в свое человеческое заключение, тюрьму и дом обособленного бытия в человеческом, слишком человеческом... Если европейский мыслитель станет мыслить и беседовать голым, — то тело его будет контрастировать с его мыслью, отвлекать на Эрос, плотское и обезображивать. А все почему? Потому что мысль — от тела отрывчата, отвлеченно-духовна, так что или она, или материя и плоть, одно из двух. В Индии же дихотомии такой мира нет: числа здесь многие и разные, и не взаимноисключающие, но терпимые. Даже свой принцип статуарности и голости у них не диктатурен: **«Когда Онесикрит недоумевал, как ему поступить (на предложение Калана голым лечь на камни), Манданий, старший и мудрейший из софистов, высказал порицание Калану за то, что тот, обвиняя других в надменности, сам оказался надменным (т. е. не допускал возможности у эллинов — таких же законных в бытии существ, как слоны или попугаи, — особого склада бытия и соответственно образа мысли и своей дхармы; и потому Манданий любезно стал толковать с эллином); затем Манданий позвал Онесикрита и сказал ему, что хвалит царя за то, что тот, управляя такой великой державой, жаждет мудрости; ведь царь — единственный человек, занимающийся философией с оружием в руках, которого он видел»** (64). В Индии эта европейская тотальность, смешение ремесел и дхарм, противопоставлена: чтоб кшатрий — воин занимался изучением Вед, а брахман брался за оружие. Ведь и так текуч космос! Хотя б человечество должно в нем образовать крепкую скрепу, жесткую решетку устойчивостей — каст непереходимых (в данном существовании, в этом рождении и воплощении, ибо в следующем я могу по заповеди бытия родиться уже в иной касте, на ином уровне, в мире иных существ: богов, змей, шудр, бодхисаттв). Если же еще и люди начнут все перемешивать, тогда все клубление бытия ускоренно закружится в смерть, и хо-дуном все в тартарары опрокинется.

В Махабхарате часто случается, что брахман вступает в битву и сражается, как великолепнейший из витязей, тесня ряды

---

<sup>72</sup> Принципиально нагие — «дигамбары», ветвь джайнизма. Ред.: Диг-амбара — букв. «одетый странами света».

противников. «Как лесной пожар пожирает кучи сухой травы и соломы, так истребляли стрелы Ашваттхамана вражеских воинов. В ярости вскричал тогда Юдхиштхира (царь Пандавов), обращаясь к сыну Дроны: „О тигр среди витязей (казалось бы, — комплимент воину! Но в том-то и дело, что брахману не пристало быть воином, хоть разлучшим, и для него это — оскорбление), неведома тебе приязнь, неведома тебе благодарность, если ты хочешь умертвить меня сегодня (как не стыдно царю трусить и умолять! Ан не стыдно, ибо он мудро напоминает брахману, что тот влез не в свое дело и упражняется в добродетели, к которой он не призван, и потому его воинская доблесть ошибочна, неистинна, антикосмична). Покаяние и чтение священного писания — таковы обязанности брахмана. Только кшатрию приличествует сгибать лук в битве. Ты — брахман только по названию. О недостойнейший из брахманов, ты увидишь, как я сломя мощь и нанесу поражение Кауравам“»<sup>73</sup>.

Ашваттхаман как раз нарушил принцип «лучше дурно исполненная своя дхарма, нежели хорошо выполненная чужая» («Бхагвадгита»).

В Европе кшатрий-брахман = просвещенный царь, философ на троне — идеал государя, еще начиная с Платона. И вся история здесь тяготеет к слиянию духовной и светской власти (крестовые походы, ордены крестоносцев; католицизм здесь вмешивается в светские дела, политику государей; в России вообще царь с Петра объявлен главой синода, т. е. совмещает и светскую и духовную власть. Еще более сращенность духовной идеологии партии и государственной власти проявилась в национал-социализме). Во всяком случае, они непрерывно вмешиваются в прерогативы одна другой и нетерпимы к обособленному существованию Бога и Кесарева, хотя вскормленный на перекрестке Востока и Запада Христос это разделение провозгласил. Но ведь Восток (правда, ближний к европейству) порождает в исламе и «газават» — священную войну с иноверцами, принцип вооруженной веры.

В Индии, правда, первый министр царя — брахман. А буддизм и поздние упанишады — духовное творчество кшатриев.

## Смерть и труд

13.XI.68. В жизни своей индус менее волен, чем европеец: у того «я» и свобода воли, а у индуса — варна и дхарма; однако в смерти более волен: самоубийство не есть здесь грех — отличие от регулируемых христианством космосов Европы, где жизни и так мало. Так что активность и свобода дана европейцу-христианину очень в пределах допусков: шепутиться может от

<sup>73</sup> Махабхарата. Лит. изложение Э. Н. Темкина и В. Г. Эрмана. М., 1963. с. 136.

сих до сих — от рождения до смерти, но не дольше. В смерти же человек не волен: там душу принимает Бог, и даже грешник великий на протяжении жизни может миготом искреннего раскаяния перед смертью стать святым. Потому в Европе на жизнь дана человеку свобода воли, что жизнь здесь — пустяк, космосом мало существование ценится в сравнении со смертью; жизнь — человеково, смерть — Богово. Вот почему наиболее дерзкие «я» все к этому порогу подступали: Гамлет, Кириллов Достоевского, который точно определил: если сам этот рубеж перейду, то стану как бог, **человекобог**, завоюю божество для человечества, Гамлет не решается перейти грань из-за неизвестности, что там.

В индийском космосе это гораздо более известно и очевидно: превращения будут из существования в существование, с одного уровня жизни на другой прыг-скок. Так что жизнь не однократна, а бесконечна — даже нудно, утомительно, надсадно, изнурительно бесконечна, от чего хочется освободиться (в буддизме — выйти из потока рождений). Так что если в Европе основной атрибут человека — «смертный», «конечный», а желанно бессмертие и вечная жизнь, то в Индии человек не замкнут, а есть стадия в хороводе существований: может родиться богом, но и боги смертны, ибо тоже суть стадия в потоке, так что там даже хуже — десятки тысяч лет ждать возможности выхода из колеса Сансары! — и в буддизме переход в нирвану возможен не со стадии бога, а с центрального уровня — человека, так что его состояние даже предпочтительнее божественного.

**«Чаще всего философы говорят о смерти. Они считают здешнюю жизнь как бы только ребенком в чреве матери...»** Учитывать надо, что перед нами эллинский перевод индийских воззрений, а беседа через переводчиков, как извиняется перед Онесикритом мудрец Манданий, это **«все равно что требовать, чтобы чистая вода текла через грязь»** (64). Эллин переводит Индию на свой космос — гоний, рождений, котловин, пещер (Платонов образ) и недр, нутр, чрев, лон — такой же образ у Гиппократов: ребенок во чреве — на пуповине и слеп, во тьме; когда рождается, обрывается пуповина, становится одинок и сам, но зато прорубаются отверстия: глаза, уши, ноздри, рот и нижние, — которые становятся ему поводыри и помочи, что и руководят им отныне в движениях, в равновесии и в держании и ориентировке по жизни.

**«...а смерть — рождением к истинной и блаженной жизни для философов. Поэтому они больше всего смыкаются с мыслью быть готовыми к смерти** (что звучит в передаче европейца слишком стоически и сурово; на самом деле, как жизнь человека в индийском космологосе отворена в природу, так и смерть открыта в бытие, есть распахиванье, а не сжатие в атом, точку и, наконец, в пшик, в ничто-жество). **По их представлениям, ничто из того, что случается с людьми, само по себе ни хорошо, ни плохо, потому что иначе по одному и тому же поводу одни**

люди не могли бы печалиться, а другие — радоваться; те и другие как бы живут во сне» (59).

Что жизнь есть сон, и в Европе многожды произносилось. Но разница: в Европе он — однократный, единственный и неповторимый сон, исключительный, — потому к нему крайняя любовь и привязанность. В индийском же космологосе существование — непрерывная череда сновидений, бесконечная, кошмарная, если эту цепь не обуздать, не остановить реку рождений...

Конечно, и в Индии самовольное прекращение жизни осуждается как нетерпеливость и помеха течению бытия: оно, когда срок существования будет исполнен, само отзовет. «По словам Мегасфена, учение философов не обязывает последователей лишать себя жизни, а тех, кто посягает на это деяние, они считают по-юношески безрассудными» (68). Однако болезнь уже есть человеку подсказ от бытия, что, пожалуй, и можно... «Телесный недуг они считают величайшим позором (в отличие от Европы, где люди даже гордятся своими болезнями, страданиями, много о них говорят: „Моя подагра!“ — да это ж его „я“, без нее человек этот не имеет качества, свойства и самодостовренности; увечные в струпьях — святые, отмеченные, заживо гниют=тлеют, как в будущей могиле черво-точат). Заподозрив болезнь в своем теле, они лишают себя жизни огнем: воздвигают костер, умащаются маслом и, взойдя на него, приказывают зажечь и затем недвижимо сгорают» (65).

Гниение в Европе почтенно, ибо это — перегой (в связи со сменой времен года: опавшие листья почву удобряют. Почва творится здесь по вертикали: сверху листья падают, снизу земля всасывает, переваривает, тогда как в Индии почва — реками наносная, водами по горизонтали; и заботиться там об удобрениях=задабриваньях земли, принося ей навоз, листву, — не приходится. Там сушь и дождь, а почва — всегда готова родить от семени пространства, так что много копошиться в низу и глубине земли не приходится: ткни — и растет). Гниение есть тление, недостающая в сухом и морозном космосе Севера как раз огневлага, — чего не «хоть», а именно «отбавляй» в Индии. Жизнь в природе Европы: зачатие, рождение, умирание — все есть не вспышка, а медленное сгорание, окисление, ржавение, тление, терпение; терпкости и горечи в ней много, но надо терпеть («жить же надо!») и тлеть, а не вспыхивать и сгорать (хотя с кем это случается — знать, тоже надо). Срок нужен и плоду, чтоб дозреть, и человеку — дожить свое тело и существо сбросить в общий котел брожения, в почву — на дальнейшее уплотнение ее слоев. Так это в Европе, где надо человеку добавлять от себя к жизни природы, так что жизнь здесь драгоценнее; и как «всякому овощу — свое время», как нелепо резать свинью по весне, так и человеку здесь возмутительно самоубиваться, пока не дозрел и не все, что мог, уже совершил. Потому и захоронения в Европе — в землю, чтоб ее оплодородить и чтоб из тела лопух расти мог.

В Индии ж начавшее гнить принадлежит не земле, а надземию. Шакалы — гигиена: чистильщики поселений от падали, как и коршуны, и австрийский недавний путешественник по Индии Кренек с удивлением наблюдает, как на окраинах поселений коршуны, обожравшись падали, не могут взлететь. Воздушное жерло глотками птиц и зверей вбирает в себя земли творенье. А еще чище и выше возносится огонь, уже к крайней огненной сфере прибоящая. Огонь наводит порядок и меру среди преизбыточных условий к жизни в индийском космосе: «У других же племен заведено возделывать поле сообща всей родней, а после уборки урожая каждый получает достаточное количество продуктов для пропитания на год: остаток сжигают, чтобы у них было побуждение работать в другой раз и не проводить время в праздности» (66). Ну это — европейски-трудовое, из мира как -ургии исходящее понятие. Здесь же причины более метафизические: саморегулировка здесь жизни в бытии.

Вся Европа, история производства, культуры, цивилизации основывается на накоплении остатков, запасов, залогов и клятв лета зимой, — прибавочного продукта и стоимости, чья (накопления) непрерывность должна как бы компенсировать прерывистое дыхание жизни, ее пунктирность в смене времен года. И здесь это, как восполнение маложизненных условий местного космоса, — естественно. Да, именно естественен этот рост здесь искусственного существования: труда, городов, искусств, индустрии и т. д. В Индии ж, как объясняет эллину Онесикриту Калап, такое понятие об условиях существования: «В древнее время все было полно ячменной и пшеничной муки, как теперь пыли. Одни источники текли водой, другие — маслом, а также медом, иные — вином, а иные — елеем (т. е. само бытие кормило). От пресыщения и роскоши люди сделались высокомерными (очень эллинская трактовка: у них *hubris*, гордыня, есть причина гибели героев трагедии иль городов — Афин и т. д.). Зевс (индус эллинского бога поминает), возненавидев такое положение, уничтожил все это и обрек человека на жизнь в труде. Когда вновь появилась на свет умеренность и другие добродетели, снова вернулось изобилие благ. Теперь человеческие дела уже опять приближаются к пресыщению и высокомерию и существует опасность истребления всего» (64).

Эти вдохи-выдохи бытия, сгущения и разряжения условий жизни на человеческом уровне — как прокатыванье волны в океане: данная точка то в выси, то в хляби. И в эллинстве подобное воззрение есть — у Анаксимена: о сгущении-разряжении воздуха, откуда все: и уплотнение рассеянного бытия в жизнь, и обратное рассеяние существующего. В эллинстве только меньше тактов доступно взору и пониманию человека (у Платона — потоны, опускание Атлантиды, мысль о многих цивилизациях до нас есть, однако однократны более истории эти и необратимы, так что наше существование выходит напряженнее и взыскательнее. И у Гесиода всего пять веков и поколений людей).

В Индии же эры, эпохи существований: кальпы, юги и кри-  
таяги — множественны и круговратны и открыты ощущению  
каждого.

Это колыхание, тошнотворная зыбь бытия, здесь подлечит  
остановке чрез человека: «По словам Онесикрита, речь софиста  
(Мандания) сводится к тому, чтобы показать, что самое лучшее  
учение — то, которое избавляет душу от радости и печали (они —  
как притяжение и отталкивание: сгущение, сжатие человека  
в скорби и расширение, распахивание навстречу миру в радо-  
сти). Печаль и страдание различны, так как первая вредна для  
человека, а последнее любезно ему» (65). Это уже эллински-  
эпикурейское искажение индийской мысли. По буддизму: если  
хочешь победить страдание, не радуйся наслаждению, ибо его  
утрата и есть страдание. Причина страданий — в желаниях. Же-  
лание — притяжение к вещи, страдание — отрыв от нее. Все  
это — зыбь цепи рождений, враждебная искомой статуарности  
бытия. «Что касается учения брахманов о природе, то Мегасфен  
говорит, что некоторые их взгляды выдают наивность мышления  
(т. е. его, наверное, большую слитность с чувственной очевид-  
ностью природы). Вообще они сильнее в делах, чем словами  
(мысль здесь — не слово лишь, но и тело, и дело, и поза), так  
как большей частью стараются доказывать свои убеждения ми-  
фами. Во многом они держатся одинакового мнения с греками.  
Так, например, они полагают, что мир сотворен и обречен на ги-  
бель, так же как это утверждают и греки (в передаче Мегасфе-  
на — однократность события мира, тогда как по индуизму мир  
и миры творятся и сокрушаются бесконечно); мир они считают  
шарообразным (это типично эллинское воззрение, по которому  
шар — совершеннейшая фигура и мир — набор концентрических  
сфер; в Индии же фигура мира не определена четко, рыхла,  
аморфна, открыта), и бог, который создал и управляет этим ми-  
ром, проникает всю вселенную. Первые элементы всех вещей  
различны, а вода — первый элемент образования мира (вот: во-  
да — демиург сего мира. Хотя и здесь есть эллинский резонатор  
предполагаемо индийскому воззрению — Фалес). Кроме четырех  
элементов (земля, вода, воздух, огонь) есть еще пятый природ-  
ный элемент, из которого состоят небо и звезды (возможно,  
„акаша“ — пространство, аналог эллинскому эфиру). Земля на-  
ходится в центре вселенной (тоже эллинская интерпретация, ис-  
ходящая из фигуры шара)...» (59).

Интересно, что самоубийства мудрецов распределены по сти-  
хиям, суть как бы их заклатья, их собой приостановки, вспять  
их течению толчок: «Люди твердого характера, говорит этот  
писатель (Мегасфен), бросаются на меч или в пропасть (земля-  
ной, твердый — земле, тверди удар наносит: исходя из своей точ-  
ки опоры, земной шар архимедовски оборачивает); избегающие  
страданий — в морскую пучину (мягкие — „прячут звон свой  
в мягкое, женское“, влажное; концы в воду), люди, привыкшие  
переносить страдания, кончают жизнь повешением (отдают себя

воздуху — стихии, которая в космосе Индии наиболее требует от людей подкрепления), а люди пылкого нрава бросаются в огонь (огню — огнево)» (68).

Знаменательна и обратная реакция индийского на эллинское (европейское). «После этого Манданий, говорит Онесикрит, спросил, существуют ли подобные учения у греков. Онесикрит ответил, что не только Пифагор учит в таком же роде и велит воздерживаться от мяса животных, но также Сократ и Диоген и что сам он был учеником Диогена. Манданий на это возразил, что он, правда, считает греков вообще мыслящими разумно, но они не правы в одном отношении — в том, что ставят обычай выше природы. (Вот: в Европе космос естественный прикрыт законом, божеством, как фиговым листом. Но в итоге слой обычая заслоняет слой природы, и закон общественный начинает ставить себя в основание закону природы: априоризм и трансцендентальное Канта, „Я“ полагает „Не-я“ у Фихте, способ производства определяет строй жизни, по Марксу и т. д.) Ведь иначе они не стыдились бы ходить голыми, как он (походил бы ты голым в северную зиму! Само бытие поставило в космосах Европы обычай выше природы: стужа стыд человеку подсказывает, чтоб он не стыл: нравственность — по космосу. Закрыться человек здесь должен от природы, отвернуться, обособиться в особь и особь статью бытия — таков ему здесь подсказ от самого бытия), и жить в бедности („богатство“ недаром в Европе от слов „бог“, „царь“: rich, richesse от rex — т. е. от высших идей. Оно от бога; от местного бытия эта идея в ум человека навевается: богатство есть умножение плоти жизни, плотности воплощения — также, и значит, и Богу-Бытию от человека зыскаемый, угодный дар; недаром ведь притча о таланте и приказ не зарывать его, огонь, в землю, не тушить пламя искры божией). Самый лучший дом, добавил Манданий, тот, где меньше всего нужно домашней утвари» (65) — т. е. наиболее похожий на открытое бытие. В германстве соотношение обратное: в исходной точке — Haus, дом, а Raum, пространство — производное от дома, от Innege, «я», и тот Raum хорош и истинен, который положен из Haus'a, из «я».

Открытость общества в природу в Индии сказывается на характере праздников. «Праздник — дырка в бытии» — мысль Г. С. Померанца. Точнее: дырка из Жизни в Бытие. И оттого праздник космичен, всегда склад национального космоса являет, а человек к нему приобщается через его имитацию. И вот праздник в Индии: не только человек, но и все стихии и живые существа впрягаются в общий хоровод. Праздник являет как бы парад основных идей и предметов, разбиравшихся выше поодиночке, так что дает нашему рассмотрению естественный свод и заключение.

«Индийцы почитают Зевса Омбрия, реку Ганг и местные божества. Всякий раз, когда царь моет себе волосы, они справляют великое празднество (опять вода: и священный сан Ганга-

реки, и сукнание волос = поклон воде не поясной уж, а головной, как бы корней древа человеческого орошение; ибо волосы — не только крона наша, листва, но и корни, смотря как смотреть: с точки зрения влаги-воды в воздухе — это так и есть)... **Во время праздничных процессий выступает много слонов в золотых и серебряных украшениях** (слон — как тело мира, небосвод, в блестящих светилах, звездах), так же как и множество колесниц, запряженных четверкой коней, и упряжек быков. Затем следует войско, одетое в парадную одежду; потом несут золотые сосуды с большими котлами в них и чашами вместимостью в оргию (все это — священнослужители влаге, алтари капель, вместилища туч и сосцов вымени водосферного), затем — столы, кресла (готовые асаны — позы, концепции мира), **кубки, ванны** (опять сосуды) из индийской меди, большинство этих предметов украшено драгоценными камнями (=огнями), **смарагдами, бериллами и индийскими карбункулами** (все — земные представители огнесферы, каковыми являются химические элементы, металлы, что явно из их названий: Ураний, Гелий, Плутоний, — так что вещество нашей земли действительно есть плод сгущения рассеянного бытия, сжатие мирового пространства, так что небо оказалось в земле заполненным и расплавленным, отлитым в элементы, металлы, минералы, воды, газы и т. д. И оттого люди могут врожденно знать, как называются звезды. Простачки задают вопрос: „А как люди смогли узнать названия звезд?“, на что ученые ухмыляются наивности тех, кто не понимает, что мы сами их дали, а на небе они не написаны. Но вопрос простачков помудрее, чем сей ответ ученых: в одноименности наших веществ с небесными — однородность и односоставность наша по существу предполагается, а не только произвол имени и слова, как наклейки на черный ящик); ...**пестрые одеяния участников процессии расшиты золотом** (и пестрота = краски, и золото — световы и огненны); далее идут **буйволы, леопарды, ручные львы и множество разных птиц мелодично поющих** (всякая тварь и существо, зверь и птица дхарму праздника исполняют). **А Клитарх упоминает о четырехколесных повозках, на которых везли деревья с большими листьями** (т. е. не только животный мир, но и растительный предвдлен быть должен, так что праздник не есть узкосоциальное, людское событие, как это привыкли суженно понимать в Европе, — хотя и здесь приуроченность основных праздников к временам года их тоже необорванную пуповину с космосом являет, — но всеобщее совместное действие всех существ мира); **на них сидели разного рода ручные птицы**» (69).

А когда индийские послы прибыли к Цезарю, — свои подарки шлет каждый слой индийского космоса, всякое существование шлет своих послов: «**Привезенные дары были поднесены восемью нагими** (открытость, открытое бытие) **слугами, носившими только передники, окропленные (вода) благовониями** (запах, огне-земля). **Дары эти были следующие: гермес — человек без рук**

(чудо индийское, диковинное существо; а диковинность его — в том, что переход от человека к возможному другому разумному существу являет) от рождения (которого видел и я), затем большие гадюки, змея 10 локтей длиной (змея = волна-язык, огневода), речная черепаха (= земное полушарие на воде и водой принесенное) 3 локтей длиной и куропатка размерами больше коршуна (стихия воздуха, направленность в надземье). Вместе с послами, по его (Николая Дамасского) словам, находился тот человек, который сжег себя в Афинах (а это уже дар от ума, духовной культуры: образец отношения человека в жизни — смерти, модель поведения человека сообразно его долгу перед родным местным космосом). Так, одни кончают жизнь самоубийством в несчастье, ища спасения от настоящих бед (основная в Европе причина), другие же, говорит он, от счастья, как и этот последний. Действительно, продолжает Николай, — до сих пор все шло по желанию этого человека; однако он счел необходимым уйти из жизни для того, чтобы не произошло чего-либо неприятного, если он останется дольше в живых. (Толкование эпикурейца — изнутри одной этой жизни, к ней стянуто, сосредоточено и центростремительно, тогда как мотив индийца не „чтобы не было мне хуже“ в этом моем звене существования, но в замыкании всей цепи, ее рассеивании в бытие). Поэтому-то он со смехом прыгнул на костер обнаженным, умастив себя маслом, и голько в одном переднике. На его могиле были написаны слова: „Здесь лежит Зарманохег, индеец из Баргосы, который обесмертил себя по древнему индийскому обычаю“» (73).

Толкование — эллинское: не «обесмертил» он себя, а вышел из потока рождений, из Жизни — в Бытие.

---

Кончая этот раздел, думаю, что же получилось в итоге: описан ли здесь индийский космологос чрез стихии и разные существа, вещи, обычаи, как его атрибуты, — иль гипотезы разных национальных образов мира послужили здесь как леса и зеркала для расположения и толкования стихий и вещей?

Поскольку я старался следовать Страбону, поясняя упоминаемые им явления, рассуждение преклонило свой порядок пред планом Страбонова рассказа.



## РУССКИЙ ОБРАЗ ИНДИИ

### Русское слово — Родина

15.XI.68. А что увидела в Индии Россия, которая впервые словесно воззрилась на Индию тверским купцом Афанасием Никитиным в XV веке?

Некоторые поправки на возможные искажения или особенности в предмете и во взоре надо сперва сделать. Афанасий Никитин воспринимает не классическую арийскую Пенджабскую Индию, Индию Ригведы и Упанишад, как эллины в походе Александра и со слов их — Страбон, но южную Индию Декана, с дравидским, полутемнокожим населением, менее духовную, часто-идолопоклонническую, Индию вишнуитов и особенно шиваитов.

К тому же Индия здесь не сама по себе, а в ярме ислама: совершалось тогда изнасилованье женщины-Индии парным ей мужским (в отношении Индии) миром ислама (персы, турки и др.).

Да и сам Афанасий Никитин не на ковре-самолете сразу заброшен из Твери в Индостан, так что мог бы прямо сталкивать в сознании русский и индийский космосы, но долгие годы между ними странствий пролегли, постепенного свыкания с новыми землями шаг за шагом по землям и водам на юг, под иные небеса. За это время сам тверской купец полуисламизировался: язык арабский стал ему вторым родным, так что и «Хождение» его записано частями по-арабски среди русского основного поля (кстати —

типичный для русской литературы жанр двуязычия, который потом в «Войне и мире» распространенно воспроизведен). Так что воззрение Афанасия Никитина на Индию — с буферной, переходной платформы и через фильтр ислама, Средней Азии, их космоса, порядков и понятий.

Дивна случайность попадания русского атома именно в Индию: какими путями по фаллопиевым трубам Волг и иных рек и морей занесло сей сперматозоид броуновым движением людских телес аж в Индию — неисповедимо! Ни причины, ни закономерности в этом, ни замысла заранее взятого, ни цели. То есть, исконная случайность и не местная связность русского аморфного бытия — содержится под умом купца, которого вот занесло в Лапуту или Бробдингнег — бессвязно с его прежним бытием. Правда, он здесь приноравливается к новым порядкам — «жить же надо!» (любимое русское *credo*), однако время от времени ведет записки, где исповедуется, как на духу, перед русским, христианским Богом — в минуты опаматованья, когда ужасается, что он один, и книги растерял божественные, и правильно ли он веру старую соблюдает — т. е. есть он еще или уж и нет его, а стал другой на его место? Вот это очухиванье и отыскиванье себя: я ль это еще? — как нахождение штурманом координат корабля по звездам — такую роль у Никитина играют его записки, к которым он в основном прибегал по ходу скитаний своих. Практическое их назначение для других, как справочник для купцов, — позднейший слой их текста по возвращении на родину. Первейший же — исповеднический<sup>1</sup>. И это тоже — совсем в духе русского Слова, которое, когда глубочайшее, — в никуда, без адресата печатанья, даже не людям по смерти моей, но Богу, как Аввакум; но искусству, как дилетантствовали поэты пушкинской поры; но Истине, как писал свои сочинения последние Пушкин; как не рыночно, не на потребу писали Достоевский и Толстой (лишь с Чехова пошла рыночность, писание в литературу, в глотку читателя, приноровлено к его масштабам: некогда читать, оттого — рассказы, малая форма, даже в век телевизора сгодится, меж передачами сойдет почитать). Слово — как связь не человека с человеком, но сверяние человека с самим Бытием, прямо с Истиной-естиной — такое понимание слова сквозит в записях русского атома в чужеродном космосе. Связи с родиной и братом прямые потерины, где их отыщешь? — но испускать лучи души словом все равно надо — хоть в пространство мировое, без отклика и «обратной связи» (как это и Пушкин в «Эхе» понимал).

Можно, конечно, и сторону делово-практическую различить в записках Никитина-купца: когда он перечисляет расстояния от города до города, товары какие где. Однако тут есть и психологическая потребность — в русском слове. Среди чужих, не имея с кем слово молвить, уж, кажется, и язык и веру свою

<sup>1</sup> Обычно в них рассказ ведется, глаголы в настоящем времени: Никитин как бы советуется с бумагой — а что ему теперь делать?

забывая, Никитин нашел выход: прибегнуть ко грамоте, как пуповине, колобку, клубку нитей, что с родины в детстве на его пути-дороге ему дан, чтоб обратный путь найти и возвратить. А то, что материалом этих косноязычных русских собеседований в глубоком наедине были названия городов, товаров, расстояния,— так это, во-первых, вторично по отношению к потребности хоть что-то произносить по-русски, а во-вторых, не знала ж тогда письменность, как дело священно-государственное, жанра субъективных дневников, анализа чувств — это было еще неподнимаемо в слово письменное,— так что материя предметов и слов, в которую отливается подосновная в его потребности писать внутренняя беседа с родиной, с русским Богом, это материя грамоты торгового приказа; так что вместо: **«а сегодня я вспомнил, какие у нас на Волге у Твери снега зимой!»**,—записывается: **«Зима же у них стала с Троицини дня. А зимовали есмь в Чюнебре, жили есмь два месяца; ежедень и ночь 4 месяца, а всюду вода да грязь. В те же дни у них орюг да сеют пшеницу, да тутурган, да ногут, да все съястное»<sup>2</sup>.**

Удивление чужому выступает как форма исповедыванья своего.

Так что совсем иной голос, функция слова и его контекст у Афанасия Никитина, нежели у Страбона, который, уютно расположась, описывает эпически покойно для сведения римлян и эллинов разные страны. Нет у него ни отнесения к себе, ни вопрошений, ни гнева. Никитин же словом работает, закликает, отталкивает от себя чужой мир, а кое-что прибирает. Во всяком случае, родное слово для него — чур, круг, изнутри которого можно и безопасно разглядывать по сторонам. Родное слово — оборону его жизни держит, так же как и Тургеневу **«во дни сомнений и тягостных раздумий о судьбах моей родины... ты один мне опора...»** Не сходна ль с этим интонация:

**«Уже пройдоша 4 Великия дни в бесерменьской земли, а христианства не оставих; дале бог ведаеть, что будеть. Господи боже мой, на тя уповах, спаси мя господи боже мой!»** (с. 23)?

Воистину Слово на правах Бога в России существует, а литература — на правах религии, веры, надежды, любви и мудрости (Софии). Слово — крепилище средь русских бесконечных просторов, зияний, пунктирных островов жизни,— твердь образует истины.

## Смыслы членов тела

22.XI.68. Однако взглядымся подробнее, куда упирался взгляд русского купца в Индии: этот взгляд для нас — в незримом магнитном поле меж Россией и Индией есть проявленная и видимая силовая линия, испускание пучка лучей, электронов с полюса

<sup>2</sup> Хождение за три моря Афанасия Никитина. М.— Л., 1958, с. 14. При ссылках на это издание далее в тексте указывается лишь страница.

северного, «с милого Севера — в сторону южную» (Никитин-купчик — как Лермонтова тучка).

Во-первых, осмысляет он, что с ним произошло, — как хо-  
же н и е: русский мотив путей-дорог и человека-странника. «Хо-  
жение» — не только от «ходить», но и ему, Никитину, побывав-  
шему в исламском мире, возможно, звучало наподобие «ход-  
жа» — кто ходил в святые места. Недаром священное число  
«три» тут же присовокупляется к «хожению» и «море». Море-  
Окиян для России-земли = край света, небытие — значит, словно  
путешествие на тот свет совершил, в ад, наподобие средневе-  
ковых религиозных видений и наваждений, а также сказок —  
в тридевятое царство, в тридесятое государство Никитин за-  
брался (это и воистину так: столько государств перевидел).  
Хождение же за три моря, т. е. ходьба по воде (а не плавание),  
по суху напоминает христово хождение по волнам.

Так что сразу задается религиозно-сказочный лад, и в этом  
контексте все далее восприниматься будет.

Как свято начал купец свое торговое предприятие: «Пои-  
дох от свягаго Спаса златоверхаго с его милостью, от великого  
князя Михаила Борисовича и от владыкы Генадия Тверских,  
поидох на низ Волгою и приидох в монастырь к святей живона-  
чальной Троици...» (11). И грамоту ему дал князь великий и  
примкнул он к посольству Василия Панина...

...Вдруг лоно волн  
Измял с налету вихорь шумный...  
Погиб и кормщик и пловец! —  
Лишь я, таинственный певец,  
На берег выброшен грозою...

Да, так и было: напали татары, разорили караван, побили  
людей, отодрали их от вещей, забот — от старых шкур своих  
приросших (необходимая операция — приготовление к восприя-  
тию новых миров, как и кораблекрушения Робинзона и Гулли-  
вера), «а нас отпустили голыми головами за море, а вверх нас  
не пропустили вести дея» (12) — т. е. татары как клапан здесь  
сдействовали: в одну сторону, в ад — за море, за воды — пожа-  
луйста, а назад (вверх) — никак нельзя.

Крайняя степень бедствия для русского — голая голова  
(а здесь, в Индии, пожалуйста, сами нагие ходят!).

По А. Г. Преображенскому (Этимологический словарь рус-  
ского языка), «голову» относят к одной группе с гол. Ср. лат.  
calva — «черепа» и calvus — «лысый».

Итак, в России человек — прежде всего голова, верх.  
Она — голая: лицо всегда голо, открыто в бытие, единственный  
пролив меж открытым бытием и человеком-домом сохраняется;  
лицо — наша открытая дверь или окно, иль фасад ко мне пере-  
дом, а к лесу задом (недаром сзади головы расположилась, в  
сторону леса обращена наша заросль — волосы, как у деревь-  
ев на стволах мох — в сторону Севера. Так что и на голове  
естественно отпечатались и прочитываются страны света: ли-

цо — юг, затылок — север (или лицо — восход, затылок — закат, запад).

Голова — священная голость = искренность (искоренность, однокоренность с бытием, где мы — дети, наивны и стыд не родился еще). И посвящение человека аду сопряжено с закрытием лица: маска, капюшон Ку-Клукс-Клана, надвинутая низко шляпа, очки и поднятый воротник у шпиона — от англ. spy — глядеть; шпион = дурной глаз, и истину здесь найти — значит разоблачить, раздеть, открыть истинное лицо. Маска есть обман бытия: лицо превратить в затылок и обвести бытие за нос и вокруг пальца, закрыть истине, свету кран в человека. Лицо, глаза — это кран, бытие — провод в человека, лампочку его души возжигающий, параллельно и последовательно его к бытию и истине подсоединяя (как хочешь толкуй свое подключение к бытию: последовательно — тогда во времени, в истории существуешь, в след за Сократом; если ж чувствуешь, что параллельно подключен — то вместе с Сократом, с травкой, в одном вы времени — в вечности: то — религиозное самочувствие).

Шапка же на голове — еще выше головы, главнее головы, заглавная буква, небосвод и крыша над головой, одежда на голом, фиговый лист и прикрытие от неба: солнца, света-снега, дождя, рубеж моего «я», его пограничник. Когда я снимаю шапку — весь свой набалдашник и электрод божьим искрам подставляю на милость: благоволение иль гнев (когда разразит меня господь, как молния дерево перуном карает). Но шапка дана нам свыше — как самим бытием в целом выданная охранная грамота от собственных разбойников (туч, вихрей, ветров, ливней — всяких мелких субстанций, мелким бесом шурующих на больших дорогах бытия), которой бытие протекцию человеку оказывает, своему избраннику (хотя для него всякая тварь — его избранник и ей дана оборона от всех остальных существ), протеже и фавориту (как мы о себе полагаем, совместно со стебельками и паучками).

Если же содрали шапку — значит: «я» твое отобрали, лишили его прав и силы (до сих пор то была привилегия «я» — снимать или надевать шапку, хотя, конечно, то дождь иль снег велит, а «я» уж исполняет, есть рука стихий).

Когда ветром сдует шляпу — тут уж покоряешься, но когда одноуровневая с тобой тварь — другой человек берет себе эту прерогативу, — тут уж грабеж «я», оскорбление-оскопление, ибо «я» человека, его личность — есть его яичник, где аккумулируется энергия бытия, стекающая на нас через анод лица, его отверстия: глаза, рот, ноздри, уши. Личность есть наш фонтан, огонь, стояк в бытии, «либидо» и жизненная сила; благодаря личности человек — фалл стоячий в бытии, с кем оно возится в любовной игре притяжений и отталкиваний на протяжении даруемой ему для этого жизни. Так что своеволие человека угодно рассеянному бытию, Богу — как упругость фалла женщине. Гордыня человека, следовательно, и его богоборчество самому Богу

угодны, как щекотка. Без этого плохой бы человек ему партнер был во Эросе-связи, религии=воссоединении всего со всем в расколотом бытии: религия есть это воссоединение — как друг на друга всего ориентированность и глазение, лицезрение, обернутость — и тем уже все со всем содержится; однако на расстоянии это их со-отношение, а не контактно, практически и осуществленно, как уже в прямом Эросе — Эросе в тесном смысле понятия. Вера — дистанционное поддержание вещей и существ друг другом, их соотносимость, братство и взаимопомощь в целом бытия. Если закон прямого, телесного Эроса — Ньютонов: притяжение прямо пропорционально наличным массам и обратно пропорционально квадрату расстояния меж ними, т. е. здесь «разлука уносит любовь», то в вере чем дальше отстоят, разведены, разлучены, чем менее массовидны, плотны сущности — не существа уж, а эйдосы, виды (а не касания), идеи, — тем крепче внутренняя связь и тяготение; напротив, близость, контактность (человека и божества во облике идола, например) — противна вере: она отвращается от чувственных доказательств присутствия Бога (мощей, вещей) иль рассудочных доказательств бытия Божия. Так, лютеранство, чтоб сохранить веру, отвратилось от телесной близости к Богу в католицизме (через обряд). Атеизм же, чтоб поразить веру, уязвлял ее на предметном и рассудочном уровнях: разоблачал мощи, чревоугодие служителей — попов, нелогичность и противоречия рассудку в священном писании. Это же задевает не веру, но Эрос прямой, Ньютонов, с его логикой тождества. Оттого вера, еще давно то предвидя, огнево взвилась в Тертуллиановом вызывающем *specto quia absurdum*: чем дальше от очевидности — тем яснее истина, чем дальше от прямого контакта, тем грандиознее разность потенциалов и взаимное притяжение и ориентированность существ и атомов бытия друг на друга — то, что называется словами: гармония бытия, целесообразность, строй, космос, красота. И это — дивно, и именно так постижимо — через дивование, восхищение, восклицание в подъеме души: «Это чудо! Непостижимо!» Восхитившись непостижимому — я уже его постиг, к нему взнесен вихревым столбом, световым снопом озарения, откровения, — ибо мой восторг есть гносеологическое состояние прямого приобщения меня к этому слою истин, на который холодным рассудком не проникнешь (так же как для соединения двух химических элементов нужен их разогрев до той или иной температуры их жара, любви, накала, страсти к соединению — сплаву друг с другом, ибо теплота есть стремление молекул выйти из себя, исторгнуться из «я» — своей теперешней формы).

Итак, та или иная вера человека есть ориентированность его нутра, его «я» и личности на так расположенный космос, существа, вещи, идеи и ценности в нем. Переменить веру — недаром это так выражают — что выбить стержень из человека, отчего б он согнулся иль сломался. Данная вера — силовое по-

ле данного мирового пространства, в котором человек, как стержень или магнитная стрелка, ориентирован смотреть, например, вверх, а ногами касаться земли. Перемени или сдвинь направление тока — и силовые линии поля пойдут в обратные или иные стороны, и тогда в атоме, в электроне, в стержне, магнитной стрелке — истерика и растерянность, человек сбит с панталыку, без устоев, целей (т. е. чувства целого и своего отношения к нему и места в нем), готов колебнуться, неустойчивый, шаткий, в любую сторону под впечатлением Броунова движения среди хаоса или иных полей тяготений.

Но человек как существо уж задан — заделан с магнитным склонением головы вверх, ног к земле. Если же перевернуть силовое поле и головой его к земле присосать и ногами вверх, то тогда уже человек (как имманентная форма, несущая в себе направления мира как врожденные идеи, благодаря чему каждое существо — микрокосм) не надобен, он разрушится, а из него лопух, дерево расти станет; ибо растение внутренне заряжено, поляризовано обратно: рот дерева — его корни (Аристотель так протолковал растение), оно стоит на голове, вцепившись руками — корнями в землю.

Ну да, спорили: есть ли врожденные идеи или нет? Как же нет, когда человеку и растению уж в их структурах поразному верх и низ мира заданы и проориентированы! Растение — присоска головой книзу (как пиявки к телу земли, черную ее кровь высасывать приставленные), так что голова у него внизу или, если сохранить хотите крону дерева как шапку и голову. — ну, рот у него от головы отделился и переместился: в ногах, в ступнях, душа в пятках стационарно пребывает. А для человека так быть ориентировану — позор: душа в пятках — у труса, что трясется; а тряска, колебания, дрожь — дело деревянное, растительное (ветвей, сучьев, листьев), тех, кто прозябает, растительное существование ведет.

Вот почему, когда Афанасий Никитин не поддается обращению себя в ислам, он тем самым продолжает русское магнитное поле внутри себя носить и им мир воспринимать: Бог — в душе носится и человека хранит. «Царство Божие внутри нас» — это и есть имманентное магнитное поле тяготения в нас: наша определенная сложность из таких-то элементов и форм, ориентированность и соотношение частей и членов нашего состава как подобает. Так что проблема, которую выясняли в XIX в. на примере легендарного в Европе человека Каспара Гаузера, который вырос во тьме и без людей до 16 лет: врожденно ли в человека какое-либо знание, в частности знание о Боге? — конечно, не словами этого отродья, но решается формой, составом и складом этого существа, расположением в нем тяготений, верха и низа. Раз он проориентирован (а иначе был бы кучей атомов, а не организмом) — в нем заложено магнитное поле, а значит, должный строй космоса, что и именуется на другом языке как «Царство Божие внутри нас», т. е. интуиция, чутье

и верный компас истины, даже без учения и внешней лепки наших форм чрез образование и воспитание; отчего, как лошадь в степи в метель пускают чутьем находить дорогу, так и во времена путаницы социальных идей и ценностей надо отпустить поводья и перестать управлять человеком и довериться наивному и неискушенному дураку: он, как социально никак не запятанный — образованием, трудом, почетом, — есть колба, где в чистоте божественный ориентир сохраняется и по кому сверяться в моменты утери путей и ценностей (ср. сказки, «Кандид» Вольтера, юродивые в русской жизни и т. д.).

## Национальный вариант Бога

23.XI.68. Недаром Бог, кроме того, что он живет как дух и совесть в нашей душе, имеет атрибут: творец и вседержитель — вон как молится Афанасий Никитин: «**Господи боже вседержителю, творець небу и земли**» (с. 23). Это и значит, что строй нашей души, магнитное поле в нас адекватно космосу, в него протягивается и из него исходит, на одну волну мы, как мы есть, настроены с небом, травой, зверьем, морями — как они выступают для нас, к нам обернуты, в Кантовом трансцендентальном мире. Ибо для травы или муравья, иль облака виды всех существ будут иначе слагаться и соотноситься, и иной там будет космос.

Вот почему не отрываемы от Бога космогонические атрибуты, как полагали в XVIII веке просветители и философы, и Толстой потом: оставим Богу заведовать душой и совестью человека, в зоне этики, — а природу отдадим науке: тем даже и образу Бога услугу создадим — можно ему в таком случае не выглядеть телесно: седебородым на небесах, что смехотворно маломальски просвещенному человеку; не надо будет и за законы природы ему ответственности нести — она сама по себе, а душа и совесть — сами по себе и уютное гнездо Богу, откуда его уже не вышвырнут и не ужучат.

В том-то и дело, что без космических нитей, обрезав поле мировых тяготений, и душу перестали видеть как микрокосмос, как созвучный бытию строй и склад, — так что без доступа космического воздуха Бог в герметической камере души, социальной и психики — задохся.

Нет, Бог в душе и на небесах — единый, и нельзя, отобрав от него небо, думать, что он жив в душе останется.

А как же с «нелепыми библейскими баснями» о семи днях творения, — что так противоречат современной науке? Наука, конечно, велика тем, что есть попытка человека освободиться от антропоморфизма воззрений и понятий и добыть видение мира глазами муравья, из образа жизни дуба, явить космос реки, евангелие от черного солнца недр — во всю эту множественность миров проникнуть.

Но это все — ужасающая раздробь и рассыпание, и если в нас не будет узла связующего, центра, силы центростремительной, нам нечем будет относиться к муравью (выноситься на центробежной силе к нему), понять его и подарить, ему на удивление, осознание его со стороны: поди ж ты, как я, муравей, выгляжу глазами другой твари циклопической, которая именует себя «ше-лѣ-вьек!»! Значит, чем сильнее рассыпающие нас тяги наук, которые почкуются по принципу разделения труда и назначения которых — периферия, окружность, множественность бесконечная, тем настоятельнее потребность в узле, в сдерживающем центре, в отношении к миру как целому и единому, в усилении «я», в возрастании личности, души и совести. Поэтому и говорит современный католик, что малознание уводит от Бога, а многознание приводит к Богу. Чем более шебуются и свистопляшет разделяющаяся и почкующаяся наука, так что в ней правый мизинец (какая-нибудь гальванопластика) не знает, что делает левое ухо (структурная наукометрия), — тем более потребность в неуязвимом центре, до которого все эти зыби не имеют никакого касательства и который непререкаем и непреложен — не должен обращать внимания и угодливо приводить себя в соответствие с последней новинкой каждой науки: открытием нейтрино, рукописей Мертвого моря или противозачаточной спиральки. И чем более архаичен и православен образ Бога — да, седобородым дедушкой на небесах, сотворившим все за шесть дней, а на седьмой почившим от трудов, — тем неприкасаемое он, тем тверже его узел и скрепляющий наше «я» центр. Так что никаких новаций и модернизаций. Хотя и это все пусть входит, ибо и лютеранство, и теизм, и шаманизм — все это ипостаси божества и дают нам коснуться его разными гранями души своей, ума и существа и по-разному его представлять, так что, пожалуй, и евангелие от растения сочинить в состоянии станем — и к нему прийти как понимающие миссионеры (мое, например, представление: рассеянное бытие стремится к воплощению, воплощенное — к рассеянию — из образа жизни растения, как трубы от ясного к черному солнцу недр, — извлечено).

Так что в недрах ученого химика-старичка шевелится дорогая детская сказка, и, умирая, он в нее возвращаться будет, к ее уровню, к материнскому лону смерти приникать; и неотменно это ощущение никакими формулами; и не формулами, а памятью об этом держится, и не рассыпается на протяжении жизни его состав, его «я», личность. Оттого ученейший Бахтин или Павлов ходят молиться в православную простонародную русскую церковь вместе со старухами неграмотными. И образ теософского бога уживается с ликом седобородого старца.

Неньютоново все это, и как раз Ньютоновой-то и прочей физике и науке нужно, чтоб во Вселенной, везде, в каждой точке, действовали обратные ей законы, отчего наука и производит в XX веке гипотезу антимира, который есть антинаука: мир, где действуют обратно направленные естественные законы, где вза-

имное притяжение, понимание, проникновение и всесимпатия обратно пропорциональны массам существ, но прямо пропорциональны квадратам расстояний между ними, что и случается с Богом и нашим отношением к нему: чем он дальше и всеобъемлющее, тем ближе и пронизательнее в нас<sup>3</sup>.

Ньютон был мудр и скромнен: открыв свои законы, он причину-то их действия не в них, а в перводвигателе и первотолчке полагал: Бог придает такое разумное и целесообразное движение телам.

Итак, наука и вера могут сосуществовать в абсолютной взаимной любви, доверии и свободе — как прекрасен такой их союз! — заинтересованно в силе и богатстве каждого из этих миров, ибо один — центр, другой — периферия, один — зона единства и целого, другое — зона калейдоскопического множества бытия. Лишь бы не вторгаться в прерогативы друг друга — как это раньше было, когда мешали: и старообрядцы и квакеры не допускали научных исследований, а в отместку за это атеистические квакеры (не выше уровнем ума и развития), типа Вольтера или иные, щипали веру-кормилицу и потешались над противоречиями Писания.

Богу Богово, Кесарю Кесарево, Науке Науково — так можно дополнить: не как разделение зон и пространств бытия, а как разность измерений, так что каждое будет везде и всепроникающим, но не отменяя другое: ведь через каждую точку мира проходит и высота, и глубина, и ширина, и нельзя сказать, что вот эта точка — моя, широты, а не твоя, глубины или высоты.

Конечно, вторжения и взаимовытеснения тоже совершаются по божьему соизволению (или поущению?) — как энергии и живость измерений, их пульсация; но то игра детей — их войны не на живот, а на смерть, — то волновые перекаты, зыбь равновесного бытия.

А конечно, склонение вер и религий происходит соответственно склонениям (климатам: «климат» буквально — «склонение», угол наклона солнца, термин, введенный греческими географами) — недаром по поясам широтным и меридианным распределены мировые религии: на Севере — шаманизм, в умеренном поясе — христианство, южнее — ислам, еще южнее — зороастризм и индуизм, восточнее — буддизм и т. д.

---

<sup>3</sup> «Древность существования благоприятствует религии; степень веры часто соизмеряется с отдаленностью предмета, в который мы верим, ибо наш ум при этом бывает свободен от необычных понятий той отдаленной эпохи, которые могли бы противоречить нашим верованиям. (Потому обычный прием атеизма — вспоминать эти сопутствующие обстоятельства места и времени, погрузить предание в историю — например, заняться исследованием исторического человека Иисуса в истории I в. н. э. — и так заземлить веру и заставить ее предметы подчиняться Ньютону закону науки.) Человеческим законам, напротив, дает преимущества новизна их происхождения» (Монтескье. О духе законов, кн. 26, гл. III). Он же уточняет: «Сила религии покоится главным образом на вере в нее (т. е. притяжении любви), а сила человеческих законов — на страхе перед ними (т. е. в отталкивании)». — 29.XI.68.

Вот и в душе, в микрокосмосе Афанасия Никитина начинает менять свое положение мировая ось: послушаем, как он примеряет христианские праздники уже к мусульманским:

**«Месяца маа Великий день взял есми в Бедере бесерменьском (басурманском — мусульманском) и в Гондустану (Индостане); а в бесермене бограм (байрам) взяли в среду месяца маа; а заговел есми месяца априля 1 день. О благоверныи христиане! Иже кто по многим землям много плаваает, в многыи грехы впадает и веры ся да лишает христианскыи» (22—23).**

Вот: христианство — крестьянство, оседло-земледельческая, растительная религия; так что плаванье, по стихии воды, религия рыбы — вон она, в «Моби Дике» англосакса Мелвилла изложена. Здесь, на воде, главная проблема — как равновесие, устойчивость на волнах держать, в глубь не потонуть и как разнообразие и множественность бытия среди монотонно-монолитного единства Океана — не забывать. Задание это для души противоположно заданию земледельчества — христианства, где внизу твердая опора, и надо думать не о поверхности и глуби бездонной, но о выси, бездонном (воз)духе и тверди небес; где устойчивость и так дана и, наоборот, надо расшатать прикрепленность к месту, дому и вещи и пустить человека, как баржу по волнам, чтоб об устойчивости и поддержке в Боге востосковал. И, конечно, у англосаксов-мореплавателей в подспуде, под кожей — иное христианство залегает, нежели у континентальцев-германцев или русских: ежесекундное зрелище волны, падение и взлет — больше случай и вероятность в мировоззрение впускают.

**«Аз же, рабище божие Афанасие, и сжалися (исстрадался) по вере; уже проидоша четыре великыя говейна и 4 проидоша Великыя дни, аз же грешный не ведаю, что есть Великий день (то есть, не может точно день определить, негде справиться, не у кого спросить, а все на глазок приходится самому, по звездам, как мореплавателю, да по обстановке — соседству байрама и иных мусульманских праздников — определять) или говейно, ни Рожества Христова не ведаю, ни иных праздников не ведаю, ни среды, ни пятницы не ведаю (все измерители — во Времени, на ее шкале Бог расселся; недаром и Робинзон первым делом стал насечки дням наносить: божественный = космически-строительный ход Времени установил, а не хаотически беспорядочное марево, в котором вихляться начал наш Афанасий. Вообще, календарь — слабое место в России, и чувство времени здесь, в отличие от германцев, — мало развито: счета дням и ночам не ведают русские медведи в зимней спячке — зачем он, этот счет! Так незаметнее свое житье-бытье в рассеянности и проистечет); а книг у меня нет, коли мя пограбили, ини книги взяли у мене, аз же от многыи беды поидох до Индеи, занже ми на Русь пойти не с чем, не осталося товару ничево.**

(Книги в России, значит, зону Времени блюдут и восполняют недостающее: память, чувство личности, „Я“, истории, имени —

так же как в Индии, при недостатке стихии воздуха, ее восполняют духовные религии: раздвигают народу атмосферу. В России же слово — дело Божье, литература — на правах национальной религии, и именно: Время и самочувствие Руси добавляют, биение ее сердца и пульс.) **Пръвый же Велик день взял есми в Каине, другой Велик день в Чебукару в Маздраньской земли, третий Великий день в Гурмызе, четвертый Великий день в Индеи с бесермены в Бедери; и ту же много плаках по вере по хрестьянской** (плач по ком — есть его именно присутствие — в слезе моих глаз: она — не я, а тот во капле, в ином, нежели при жизни, агрегатном состоянии; так что плач по вере — то существование веры, однако уже не в своем виде, и потому — скорбь как переизбыточное давление, сжатие и стеснение: при высоком ведь давлении и из земли вода выжимается и меняются процессы и законы газов и жидкостей).

**Бесерменин же Мелик, тот мя много понуди, в веру бесерменьскую стати. Аз же ему рекох: „Господине! Ты намар кыларесен менда намаз киларьмен, ты бешь намаз киларьсизменда 3 калаременьмень гарин асень иньчай“**<sup>4</sup> (вот как уж по-тюркски пишет, а в конце „Хожения“ христианского Господа Аллахом называет, так что в самое сердце должны были ужучить Афанасия следующие слова Мелика, справедливость которых Афанасий не мог отрицать); он же ми рече: „Истину ты не бесерменин кажешися, а хрестьянства не знаешь“. **Аз же в многыа помышления впадох и рекох себе: „Горе мне окаанному, яко от пути истинного заблудихся и пути не знаю** (русскому вера = путь-дорога истинная, прямая, праведная, единственная: по шире и дали, по плоскости и горизонтали идущая. А здесь, среди космоса гор и холмов, бугров, истина — скорее вверху, по вертикали обитает и найдена быть может. Афанасий же русак все о пути талдычит. И по-индийски „дхарма“ — от dhar = держать; лишь на русское мировоззрение приходится переводить это как „путь“: в буддизме „Дхаммапада“ — „стопа закона“; стопа — хоть имеет отношение к пути, но есть шаг: ногу и вертикаль человеческой фигуры как мерило и сажень-треугольник<sup>5</sup> предполагает — верный шаг, отмеренный). **Господи боже вседержителю,**

<sup>4</sup> «Господин, ты совершаешь молитву, и я также совершаю; ты 5 молитв читаешь, я 3 молитвы читаю; я чужеземец, а ты здешний». Вот уже разница в числах: 3 важно в умеренной полосе = триада зерна, трехступенчатость его выращивания и деление дня: утро, день, вечер; и молитв: заутреня, обедня, вечерня. В жарком же и сухом, степе-пустынно-горном климате ислама к воде и источнику божию прибегать приходится чаще — 5 раз в день. Здесь 5 («беш») важно: бешбармак, Бештау, Пятикнижие Моисеево, Пятикнижия арабо-персидских поэтов: Низами, Навои и т. д. Оттуда и арабское счисление десятерницей по миру пошло, которая есть дважды пять. Но тут разница стихий: христиане молятся земле, которую трижды вкушают, а мусульмане — стихии воды, которую пятижды пьют. В Индии число 4 важно: 4 цвета = варны — спектр их огневой.

<sup>5</sup> В русских деревнях сажень имеет вид  = подобие человека шагающего. Планки закрепляют шаг двухметровый.

творец небу и земли! Не отврати лица от рабиша твоего, яко скорбь близ есмь. (Вот: космотворец, облучи меня чрез УВЧ лика своего — и лучами вправь мне магнитное поле души, ибо сгибается в скорби, надо же ее лепестки расправить. И это может сделать именно не Бог-совесть, чьи прерогативы ограничены нутром, но тот, что распростерт в бытии средь стихий: он здесь, под другим небом и склонением солнца, сам знает, что мне должно, каким быть, и пусть меня настроит на верную волну, ибо я от множественности растерялся, запутался и единого найти не могу. Богу себяверяют в трудные минуты и в отчаянном положении, когда волна мчит на рифы — не затем, чтобы произвести правильное движение, но затем, чтобы хотя б не произвести ложного движения (от суеты и растерянности и своеволия), чего бывает достаточно для спасения — тем, что перестаем мешать естественному течению бытия. Оцепенив себя, оторвав руки от весел и воздев их горé, в воздух,— мы тем миг благословенной пассивности добыли, что нас и вызволил из бедствия, ибо активничавший мог бы рвануть веслом и подправить лавью прямо на риф<sup>6</sup>.) **Господи! Призри на мя и помилуй мя** (погладь душу, просветли ее. Но сказав так, я сам уже ей эту мягченность и просветлительную процедуру осуществляю: молитва — массаж души. Так что верно: вспомни Бога, и он тут же с тобой, будь с Богом — и он будет с тобой, обрати к этой идее мысль, взор и слово — и она уже есть, произведена, сотворен Бог, ибо он не предмет, но — акт, пульсация пунктирная: его нет, когда я забыл его и не помню; он тут же возникает на весь мир, когда я о нем помыслил иль произнес даже, не думая о нем: о Боже! Спасибо! О Господи! — просто выдохнув), **яко твое есмь создание** (как и Бог — создание моего молитвенного настроения: строй моей души, подключенный к миру, космотворческ — как искра достаточна, чтоб лавину молнии вызвать, а искра бывает и из глаз. Словом, наладив строй в магнитном поле своей души, я влияю индукцией на магнитное поле всего космоса, так что ни единая слезинка младенца не остается без значения для бытия, но абсолютно по всему ему прокатывается и чуткой мембраной Бога улавливается и в книги (склад) вселенной, на энергию для произведения последнего катаклизма (Страшного Суда) — вносится. А это понятие — последний, суд грядущий — оттого, что Бог представляется нам на шкале Времени обитающим и все откладывается на будущее; а так-то все это и сейчас есть и совершается для того, кто слышит и улавливает текущую зыбь и зябь бытия, его пространство); **не отврати мя, господи, от пути истиннаго и настави мя, господи, на путь свой правый, яко никою же добродетели в нужи той сотвори х тебе, господи мой, яко дни своя преплых все во зле, господи мой, олло перводигер, олло ты, карим олло, рагым олло, карим**

<sup>6</sup> Демон Сократа по той же линии действовал: только сигнализировал ему, чего не делать, но молчал в ответ на вопрос: что же делать? — 25.V.69.

олло, рагымелло; ахалим дулимо»<sup>7</sup> (вот: с Господа на Аллаха переходит). Уже подошла 4 Великая дни в бесерменской земли, а христианства не оставих; дале бог ведает, что будет. Господи боже мой, на тя уповах, спаси мя, Господи боже мой! (22—23).

## На Юге Жизнь — нагая

24.XI.68. Хождение за три моря да ко огню — вот путь Никитина, ибо все время все ближе подступает к пеклу. Сначала в «Баке, где огонь горит неугасимы» (13) — снизу, из нутра земли черное солнце выбивает огненным гейзером; потом «в Гурмызе есть варное (от варить) солнце, человека съжжетъ» (13) — это уже огонь сверху, и люди на корке земли, словно на прокладке между анодом — лучом сверху и катодом — лучом снизу, обитают, и их все время огненные искры пробивают и на огне Агни — костре снизу — возносят труп к огненной сфере вверх. Потому по Ригведе Агни — Джатаведас = «знаток существ», ибо все бытие насковзь и все существования огонь пронзает, их ведает и ими заведует. К области огнеземли относится и цвет, и краска: «а тут ся родить краска (индиго) да лек (лакх)» (13).

**«И тут есть Индейская страна, и люди ходить нагы все».**

Се космос открытого бытия — как открытого моря. В России тело не имеет отношения к бытию, упрятано от него в незначительность, зато возрастает значение лица — единственного перешейка меж человеком и бытием. Ну да: тело одето, убрано от контактов с бытием и, значит, ему невидимо: человек — лишь голова, а остальное закрыто барьером, заслонено для лучей бытия, и в бытии лишь головы ходят и летят: потому и Афанасий все время людей головами обозначает: «а нас отпустили голими головами за море»; «да русаков нас 10 головами» (12). И казнь в России оттого — через отсечение головы, ибо она одна значение имеет: всего же остального для бытия и так нет. Отсюда и живопись в России наиболее портретна, и лицо — зеркало души.

В Индии ж бытию открыто все, и все им освящено, и все члены имеют бытийственное значение. Потому заслоненного русского поражает отсутствие стыда, открытость жизни как на духу, отсутствие секретов (в России ж чтятся чудо иль секрет). Застенчивость северянина — оттого, что столь мала имеющая причастность к истине часть его тела; всего одна восьмая, а остальное — велика Федора, бескультурна, сырье, а носи его! Потому застенчивый сутулится, клонит головку, перекобочивается, как бы желая головой заслонить постыдную неистинную, никчемную кучу земли. Или, напротив, ходит задрвав голову —

---

<sup>7</sup> «Бог покровитель, бог всевышний, бог милосердный, бог милостливый. Хвала богу!»

с вызовом грудь колесом против бытия выпячивая и строевым шагом его кинжала (солдафон). Так что непринужденная походка, осанка — не присуще все это северному человеку, и если у него это вырабатывается — то с чужого плеча, искусственно, упражнением и культурой.

Южанин же — благословенный, обласканный и привеченный солнцем, принятый им к себе как он есть — и с голенями, и с бедрами, и с ягодицами, и с грудями,— это все тоже как истинно-естинное чтить, развивать должен, и развита здесь и культура любого члена тела (гимнастика, атлетика в Элладае), таец в Индии, асаны созерцания (в йоге) и соития (в каме). Огонь по нему снизу вверх струится, любовно все выпуклости и ложбины человеческого костра языком своим синим ощупывая и по ним пробегая — и луч солнца встречный гладит, и сходятся они на волнах-всплесках выпуклостей: голова, груди, бедра, колени; человек есть несколько тактов огневодной волны, сквозь него из-под земли в небо и с неба вниз прокатывающейся. Поэтому искусство там не портрет, но скульптура (Эллада, Индия), а «я» человека должно именоваться не по лицу — «личность», но скорее по фигуре: принцип личности («аханкара»<sup>8</sup> в «Бхагавадгите») — это то, что стягивает члены разные в узел, не давая им распадаться. «Я» не столь спиритуально и не столь возвышенно здесь понимается, как в России, где оно — личность-лицо, в зоне света и высоты, самой лучшей. Потому буддизму так не дорого пожертвовать принципом «я», личности, ибо раз они рассеяны по всем клеточкам моего тела, то почему кожей моей ограничивать их полет? Пускай растекаются по бытию в потоках дхамм и кучах скандх. Для Достоевского ж всем можно ради личности пожертвовать, и если она собой жертвует, то уже только выси, душе и духовной любви. **«А голова не покрыта»** = дом человека без крыши. Голова, как единственно причастное к истине для северянина, чтится и оберегается. Здесь же, где истина более распределена по всему телу и его членам (оттого возможны здесь космогонии от тела, разделение мира и существ по членам тела: Пуруша в Индии,— тогда как в России приемлемее космогония как от лица исходящая: взгляд, свет, мысль, слово: **«В начале бе Слово»** — От Иоанна, 1.1), — нет такой идейной нагрузки на голову, и она не столь заносится в гордыне иль пригибается в застенчивости и «комплексе неполноценности» — не знают его Юг и Восток, где нет стыда за махину тела, всемерно большую головы. На Севере ж комплекс — от комплекции как вины и греха, который надо искупить выдающейся личностью своей: вытянув ее сверх телесной нормальной пропорции... Она-то на Севере как раз не приемлется за нормальную: Поликлетов канон в  $1/7$  — постыдно это!

---

<sup>8</sup> Ред.: аханкара — это букв. «делатель „я“», «яйность» — то, что заставляет человека говорить: «я», «мое», а не какая-то там фигура. Недооцениваете вы индийцев, они ведь о душе больше думают, чем о теле.

Не  $\frac{1}{7}$  должно быть лицо, но  $\frac{7}{1}$  — оттого и надувание, и выпячивание и сублимация: т. е. то малое либидо, волну Эроса, что отпущена на все тело и лицу от которого перепадает  $\frac{1}{7}$ , — забрать так, чтобы почти все на лицо и самоосуществление личности пошло, на ее деятельность и бессмертие в славе, трудах и памяти — т. е. в зеркалах, где личность отражима: на взгляд людей на уровне других лиц уповая и возлагаясь. В Индии же слава не имеет значения, о ней не радеют — обо мнении людей о моем лице, так что сюжет, подобный «Носу» Гоголя, здесь невозможен. И глядение в зеркало, что столь важный и долговременный на дню обряд в Европе, — так ли важен там, где надо столь же тщательно украсить голени, бедра, груди, руки?

Ну да, зеркало обрело столь непомерное значение в Европе именно оттого что оно парно идее личности как отождествлению «Я» с лицом. Тогда, чтобы познать свое «Я», надо лицо видеть, егго<sup>9</sup> — зеркало необходимо в обиходе.

Итак, европейская жизнь человечества — на уровне лиц происходит, на орбите, плоскости и срезе седьмого лишь круга от земли: здесь испускаются слова — слава, тщеславие; здесь — мнение общественное, дилемма: быть и казаться в глазах людей. Важный человек здесь — «значительное лицо», Чацкий хочет «служить делу, а не лицам», критика — нелицеприятна, правда — невзирающая на лица и т. д. Остальное подсобно: одежда, грация, этикет, осанка, телодвижения, руки, жесты — как они поддерживают лицо и как своими волнами к нему внимание подводят. В евангелиях же и джатаках уродливые — это тело в струнках, горбаты, безноги, ну — слепы, но нигде об уродствах, неправильных чертах лица, — а именно здесь сосредоточивает уродства человека самочувствие европейца, и возможен здесь паралитик Корчагин с гордой и светлой головой, лицом. В Индии статуей стоит фалл Шивы (лингам), в исламе — обелиски-минареты — тоже фаллы, но икон нет, и лицо не изображается: прячется под чадру у женщины, как на севере срамные части; здесь же, напротив, эти срамные части лица с носами-фаллами, губами-влагалищами развешиваются в иконах по стенам храма иль портретами разносятся во время праздничных шествий и демонстраций; здесь демонстрируют и показывают именно лица: рядов к трибунам, трибун к рядам, а к врагу встают лицом к лицу (тогда как на юге — грудь ко груди, нога к ноге). И основное общение — застольная беседа на уровне лиц (остальная часть тела срезана столом и уведена в небытие, где собаки, кошки, кости и нога ножку жмет и рука на бедро — но самое прекрасное, когда это низовое движение волной дойдет до лица и вспыхнет румянцем иль на мочках ушей, иль в робком шепоте: «не надо», но красноречивом подсказе глаз — «продолжай» — и т. д.). Здесь основная нагрузка на лицо — есть, пить и говорить, петь, глазеть, слышать. В Индии ж и Страбон удивлялся,

<sup>9</sup> «Следовательно», «значит» (лат).

что едят в одиночку, и наш Афанасий: «А ества же их плоха, и один съ-дним ни пить, ни ясть, ни с женою: а ядят брынец (из перс. „бириндж“ — „рис“), да кичири (блюдо из риса) с маслом, да травы розные ядят, все рукою правую, а левою не примется ни за что; а ножа не держать, а ложки не знают; а на дорозе кто же себе варит кашу, а у всякого по горницу. А от бесермян скрываются, чтобы не посмотрил ни в горнецъ, ни в яству; а посмотрил бесерменин на еству, и он не яст, а ядят ины, покрываются платом, чтобы никто не видел его» (19). Это чудно русаку, но для индусов русская общая трапеза — что свальный грех. И в самом деле, это срамное дело разевания отверстия пасти, кусания, жевания, глотания, чавканья, сопенья, хлюпанья — все собрались и свою зверскость и животное-хищную природу друг перед другом демонстрируют. Рот — влагалище, кусок в рот — фалл, вся операция еды и питья — аналог соития, только наверху, на плоскости седьмого неба творится оно; и индус, для которого лицо не исключение от тела, не отделено от него барьером одежды, на него распространяет общее законодательство тела и его естественных отправлений — так что лицо он не ставит вне закона — что ему все позволено! — а видит в нем продолжение живота, зада и чресл. Есть надо поодиночке, так же как справлять естественные надобности.

И хлебать из одной миски иль из сковороды наполняться, как за столом в русской семье, — то же, что всем сразу в один горшок отливать иль испражняться.

А в европейской общей трапезе и застольной беседе не только это совместно делают, но еще умную беседу о боге, душе, бессмертии, идеях этим же гнусным жевалом оскверненным пытаются вести, загрязняя дыхание, звук, слово, нечистыми устами его произнося. Содом какой-то в этой тотальности и смешении всего и вся!

А какое в России пристрастие к таким встречам и поговорить за столом, за выпивкой — о душе (ср. Иван и Алеша Карамазовы в трактире), беседы за ночь заходящие, исполненные высоко-го полета духа и откровенных исповеданий, — это же обнажение, заголение, заменяющее телесно-эротическую каму индусов, где искренность объятия; в России же — искренность исповеди, признания!

Итак, при открытости тела бытию в Индии и не исключительности из этого закона головы (она тоже не покрыта) — удивительна противоречащая этому замкнутость тех людей, их отвернутость друг от друга, что проявляется в одиночной еде, в одиночных же плясках (нет хоровых и парных и массовых, где все, обнявшись за плечи иль пояса, пляшут), в одиночном йогическом созерцании. В этих актах человек соединяется не с человеком и лишь через посредство общества людей — с бытием, но прямо, сразу каждый человек здесь принадлежит бытию и непосредственно с ним совокупляется. Значит, открытость бытию именно требует закрытости человеку, людям, отделенности

мужа от жены, касты от касты и т. д.<sup>10</sup>. Напротив, в северном космосе Руси или Европы бытие холодом отталкивает людей от себя, заставляет их теснее прижиматься друг к другу под крышу дома и очага, сплотиться в общество, в общину, в мир, и к бытию относятся чрез людскую солидарность, так что разрешается парадокс России: она — собственная страна рассеянного бытия, и, казалось бы, здесь каждому прямо с ним сообщайся! Ан нет, Россия славна славянской душевностью — лишь через любовь и сострадание к другому человеку, чрез душевность осуществляема здесь бытийственность, т. е. истинность-естинность, и ум души открывает истины, и не логика здесь рассудка, но — диалектика души.

Поскольку вкушение тела мира в Индии — священное и интимное дело меж человеком и бытием, оскорбительны телу мира, во влагалище уст человека входящему, всякие железные, отъединяющие инструменты, посредники — как презервативы, сии ножи, ложки, режущие плоть бытия, отталкивающие, кромсающие, отъединенность человека от мира стеной дома = гранью — лопастью ножа демонстрирующие: что я не твой, но самость — остастья, и ты меня не замай, я сам с усам, а не хочешь — вот тебе от меня оружие: нож, кинжал и пуля в лоб, расстреляю!

**Ложка же** — готовая мера, из общества шаблон рта, готовый рот и губа, отчужденные и опредмеченные, цензора вкушения — сколько брать; так что сначала от бытия поест а ргіогі цивилизация, культура, социальность, труд — в лице своих инструментов: челюстей-ножей, зубов-вилок, ложек-губ, — а потом уж живой человек в чувственном опыте. И чтоб удобнее обществу эту пенку с бытия снимать, в каждом акте вкушения свою десятину и пошлину брать, — этикет выработан: неприлично брать пищу руками, пить из ручья (надо из кружки или стакана) и т. д. Все это — обрезание человека: богу цивилизации преподнесение его крайней плоти — т. е. края его, границы, где вот-вот его прямой контакт с бытием совершится — ан нет, общество-пострел везде поспел и здесь пограничником Карацупой на рубежах человека и бытия пролегло.

Русские иронизируют над иудеями, у которых культ гигиены, чистоты, что есть, когда, что запретно (см. «Второзаконие»), что прикасаемо, когда — все это как раз законы вхождения одного существа в другое (а пища это и есть: мы ведь вторгаемся на уровни других существований, забирая там то козленка, то злак) и совершаться могут лишь при соблюдении особых условий. Бытие здесь все живое, природа, все органично, всякой твари по паре. В России же все не живо, а есть Бытие; даже

<sup>10</sup> Любовь Индии к дальним (понимание других существ: обезьян, коров и т. д.) требует равнодушия к ближним — брату моему по человечеству. И так здесь страдают от смертей родных, как в Европе. Младенец умер? Ну что ж: значит, от прежнего рождения ему столько осталось дожить до совершенства. Вспомним дostoевскую слезинку младенца, из-за которой вся будущая гармония в тартарары летит.

растение и животное — все одно, что неорганическая природа: снег, свет и камень (недаром мороженое там мясо, а не парное,— т. е. мясо=лед-камень, земля, а не мясо-огневода, и капусту кислую из бочек зимой топором вырубают). Не природа здесь, а бытие. Потому здесь и не считаются с лесом, с животными, а секут подряд<sup>11</sup>, в рассеянное бытие всякую тварь возвращая, к нему ее причащая.

Обратил внимание Афанасий и на четкое идеологическое различие правой и левой рук и сторон в Индии: странно это русаку показалось, ибо в России — какая разница, что право, что лево, «правая, левая где сторона — улица, улица, ты, брат, пьяна»: дорога, братство-соборность и религия выпивки отменяют направления и страны света. Очень много в России левшей — работяг-мастеровых.

Но ведь правое-левое — это, по пифагорейским парам, соответствует мужскому и женскому началам бытия. Неразличение правого и левого — в смешении мужского и женского в России, в том, что они нечетко оформлены и разграничены: мужик здесь очень часто — баба, а женщина отличается мужеством, коня на скаку остановит и сейчас трудится наравне с мужчиной и больше... И ныне советская власть, похоже,— бабья власть, бабье царство. Нет в России такого жесткого различения функций мужчины и женщины, как в странах юга. Ну что ж — и это с углом склонения солнца и стран света сопряжено: чем ближе к югу, к экватору, тем больше по расстоянию параллель, тем резче распределены восток и запад (а они — основа мужского: восток-восход-восстание, и женского: запад-падение-лежание-ложе-лоно).

А на севере? На полюсе там вообще смешаны и отменены восход и заход или свет есть все время = полярный день, или его нет все время — полярная ночь, и сутки не выражены, неотчетливы. А в России, стране полнощной, «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса». Так что космос белых ночей — космос невыраженного востока—запада, правого—левого (правого—виноватого), мужского—женского, света и тьмы — недаром здесь цвет рассеянного бытия — **серый** — основной: небо серенькое, земля — серозем, одежды серого цвета предпочитают, а лошади: Серый, Сивый мерин. Это мы и видим в космосе Достоевского, где издевка над дихотомией, над расколом бытия надвое, напололам (рассечение на секции — секс), диалектикой, — а непрерывные (и до срока суток истекания) перемещения истины, правоты, верха, победы одного — в его же унижение, и тут же вдруг обнаруживается, что сюда переместился

<sup>11</sup> Доброе, человеческое отношение к животным здесь — событие, исключение и, как таковое, становится сюжетом художественной литературы, индивидуального творчества: Муму, Каштанка, Холстомер, Есенин, Маяковский о лошадях и суках,— тогда как в Индии братское отношение к животным само собой разумеется и относится не к сфере личной особенности, гуманного характера вот этого человека, но есть общезначимая народная субстанция.

верх, победа, гордыня: запад—восток ходуном в тряске ходят. Мельтешат части бытия — сводятся токи в точку ближе к северу, пока не истекнут с земной оси в пространство, из жизни — в бытие.

Это и в составе человека русского — эта неопределенность: «ни рыба ни мясо», «ни в городе Богдан ни в селе Селифан», «ни богу свечка — ни черту кочерга» и т. д.

В Индии же правая рука совершает одни операции, обслуживающие свет и верх тела, а левая — низ, нечистоты, грязь. И смешать их — все одно что кал в рот внести. Потому и идея там так важна «неприкасаемости». Точнее — она как раз от наготы тела, его открытости в бытие и, значит, от растекающейся по всему нему идейности и значительности — а не только сосредоточенной в выражении лица. Отсюда — важность осязания, касания, ошупывания — как познания, соединения с истиной бытия. В Европе познание более сопряжено со зрением и слушанием, с органами лица: мировоззрение, термины германской философии — *Ausschauung*, *Aussehen*, *Einsicht* ну еще *Begriff*, *Verfassung* — от: хватать рукой в труде (но не касание — осязание имеется в виду). До Бога высоко, до царя далеко — так что лишь зрением и слухом — дальнобойными органами среди разделяющих пространств — можно к ним причаститься. В Индии ж до бога близко: вот он, шевельнись — и раздавишь его в этом жучке. Потому касание здесь, в космосе огня Агни, — есть электрическое короткое замыкание, и сноп искр напряжения и энергий чрез касание существа к существу на них обрушивается и пробивает. Так что и наслаждения чрез касания очень разработаны (в Кама-сутре); но и запреты, ибо касание не того — есть логическая ошибка, присоединение ко лжи, вобрание в себя неморальной максимы поведения. И высшее понятие здесь обозначено как дхарма (истина, закон) — от *dhar* — держать, т. е. соприкасаться.

## Религиозность одежды и пищи

25.XI.68. Продолжим параллельное рассмотрение одежды и пищи «индейн» в восприятии русского: ведь обычай одежды есть отношение космоса и человека извне друг друга, обычай же пищи — проникновение космоса вовнутрь человека и их там соединение. Потому и то и другое: как одеваться и что есть — подлежит религиозным установлениям, ибо регулирует отношения меж человеком и бытием, их *re-ligio* = вос-соединение.

**«А груди голы» (13)**

**«Индейне же не едят никоторого мяса, ни яловичины, и боранины, ни курятины, ни рыбы ли свинины» (19).** Грудь в человеке, особенно в женщине, — выпуклость, барельеф, распределенный на полушария шар — космический медальон на себе носим: образ земли и ее сущность как шара. Грудь на нас — герб

и эмблема и земляности нашей, и солнечности — что мы им принадлежим. В то же время грудь колыхается, как капля (тоже шар) и волна — из стихии воды, и влагу — молоко, семя мира, в себе содержит: вот брызнет в огненное дупло — сосок: он — заострение, язычок огненный и цвета пламенного: красного, розового, бурого, коричневого.

Грудь — на легких, на воздухе, дышит грудная клетка, и сама полувоздушна и легка, при своей налитости и тяжести: грудь на нас — это сочленение, к крыльям рук ведущее, на взлет, есть остаток в нас и дар от ангелов и птиц. Так что грудь — это универсум стихий, собор и модель мира. Женщина несет и разрезает бытие полной грудью своей, приковывая взгляды — лучи (как солнце), что глядят-глядят ее, ласкают миловзорами; рассекая материю мира, она, как огниво, высекает искры желаний, воспламеняет страсть (огонь); помявая, походя, образует ветры благоуханий, а в танце — вихри.

Человек совокупляется с бытием в двух ипостасях: мужской и женской, и бытие совокупляется с человеком чрез свои представительственные половины — полы. Мужчина и женщина взаимно дополнительные: в зоне груди у женщины выпуклость, она — фаллична, мир прободающая, а у мужчины — плоскость, впадина, влагалище; в зоне же чресел — обратное. Мужчина и женщина очертаниями образуют волну: где у одного гребень, у другой — дол, где у одной холмы — у другого равнины. В гимнастике йогов убирают грудь и живот, в отличие от северной, где наращивают на груди у мужчины женские выпуклости, и солдату вообще положено иметь грудь колесом и живот впалый — бесполом быть. Напротив, женщина северянка, особенно в России, славится как плоскогрудая чахоточная дева, у которой взамен выпуклостей внешних — внутренний огонь, ее пожирающий (русская женщина у Пушкина в «Осени», у Тургенева, Достоевского, Чехова и т. д.). И даже у полногрудых баб русских грудь рыхла, неупруга, вяла, обвислость = мать-сыра земля: не огненна она, но водяниста, каша, так что ей ложка — «бюстхальтер» (букв. «держатель бюста») — нужна.

А в Индии «лѣжици не знают» (19) — удивляется Афанасий Никитин. Ложка — русское орудие еды, вилка здесь — иноземна; недаром в пословицах упоминается только ложка, а вилки нет: «один с сошкой — семеро с ложкой», «Тит-тит, иди есть!» — «А где моя большая ложка?» За столом отец ложкой по лбу бьет и т. д. Ложка — на жидкий космос, что внутрь нас входит, рассчитана, на мать-сыру землю, «щи да каша — пища наша»<sup>12</sup>, аморфная: ни вода, ни земля, ни рыба (вода), ни мясо (земля), ни атом, ни волна (это уже выводит нас в российское естествознание, где должно признаваться как первоэлемент иное начало, нежели четко-европейские атом или волна, но нечто

---

<sup>12</sup> «Пей вода, ешь вода — срать не будешь никогда» — как удивлялись в войну среднеазиаты русской пище (со слов деда Никиты. — 25.V.69).

смешанное из них). Само по себе вещество-существо не держится, нужна форма внешняя, чтоб не растекалось: не получится здесь, в России, самоуправление — все приходится извне заимствовать себе форму и ручку держалку: варягов, татаро-монгол, немцев через Петра, немецкий социализм — марксизм, грузина, хохлов — все бюсту России хальтеры. Ибо неустойчив сам собою индивид русский, предоставь самому себе — растекается и телом, и душой, и мыслию по древу, сизым орлом под облаки = назад, в рассеянное бытие, не крепко он в воплощении на земле, в тверди, так что нужно дополнительной силой воздушный шар его души извне стропами к низу прикреплять (крепостное право, паспорт, прописка, законы против «летунов» и т. д.).

И то, что «хлеб» и «хлепать» — однокоренны, тоже аморфную мать — сыру землю, т. е. земле-воду, выражает.

Вилка же (ее Никитин и не упоминает, она ему еще и не снилась) — укол копьём, западнотурнирный инструмент, на сухое тело-атом рассчитана: вилка = луч, кусок = атом, корпускула, молекула, индивид (т. е. то, что не делится, не распадается само собой, не растекается, имеет свою форму, идею в себе и упругость, есть «я», а не получает форму извне, как каша — сия рыхлая рухлядь — от ложки).

На космос **огнеземли**, поджаренного мяса, жареных овощей, картошки — вилка рассчитана (это космос германства, космос кузни, инструментов и посредства: вилоккой так же берется горячий кусок мяса, как щипцами — раскаленное железо). Но это предполагает животную, мясную пищу, значит, резкое самоотличение человеком себя от животных (с чего и начинается любой западноевропейский мыслитель: Аристотель, Гоббс, Руссо, Кант, Гегель, Маркс). Мясна пища и у кочевников Азии в зоне ислама — но здесь мясо едят руками («бешбармак» — буквально, «пятерня» пальцев), так же как сидят прямо на земле «по-турецки», без стульев, т. е. их отношение к космосу — без посредства, прямое, не брезгливое самоотличение от дичи = дикаря) цивилизованного гражданина Европы: кочевник ест животное как родное, горожанин Европы ест животное как чужеродное.

Индус вообще не ест животного, ибо еще в большей степени, нежели исламист-кочевник, ощущает свое родство и переходность в животное и наоборот, из обезьяны в человека. Русскому, где этих переходов нет, сродство кажется нелепым. Поскольку в России твари расположены неплотно, непритерто, а разными удельными царствами обитают, рассеяны, как поляне — волки, древляне — медведи, весь — лисы, меря — зайцы, все они «откуда ни возьмись» и немцы (не мы) — невидаль какая, не имеют отношения к нам, не то, что мы.

То есть переходы всего во все в России не на уровне уже тел и форм (средства и близости животных тел и форм, как в Индии, где обезьяна — вот почти уже человек), но на аморфном

уровне стихий, материй: человек=земля, глина, прах, вода, что течет; душа — воздух, свет ты мой, батюшка мой свет.

**«Индяне же вола зовут отцем, а корову матерью, а калом их пекут хлебы и еству варят себе»** — вот: это уже грязно и нечисто русскому; индийцу же кал священного животного чище и выше по уровню, нежели кал человека, так что кал коровы=хлебу человека, соединим с ним через всесвявующий огонь; для русского же внутричеловеческое соединимо, своя грязь со своей же едой — оттого не брезгливы люди друг к другу и из одной миски хлебают, и одним стаканом на троих водку жрут; для индуса же свой человеческий кал дальше от своего хлеба, нежели кал слона или коровы — священных, святых, светлых.

**«А попелом тем мажутся по лицу и по челу, и по всему телу их знамя» (19).**

Лицо-свет — да чернота кала! Какое унижение личности! Но в том-то и дело, что в южном космосе личность распростерта по всему телу, и все его члены достойны. Оттого и груди голы, что человек здесь животного мяса не ест — родича своего ближайшего: груди в нас — выпуклость, живот (наросты форм — специфика животного тела). Мы не стыдимся своей груди=не стыдимся своей животности; и верно, круглый живот, как и выпуклости грудей, — удостоверены искусством как истинно-бытийственные в скульптурах и барельефах индийских храмов.

Если же еще южнее, в космосе экватора, Африки, едят мясо животных и даже людей, то здесь, где все равно — аequus, животное и человек, это от интимнейшего сродства, любовно (животные здесь — тотемы родов, их предки и родичи) и совершается всегда обрядово, а не буднично.

Еда есть химическое соединение веществ в колбе-пробирке моего тела, и что едят, и что соединимо, какие элементы вступают в союз и разложение — тоже дает нам понимание о национальных космосах.

**«...а ядят брынец (рис) да кичири с маслом, да травы розныя ядят» (19).**

Значит, травоядные животные. Мясо можно есть лишь «неприкасаемым» — и то не забитое животное, но падаль, так что эти касты играют роль грифов, шакалов=чрев-очистителей, могильщиков, трупы пожирающих. Тело неприкасаемого есть готовый гроб, подстерегающий себе труп животного. Живой же человек есть живое животное; оно наравне и парно ему, собратско, и ест его же пищу — растения. Людской же пищею — взаимно — кормят животных: «Кичири, кичирис — кхичри, индийское блюдо из риса с маслом и приправами. По словам Абд-ар-разака Самарканди (40-е годы XV в.), блюдом кичири при дворе виджаянагарского царя кормили, между прочим, царских слонов: сварив кичири, его выливали из котла; посыпав солью и подмешав свежего сахару, давали в пищу»<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Примечание 131 в кн.: Хождение за три моря Афанасия Никитина, с. 225.

Итак, слон адекватен человеку и по пище: это просто человек-храм (недаром высеченные из скал храмы индийские по форме — слоноподобны и очень похожи на высеченные возле храмов фигуры слонов).

Итак, пища — это травы, рис, масло, пряности: острое (перец) или сладкое. Дополнив данные Никитина книгой «Народы Южной Азии», имеем следующий набор: пресные (соль=огонь в виде кристаллов здесь не нужен: и так его много разлито в воздухе. Напротив, в сыроземном Севере нужно добавить огнеземли — огня в форме земли, чем и является соль) лепешки — чапати, что служат и ложкой («Блюда подают обычно в металлических чашках и едят руками, ловко поддевая куском чапати» — 261).

Кислое молоко (дахи); жидкая каша из бадгиры, ячменя или другой крупы, карри — каша из бобовых, картофеля или овощей с пряностями. «Горох, чечевица, грам и другие бобовые на хиндустани имеют общее название — дал» (261).

«Сладости обязательно входят в меню горожан, но они также распространены и в деревню. Самое простое лакомство — стебель сахарного тростника, который просто жуют. Из патоки готовят разного рода сладости. Как плов и дал неумеренно сдабриваются перцем, так же приторно сладкими делают индийцы гулаб, расгула и другие лакомства, приготовляемые из творога на патоке или меде» (261—262).

Пряности здесь не роскошь, как в России, а народно-быточно необходимая еда: крайности острого и сладкого надо вводить вовнутрь колбы организма (как вводят долю никеля в медь и получают сплав «константан», в котором сразу в несколько раз подсакивает удельное сопротивление, нежели у составляющих его чистых металлов), и он сразу обретает сопротивляемость окружающему индийскому космосу огневоды, который стремится расплавить тело человека и растворить в воде и унести в потоках. Потому вводят внутрь себя, прививают себе на иммунитет и восполняют в себе огнеземлю (острая пища, перец, белки бобов и риса) и огневоду (сок сахарного тростника), но не сыроземлю, что непрерывно вводят в себя северяне, русские (кислая капуста, щи и т. д.).

«А вина не пьют» (19) — как и эллины, этому дивуется в Индии и русский, у кого «веселие — пити». Но здесь спирт, сильная огневода, не согрел бы, но просто спалил бы и так уже полуогненное вещество тела. Его же надо, напротив, постоянно остужать, прикладывая мокрое нечто (по физике ведь известно, что тело, от которого испаряется влага, само реактивно охлаждается, и эту роль играет индийская жвачка — «пан»).

«Многие жители областей среднего Ганга, как и других областей Индии, жуют пан (особенно после еды). Пан — это лист бетеля, в который заворачивают немного извести (кость в себе тем восполняют), кусочек ореха арековой пальмы, кардамон или другие пряности. Пан кладут в рот и жуют, оттого рот напол-

няется слюной кроваво-красного цвета, которую время от времени сплевывают. После десяти-пятнадцати минут жевания выплевывают и сам пан. Во рту остается ощущение приятной свежести» (262).

В России и северных космосах нет обычая жвачки — т. е. доить из себя слюну, и американцы-горожане (где уже жарче, чем на природе), наверное, заимствовали обычай жевательной резинки, как и джаз, у негров. Жвачка — это самоорошение, испарение и охлаждение. На Севере, напротив, работают, полуоткрыв рот (подсушивая нутро свое сквозь это зевало) и высуня язык и отдуваясь, тяжело дыша — т. е. воздухом, как мехами горна и кулачком раздвигая корпус и автоматически сходящиеся лопатки — т. е. тяжесть поднимая: воздухом легких, души, штангу тела выжимая. На юге же сжаты губы, крышка над резервуаром своей воды. Как верблюд — водоэконом — плюется, так и жвачка затем у южан: плевков — как реактор — накопитель той же энергии и стихии (здесь — воды).

**«Курят хукку — трубку типа кальяна, в которой дым проходит через воду» (262)** — опять огневода: вода берет пошлину с огня, пока он через ее орбиту вверх проходит, — так же как в жертвоприношениях Агни снизу он должен слой мировых вод пройти, пока до небес богов дойдет.

**«А ясти же садятся, ини омывають руки да и ноги, да и рот пополаскывают» (19).**

В России того не делают, ибо сам космос преимущественно неорганический, бытие — а не жизнь и природа: снег, мороз губит жизнь, живую смертоносную гниль, микробов, дезинфицирует пространство в течение полугода. Так что здесь гниль превращается в безжизненную грязь, камень, и не опасна для живого нутра человека — просакивает, как косточка, не задев и не растворяясь. Оттого и мыться можно не часто, и совсем не мыться — кривая бытия вывезет и упасет без моих особых очистительных стараний. В Индии же, где все бытие = природа, жизнь, кишит микро- и макроорганизмами и где благосклонная природа кругом предлагает готовую пищу и тепло, так что не уходит много сил на жилье и добычу пищи в труде, зато столько же сил, сколько у северянина уходит на возжизнение себя (дом, тепло, дрова, огонь, очаг — и еда: охота, рыбная ловля, земледелие), т. е. на загрязнение бытия жизнью, — уходит в Индии на очищение себя, на оборону от избыточно наваливающейся жизни, которая и себя предлагает мне в пожирание, но одновременно и меня пожирает (червячки остатков пищи съедают зубы, кожу, внутренности). Да, это важнейший для Индии принцип — очищение, т. е. труд отвержения от себя избытков, прибавочного продукта и т. д., тогда как у европейца при недостатке жизни в космосе его бытия все силы уходят на труд как приобретение, накопление прибавочного продукта. И Страбон удивлялся, как это избыток урожая в Индии сжигают! — Да чтоб не гнил и чуму, заразу и холеру не произво-

дил<sup>14</sup>. Потому индус столько же времени тратит на религию и духоочистительные операции, сколько европеец — на труд, так что если в Европе время — измеритель стоимости товара труда, то в Индии работают над отталкиванием времени, над выработкой антивремени, константы бытия, и созерцание есть не-время, транс=вечность.

Итак, воздержание от труда есть труд Индии, заповеданный ей ее бытием через склад национального космоса. Потому высшая каста — брахманы — бедные, питающиеся подачками и сбором колосьев с убранных полей: они бедные, но чистейшие (в отличие от неприкасаемых, которым можно даже мясо жрать и которые толсты, жирны и богаты, как навозные мухи).

**«Индийцы часто моются, используя для этого малейшую возможность. Руки они моют перед каждой едой обязательно, так как едят руками» (262).**

А у инструментальных народов рука хватает щипцы, вилку: они более тонкую работу, нежели пальцы, предназначены делать. Рука же здесь жмет и моет руку, тогда как в Индии при-ветствие — не рукопожатие, которое слишком интимно, как соитие, — но дистанционное: прижатие рук к груди и поклон — опять отсоединение человека от человека, а в Европе — социальность, братство, соборность, община. Оттого лозунг **«свобода, равенство и братство»** в Индии не созвучен космосу, где среди кишения существ прожить можно, если четко соблюдать свой особый уровень — тогда мне хватит пищи, ибо ее не ест существо другого уровня; если же все набросимся делить одно — в равенстве — и обнимутся миллионы в братстве, о чем мечтают Шиллер — Бетховен, т. е. образовать круг людей и взаимопомощь в обороне от недостаточного жизненного космоса, — тогда все передушат и передавят друг друга в отвратительно-неразличном месиве тел — как змеи в яме. Так что братства и равенства здесь не нужно, а нужны четкие различия дхарм существ по кастам.

А свобода? Это дело как раз социально-европейское, где все сплываются в общину, чтобы противостоять природе, и для того индивиды поступаются в общественном договоре (подспудном, бессознательном или объявленном) частью своей независимости — открытых валентностей на прямое соединение с бытием: общество их перекрывает, изгибая в свое магнитное силовое поле. Оттого, из этого давления, у индивида потребность вздохнуть, расправиться, восстать (а так он изогнут, принижен, согбен проходящей через него силовой линией общества) — т. е. обрести перекрытую валентность (=личность, «Я» найти), высвободить ее — чтоб в другое, свободно начавшееся порабощение вступить.

---

<sup>14</sup> В Азии — очаги всех мировых эпидемий: оспы, гриппа, чумы, холеры, как там — очаги переселения народов (избыточной людской жизненности) и мировых религий.

В Индии ж, где существа открыты прямо в бытие, а не через посредство круговой поруки и взаимопомощи общин с ним общаются, социальная свобода — не проблема; зато проблема — индивидуальное самоочищение, свобода от избыточно наваливающейся жизни, чрез свои связи, привязанности, желания, наслаждения опутывающей нас, как лианы и змеи, и душасей,— т. е. то, что по-европейски называют «свободой от страстей», «нравственным самоусовершенствованием».

«Также обязательно утром чистят зубы, язык и прополаскивают горло... Язык очищают специальным скребком» (262). Ибо из-за крошечности рта — того, что он общее отверстие для всех стихий: для пищи и для слова — дыхания — мысли,— надо, чтоб здесь, как ночь и день, резко разделялись еда и беседа, питье и пение. (В России, где белые ночи и серое небо, как ночь и день друг в друга перетекают и как цвета неразлично-блеклы, так и говорят за едой, поют за пьянкой — тотально, смешанно и неразлично все это; оттого и зубы не моют и рот не полоскают перед и после еды — одним им и жуют и глаголят.) Ибо день и ночь тоже на одном месте и в одном пространстве чередуются, друг другу место уступая, но так что ночью ничего от света, а светлым днем ничего от тьмы не остается. Так это в Индии резко, а в России — смешанно и аморфно.

Но это касается и *индийской логики*. Из-за того что при кишасшем изобилии существ они тогда лишь смогут прожить одновременно, если не будут заступать на уровни друг друга, первейшая задача для мысли — классификация уровней, существ, стадий, дхарм, ашрам (зон жизни), ступеней совершенствования, так что в буддизме не дается общих правил поведения для вступивших на путь дхаммы, но то, что запрещено начинающему, разрешается на следующей ступени, а архату и бодхисаттве вообще снимаются все запреты, ибо настолько просветлено у него естество-существо, что все, что бы он ни сделал,— превосходно, свято (даже преступление с точки зрения низших уровней) — но не претендует быть общей нормой и образцом, есть не тип, а частный случай. А на высшей ступени вдруг снимаются все различия, столь существенные на предыдущих уровнях существ, и в логике Нагарджуны: Самсара — одно и то же, что Нирвана.

Отсюда и в литературе — не типизация, создание типов для подражания и образцов, но описание поведения в особых многообразных частных случаях, сообразно его уровню, дхамме, ситуации и т. д. Даже в «Гирлянде джатак» Арья Шуры, где вроде даются вообще примеры поведения на материале подвигов бодхисаттвы,— пример здесь в том, чтоб, как бодхисаттва, действовать сообразно уровню своего существования (мореплавателем Супарги, лебедем, хранителем ли казны), уметь самоориентироваться праведно в любом положении, куда б ни швырнула, ни забросила судьба — как ванька-встанька выпрямляться.

26.XI.68. «... а волосы в одну косу плетены, а все ходят брюхаты, дети родяты на всякий год, а детей у них много» (13).

Вот преизобильный жизнью космос — никаких препон жизни от бытия не ставится, напротив, все побуждает к Эросу (огневлага, истома и нега, разлитые в воздухе). Казалось бы, и так перенаселена Индия, а все больше родится, ускоряется поток существования, переселений душ на иные уровни — быстрее вертится колесо самсары, подавая материал жизней и существ в арыки варн и каст, разбрызгивая и орошая семенем небеса и страны света. Более того, и в буддизме (пафос которого — остановить колесо самсары, прекратить цепь рождений) нельзя воздерживаться, с другой стороны, от зачатий, так как какое-то существо ждет очередного воплощения, чтоб через меня появиться на свет и пройти еще одну стадию пути спасения — уже в завоеванной предыдущими доблестями фазе, например «праджни» — и сподобиться верховной мудрости — «праджняпарамита».

И вот парадокс: в Индии, где, с точки зрения европейцев, ужасное перенаселение и «демографический взрыв», не плачут, что много детишек и нечем кормить; а в России, где народу, по пространствам-то, — мизер, непрерывные жалобы и в народных песнях, и в пословицах, и в литературе — на многодетность семей. В гимнах Ригvedы все молят о потомстве. В народной и официальной вере обожествляют фалл, и каменный лингам Шивы стоит в каждом доме у тамилів наподобие иконы в русской избе (см.: Народы Южной Азии, с. 589). Шива и выражает и разрешает собой этот парадокс: он — бог-разрушитель вселенной, и он же — воплощение порождающей мощи. Значит, ему это нужно: значит, положившись на него, можно рождасть сколько угодно, и все пригодится, — и разрушать сколько угодно, ибо все ж восполнится. Он — Камасамхара, ибо поразил Каму — бога наслаждения и любви, но тут же обрел, присвоил себе его атрибуты и стал воспламенителем страсти, так что «поразил» — значит «поглотил». То же самое он Гаджасамхара — убийца слона: поразил его и стал сам слоноподобен.

И наш Афанасий Никитин не устаёт дивоваться открытости любовно-телесной в Индии, постоянно упоминает, что «соромане знають» (19), «сором не покрыт» (14), «а жонкы все нагы», только на гузне (заду) фота» (19). И далее по-тюркски: «В Индии как малостоящее и дешевое считаются женки: хочешь знакомства с женкою — два шетеля, хочешь за ничто бросить деньги, дай шесть шетелей. Таков у них обычай» (79—80). «А жены же их с мужи своими спать в день, а ночи жены их ходить к гарипом (чужеземцам) да спать с гарипы, дают им олафу (жалованье), да приносят с собою яству сахарную да вино сахарное, да кормят да поят гостей, чтобы ее любил, а любить гостей людей белых, занже их люди черны велми; а у ко-

**торые жены от гостя зачнется дитя, и муж дает алафу; а родится бело, ино гостю пошлины 18 тенек; а черно родится, ино ему нет ничево, что пил да ел, то ему халял (законом дозволено)» (21—22).**

Конечно, надо скидку сделать на то, что Никитин был в смятенной исламом Индии, где индусы — завоеванное племя, и общался он лишь с низшими кастами: к брахманам и кшатриям в контакт войти не мог и их законов строгих узнать. Однако разница в русском и индийском отношении к Эросу в удивлениях Никитина проступает верно. В России это — дело темное, ночное, изъясное-запечное, редкое и бессловесное, в системе христианства лишь двумя словами, и обоими на «б», обозначенное: «брак» и «блуд». Летние ночи для этого здесь слишком коротки, а зимние — слишком холодны (как в одном из отрывков пушкинских иностранец о непригодности России для любви говорит).

В Индии ж ночи на это благословенны: и длинные, и теплы, и недаром почтенные полсуток собой занимают, а не ютятся стыдливо на сиротском положении в белых (светом укоряющих) ночах или, зимним морозом преследуемые, изгнаны из пространства в из-бу.

И космос косо смотрит на зачатие жизни, словно в каждом особом случае скрепя сердце примиряется, воздохнув: **«ну так уж и быть, делать нечего — живи, коли родился, но уж, брат, не взыщи на тяготы: сам на это дело пошел, а я, сколько мог, предупреждал и затруднял, ибо знаю, как тяжко во мне тебе жить придется»**; и логос здешнего космоса — вера христианская (крестьянская) бдит над рождением и затрудняет появление существа на жизнь, всю сферу Эроса априорно рассматривая как греховную. И в самом деле: нужно же, чтоб было где на земле вольготно разгуляться ветру, вьюге, метели, бурану, буре мглою; чтоб чистому снегу скатертями незапятнанными лежать, лесу шуметь, рекам разливаться. А то ведь человек все это благолепие в безобразии вводит: каков снег в городе? бур, черен, прокопчен. А ветру где тут свистеть, а Морозу-воеводе по выхлопам машин гулять?

Так что обуздывает бытие жизнь в России: чуть она войдет во вкус и начнут плодиться и размножаться людишки — тут же то война, то мор, то засуха, то пожар, — и воспитанные всем этим в строгости и в потенциальном ожидании бедствий, люди и в благополучное время дуют на воду, перестраховываются и не распускаются на жизнь.

Вот Никитин удивляется, что в Индии «жонки» **«ходят брюхаты, дети родять на всякий год, а детей у них много»**. В России, значит, не так. Но вряд ли от каких-либо особых сознательных усилий россиян сдерживать распирающую плодородящую хоть и мощь. Просто она в русском космосе ослаблена, и лона женские приспособлены не часто семя принимать, а не то чтобы какие-либо противозачаточные средства и ухищрения в

XV веке на Руси да и потом предпринимали. Или: родятся — да и мрут. И поскольку в России и Европе это дело редко, оно должно быть более метко. И если что не так: девица обещана, жена во блюде прижила пашенка, — то позор, стыд, ярость и месть и трагедия для дома и детей незаконных.

В Индии ж опять парадокс: с одной стороны, дхарма девушки, невесты, жены тончайше разработана (см. «Законы Ману»), и ритуал сложнейший выбора невесты, и требование чистоты строжайшее и до и в браке. А с другой стороны, брахман Ватсыяна пишет «Кама-сутру», книгу наслаждения, где систематически изложены способы и приемы прелюбодеяния, отбивания мужей, жен, как жить гетере: отделяться от обедневшего любовника, завоевывать богатого, — и какие 64 искусства любви должны знать наслаждающиеся. Очевидно, здесь общий индийский принцип терпимости к разному действует: существо должно строжайше блюсти присущую своему уровню дхарму; но если оно каким-либо нарушением соскочило со своей стези, — ну что ж, трагедии из этого не строится: значит, попал ты теперь на уровень других существ, которые ведь живут же, значит, тоже угодны битию, только у них уже другая дхарма. И брахманка, согрешив замужеством с человеком низшей касты и став вдовой, — уже может стать изысканной гетерой, которую за честь принять считают в домах молодых брахманов или во дворце и которая уже должна не дхарму брахманки, а законы камы, изыски наслаждения совершенно знать и осуществлять.

Так ведь и в естестве: электрон, пока он в атом водорода входит, должен строжайше свою орбиту блюсти и осуществлять. Но коль скоро под каким-либо воздействием иль по свободной воле своей перескочил на другую, подвернувшуюся тут орбиту, — ничего страшного: будет уже существовать как атом гелия и его дхарму и чистоту вещества блюсти — в его свойства, как чеховская Душечка, входить.

Итак, человек и его существование в Индии открыты прямо в бытие, которое здесь выступает в такой своей ипостаси — как преизобильная жизнь. Оттого наги, тело и Эрос тут чтимы. При противоречии же меж жизнью и бытием (как в России, где царствует рассеянное бытие, а жизнь и природа допущены на правах сироты и приемыша — настолько лишь, чтоб существа, посланные на воплощение на землю, и уже пройдя цикл жизни по миру, по широтам земли и разных космосов, — здесь доспевать могли иль хоть сколько продержаться на кануне, на пороге, на берегу, в преддверии своего запуска, выхлопа в рассеянное бытие<sup>15</sup> — домой, на возврат) жизнь застенчиво сви-

<sup>15</sup> Россия среди иных космосов земли — шлюз иль тот отсек подводной лодки, где готовится к запуску торпеда или водолаз: они и внутри лодки, жизни, — но в этом отсеке уже и режим и давление открытой воды. И здесь же приемная камера душ из бытия на воплощение в жизнь («По небу полуночи ангел летел...»), где уже и режим и условия жизни наступают и надобно и есть, пить и жениться, и работать, — но сильна память о рассеянном бытии,

вается, уходит в себя, в избу за дверь — в стыд и сором себя самой, что она, жизнь, и здесь существует, прикрывая<sup>15</sup>.

Об индийском жилище Афанасий не говорит, но о нем можно заключить косвенно: по описанию храма = собственного жилища национального космолога — бога. «**А бутханы же их без дверей**» (19) — т. е. открыты в бытие, как и тела людей.

## Человек — Животное или Растение?

27.XI.68. Марко Поло так описывает открытость южных построек: «**Жара тут сильная, и потому-то здешний народ устроил свои дома со сквозняками, чтобы ветер дул; откуда дует ветер, туда они и ставят сквозняк и пускают ветер в дом; и все потому, что жара сильная, невтерпеж**» (Цит. по: Хождение, с. 105).

На индийские религии и храмы Никитин смотрит через буфер — глазами ислама: этот ближе христианству, ибо — единобожие, а индийцы — язычники, веруют в идола «Бута» (от «Будда»), помещая его в «бутхане» (перс. букв. «дом идола»). Имеется в виду не Будда и буддизм, которые ко времени Никитина вытеснены из Индии индуизмом, но вероятнее всего Шива и другие боги. Русский купец полюбопытствовал совершить с индусами паломничество: «**К Первоте же яздыть о великом заговейне, к своему Буту, тот их Иерусалим, а по-бесерменьский Мякья, а по-руску Ерусалим, и по-индейски Парват. А съездаятся все нагы, только на гузне плат; а жонкы все нагы, только на гузне фота, а иныя в фотах, да на шиях жемчуг, много яхонтов, да на руках обручи да перстыни златы**» (19). Вот дивно: голы, а в драгоценных каменьях; и бедные индусы, как и ныне, нищенствуют, а драгоценности и украшения носят. Что бы это значило: груди и сором не считают нужным прикрывать, а шею, руки — покрывают камнем, золотом? Это все красота, блестит, огнится, огонь притягивает и изрыгает; и это в индийском космосе огневоды (а жемчуг, бусинка, бисер, изумруд — то все огневода: металл плавится от огня в каплю) есть не роскошь, а необходимость — сии огнеотводы на себя навешивать, так же как в русском космосе холодного света и матери-сырой земли, средь белизны и серости, где солнце не су-

его притяжение; и оттого — рассеянность, лень, вялость, ничего не охота (ибо не стоит того) делать — «лишние люди», голуби-тюфяки, не укорененные в жизни оттого, что хотят домой к маменьке, в бытие, — высшее призвание чувствуют, нежели мелкие дела и суета жизни.

<sup>16</sup> В России лишь «мертвые сраму не имуть», а живой, пока живет, все стыдится, что жив, и торопится «в последний смертный бой», иль «и, как одни, умрем в борьбе за это», в высшей степени неопределенное, как бытие; наверное, само бытие под этим «это» и имеется в виду. Потому в России без вины виноватые вопрошают безответно: «Кто виноват?» А виноваты уже тем, что живут. А литература полна исповеданий — как оправданий, извинений человека перед истиной, что вот еще живет, коптит, а зачем — не знает. И у Горького в «На дне» точно: «**Что это человек все как перед судьей стоит и все оправдывается**»...

щественно (Григорию Мелехову оно вдруг является в бедствии — но именно вдруг, как прорыв расейского рассеянного бытия), человек одеждой имитирует пласты, слон, стороны, пространства (покровы и от зимы снегом на землю накидываются): перед, зад, верх, низ, бока — щиты на себе развешивает от ветров, дождей, снегов, чем бытие щиплет, кусает и умерщвляет, — а не ласкает, как в космосе Индии. Итак, в лапидарном широком космосе России существенно прикрыть от бытия щитами-плоскостями самые нежные члены жизни по названию «сором», а драгоценности — подвески, излишества<sup>17</sup>; а в распирающем жизненной капельностью космосе Индии плоскость не имеет права на существование: она иль пузырится выпуклостями, иль источается — так в храмах индийских нет плоских стен (которые как раз производят могуче-монументальное впечатление в церквах северной Руси — Покрова на Нерли и др.), а все изрезаны, источены муравьиной резьбой по камню, где индусы действовали, наверное, как бы по природно-насекомому инстинкту, что червям где бы то ни было, а велит источить ткань, сделать вогнуто-бугристой. Ровная пустая плоскость: стена—степь — здесь нетерпима, есть мятеж, потрясение основ национального космоса и мирозерцания. Потому и одежды в Индии — кусок ткани, сари, который сам по себе плосок, — но обматывается вокруг тела, как вихрь и смерч, язык пламени, по формам, изгибам и выпуклостям тела пробегая, их выявляя в извивах и складках и обвивами своими разные уровни, орбиты, сферы и небеса космоса спиралью своей прочерчивая и воедино винтом фигуры человека соединяя: один ведь кусок ткани все тело одевает — так же подобно, как и то, что «а волосы в одну косу плетены» (13), что показалось дивным Никитину. В русской же одежде выпуклости тела не явлены, а, напротив, их стараются упрятать под самодовлеющими плоскостями лапидарно свисающих тяжелых тканей: рубахи, юбки, передника, сарафана, кафтана, пиджака, портов, брюк, пальто и т. д., — в которых тело ходит, как космонавт в скафандре, ориентированный на открытое бытие; и каждый русский зимой есть такая избушка на курьих, то бишь на человеческих, ножках — вставлен в дом, улитка. И недаром народный русский вкус так не принял узкие брюки и моды в обтяжку и талию — широту, плоскость и сторонку родимую это подвергает сомнению; они же, напротив, узнают себе родное в широких брюках «клеш» и в женском платье, покрывающем антирусские выпуклости колен и голеней. Вот почему так ужасно было то заголение, что проделал с русскими людьми Петр, одев их в чулки с подвязками, камзолы и обрив. Тут уж, проделав такое, ясно, что цивилизацию и города тут же городить потребно стало: такого ж на мороз не пустишь, а надо ему Петербурх построить и в приемной на ожидание посадить,

<sup>17</sup> Тут то же соотношение, что и в пище: пряности в Индии — необходимость = черный хлеб, тогда как в России они — периферия, приправа, факкультативны.

а на ветру и морозе в лесу ему делать нечего. Там, напротив, волоса нужны, чтоб ветер запутать, обвести вокруг носа и пальца. Так что Петр, заголив и обрив нацию, сжег попятные корабли и обрек ее на только вперед — в цивилизацию как теплый храм и страну обетованную. Да, нанес-таки удар Петр = камень — перводвигатель российский, первотолчок ей давший.

Заодно очевидно, что единая коса как завязь волос — ложка в России, и она до времени — у девицы, а жить начнет — волоса ей распустят, станет простоволосой расхристанной бабой. Единая коса — это самоузdeckа и самовожжа, преданность. В Индии это естественно: открытому бытию-жизни самоотдача. В России ж надо обрастать и быть заросшу: свой частокол лесной, живую изгородь-плетень поцелуям снежных ветров наперекор водрузить. Потому борода — воистину «предорогая и презолотая», и кто там из петровских поэтических лизоблюдов над нею шелкоперо тешился? И недаром верные служаки бюрократо-государевы, члены аппаратные, по фамилии — Безбородов, Безбородько (Пугачева Безбородов брал, а с ним Белобородов — старообрядец происхождением, верно, — был). И наш Афанасий дивуется, что в храмине Бутовой «да у бугханы бреются старья жонки и девки, а бреют на себе все волосы, и бороды, и головы, да поидуть к бутхану» (18). Бреясь, человек снимает растительность свою и подчеркивает свою животность — отрекается от веры растительного царства (к которому он причастен: стволом своей вертикали) и поступает на поклон, изгиб, хищнокошачью гибкость, изворотливость и угодливость. Ясно, что бритый — лучший царедворец и слуга «чего изволите?», чем бородастый-растительный, который прям и кряжист, как дуб. Потому в клетках государственно-бюрократического аппарата естественно бритым и лысым по ступеням вверх гибко прыгать и потом лики свои улыбающиеся развешивать, заседать; и не случайно русские писатели, в ком народная коренность, растительность, причастность к русскому лесу, — волосаты: Пушкин, Гоголь, Тургенев, Белинский, Толстой, Достоевский, Некрасов, Чехов, Горький; а государственно-политические деятели — бриты: Петр (усики лишь котовье-ножевые), Суворов, Кутузов, Александры, Николаи, Витте. И в революции: сначала идут и ее совершают низово-народные растительно-волосатые, а потом восседают и плоды жнут и хищно поедают животнo-бритые: юбилеи справляют, тризны, банкеты, приемы, жертвоприношения. Ленин, хоть лыс был, но еще народно выглядел: бородка да усы, а и Сталин оттого «отцом народа» прослыть мог, что хоть усы — пышные. А потом бесстыдно откровенно заголились, и бритоголовый никак не мог снискать (как ни подделывался языком и шуточками и даже многими добрыми делами) пиетет у народа, а все его голозадым на троне народное чувство ощущало: что на престоле — не голова, а ж..., что стоит он, как фокусник, на голове, которой пристало быть волосатой, а ж..у, которая у русского — нежно-бело-розовое бланманже, — вверх из воротника высунул

на позорище и посмешище всему честному миру и люду. Так что Никита всею наружностью и стáтью своей являл цирк; и правление его predeterminedенно цирковое, фарсовое, несмотря на серьезные меры, законы и программы, что голая его голова принимала и речи произносила. Эта многоглагольность = пердеж, и все это чувствовали, и я, но не понимал, отчего. Сейчас же, в этой системе категорий, это мне «ясно, как простая гамма». Бытие так распорядилось: трансцендентно перевернуть в России шкалу ценностей с ног на голову — и туловище и личность для этого подходящие избрало и водрузило.

Итак, в России, где человек ощущает более интимное родство, по космосу родню видит в растении: лесе, дереве, траве (и с этим сравнения в русской литературе о жизни и смерти человека: «и дни мои как злак сечет» — Державин, «мгновенной жатвой поколенья...» — Пушкин, «человек живет, что трава растет» — Горький в «На дне», и т. д.), без зазрения совести едят мясо животных, ибо они — более дальняя родня, и существование здесь протекает не как жизнь (живот), а как растение, прозябание; в Индии же, где человек видит свою ближайшую родню в животных, мясо не едят, и употребляют травы (чему Никитин дивится), и народ — вегетарианец. Я долго домогался выяснить: ну а аскету, отшельнику, санньясину, который уже близок к озарению, — ему нельзя даже воды неосторожно выпить, ибо червячка проглотить может, нельзя шевельнуться, ибо паучка раздавить может, — так уж он-то не чувствует ли ответственность перед деревом, травой, цветком, как тоже ведь жизнью? Нет: индийский круговорот существований не распространяется на растения, и нет запрета их есть-поедать, и в древе иль траве никто в ином рождении не воплощается, тогда как в змее, птице, мухе — пожалуйста. Жизнь здесь не есть растение, тогда как русский мыслитель соединит это и напишет именно «Жизнь растения» (Тимирязев). И если в России и Европе множество преданий, как по смерти влюбленных из их могилы растут два деревца и свиваются ветвями, — то в Индии как? Насколько знаю, пока не встречал случаев (хотя знаю мало): не то это для существ воплощение, не им присущее в индийском бытии.

Потому и боги здесь не растительны — по облику и происхождению (как, например, Христос = зерно, умирающий и воскресающий бог земледелия-крестьянства; и весь он — ветвь и ствол заросший, и притчи его — растительно-земледельческие: о зерне, виноградаре, таланте — зарыть в землю; и распят на дереве — кресте, увековечен как схема дерева: крест = ствол и руки = ветви), а если и явился здесь Будда, который имел озарение под мировым древом Бодхи, — так не укоренился он здесь, а, родившись, отошел в иные космоса: Тибет, Китай, Японию — менее животные; в Индии ж его вытеснили животные боги индуизма и разных его ответвлений. Вот их обличье:

«А бутхана же велми велика есть, с пол-Твери, камена да резаны по ней деяния Бутовыя, около ея всяя 12 резано венцев,

как Бут чюдеса творил, как ся им являл многими образы: первое человеческим образом являлся; другое человек, а нос слонов; третье человек, а виденье обезьянино; в четвертые человек, а образом лютаго зверя<sup>18</sup>, являлся им все с хвостом, а вырезан на камени, а хвост через него сажень (нос и хвост — заместители фалла; потому хвостик христианского чертика — эротической природы).

...В бухане же Бут вырезан ис камени, велми велик, да хвост у него через него да руку правую поднял высоко да простер, акы Устьян царь Царяградскы, а в левой руке у него копие, а на нем нет ничево, а гузно у него обязано ширинкою, а виденье обезьянино, а иныя Буты нагы, нет ничево, кот ачюк (с открытым задом), а жонкы Бутавы нагы вырезаны и с соромом, из детми, а перет Бутом же стоит вол велми велик, а вырезан ис камени ис чернаго, а весь позолочен, а целуют его в копыто, а сыплют на него цветы, и на Бута сыплют цветы» (18).

По словам В. П. Адриановой-Перетц, «то внимание, какое Никитин уделил описанию скульптуры в Парвате, объясняется необычностью этого вида изобразительного искусства для русского человека, тем более — в храме» (114).

Ну да — это ж тело, которое по христианству — прах, пыль и ветер, лист сухой, плоский, падучий (воззрение на мир как на марево частиц: капель, пылинок, лучей-волн-точек на плоскость листа = пятен-черт на плоскость картины-иконы — есть в подспуде волеизъявление растения, его мышление о бытии, его логос). А здесь тело удостоверено как космозначимое, нечто вечное — и пребывает в камне вырезанным. Здесь, выходит, сложившиеся формы, фигуры, тела, целости значимы, а не из чего они состоят исконно в рассеянном бытии, когда они расплывленны и в агрегатном состоянии газов и воздушов пребывают (на что устремляет интерес русская мысль, отчего и развилась здесь в эстествознании химия, электричество — свет, волны — радио, атомная физика, растениеводство — Тимирязев, Мичурин, — и мало развилась механика и зоология, которые имеют дело с готовыми телами, формами и их движением). Вот и у бога подчер-

---

<sup>18</sup> Животные черты в божествах (орел, лев и т. д.), поскольку они уж зозникли в Ветхом Завете близкого к востоку иудейства, тракуются в христианстве подчеркнuto символически. Дионисий Ареопагит предостерегает, «чтобы мы не представляли грубо, подобно неждам, небесных и Богоподобных умных Сил имеющими много ног и лиц, носящими скотский образ волов или звериный вид львов, с изогнутым клювом орлов или с птичьими перьями; завно не воображали бы и того, будто на небе находятся огневидные колесницы, вещественные троны, нужные для восседания на них Божества, многоцветные кони, военачальники, вооруженные копьями и многое тому подобное, юказанное нам Писанием под многоразличными таинственными символами» (Святаго Дионисия Ареопагита о небесной иерархии. М., 1898, с. 6). Но ведь именно такой, многосоставный из членов разных животных образ являют индийские божества — ср., например, явление Вселенской формы Брахмо в Эхагавадгите — и это индийскому сознанию не надо символизировать, чтобы знять в себя (25.V.69).

квиваются и освящаются разные формы, члены: нос, хобот, хвост, копыто,— и отменена личность: вместо лица — «виденье обезьянино».

Тем человеку от бытия заповедуются направления, куда искать средство ближайшее: слон, змея, обезьяна, корова — основные священные формы—идеи—тела—модели мира в Индии. Никитин заметил, как это прямо в быту осуществляется: «В Бедери же змии ходят по улицам, а длина ея две сажени» (17). Так что в Индии сказка Корнея Чуковского «Крокодил» имела бы ослабленное звучание, ибо что на Руси чудесно, здесь — более буднично. «У тамиллов распространен также культ змей; почти у каждой деревни есть площадка с каменными изображениями поднявшихся кобр»<sup>19</sup>. Это — каменный костер, и стоячая змея — это и язык огня, и фалл-лингам одновременно. «Есть в том Алянде и птица гукук (филин), летает ночи, а кличет „гукук“ А на которой хорошине сидеть, то тут человек умереть; а кто ея хочет убить, ино у нея изо рта огонь выйдеть» (16). Вот, и в филине, в ночной черноте — сокрыт огонь, как насквозь индийский космос пронизающий, наряду с водой. Потому погребение здесь, как заметил Никитин, такое:

«А кто у них умереть, ини тех жгут да пепел сыплють на воду» (19) — т. е. посвящают огневоде. А вода у индусов тоже обладает священством и неприкасаемостью: «а один у одного воды не пьет» (26) — удивленно замечает Никитин. Подобно ему, итальянец Рамузио, посетивший Индию в XVI в., «Нужно знать,— пишет он,— что они при еде употребляют только правую руку и не прикасаются ни к какой пище левой рукой (ср. выше и у Никитина об этом). Все чистые и красивые вещи они делают и трогают правой рукой, так как левая рука служит им только для исполнения необходимых, но неприятных и грязных действий, как очищение известных частей тела и т. п. (левая рука изогнута на зад, низ: получается намек на круговое движение как организацию мира, что и выступает в статуях индийских, их изгибах — торс, руки танцовщиц, ноги раздвинуты и одна полу-согнута). Пьют они только из сосудов, каждый из своего, никто не станет пить из чужого сосуда (=как из чужого рта). Когда пьют, они не подносят сосуды ко рту, а высоко держат его и вливают напиток в рот (т. е. как дождь, воду как бы прямо с неба, от бытия, без посредников-инструментов, получают — см. выше об этом). Ни за что они не прикоснутся к сосуду ртом и не дадут пить из него иностранцу; но если у иностранца нет собственного сосуда для питья, они льют ему напиток на руки, и так он пьет, употребляя руки вместо чашки» (как руки не дают на рукопожатие, так и сосуда своего, который есть своя ладонь и питье из него=целованию моей руки) (Хождение, с. 109—110).

Отказывают в чаше, в стакане, в кружке воды напиться! Вот

<sup>19</sup> Народы Южной Азии. М., с. 591.

«обормоты-то! Сколько поэзии в Европе и России вокруг колодец, ведра, воды, которую девица дает напиться, и это как прапоцелуй в их схождении! Вот именно: это-то индусы и чувствуют не подспудно и подразумеваемо, а открыто, наверху, на уровне разума и знания — что это так. Вода в моем сосуде — личная кровь — влага мира в сосуде моего существа. И то, что у русских и славян, отчасти и европейцев — общая чаша круговая «братнина», и пьют и теперь из одного стакана иль из горла на троих,—опять выражает аморфность-соборность: тело одного есть сообщающийся сосуд при теле другого — в выпивке идет взаимное переливание крови.

У индусов же именно индивидуальное (а не хоровое, социальное) отношение к стихии воды: каждый выходит на соитие с ней один на один, прямо в открытое бытие.

28.XI.68. А водой ведают ведьмы-женщины: во время выезда царя на охоту иль войну они окружают его, и это бросилось в глаза русскому, как и эллинам Александра почти две тысячи лет до того: «Султан выежжает на потеху в четверг да во вторник, да три с ним возыры выещают; а брат выежжает султанов в понедельник, с матерью да с сестрою; а жонък 2 тысячи выежжает на конех да кроватех на золотых да коней пред нею простых сто в снастех золотых, да пеших с нею много велми, да два возыря, да 10 възыреней, да 50 слонов в попонах сукняных, да по 4 человеке на слоне седят нагих, одно платище на гузне, да жонкы пешие нагы, а тее воду за ними носить пати да подмыватися, а один у одного воды не пьет» (26).

То есть, царь=золотой, огонь, язык пламени, фалл, окружен предохранительной смягчающей толщей влаговоздуха, атмосферой женского типа,—а то испепелил бы бытие. И в другом месте: «Султан же выещает на потеху с матерью да с женою, ино с ним человек на конех 10 тысящ, а пеших 50 тысящ, а слонов водят 200 наряженных в доспесях золочоных, да пред ним 100 человек трубников, да плясцев 100 человек, да коней простых 300 в снастех золотых, да обезьян за ним 100 (охота — праздник бытия и всякой твари, а не только людей — см. и у Страбона так же празднество описано), да блядей 100, а все гаурьки (от санскр. „чаури“ — желтовато-белая<sup>20</sup>, по объяснению И. П. Минаева)» (17).

Общее впечатление от описания Индии у Никитина («А двор же его чюден велми, все на вырезе да на золоте, и последний камень вырезан да золотом описан велми чюдно» — 17) — ослепляющий блеск низа, будто солнце разбилось на капли-бисеры и излучается снизу и бьет и рябит прямо в глаза. А второе — рябь существ, вырезов, впадин — и это понятно: впадина и вы-

<sup>20</sup> Опять классификация существ на цвет (как и 4 варны=4 цвета — времени, как в Европе, но скорее — пространства).

рез — гнездо для жизни — хоть червячка; а так, в выпукло-вогнутом, волновом пространстве в каждой точке больше по интенсивности жизни может разместиться («а земля людна велими» — 17) — уют! — нежели в бесприютных плоских просторах русских равнин и степей, где пространства много, а живому существу деться некуда — заслонить, свить гнездо... Велика Федора, а для жизни...

Зато коню хорошо в России, а в Индии он чтим, но не родится. И не случайно русский купец ведет в Индии торговлю именно жеребцами: слон=гора; конь же влечет за собой равнину, уравнивает и связует народы дорогами. Так что когда в начале XV в. «бахманидские правители,— как пишет М. К. Кудрявцев,— поняли, насколько необходим государству постоянный выход к морю», пошла торговля и главной статьёй импорта стал «регулярный ввоз лошадей» (Хождение, с. 157). Лошадь с Запада — как уют для Индии: продуцирует плоскость; разглаживает ее горно-выпуклую поверхность, нивелирует — буквально, как и позднее вся европейская цивилизация, пришедшая к Индии с Запада. Исконно же Индия не родит лошадей: «Но нигде в Южной Индии не было собственного коневодства. Ее природные условия оказались неблагоприятными для размножения лошадей. Поэтому бахманидские правители всячески поощряли и контролировали ввоз коней из Ирана, Аравии и других стран. Тысячи коней ежегодно ввозились морем на небольших судах, преимущественно иностранными купцами» (Хождение, с. 157).

И Никитин замечает: «Во Индейской же земли, кони ся у них не родят, в их земли родятся волы да буйволы, на тех же ездить и товар иное возять, все делаютъ» (14).

Конь-огонь горизонтально-плоскостной, вихрь-ветер, переходен от стихии огня к стихии воздуха и именно в ипостаси ветра. Он — равнина, даль, путь и скорость, быстрота, выигрыш-время, т. е. идеи, совершенно чуждые индийскому мировоззрению. Здесь органичны зато медлительные волы и коровы, в которых земля пучится вверх и в бока, что и присуще космосу Индии.

Вывод Афанасия Никитина: «а на Русьскую землю товара нет» (16) — взаимонепересекаемы космоса и непереходимы.

А Монтескье это объясняет: «При чрезмерной разнице в климате потребность в обмене продуктами совсем уничтожается» («О духе законов», кн. 21, гл. IV).



ФРАНЦУЗСКИЙ  
ОБРАЗ ИНДИИ

### Назначение Франции в Евразии

31.XI.68. А теперь о том, как показался стиль жизни в Индии французам *Шарлю Люю Монтескью*. Хотя он получал сведения об Индии из вторых рук, но ведь и сам географ Страбон так же; а то, что нам важно: чему и как удивляются одни народы в других,— так даже в более прочищенном виде проступает: освобождено от эмпирии частных восприятий (как у Никитина — что ему попало на глаза, а что не попало — может быть, более важное) и пропущено через многоярусную призму передачи сведений из рук в руки, в ходе чего формируется национальный миф о другом народе.

Так вот: Монтескье в «Духе законов»<sup>1</sup>, труде не спешном, но плоде двадцати лет чтения и размышления, сравнивая обычаи и установления разных народов, много раз обращается и к Индии. Французам что из бытия понятно? Где размещается его наблюдательный пункт?

Сначала нахожу в его воззрении и способе понимать предметы много родственного себе: уважение к осмысленной телесности, непосредственное чтение языка природы — климата, почвы, жары-холода, устройства тела и т. д. Однако переливает он это в характер человека, его страсти и интересы — в национальную психологию (в «человеческое, слишком человеческое!»), кото-

<sup>1</sup> Цитируется по изданию: Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955 (далее в скобках будут ссылки на книгу и главу).

рая уже диктует дух законов,— а не как то, что мне интересно: внечеловеческий космологос, идеи вещей: дома-хоромы идей, что излучаются телесными существами (слон, змея) или вещами (ложка), где я, с одной стороны, примыкаю к средиземноморско-эллиническому воззрению на мир, как форму, тело-эйдос, которое получается как естественно-средняя из моего состава:

иудей + болгарин = эллин; а, с другой стороны, живя в России на

2

широте Германии и неся в себе идею дома-«къща» из болгарства своего, эти эллинские формы, эйдосы, вижу не только целостно, сразу интуитивно, но и нахожу как расчлененные дома, конструкции, постройки из балок понятий, философских инструментов, категорий: бытие, жизнь, субстанция, я, воля и т. д., что есть стиль мышления немецкой философии. И метание (воз)духом сквозь все это в поисках истины бытия дает русская метель, и «ветер-ветер да белый снег».

У француза Монтестьё: от естественного бытия природы сквозь наклонную чувственность (ощущение, сенсуализм) — прямо в психею и ее не внутреннюю, в себе замкнутую жизнь сердца и души, чем занято германство,— но в ее отношения к другим людям, себе подобным: общительность, социальность — и идет социальный танец среди людского общежития, города, минувя внечеловеческие формы — предметы объективного (несоциального) мира: будь то материальные предметы (дом, инструмент) или идеи-субстанции (пространство, время, свобода, воля), руководящие принципы и ориентиры нашего мышления, понимание мира до действия в нем, ради чего действие и общение и в чем оно заканчивается, имеет движущую силу и цель и затухает. Все эти умозрительные идеи — дома-конструкции (в эллинстве: идеи-фигуры-формы, но без постройки их, как в германстве) есть для француза раздражающее **отчуждение**: либо внутри его, вместо Декартова психологического «я», устанавливается не по масштабу антропоморфическому (а это — предел мерок французов) «Я» деспотически-божественное германцев, субстанция-субъект, богочеловек,— либо вещь материальная, от меня и игры моего организма отдельная, отрезанная, становится самоцелью и обретает несвойственную ей власть над моим характером (как это у трудяг-эмпириков англичан). Отчуждение, что для германцев *Ver-äus-serung* = овнешнение «я», внутреннего, *In-neppe*, для французов *aliénation* = a-*lien*-ation = разрыв связи, переходов-процессов, эволюций между вещами, которые, как самовытягивающиеся из одного в другой шелковично-тутовые нити, все связуют в живом влечении—Эросе и переливании. Да, француз дорожит неразрывностью человека и мира, их перетекаемостью, каналом чего являются внешние кожные органы ощущений, которые для них (Дидро) — не стена между мной, человеческим сознанием и миром, как для германца Канта, с его *Haus* (домом трансцендентальной философии), которая отделяет и обма-

нывает лишь, — но есть река, флюид, поток, канал, связь и речь живая, беседа меж мной и бытием (Руссо и т. д.).

Так это пока берется человек как индивид прямо и наедине с миром. Но вторая предпосылка бытия французов: что такой чувствительный к природе индивид пропал бы (при обманчивой заманчивости бытия: здесь природа вроде и мягка, и привлекательна, и блага, как в Индии, и все ж, разнежив вестной и летом, ударяет зимами и губит), растекся б иль его растворили б стихии и существа, не сгодились он с себе подобными, чрез общественный договор, страх иль насилие, и не образуй, взявшись за руки (как: «встаньте, дети, встаньте в круг»), круг, рондо социальности, в котором уже и завертелся, закружился любовно и самозабвенно. И конечно, раз поры существа приоткрыты, его влечение к телам мира — по действующему в Европе Ньютону закону тяготения прямо пропорционально квадратам близости — распространяется прежде всего на рядом стоящего — тоже человека, к кому у него уже возникают отношения, интересы, что надо регулировать — законами, этикетом и т. д. и что есть самое интересное в бытии: социальная жизнь, история, политика. Отсюда, при индивидуальном сенсуализме, социальный рационализм мышления — картезианство, ясность, очевидность, правильность, стройность, симметрия. И меж сенсуализмом и рационализмом во Франции — баланс, симметрия.

Итак, если в германстве человека бережет Haus, дом и его кашеево «я» в нем, Innen (сохранная таким образом внутренняя жизнь души, воля, выходящая на мир чрез труд и представление), — то во Франции человека бережет социальный рондель, общительность, экстравертность к другим людям, их друг на друга ориентированность (чрез страсти и интересы: тщеславие, глест, общественное мнение других о себе, так что и всякое слово здесь — для людей, на публичность и публикацию, и невозможно писание в стол без расчета на печать). Потому здесь и развилась первейшая в Европе культура общения человека с человеком: партий, полов (этикет любви, куртуазный и т. д.) меж собой, политика...

Франция, как романская в германстве страна, образует, с одной стороны, среднюю меж средиземноморским принципом бытия как расчлененной внешней формы — фигуры, тела, космоса ак полиса, человека, антропоа, как меры всех вещей меж космосом отдельных земли и воды (гор = островов в воде) — и германским принципом бытия как духа, огня, снизу, из глуби земли, от черного солнца и черта: как внутренней формы, даруемой бъектам из «я». Переходность эта и расположилась на человеке посредине между «я» и внешними телами — в зоне ощущений (не чувств). Во Франции — чувственность, в Англии — чувствительность, в Германии — чувство, с кожей не связанное<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> И из искусств естественно развиться во Франции — живописи, в Англии — поэзии, театру, в Германии — музыке, тогда как в эллинизме — формам объемного тела = скульптуре. В романских же странах уже переход от фигу-

Отсюда пресловутая «поверхность» и легкомыслие французов, которая им в минус именно от «глубины» германцев, но есть как раз им специфический дар от бытия: реактивность, быстрота ощущения извне и внутренней реакции, импульса, так что они — самые чуткие в Европе гальванометры тока меж бытием (и прежде всего социальным) и человеком, измеряют его удобство, уютность или бесприютность и, как реле, настраивают быстрыми социальными преобразованиями себе бытие все ж на уютность, приспособленность к жизни, — из их жизнелюбия, к жизни приверженности это происходит.

Другое отношение Франции связано с тем, что она — крайний Запад континента Евразии, конец света, старого, известного, и океан, тьма, закат солнца в водах на ночь = смерть быка, что еще сильнее в испанской корриде. А значит — вода (женское), влага, туман, влажный воздух: воздух на службе у воды, угодливость мужчин к женщинам, ориентированность мужчин на женщин. Однако и здесь крайность Франции смягчена, умерена: вроде она и самая крайняя, но наискось от нее есть еще большие крайности, которые главный удар этих идей принимают и ответственность за них несут: Испания, которая на самом деле убивает быка-солнце, и еще ее смертельно-солнечнее по страсти; и Англия, которая еще влажнее, туманнее, фог и смог, океаннее, духом мистичнее. Англия парна на другом конце Евразии — Японии, так же вытянутым островам (восходящего солнца), стране, которая так же сложно комплексна, сосуществующая, в пробразе все сути грядущего к солнцу материка выражает, как Англия — послеобразна, эпилог, farewell, «прощай» и свод всех значений Евразии; а с другой стороны, по необратимой страстности, жестокости и крайностям своим, близка Испании, которая столь же влекуща и непонятна на Западе, сколь Япония на Востоке.

Остальные притяжения тоже очень парно и симметрично расположены: Франция более расположена душой и своим практическим социальным принципом бытия к Китаю (он у Монтескье положительно трактуется, и в нынешней политике с ним у де Голля недаром взаимопонимание), тогда как Германия, более отстоящая в глубь континента, родственнее себе ощущает симметричную себе Индию — ее умозрения, созерцательность глубже всего из стран Запада восприняты немецкой философией<sup>3</sup>

Итак, Франция — энциклопедия Западной Европы, ее центр

---

ры — к плоскости кожи, от гимнастики — к чувственности. Картина и есть поверхность и ею мышление о бытии.

<sup>3</sup> Тогда что же выходит: что Россия по этому принципу крест-на-крест с Африкой сопрягается? Ну что ж: а даром Петр пригнул арапчика Ганнибала — Карфаген-то с ним, — из чего потом выплавился величайший русский национальный поэт? И недаром сейчас к чернокожим, к кому равнодушнее ненависти в Америке, у нас влеченье-род недуга; и университет им. Патриса Лумумбы, и поддерживаем государство Африки против империализма Запада: Северо-Восток потянулся на Юго-Запад. Но это требует более глубокого обоснования — от бытия. (Напоминаю: писано в 1968 г. — Г. Г. 28.08.90.)

(Париж — недаром только он имеет право именоваться центром Европы, тогда как Рим, Лондон, Москва, Пекин — центры других космологов), все здесь есть, звучит, понятно, но в меру, без крайностей, изящно-артистично, со вкусом, не ridicule (уродливо-открыто-смехотворно). И так как здесь все почвы, климаты, растения, животные, идеи Европы представлены, — то Франция наиболее годится быть третейским судьей, посредником в социальных и духовных делах Западной Европы, что она и делала на протяжении своей истории. Недаром здесь возникла как раз идея Энциклопедии (тоже своего рода научного хоровода, рондо: ведь цикл, как и rondeau, — круг), тогда как раньше были идеи: «Книги» (Библия), «Высшие» (Summa theologiae) германца Фомы Аквинского: «сумма» — букв. «высшее», «свод», и есть, как вертикаль, — германская идея.

### Социальное рондо

1.XII.68. Итак, Франция — страна социальности par excellence, и отсюда социальные идеи, принципы: «свобода, равенство, братство», социализм, коммунизм, все «измы» как социальные целостности — форму, клеймо, клише и слово получают и по миру разносятся. Французский язык — основной язык мировой политики в XVIII—XIX веках, как до того его родной отец — латинский, тоже романский язык. Когда в России стало после Петра I складываться общество, показательно, что немецкий язык пошел на орудийно-трудовую сторону бытия (термины труда, производства, науки, государственного управления, аппарата — отсюда заимствуются), но для общения людей между собой в новом социальном быту — в «свете» (хотя по-французски это monde — «мир», но в русском обиходе это слово слишком низовое, народное: «мир» — община, мирской сход, «на миру и смерть красна», — чтоб образуемое искусственно сословие обозначить, которое из дремы теремов и дремучих лесов = из растительного царства — на лужайку и поляны ассамблей и площади городов вышло, уже в качестве оголенных, бритых животных существ, кому надо двигаться, а для того нужна плоскость: степь-простор, дороги, — и видимость; для этого естественно пошло слово с неба: ибо в открытом пространстве, где не лес, царит свет<sup>4</sup>, падает, опрокидывается прямо с неба) пошел именно французский язык, который и воспитал общительность, этикет, культуру социально-сословного поведения, беседы и выражения мыслей и чувств на слуху, среди людей (а не наедине), в русском высшем сословии. Тютчев: как человек света и остроголов — франкоязычен (все его знаменитые остроты, mots — по французски); как поэт, чье слово наедине с истиной, посредник

<sup>4</sup> Идея «света» — и в обращениях: «Ваше сиятельство», «Ваша светлость», «Ваше святейшество», обозначающих сословную иерархию по силе света.

меж своим народом и бытием, меж землей и небом,— тут уже ему заемный сбоку язык ни к чему, а тот, что в этом космосе возрос, как лес,— русский — только годится. Оттого письма Пушкина, Тургенева, Герцена, Толстого и т. д.— слово, ориентированное на другого человека на уровне своего сословия,— пишутся в XIX веке по-французски, а дневники Толстого — по-русски.

Итак, социальный человек — принцип французского космолога. Человек — он демиург понятий, критериев, ценностей — чтоб по его мерке; не надо возвышенного — божественного, сверхчеловеческого (то — идея, любимая у немцев), а надо прекрасное, правдивое (а критерий правды — уровень ума человека и потолок его понимания), реальное (реализм — романская в философии, а в искусстве — французская идея). Он сводит все великие понятия, субстанции и идеи (в том числе и Бога — Бытие) — на землю, в свой город, в Париж, в beau monde, в салон — и делает их предметом легкой *causéerie*, галантного *bavardage* в присутствии очаровательных дам, на уровне и в плоскости излучений магнитного поля человеческого Эроса все эти понятия располагая. Из них исчезает чудесное, сверхмерное; в них входит психологическое и социально-этическое, — и атеисты XVIII века расправлялись с Богом и Священным писанием, именно подставляя человеческие мерки и мотивировки под образы и персонажи Библии и Евангелия, и тем обнаруживали их как совершенно нелепые, дикие, варварские, глупые и неприличные...

Мерка человеческой правды служит и как критерий для истины. Потому скептически смотрят французы на домогательства соседних — немцев постичь Истину самого бытия (а не правду жизни и поведения человека в обществе); не дают французы себя смирить и жесткой логике рассудка или системе разума — как тоже принципам надчеловеческим, сверхличным, в которых есть насилие над способностью непринужденного человеческого самочувствия и миропонимания сразу, без усилий — чрез интуицию (Бергсон). Если же правила в мышлении признает француз (например, Декартовы «Правила для руководства ума»), то как социально-практические нормы этикета в области мышления — и не столько для познания, как для выражения, отчетливого сообщения другим познанных уже мною вещей. Рационализм — да (ибо это — социальный гуманизм в мышлении), Разум — нет (ибо это — Бог). Рассудок — нет, ибо он — скучный, утомительный труд различения, присущий виллану — немцу-работяге, исполненному чинопочитания и пиетета перед этажами социального здания и полочками способностей мышления; интуиция — да, ибо это *fraternité* и *égalité* в области мышления, братское похлопыванье по плечу всех существ и вещей — осчастливленье их человеческой меркой, причащением к социальности, так что во всем прямо прозревается парижанин: и в траве, и в жучке Фабра.

Социальность — значит, человек среди людей прежде всего, преимущественно, *par excellence* и вообще. Все интересное сосредоточено здесь, так что когда общества не было — ничего интересного для ума не было: всякий мрак природы, муть Творения и прочая метафизика. Бытие есть лишь история цивилизации, и если на природу француз взглянет, — и она у него предстанет как история, эволюция, прогресс в общении и формах существ (теория Ламарка — в отличие от трудовой теории происхождения видов через естественный отбор природы, по образцу искусственного отбора человека, у германца, англосакса Дарвина; или творческая эволюция Бергсона, или феномен человека Шардена, рассматриваемый на пути ко вселенской, католической социальности Ноосферы).

Если у германцев категория Времени — трудовая: вещь (существо) зачинается и изготавливается во времени, и мысль направлена к началу, происхождению и причине, вспять, — то у французов Время = история, развитие к цели, и направлено вперед. И в то время как германские народы бьются над причинностью, над «почему?» (Юм, Кант), французы — над категорией цели: вопрос «зачем?», «для чего?» здесь важнее; отсюда и Предопределение наперед (янсенисты и Паскаль), фатализм и детерминизм (католицизм = ислам во христианстве, недаром Испания — романская страна, принявшая арабов, мавров), что у материалистов XVIII в. и у математика Лапласа, который «*n'avait pas besoïn de cette hypothèse*»<sup>5</sup> (о Боге), но который брался, из человеческой математики исходя, вычислить наперед всё могущее случиться в жизни человечества и природы, — из презумпции владения сейчас уже целью, т. е. концом. Для немца расходящиеся и туманность — впереди, а в начале — корень, свод, сужение; для француза начало, происхождение теряется в неопределенности, и, бросив туда (на естественное состояние) слегка взгляд и нечто, Монтескьё и Руссо быстро переходят к сути для них — установлению обществ и законов, и наперед все сужается в угол = цель (как у Тейяра де Шардена — в точке Омега, которая впереди, а не как Бог — Творец — первотолчок германцев и англосаксов — позади). Во Франции в воздухе идея телеологии, и потому германец Лейбниц, живший во Франции, стал шибко социальным и обходительным и именно в эту сторону склонил свою систему: создал герmano-французскую концепцию Предустановленной гармонии монад = индивидов<sup>6</sup>, на которую хоть Вольтер и обрушился в «Кандиде», но

<sup>5</sup> «Я не имел нужды в этой гипотезе», — так Лаплас ответил Наполеону на вопрос последнего, отчего в его «Системе мира» не оказалось места для Бога.

<sup>6</sup> Монада — атом как индивидуальность и характер, в котором все бытие и все возможные отношения наперед заключены; здесь суть, идея понимается как человек-молекула, со многими талантами, интересами и отношениями; суть — множественна (как и общество — совокупность, стечение индивидов), а не есть субстанция, подоснова сверхчеловеческого размера, как свойственно мыслить в германстве.

обрушился именно как на интимно родную, дорогую, из французского равнодушия к идее цели, за компрометирующий ее немецкий педантизм. И барон Гольбах, попав в среду энциклопедистов, самый рьяный детерминист, фаталист и целесообразник оказался.

Масштаб человека, примененный к отвлеченному мышлению, создает философский роман: идею-персонаж, концепцию-характер — любимый способ и жанр исследования бытия во французском философствовании (Вольтер, Дидро, Руссо, Сартр). Недаром «роман» — от романского мира термин происходит. Роман — это красивая, социально-этикетная любовь мужчины и женщины; и мысль, и рассуждения, и описания природы здесь всё — функции человека, характеров и настроений = опилки в магнитном поле любви двух полов (инок) — полюсов. Роман — это притязания двух друг к другу среди общества и притязаний его к двум, к каждому из них, и их к нему. Соединение двоицы (а точнее, половинок — в единицу, целое) среди осколочно-го множества, а значит, их исключение и ревность множества, и расталкивающее Броуново движение других молекул, и удары по двум сцепленным, полчаса их разбивающие. Любовь и долг — основной конфликт французский, где любовь — человек, долг же — то, что он социальный человек. И на этом уровне все неразрешимо и сбалансированно замыкается, так как других измерений (бытие, Бог, природа, дух, истина) не вводится, и люди заколдованы в кругу (рондо) общества и его ценностей, понятий и отношений. Выхода в бытие нет. Бытие (т. е. то, что сверх социального существования) у Сартра душно — есть давящий массив, тошнота (т. е. только физиология, кишки). Оно не есть выход, небо, свет, простор, даль, воздух-ветер, дорога, Истина-естина, как оно, расширяюще душу, воспринимается в России. У Сартра *être-en-soi* (бытие-в-себе) — спирающе; пустоту же — а, значит простор, легкость, свободу, сознание дает небытие (*néant*), расталкивая своей пустотой бытие; небытие есть социальное существование людей в свободе, для себя (*pour-soi*) и в сознании; а общество как раз есть рондо, круг людей, которые, множась, расталкивают себе плечами зазор внутри бытия — увеличивая себе вакуум, для свободы, зону небытия, т. е. истинно человеческой жизни — т. е. именно того, что не есть Бытие, а другое: Жизнь.

## Климат и добродетели

4.XII.68. Книга Четырнадцатая сочинения Монтескьё «О духе законов» рассуждает «О законах в их отношении к свойствам климата», — т. е. здесь та самая дорогая нам постановка вопросов бытия, при которой природное читается как прямо духовное (климат республиканский), а общественное пронизывается как функция самого бытия (стяжение островов-полисов среди моря

Средиземного в целый космос требует вольного единства союза или республики, при определенности которой индивид — остров недвижимый — остается при себе). Но здесь идеологичность природы и материальность идеи взяты в особом повороте: природа — как климат, духовное — как политика, социальный строй. **«Если справедливо, что характер ума и страсти сердца (ум и сердце берутся в психологическом отношении) чрезвычайно различны в различных климатах (т. е. строй природы сказывается в психическом складе индивидуального человека), то законы должны соответствовать и различию этих страстей, и различию этих характеров»** (социальный порядок — уже регулятор психики и через душу человека сообщается с природой. Получается иерархия: природа как климат — склад души — общественный строй).

Далее выясняются типы чувствительности (как входной и выходной канал, шлюз меж психикой и природой) в зависимости от климата. **«Холодный воздух производит сжатие окончаний внешних волокон нашего тела, отчего напряжение их увеличивается и усиливается приток крови от конечностей к сердцу. Он вызывает сокращение этих мышц и таким образом еще более увеличивает их силу.** (Точно как в электричестве: чем больше напряжение точек в магнитном поле, т. е. разность потенциалов = здесь — температур наружной и внутренней, которая у рода людского есть константа: и у эвенка иль у зулуса равна  $36,6^{\circ}$  по Цельсию, — тем больше сила тока.) **Наоборот, теплый воздух ослабляет наружные волокна, растягивает их и, следовательно, уменьшает их силу и упругость** (т. е. сопротивление проводника здесь менее, ибо сосуды шире, тогда как на севере сосуды и нервные волокна сжаты, уже и, чтоб по ним пройти, току требуется большая сила, а сердцу — работа, т. е. изыскивается деятельный характер, тогда как на юге — созерцательный).

Поэтому в холодных климатах люди крепче. Деятельность сердца и реакция окончаний волокон там совершаются лучше, жидкости находятся в большем равновесии, кровь энергичнее стремится к сердцу, и сердце, в свою очередь, обладает большей силой. Эта большая сила должна иметь немало последствий (как практические действия силы тока, что уже касается не науки, а техники, которой в области человекознания соответствует не психология, а этика, мораль и характерология, — кстати, именно во Франции пуще всего развитые знания: Мольер, Лабрюйер, Стендаль, Бальзак и т. д.), каковы, например, большее доверие к самому себе, т. е. большее мужество, большее сознание своего превосходства, т. е. меньшее желание мстить, большая уверенность в своей безопасности, т. е. больше прямоты (прямые травы и деревья северные; кривы, гибки тропические, вьющиеся, и волосы здесь курчавые; а на севере — прямые нити. Аналогичное и в душах: прямота почтенна на севере как кратчайшее расстояние между двух точек: быка за рога, ближе к делу, и

время — деньги, ценится лаконичность выражения мысли; юг и восток, напротив, чтят изобилие, украшенность, вычурность в речи — стиль этот в красноречии недаром обозначен, как „азиатский“ — ср. в искусстве арабо-персидский орнамент; а к делу никак нельзя приступить в Китае иль Японии раньше совершения утонченнейших церемоний, и соревнование в искусстве криводушия как лицедейства — оттого там театр столь народен — почтенно и именно богатство и культуру человека выявляет), **меньше подозрительности** (под зрением, т. е. из-под лба нависшего глазки узки, сжаты шелки, рас-косые, вбок смотрят, не прямо: косоглазие=коварство, криводушие и окольная дорога, которой — ближе), **политиканства и хитрости**. **Поставьте человека в жаркое замкнутое помещение, и он по вышеуказанным причинам ощутит очень сильное расслабление сердца** (исчезнет разность температур-потенциалов, а отсюда — важность для жизни внутреннего огня, собранности своего костра в „Я“, личность,— ибо и извне человек опекаем теплом; он размякнет, как дитя под материнским крылом). **И если бы при таких обстоятельствах ему предложили совершить какой-нибудь отважный поступок, то, полагаю, он выказал бы очень мало расположения к этому. Расслабление лишит его душевной бодрости** (потому религии юга стимулируют искусственный холод, суровость и сжатие нервных волокон — чрез монашество и отрыв от семей и людей, аскетизм, отдай рубашку, вериги и самобичевание=культура боли,— что в крови у северянина и кому, напротив, аскетизм даже Богом противопоказан, а кто должен развивать в себе сердечную теплоту, обогревая ею люд; оттого и правильно решил для России богословскую проблему Достоевский, рассуждая о русском иноке и научая его жить в миру — как Алешу Карамазова иль князя Мышкина. Монашество на юге — нужно, так как вызывает там к жизни отсутствующее Его: „Я“, человека как монаду; и эгоцентризм здесь и гордыня, изоляция от людей божественны,— тогда как на Севере важен разогрев, который получается от самовозгорания души в самопожертвовании, когда самость „Я“, высота души — вдруг под ноги себя другому швыряет, смиряется в самоунижении и преклонении; и когда такое происходит, т. е. когда столп гордого непреклонного духа вдруг переламывается, сгибается и сжимается в точку,— тут искра=слезы из глаз, и во всех разогрев душевного умиления, и тепло, как от спирта, по существам-душам разливается), **он будет бояться всего, потому что будет чувствовать себя ни к чему не способным. Народы жарких климатов робки, как старики; народы холодных климатов отважны, как юноши**» (кн. 14, гл. II).

Однако вдумаясь поглубже, что значит призма климата, избранная французом как основная из возможных от природы точек зрения на жизнь людей. Важнейшим аспектом здесь выходит жар (тепло) — холод как шкала классификации. Не свет, не цвет (как «варны» в Индии, где общее тепло и так предполагается и не замечается), не форма земли (горы, равнины, ост-

рова средь воды — атомы в плазме жизни, как у эллинов), не внутреннее («Я», Haus) и внешнее («не-Я», Raum), как для германцев-немцев, у которых огнеземля, труд из я (духа, идеи) во вне есть принцип существования; причем огонь — низовой, подземный, из кузни и горна. Если у немцев «Я» и «не-Я» трансцендентны, непереходимы, не сообщающиеся сосуды, то здесь, у француза, как раз исследуется переходимость и соотношения наружного тепла (или холода) и внутреннего огня — силы души, «Я». Это тот же подход, что был к воде у Паскаля, исследовавшего законы **сообщающихся** сосудов, взаимных давлений капель друг на друга (оказывается, не сверху только, но той же мерой давят и снизу, и сбоку) — точь-в-точь как людских индивидов = капель социальных, монад; и Паскаль исследовал их, капель, сцепление (интересы), притяжение, отталкивание, поверхностное натяжение (свобода воли «Я» открыть себя, впустить в душу, дверь в дом открыть, или нет — т. е. независимость индивида-капли).

Категория климата — это прежде всего надземность: воздух, влага, тепло-холод; это — заинтересованность в наполненности бутылки, чаши небосвода, а не в ее чистоте, легкости, открытости (как в России). Во Франции дорого именно подкупольное существование, в закрытости от бытия; и этой закрытостью от бытия и является социальность — от ворот бытия отворот, к нему спиной обращенность, а лицом в круг людей друг на друга глазение, с этим считание и приурочение.

Итак, стихия огня берется в комплекте климата безглазо: не как свет, а как **жар**. В самом деле, чтоб полностью ощутить климат, все, что в него входит (воздух, вода, огонь-жар или холод), глаз не нужно, зато нужна кожа, осязание — вкус — запах, — т. е. те чувства и органы, которые нажны: пупырышки и волосочки. И действительно, средь народов французы — искусники ночи: без света идет преизобильная и разнообразнейшая жизнь — ума (Бальзак и Пруст работали по ночам, закрывшись от дневного света солнца и под напиток черного кофе = кровь черного солнца недр земли; и как раз французские поэты ввели стиль и ритм богемы — спать днем, жить и творить ночью, озареньями тьмы) и плоти (ночная жизнь Парижа и изысканная культура сексуальных наслаждений чрез касания и осязания). Также у них разработана культура вкуса (и в искусстве le goût — основная категория французской эстетики: она лишь внешне похожа на эллинскую меру, но та — metron, размер, геометрична, пространственно-зрительная форма, а здесь мера приурочена к дегустации, закрыв глаза, на язык — вкус: ср. гурманство романской кухни, Лукулловых пиров, и французские повара — наиславнейшие в мире). А запахи! Parfums éxotiques<sup>7</sup> Бодлера, французские духи — да что уж тут и говорить-то!

Бликий к Монтеस्कё подход к различию народов, городов

<sup>7</sup> «Экзотические запахи» — название одного из стихотворений Бодлера.

находим у эллина Гиппократ. Но его трактат «О водах, воздухах и местностях» — т. е. плюс «земля» и минус «огонь», в сравнении с французом, а такой маленький крен в распределении стихий очень много значит. У Гиппократ важны для здоровья граждан вода и рельеф местности (эллинский принцип: вода и атомы=телá земли), а отсюда и воздух получается, выводится, и какой: здоровый, сухой, влажный, теплый, сырой, и как ветрами продувается. А есть ли заслон горы? и обращен ли город лицом на восход или на запад или север? — т. е. свет солнца важен для здоровья. Стихия огня берется со стороны света — ну да, это важно, чтоб различить форму тела, фигуры из земли.

Для Монтескьё земля — нерасчлененная и маловажная масса (как категория тепла для индийцев), и так это действительно во Франции, рельеф которой однороден — слегка холмистая, волнистая (волна=женщина) равнина. Из стихии земли Монтескьё затрагивает лишь **почву** (Книга Восемнадцатая — «О законах в их отношении к природе почвы»). Но «почва» — это осязание земли, ее верхний слой, кожа, пупырышки-бугорки или волоски-травы, — так что и здесь Монтескьё не изменяет французской гносеологической призма — зоне контакта, касаний, поверхностей — кож человека к другому в обществе («такт» — от латинского *tango* «касаюсь» — тоже ведь французское понятие в общении людей, как и категория «трогательный» — *touchant* — для произведений искусства).

Итак, климат, поскольку исключается земля как тело, форма и рельеф, дом, помещение, стена, — есть жизнь человека не в помещении и закупоренности частной жизни дома и семьи, и в этом смысле Франция — антиДомострой и всегда дает выход, вздохнуть, идеал для всех теремных (как Россия) или с принципом «три К»: *Kinder—Küche—Kirche*<sup>8</sup> — народов: люди здесь не в дому, но и не в открытом бытии, ибо бытие — само здесь большой дом, купол и помещение, фляга, наполненная влаговоздухом, то теплым, то холодным, — в отличие от Индии здесь ритм и такт времен года четок; люди в обществе, на площади, в зале, в салоне (город здесь — площадь, а не стены, как в германстве, где и город — дом в пространстве). Потому, кстати, французы выступили в европейской живописи с принципом *plein air* «пленэр» — на открытом воздухе писать; и они заменили рисунок (рельеф, очертание, фигуру, форму — принцип земли: средь воды, принцип пластического Средиземноморья) и грани — цветовыми пятнами, переходами, акварелью — размытыми, точками-каплями — атомами импрессионистов или волнами-штрихами Ван Гога. Везде отменена здесь самость земли как формы, и она дается как функция надземья, климата: воздуха-воды-тепла — как она чрез эту призму существует. Хотя живо-

---

<sup>8</sup> Формула германского мещанства: назначение женщины — эти «три К» == «дети—кухня—кирха».

лись, по идее, — свет, но краска есть уже свет поглощенный и отраженный, просмакованный: цвет есть вкус света, свет на вкус. И французское воззрение есть не зоркость орла, с гор сквозь чистый воздух видящего рельефное очертание, форму, — но влажный взгляд «сквозь опущенных ресниц» (Тютчев), где свет проходит сквозь локальный, на глазу, климат: тепло и токи воздуха под веером ресниц, дождя капли на несухом яблоке — вот это и есть, что смотрит во французской живописи; импрессионизм есть чувственность глаза, зрение как осязание пространства и вещей кожей глаза. Теплый влаговоздух — не только призма воззрения, преломляющая среда (которая, естественно, белый цвет, вкусив его на зуб, выпускает уже не целым, девственным, а опробованным и разложенным, развращенным на части: волны разных длин и мод = т. е. цвета), но и излюбленный предмет: прачки, купальщицы и у Шардена, и у Дега. Когда французский живописец рисует тело, оно не мраморно-холодное, но розоватое, теплое, тонкокожее, чувственное: коснись — и красноватый подтек останется. В скульптуре же: если античная нагота бесстрашна, то французская — чувственно остра, вождением дышит, тела мягки, дымятся, теплы: коснись — и мятина останется.

Даже логос — слово, которое везде ассоциируется с прозрачным воздухом, белым светом истины, — французская литература жует на вкус: здесь культура устного, произнесенного слова (*mot*), а не тяжеловесного письменного слова, как в германстве; здесь стиль важен, отточенность фразы = телесность слова и звука; здесь разработана декламация (французская манера театральной речи); здесь блеск слова — фраза (блеск и лоск есть кожа слова, фразы, подкожный крем на них; мысль на касание — какова она? — и на осязание) важнее глубины мысли (глубина — *Tiefe* — уже идея германства), содержания. Здесь Рембо приурочил звуки к цветам, а так как цвет = вкус света, то и звук-цвет есть слово, логос на вкус, на зуб. Здесь родилась идея подцвечивать музыку, звук — чтоб симфония цветов сопутствовала симфонии звуков, к которой просто так французы недостаточно чувствительны, в чистом течении музыкальных соотношений смысла им недостаточно. Здесь родилась идея программной (Берлиоз), т. е. иллюстративной, музыки как живописания и потом колоризма — Дебюсси, Равель.

Все это — смазь, марево, нет чистого продукта (как и во французской кухне все смешения), но — винегрет. И в пространственных отношениях не читается здесь горизонталь (как в России: даль, ширь, простор плоский — ровнем-гладнем степь да равнина), ни вертикаль (как в Германии — глубина и отчасти высота), но надземье, и пространство предстает именно как размытое марево климата — мягко клубящееся, вращательно-боковое, наискось слегка. Недаром здесь прочерчены были Декартовы оси координат, в которых вертикаль и горизонталь не самоценны, но служебны — для того, что меж них отлагается.

И если написал Декарт «Трактат о свете», то свет здесь трактуется как жидкость, вода, капля (а не твердая корпускулатом Ньютона, или волна нидерландца Гюйгенса, или трудово-отмеренная, обрубленная порция — квант немца Макса Планка).

И вообще понятие «климата», которое мы сейчас имеем: как тепла иль холода, влаги, иль суши, поведенья атмосферы, воды и воздуха в связи с солнцем,— есть французская трактовка и насыщение этого понятия, которое было введено эллинами прежде всего в геометрическом плане — как угол склонения солнца в данной местности, т. е. имелись в виду отношения формы земли и ясного солнца-света сквозь прозрачный и ясный воздух. Французы же отменили все эти грани (землю и солнце) и оставили в понятии климата промежуток меж ними: безглазый влаговоздух на ощупь и на кожу.

«На ощупь» — пожалуй, здесь неверно: вводится рука как ладонь и хватка, а это уже германски-трудовая идея: Фауст=Кулак. Из руки у французов важны кончики пальцев для осязания, а не их костяшки и сухожилия для хватания (германский Begriff).

### Откожное и нутряное мышление

5.XII.68. Итак, из всех возможных подсказов человеку, обществу людей от бытия французы соединились с климатом, понимая его к тому же не как дыхание (как дышится: легко или тяжело духу, душе, воздух какой), т. е. прямое вхождение внешнего мира сразу вовнутрь человека как в свой сосуд,— а как осязание, касание наружного космоса к наружному же во мне — коже. И ничто извне не может проникнуть в меня, минуя эти ворота — поры и стражу — кожу. Потому если для немца богатство объективного мира (äussere, Raum — наружное, пространство) может быть воспринято лишь при развитом богатстве внутреннего мира души, «я» (Innere, Haus — внутреннее, дом), т. е. если внутри дома есть обстановка и инструменты, полочки и ящички, категории и априорные идеи, куда разместиться внешним субстанциям, то для француза главное — зона впуска и контактов: не внутренность дома, а стены и их пористость, чувствительность к ощупываниям; и недаром именно французский ум открыл фототографию (Араго в 1839 г.), подметил, что металлическая пластинка, покрытая йодистым серебром, под влиянием света химически меняется,— т. е. сам кожей мир воспринимающий ум чуток и к кожным покровам, и к наружным ощущениям у других существ и вещей, а светочувствительный слой на пластинке есть кожа, крем и косметика на ней. «В жарких климатах,— пишет о способности кожи к ощущениям Монтескьё,— где кожная ткань ослаблена, концы нервов развернуты и доступны самому слабому действию самых ничтожных предметов. В холодных странах кожная ткань сокращена, бугорки ее сжаты, и ма-

лые нервные клеточки как бы парализованы; впечатление доходит до мозга лишь в том случае, если оно чрезвычайно сильно и овладевает всем нервом целиком. Но известно, что воображение, вкус, чувствительность и живость (т. е. свойства, которые наиболее ценят в людях французы) зависят от восприимчивости к бесконечному множеству малых впечатлений» (кн. 14, гл. II).

Наилучший — умеренный климат, в котором сами французы пребывают, где есть все, но в меру, и потому сам организм человеческого в таком космосе от природы мудро настроен, разумно на все реагирует чутьем и интуицией, и не надо стеснять его законами (идея «естественного человека», излюбленная именно у французских просветителей). «Если бы на свете был народ с общительным нравом, открытым сердцем, веселым характером, одаренный вкусом и способностью легко сообщать свои мысли; если бы это был народ живой, приятный, веселый, иногда ветреный, часто нескромный, и если бы при этом он обладал мужеством, великодушием и определенными понятиями о чести, то не следовало бы стеснять законами его обычаев, чтобы не стеснить и его добродетелей. Если характер в целом хорош, то не беда, если в нем оказываются и некоторые недостатки... Не мешайте же этому народу серьезно заниматься пустяками и весело — серьезными делами» (кн. 19, гл. V). Здесь явно начертан любимый автором галльский характер, что еще очевиднее из последующей главы «О том, что не все следует исправлять»: «Оставьте нас такими, каковы мы есть, сказал один дворянин, принадлежащий к нации, очень похожей на эту, которую мы только что описали. Природа все исправляет. Она наделила нас живостью (жизнь, ее пульс — во Франции<sup>9</sup>; большая родственность животным, нежели растениям, отчего во Франции больше развита зоология, тогда как в России — ботаника), способной оскорблять и нарушать все правила приличия, но это исправляется в нас вежливостью, которую порождает та же самая живость, внушающая нам склонность к общежитию и в особенности к женскому обществу» (кн. 19, гл. VI).

Такой антропос — *zoop politikon* = социальное животное *par excellence*. В нем сама природа социально настроена, ориентирована на общение с другими людьми, себе подобными (откуда идея равенства и братства, здесь провозглашенная), и действует как автоматическое реле при переступании меры в ту или иную сторону — отключает от общения и тем исправляет. Кстати: реле — *relais* — место смены, перепряжки — тоже французский исходно термин. И главное, что зона самонастройки и регулирования — в коже, в наружных контактах: именно накожная чувствительность порождает вежливость = гибкое увиливание от нежелательных грубых касаний, этикет социальный, — чтоб и быть

<sup>9</sup> «Ты понял жизни цель, счастливый человек, для жизни ты живешь» — слова сии сказаны в России Пушкиным Юсупову, вольтерьянцу, человеку французской ориентации. А вообще-то гедонизм в России — принцип абсолютного чужеродный.

с другими людьми вместе, и обходить их на расстоянии, имея как бы воздушную подушку и амортизатор приличий друг меж другом.

Монтескьё рассматривает два варианта нежной чувствительности: к наслаждениям и к боли. «В холодных климатах чувствительность человека к наслаждениям должна быть очень мала, она должна быть более значительна в странах умеренного климата и чрезвычайно сильна в жарких странах. Подобно тому как различают климаты по градусам широты, их можно было бы различать, так сказать, и по степеням чувствительности людей...

Так обстоит дело и с ощущением боли: она возбуждается в нас разрывом волокон нашего тела. Создатель природы устроил так, что боль ощущается тем сильнее, чем значительнее эти разрывы. Но очевидно, что массивные тела и грубые волокна народов севера (твердолобые в Англии, толстокожие в Германии) способны подвергаться такому расстройству менее, чем нежные волокна народов жарких стран, душа их поэтому менее чувствительна к ощущению боли. Чтобы пробудить в москвителе чувствительность, надо с него содрать кожу.

При такой нежности органов людей жарких стран душа их в высшей степени восприимчива ко всему, что связано с соединением обоих полов: там все ведет к этому предмету.

В северном климате физическая сторона любви едва ощущается с достаточной силой (потому и нет секса в русской классической литературе, любовь здесь — сугубо духовное отношение: Тургенев, Достоевский), в умеренном климате любовь, сопровождаемая бесчисленными аксессуарами, прельщает различными приманками, которые кажутся любовью, хотя на самом деле все это еще не любовь (культура любви в куртуазности — тоже ведь французское слово от *cour* — двор, т. е. социальность не как дом, собор, но как высший круг, хоровод на плоскости = площади спиной к бытию; откуда *courtois* — вежливый, обходительный, т. е. социальной культурой общения обладающий); в более жарком климате любовь любят ради нее самой, там она единственная причина счастья, там она сама жизнь» (кн. 14, гл. II).

Остановимся. Здесь есть что разобрать, ибо речь идет об Эросе, всесвязующей силе среди разнообразия существ и вещей в расколоте бытия. В южных космосах, где антропос сложен так, что прямо открыт и вливается в бытие, само физическое соединение полов имеет прямо бытийственный смысл, освящено самим притяжением материальных стихий чрез тела человеческие. Оттого в сочиненных в тропиках книгах любви (ср., например, индийская «Кама-сутра» Ватсьяяны) культура телесного соития разработана: позы, касания, укусы, средства возбуждения, усиления и т. д. В европейских же *Ars amandi* (Овидий, Стендаль) — «искусствах любви» акцент на схождении, на завоевании симпатий, нюансах чувств, до ложа — исключительно.

Любовь здесь — элемент социального мира, вариант общения людей. В российском космосе, открытом в рассеянное бытие, любовь опять метафизична, бытийственна, как и телесно-материальная на юге; но Эрос здесь духовный, ибо воз-дух да ветер из бытия и в бытие снежинки=души существ соединяют и раз-метывают.

Однако очень важно это замечание Монтескьё, совпадающее и с позднейшим наблюдением Стендаля, что в умеренном поясе, во Франции,— любовь у всех на устах, но она — кажимость, и за истинными страстями Стендаль и Мериме направляются южнее: в Испанию, в Италию; во Франции ж господствует любовь-тщеславие. То есть, любовь — подсобна для социальности: женщина — центр, чтоб сформировать общество, круг, свет, салон. Повелев французам отвернуться от себя, поставив их в социальный круг искусственного существования цивилизации, бытие, однако, распорядилось поместить вовнутрь его природу, естественную жизнь в облике женщины как центра притяжения и вокруг чего социальный круг и его интересы вращаются. Однако подобно тому как во вращательном движении частицы на окружности, по наружной поверхности шара все тянутся к центру, но для того, чтобы плотнее прилегать друг к другу, к соседу сбоку и со всех сторон,— так и культ женщины и любви во Франции имеет прежде всего социальную функцию культивирования людей, их обтесыванья, смягчения и оформления для наилучшей общительности между собой. Так что любовь во Франции, с точки зрения гносеологии,— не половой характер прямого объединения двух половинок в единицу, в целое, но имеет, по сути, социальное назначение: объединять множество монад, индивидов в единство целого, уже как общества, а не как антропоса; а средством этого объединения служит кажущееся прямое тяготение каждой мужской частицы к общей женщине в центре, которая недаром названа куртизанкой, т. е. тоже от основной для типа французской социальности идеи «двора» — *cour*. Потому здесь, по установлению Стендаля, любовь — суррогат и заместитель чисто социального чувства тщеславия, чести, *honneur*: как мне выглядеть во мнении людей, каким казаться...

И вот проблема французского бытия и гносеологии: быть и казаться, *être* и *paraître*<sup>10</sup>, — недаром ни на одном из языков эти два понятия не звучат столь парно и так складно проблема выражена,— ясно, что она здесь не заемная (как в России, где и «быть» и «казаться» соединены друг с другом извне, притянуты, упирающиеся, на привязи, а не сами выросли, расчленившись из одного корня, как родственники<sup>11</sup>), но исконная, искренняя, коренная, интимная.

<sup>10</sup> Иль *qui pro quo* — одно вместо другого — тоже на романском латинском языке красиво и ладно выраженная проблема.

<sup>11</sup> Зато в России другая пара понятий — родня: «есть» и «истина», которая — «естина» и, значит, здесь — есть истина, т. е. собственное царство бытия.

Но что есть кажимость? Это дымка, флер, обман чувств. Это проблема чувственного познания чрез ощущения. Кажимость — накость, наружность бытия с наружностью человека соединились, а сути их, центры, полюса напряжения — в съединение не приведены, и идет по проводникам ложный ток самоиндукции (от соприкосновения наружных поверхностей и их собственного влияния друг на друга) — но не истинное, суверенное и плавное, вольное течение от сути к сути чрез проводники. Отсюда во французском умозрении роль Декартовых рационалистических корректирующих правил, которые касаются не путей самих и субстанций познаваемых, но суть «правила для руководства ума» — как различить ему истинный ток правильно свидетельствующих ощущений от ложного раздражения: первый обладает свойством ясности и очевидности, второй же — темноты.

Германский ум не бьется столько над проблемой *sein* и *schei-nen*, *dünken* (быть, казаться, воображать) — уже она здесь не однокоренно выражена, значит, не исконная, не национальная гносеологическая. И это потому, что здесь вообще накость истолкована как стена и обман всегда, и потому единственный путь остается: прямое соответствие, тождество Я и Не Я, *Innere* и *Äussere*, внутреннего и внешнего миров, чрез четко отработываемые в глубинной кузне духа инструменты — категории для прямого априорного (т. е. вне опыта, касаний и кожи) зацепления, трансцензуса — перехода. То есть, здесь внутри нас строится абстрактный дом бытия из трансцендентных категорий — еще до выхода с ним наружу на открытое ристалище познания (это — Кант и Гегель), тогда как француз Декарт никакого дома понятий и категорий (которые есть и претендуют быть знанием до знания) внутри антропоса не выстраивает, а довольствуется установлением там только одной недифференцированной точки: я мыслю, *cogito ergo sum*, которая есть дареное ему опять же самочувствием и устранением туманных, принятых на веру, якобы знаний, — единственное, бесспорное, самоочевидное знание до знания. Он эту точку малого «я» не развивает в многоэтажный дом — мироздание великого «Я» Фихте — Гегеля. Она служит ему лишь как точка опоры для баланса, работы и уравновешивания данных чувству (сенсуализм) — их корректировкой током иного направления: от «я» — к миру (рационализм). Но сам рационализм французский — не абстрактное мышление, а, так сказать, осязательное умозрение, ибо основные добродетели мысли здесь — ясность, очевидность (а не истинность, глубина мысли, содержательность), — т. е. не мысль для себя как субстанция и самость, но ее социальность, отношение к другим, соседям, какой она кажется, т. е. не субстанциональность ее, а атрибутивность, прилагательность, характерность, психологичность, косвенность — касательность. Потому-то Гегель в ответ на запрос из Франции изложить им кратко и популярно свою систему, сказал, что его система не может быть изложена ни

кратко (т. е. на срок, пока французское внимание, привыкшее к быстрым накожным ощущениям и реакциям, не утомится и не зевнет; «все ведь жанры хороши, кроме скучного», по Вольтеру. Терпимость его, однако, броска, но обманна — ибо ограничение выставлено грандиознейшее: под эту «скуку» подпадает вся немецкая философия и литература, Толстой и Достоевский — ср. Вогюэ о русском романе, — так что широковещательно объявив в тезисе свою широту: «все жанры хороши», Вольтер убил ее, «улитотил»<sup>12</sup> в оговорке и расписался как раз в узости мышления, которое приемлет лишь веселое, и тезис его следовало бы читать «... только занимательные жанры хороши». И это принцип французской логики: то гносеология тщеславия, как бы казаться не тем, что есть; где куриная, ограниченная мысль — умело сервируется под всеобщую истину... с небольшим исключением. И формой французского суждения является: «все... кроме», т. е. всеобщее с ограничением, тогда как на самом деле сутью этого суждения является суждение ограничительное, где исключение, вводимое под словом «кроме», поставлено в центр и тезис: только это есть), ни популярно (т. е. угодливо к *populus* — народу, ориентировано на социальность и обходительность), ни по-французски (ибо язык выражает космологос, национальный склад мышления, так что сходные слова и термины, попадая в иной контекст мышления, совсем иначе понимаются).

Французская мысль ориентирована не прямо на истину, а на нее косвенно — через людей и для людей, так что невероятен иль редок во Франции случай писания без расчета на публикацию (что невозможно, то здесь и не пишется), на издание (что так естественно в России и отчасти в Германии), а просто ради собеседования с Богом, прямо с бытием. «Мысли» (*Pensées*) Паскаля, собранные и изданные по смерти его, кажутся исключением, но не от того ли, что умер рано, еще не чувствуя, что завершил свои торги с Богом и свое пари на Бога? Ведь для пари нужен третий, свидетель, — чтоб рассудить и разрешить. К тому же *Pensées* эти в жанре *Essais*, которые Монтэнъ ведь опубликовал.

А то, что Флобер мог отделявать сутками одну строку, ведь не значит, что он этим на большую глубину понимания истины забирался; если б ему дорого было само понимание, он бы рыл, как Достоевский, расшвыривая, не глядя и не озираясь, как выглядит со стороны: чумазым, всклокоченным? — а все Истину одну видя, гонясь за ней, преследуя, торопясь набрасывать сети слов на Жар-птицу. Флоберу ж дорого было не знание-значение, а план выражения, стиль — т. е. то, где логос осязателен, касателен, накожен; стиль — кожа мысли, на уста людей ориентирован, а не на прямое взаимопонимание с истиной в немоте, тишине — иль в неряшестве и косноязычии: ничего, Бог простит

<sup>12</sup> В поэтике литота противоположна гиперболе.

за страсть и усилие тяги добраться скорей к Нему, к Истине; это люди не простят некрасивого, утомительного, скучного, плохо выраженного. Стилль — людск, а не божеск, есть «человеческое, слишком человеческое». «Стилль — это человек», — сказал француз Бюффон.

## Баланс законов и натуры

6.XII.68. Но что же об Индии? Зайдем теперь с этого боку. В главе III кн. 14 «О противоречиях в характере некоторых южных народов» Монтескьё пишет: «Индийцы от природы лишены мужества (т. е. страна господства женского начала — теплой влаги, воды). Даже европейцы, рожденные в Индии, утрачивают мужество, свойственное европейскому климату». Монтескьё полагает: чем более к северу, тем уменьшается, из-за уменьшения чувствительности кожи, страх боли и тяга к чувственным наслаждениям, а отсюда зависимость в жизни от женщины, — и нарастает мужество. Потому он советует правителям располагать столицы на севере своих стран, так как оттуда силою бодрых северян легче держать в повиновении более вялые народы юга, нежели наоборот<sup>13</sup>. И действительно, так само собой получилось, что столицы многих стран умеренного климата — на севере своих стран: Москва — Петербург в России, Берлин в Германии; Париж, Рим, Мадрид, Варшава, Каир, Тегеран, Дели, Пекин... Но совсем к северу наступает северная вялость и сонливость, так что столицы Англии, Норвегии, Швеции — на юге своих стран. Недаром и в США в гражданской войне победил Север против Юга, и столица там — Нью-Йорк, Вашингтон. Правда, и в Европе стабильно завоевывают и держат в повиновении северяне южан: Москва — Киев, готы — Рим, норманны-варяги — Англию и Россию. Правда, родина метеорных мировых завоевателей — юг: Ганнибал для Рима, Цезарь для Северной Европы, Александр для Востока, корсиканец Наполеон для Европы.

<sup>13</sup> «Гот Иордан назвал север Европы (Скандинавию) фабрикой человеческого рода. Я бы скорее назвал его фабрикой орудий, которыми сокрушают выкованные на юге цепи» (кн. 17, гл. V).

«Одно из последствий только что сказанного нами заключается в том, что для государя очень большого государства весьма важен хороший выбор места для своей столицы. Тот, кто поместит ее на юге, рискует утратить север; а кто поместит ее на севере, легко сохранит за собой и юг. Я не говорю о частных случаях: в механике часто приходится сталкиваться с силой трения, которая изменяет или опрокидывает выводы теории; подобная сила трения действует и в политике» (кн. 17, гл. VIII).

Но что есть трение? Это тело о тело, противодействие земли; земля, масса — как отрицательное начало, от которого бы избавиться, и этот подход рожден европейским спиритуализмом — и именно романской мыслью Галилея: как бы хорошо в воздухе и в невесомости! Во всяком случае, здесь отворот от Земли, как и в принципе климата Монтескьё, тогда как германец-англосакс Ньютон вновь повернет лицом к земле — т я г о т е н и е, вес.

Тому, что мужское начало на Земле располагается более к северу, а женское — к югу, очевидное подтверждение дает просто карта Земли и соотношение на ее поверхности суши (мужского начала — огнеземли) и воды: в Южном полушарии преобладает вода, океан, в северном — земля, суша.

**«Но как совместить с этим их (индийцев) жестокость, их обычаи и варварские наказания? Мужчины там подвергают себя невероятным мукам, а женщины сами себя сжигают: вот сколько силы при такой слабости.**

Природа, которая дала этим людям слабость, делающую их робкими, наделила их вместе с тем столь живым воображением, что все поражает их сверх меры. Та же самая чувствительность органов, которая заставляет их бояться смерти, заставляет их страшиться многого более смерти. И та же самая чувствительность, которая заставляет их избегать опасностей, дает им силу презирать эти опасности». (Слышите, здесь излюбленный ход французской логики баланса и автоматического реле: «та же самая причина, что уводит,— возвращает», как центробежная, центростремительная сила во вращательном движении французского рондо. Эту логику в применении к галльской живости см. в рассуждении некоего дворянина, приведенном выше, с. 133.)

Итак, соотношение между чувствительностью и воображением. Открытость существа индийцев в бытие, их незакупоренность в себе с помощью жесткой или сжимающейся гусиной кожи, которая образует из тела северянина дом для души, его «я», его личности,— не развивает там ощущения своей души, личности, «я», так что там нечему внутри страдать, воспринимать боль: наружная накожная боль или наслаждение касаний не собираются в пук «я», в центр своего государства, в самочувствие,— а так и остаются ощущениями дисперсными, рассеянными, пунктирными. Потому, с другой стороны, когда буддизм выступает здесь с нравственной проповедью, он не апеллирует к душе, ее спасти,— как это привычно у европейских проповедников, ибо душа — как центр и государь тела, собирая в себе все телесные наслаждения и ощущения, за них несет ответственность=грех и сгорит вместе с домом тела; потому усилие надо, чтоб их разъединить, и стремятся в Европе добиться личного бессмертия, своей души, своего истинного «Я».

Буддизм ни к какой душе и к «я» высокому и чистому, чтоб оно своей волей обуздало плоть,— не апеллирует. Напротив, его исходный пункт — боль: первая благородная истина — «на земле есть страдание, болезнь, смерть». Весь буддизм пронизывают боязнь и отталкивание от страдания именно телесного, тогда как в христианстве и Европе культ страдания тела — муку принять плотскую, чтоб душу оторвать от тела и спасти. И нет в буддизме ни души, ни идеи ее личного бессмертия, ни Бога — всех этих домов, особей, закрытостей среди бытия. Нет, человек — в потоке открытого бытия среди превращений существ, идущих и сквозь человека. Эту грандиозность мира индеец чувствует не

воображением субъективной души, изнутри, не развитой способностью репродуктивного — т. е. вторичного, изнутри, активностью «я» порожденного воображения (просто нет у него этого пучка «я», ложного принципа личности — «аханкара» в «Бхагавадгите»), но как прямо текущий сквозь меня захватывающий поток истинной, а не воображаемой реальности. Это европеец, по себе судя, приписывает индийцу воображение, вхождение из «Я» в образ, принцип переноса из «Я» во вне — метафору. Нет, для индуса, кому не надо, подобно Сенеке, вены свои открывать, но которые — сосуды и нервы — всегда доверчиво бытию открыты, — льется единая мировая жизнь, и идеи: Брахман и Атман, образы многорукого Шивы иль слона Ганеши — это не продукты вольного воображения талантливой личной души, но реальные клубящиеся пары и облака бытия, пребывающие в нас постоянно иль пронсящиеся через нас ошеломлениями. И это, конечно, страшнее накожной боли вот этого моего существования в форме «меня», одного из бесчисленного множества образований некоей проникающей и образовавшей сейчас «меня» кармы — как нити судьбы, на которой так называемое «я» — лишь бусинка.

Так что когда индус идет на костер — это не сила воли «я» преодолевает боли чувствительного тела, но он совершенно расслабляется, отдается Брахману, бытию, которое и так всегда его наполняет, а сейчас уже переполняет его сосуд, так что ему надо прыснуть, лопнуть — и перетечь уже в бытие без какой-либо ограничивающей личной формы (это и есть «прекратить поток рождений» — как переселений опять в ограниченные формы разных существ, в которых опять жить и умирать, а не бытийствовать).

Нирвана есть угасание. Нервы и их чувствительность суть токи электрические, огневые, потоки, жжение наслаждения и боли. Буддизм есть паническое бегство от боли<sup>14</sup>, от желания наслаждений, что и есть причина боли (как отсутствия наслаждения). Но это опять — не путем личного усилия «я» и самосознания того, что хорошо и плохо, — но как подсказ извне, от бытия — диктат дхармы. И если французскому антропосу, так в меру и разумно настроенному, организованному самой природой индивиду, не нужны избыточные законы, ибо стесняли бы собственную, изнутри идущую социальную талантливость, одаренность этого существа, то в Индии разнообразнейшие и детальнейшие законы нужны, чтобы извне упорядочивать неорганизованные чрез «я» существа людские.

**«Подобно тому как хорошее воспитание более необходимо для детей, чем для людей зрелого ума, народы этих климатов**

---

<sup>14</sup> Недаром он привился в интеллигентных кругах индийцев горожан и современных европейцев, с изнеженной телесной субстанцией, — и не привился среди массы простых людей Индии, которым ближе индуизм. Ред.: но прекрасно привился среди «простых людей» Японии, Китая, Кореи, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии.

Более нуждаются в мудрых законодателях, чем народы нашего климата. Чем люди впечатлительнее, тем важнее, чтобы получаемые ими впечатления были правильными, чтобы они не усваивали предрассудков и чтобы ими руководил разум.

Во времена римлян народы Северной Европы жили без ремесел, без воспитания и почти без законов; и тем не менее благодаря одному лишь здравому рассудку, связанному с грубыми волокнами тел жителей этих климатов (так вот разгадка немецкого Sinn и французского sens! Всегда трудно укладывалось во мне, как эти слова одновременно означают ощущение, чувственность кожи — и рассудок трезвый и здравый. Но это *мы* расщепили, а у народа в языке это однокоренно, и рассудок есть необходимая протяженность тупого, грубого нервного волокна, которое само никак не разбери-поймет, что оно ощущает), они с удивительной мудростью противостояли римскому могуществу и, наконец, вышли из своих лесов, чтобы разрушить его» (кн. 14, гл. III).

Итак, в дхармах не внутренний долг повелевает и не к советам и самосознанию они апеллируют, а внешние рамки, формы, устои существам, им необходимые, чтоб не растечься в аморфности и не затопить друг друга. Из-за недостатка внутренней духовной формы (которая в Европе — «я», личность) развиваются внешние духовные модели, формы для литья — различные дхармашастры, сутры со сложными классификациями и учетом многих вариантов поведения. Потому нет здесь различия между психологией и онтологией, столь существенного в европейской философии и гносеологии, где, с одной стороны, «я», мой внутренний мир и организация души — сама по себе, а с другой — уже обездушенное, только естественное бытие. В Индии окружающее бытие психично, а моя душа... нет, не душа, а духовные процессы во мне = руки бытия, так что обратно: мое психическое усилие тут же отзывается каким-то бытийственным изменением в существах и строе мира, разлитого повсюду. Потому буддизм как этическая терапия психологических ощущений и интеллектуальных процессов в моем сосуде есть одновременно мироустройство, а именно — останавливание бытия.

В Европе мало законов, касающихся быта, частной жизни, а лишь законы, касающиеся отношений людей между собой в обществе, — гражданское право. И вообще стремятся иметь меньше законов, а лишь конституцию, хартию. В Англии основа права — прецедент, т. е. эмпирический факт в прошлом, ставший относительной моделью и нормой (какое соответствие с опытом — как принципом английской философии, которая не приемлет априорного законодательства разума, философских систем и категорий, а обобщает случаи! «Привычка» Юма равна «прецеденту» в судопроизводстве, и оба опираются на память, пресечущий ток времени, — как и английские романы, которые суть — stories, истории жизни Тома Джонса Найденыша, или novels — новинки, но и story и novel — функции идеи Времени).

В Индии же основные законы, дхармы, касаются именно быта: как есть, куда встать и где испражняться, как приносить жертвы и т. д.— т. е. упорядочивают отношения людей прямо со стихиями бытия: права земли, воды, воздуха, огня, солнца и стран света среди людей учреждают, чтоб люди их не оскорбляли, а, напротив, помогали бы им свои функции в индийском космогосе отправлять.

Потому здесь — доисторический уровень миропонимания, категории Времени не за что там зацепиться: там еще тот космос, что был, по Гесиоду, при Уране и Гее — до воцарения Хроноса и вторжения Времени как основного принципа и бога в существование. Законы там неизменны, не вводятся новые, чем полна история Европы — установлением новых, отменяющих друг друга законов и в обществе и в науке: Солона — Ньютона, Соломона — Эйнштейна, реформ Клифена — Петра, революций спутников Юпитера (ибо «революция» = «обратное вращение» — первоначально было естественнонаучным термином в астрономии и именно так употреблялось еще Кантом в 1755 г. во «Всеобщей истории неба») и угнетенных и рабов. Иль эпох Возрождения, реабилитации, воспоминания прерванной традиции, отчего европейские мудрецы говорят, что «новое — это только хорошо забытое старое». Нет в Индии исправлений — нет и ошибок (ибо каждый новый закон в науке, объявляя старый ошибочным представлением и сам вскоре ложась в могилу таковым, — дает нам почувствовать современное научное представление о мире как коралловый остров ошибок, где на пятикилометровой толще прежних полипов-ошибок высится еще не залитая сантиметровая поверхность научной истины). И жанры словесности в Индии нелепо было бы назвать «новелла» (чего новенького слышно?), которая есть последний крик моды в словесной одежде, — но называются вещно-бытийственно: «тантра» — ткань, пряжа («Панчатантра» — пять нитей), «упанишады» — сидение возле, «араньяки» — лесные и т. п.

Такая неизменность бытия, отсутствие нововведений кажется странным и скучным (еппцуетх — самое страшное для живости француза) Монтескьё. «Если к этой нежности органов, благодаря которой народы Востока получают самые сильные в мире впечатления (импрессии — французская призма: вдавливанье в кожу и телесности), вы присоедините некоторую леньность ума (слышите, корректирующий телесные ощущения Декартов ход от центра-рацио?), естественно, связанную с такой же ленью тела, что делает их неспособными ни к какому подвигу, ни к какому усилию, ни к какому самообладанию, вы поймете, почему душа их, раз восприняв те или иные впечатления, не может уже более изменить их. Вот отчего законы, нравы и обычаи, относящиеся даже к таким, по-видимому, безразличным вещам, как одежда (уж новации хотя бы в моде, по французу, обязательно должны быть допущены), остаются и теперь на Востоке такими, какими они были тысячу лет тому назад» (кн. 14, гл. IV).

А в главе V — «О том, что дурные законодатели — это те, которые поощряли пороки, порожденные климатом, а хорошие — те, которые боролись с этими пороками» — выдвигается опять принципиальная для французской логики идея б а л а н с а, с и м м е т р и и: если природа клонит в одну сторону — закон должен выравнять весы налеганием на другую чашу. Если по-русски закон — «что дышло: куда повернешь — туда и вышло», а дышло — это прямая палка, то по-французски закон — коромысло, тибок и предназначен для баланса, быть противовесом иль гирей.

«Индийцы полагают, что покой и небытие составляет основу и конец всего существующего. Таким образом, полное бездействие является для них самым совершенным состоянием и главным предметом их желаний. Они дают верховному существу название неподвижного. Жители Сиамы считают, что высшее блаженство состоит в том, чтобы не быть обязанным приводить в движение свое тело.

В этих странах, где чрезмерная жара обессиливает и подавляет людей, покой доставляет такое наслаждение, а движение так тягостно, что эта метафизическая система кажется вполне естественной. Будда, законодатель Индии, следовал внушению собственных чувств, рекомендуя людям состояние полной пассивности; но его учение, порожденное созданной климатом ленью и в свою очередь поощряющее эту лень, причинило неисчислимое зло» (кн. 14, гл. V).

Вот французская логика по типу «все жанры хороши, кроме скучного». Сначала идет такое отрадное широкое понимание другого народа: как органично для его космоса возникает философский принцип недеяния, и вдруг это же именуется пороком. Исходя из чего? Из собственных оснований данного космолога? Да нет: оттого, что во французском языке грандиозному метафизическому принципу недеяния нет адекватного слова (попация — некрасиво, нестильно, абракадабра), а есть близкое, на быстрый и поверхностный, накожный взгляд, — понятие: «лень», *rag-esse*, а оно уж окрашено отрицательным нравственным цветом — порок. И *Шарль Луй* начинает поучать Гаутаму Будду, что есть добро, а что зло для индуса. И невдомек ему, что для неделанья, для непротивления ему насилем изыскивается такая энергия духа, а пассивность буддийского иль йогического созерцания — плод такой энергетической активности воли, которая, остановив поток дхарм в себе, тем самым оказывается способной удерживать преизобильно-клубящуюся природу и как раз чрез человека вбивает оси и сваи в бытие, не давая ему самоубийственно закружиться, разгуляться и обрушиться, — так что именно пассивность человека в этом космологе есть добродетель, ибо образует как раз противовес преизобильно-порождающей жизни. В самом деле, что б было, если в Индии человек начал бы активно действовать? Он бы первым делом стал вторгаться в природу, раздвигать ее для себя, то есть: вырубать-жечь леса, уничтожать слонов, обезьян и попугаев, а с тем вме-

сте и свой корм и даровые плоды и естественную культуру при-  
зობильной природы. Она кормит индуса многоэтажно: и снизу,  
с земли, и с воздуха — плодами нависающими, и не только пи-  
щей, но и цветами, звуками, красотами. А так, начав действо-  
вать, человек в лучшем случае мог бы усовершенствовать ни-  
зовую источник пищи — земледелие, а корм и дары от остальных  
стихий-фей — пресек. То есть, нашебутил бы там, слепо-эгоисти-  
чески разорил национальный космологос, поубивал бы существ  
и сам бы подрезал источники, смысл и пользу своего существо-  
вания. Природа в Индии, дав человеку с материальной стороны  
почти все необходимое, тем подсказала ему устремить свою  
энергию и деятельность в сферу духовную — раздвигать воздух,  
а не землю (чем занят европеец в пахании и в горной индуст-  
рии): помогать стихии воздуха, недостаточной в Индии, — своими  
мыслями чистыми, гимнами, словами — подсушивать и слегка  
охлаждать воздух, прозрачнить его, ибо как раз не пищи (зем-  
ли — воды) и не тепла (огня) не хватает в Индии, а именно сти-  
хии чистого воздуха (оттого эпидемии, миазмы, мрут). А у евро-  
пейца и русского обратное положение: воздуху хоть отбав-  
ляй (спрессованный, призобильный — ветрами носится), его на-  
до остановить стенами домов и городов, а вот тепла и пищи  
не хватает — оттого и устремляются усилия людей в огненно-  
материальную сферу труда (огнеземли), индустрии.

Так что не понял, что́ есть добродетель, а что́ порок в Ин-  
дии, Монтеस्कё и с большим удовлетворением обратился к Ки-  
таю: «Законодатели Китая проявили более здравого смысла:  
имея в виду не то состояние покоя, к которому некогда придут  
люди, а ту деятельность, которая им необходима для выполне-  
ния житейских обязанностей, они дали своей религии, своей фи-  
лософии и своим законам чисто практическое направление. Чем  
более физические причины склоняют людей к покою, тем более  
должны удалять их от него причины моральные» (кн. 14, гл. V).  
Но, при отсутствии обособления индивида от бытия, при их пе-  
ретекании, в Индии нет жестко отрешенных друг от друга ми-  
ров этики и физики, практического разума Канта и спекулятив-  
ного, теоретического, так что в Индии моральное поведение че-  
ловека чревато физическими последствиями в космосе (ибо че-  
ловек чувствует свою спаянность заветом не только с себе по-  
добными, родом людским, — но и с огнем, и с обезьяной, и с жуч-  
ком, с которым он тоже должен вести себя нравственно).

Китай вообще ближе и понятнее Франции (об этом уже гово-  
рилось выше, как и о том, что Индия роднее Германии — неда-  
ром «индо-германцы»: и те и те — арийцы), и Монтеस्कё далее  
с похвалой приводит в гл. VIII «Хороший китайский обычай»,  
по которому ежегодно император сам совершал церемонию от-  
крытия земледельческих работ, чтобы побудить народ занимать-  
ся земледелием.

В Индии ж земледелие не поощряется законами: пахать  
землю = убивать живущих в ней существ, кузнечиков, червячков.

7.XII.68. По радио — об Америке. Там что произошло? И белые туда вывезены, и черные. И если в Старом Свете они распределены в пространстве и каждые — в своих космосах, и не соприкасаются англосаксы с эфиопами, — то в Америке их швырнули вместе; бытие устроило короткое замыкание своих полюсов — катода и анода, оттого там накал, напряжение и Вольтова дуга. Словно эксперимент здесь бытие ставит: а что если свести вместе ясное и черное солнца, совместить и ток совместной жизни пропустить — какой сплав может получиться? Так что конфликт там не социальный, а бытийственный: спаять по шву расколотое бытие. Недаром правительственные акты сверху защищают негров, но наталкиваются на противодействие обычая людей, снизу.

Но — к милому Монтеस्कё, умиротворяющему дух. Ведь сколь прекрасно его намерение: «Если бы я мог сделать так, чтобы люди получили новые основания полюбить свои обязанности, своего государя, свое отечество и свои законы, чтобы они почувствовали себя более счастливыми во всякой стране, при всяком правительстве и на всяком занимаемом ими посту, — я счел бы себя счастливейшим из смертных» (О духе законов. Предисловие).

Но ведь и в моей затее описать национальные образы мира — то же намерение: всему основания необходимости подвести, — так что всеми конечностями подписуюсь под заявлением Шарля Луи.

В главе X четырнадцатой книги «О законах, относящихся к трезвости народов» человек рассматривается как сосуд с различного рода влагами, напитками, жидкостями: кровь (вино), лимфа (вода) и т. д. Если в Индии человек — язык пламени, умеряемый влагой = водами — объятьями женщины вокруг, в атмосфере, — то в умеренном климате Франции человек скорее прохладен, вода внутри него (так что маяковское заявление: «в наших жилах кровь, а не водица» риторично, но не реально), и потому ее нужно слегка подпламенять извне, и в окружающем космосе насаждаются виноградники, где скапливается огневода = солнечный сок = кровь открытого бытия и впрыскивается постоянно внутрь сосуда — антропоса. По статистике, француз в сутки потребляет полтора-два литра вина. И то, что французская ученая мысль, как никакая иная, занимается жидкостями и их соотношениями (Паскаль и другие), испарениями и агрегатными состояниями вещества, — есть задача национального самопознания, исполнение завета: «познай самого себя». И Монтеस्कё пристально исследует этот вопрос.

«В жарких странах водянистая часть крови сильно улетучивается вследствие испарины, и ее нужно восполнять подобною же жидкостью. Поэтому вода там в большом употреблении; крепкие же напитки произвели бы там сгущение кровяных ша-

риков, которые остаются после испарения водянистых частей крови.

В холодных странах водянистая часть крови испаряется слабо, она остается в крови в избытке, поэтому там можно употреблять спиртные напитки, не опасаясь сгущения крови. (Спирт есть Spiritus — дух огненный, и его надо добавлять в космосах, где преобладает влаговоздух — как во Франции, туман — как в Англии, или мать-сыра земля — как в России.) Там тела переполнены влагой, и крепкие напитки, усиливающие движение крови, не будут неуместны. (То же, что немцы пьют пиво — много и некрепко, — с этой стороны дает подтверждение моей гипотезе, что германец по составу есть огнеземля: ее надо и остужать, и разжижать, — и в этом смысле он, верно, парен русскому, который есть водоземля в воздухе и свете) <sup>15</sup>.

Закон Магомета, запрещающий пить вино, является, таким образом, законом самого климата Аравии; известно, что вода и до Магомета была обычным напитком арабов. Карфагенский закон, запрещающий употребление вина, был тоже законом климата; и в самом деле, обе страны имеют почти одинаковый климат.

Подобный закон не годился бы для холодных стран, где в силу климата развивается некоторое национальное пьянство, сильно отличающееся от пьянства отдельного лица. Пьянство распространено по всей земле в прямом отношении к холоду и сырости климата. Двигаясь от экватора к нашему полюсу, вы увидите, что пьянство возрастает вместе с градусами широты».

И не только пьянство, но и сам градус напитка прямо пропорционален и даже равен градусу широты. В самом деле, в тропиках пьют воду; индусы не знают пьяных напитков, но скорее — курение, т. е. огневоздух здесь есть вдохновение бытия и в бытие: зона опиума, гашиша, наркотиков — тропическая. Выше — зона ислама, где тоже не пьют, но уже просачивается вино как ересь — суфизм здесь действительно сатанинск, ибо гнет на ту чашу весов, где и так уже перевес: в сторону огня и жара, что истекает из вина, и еще более густит телесный Эрос. Далее начинается Средиземно-Черно-море и с ним вместе зона вина. Эллыны, на 40-й параллели, пьют, по совету Гесиода, разбавленное вино: четверть вина, три четверти воды. На северной широте в 45°, где Бордо, Шампань, Болгария, Молдавия, Грузия, пьют уже натуральное сухое вино в 9—12°. Лишь в Армении и горах Апеннин пьют коньяк — 40°. Но и это — в соответствии с закономерностью, ибо в горах высота адекватна северности равнины. Далее, на широте 50°, идут крепленые вина, рейнвейн, портвейн, бургундское — правда, перебивается зоной

<sup>15</sup> И русский, естественно, лучше чувствует себя во Франции, нежели в Германии. Алексей Толстой сетовал в письме к Бунину на Германию, что вина здесь нет, а пьют пиво, от которого гонит в сон и в мочу, — т. е. на русский состав, в котором и так много сыроземли и туману, сонной вялости, — германские напитки действуют вредно.

пива в Германии и Чехии; и на Украине наливочки, фруктовые вина и настойки. Градус здесь уже 20—25°. На широте 55°, где Англия, Польша, Прибалтика, Москва, пьют жженку, пунш, грог — 30°, ром — 40—50 и водку — 40°. Уже сближаются градусы широты и крепости напитка. А далее они совсем сходятся: и даже градус напитка превосходит: в Арктике пьют спирт — на 75-й параллели потребляют 96-градусный; правда, иные разбавляют слегка и тем приводят в соответствие с градусом широты. Так, в бухте Тикси нас угощали «Северным сиянием» — смесью спирта с шампанским, как раз примерно в 70°, в соответствии с 70-й параллелью. Так что градусу внешнего, магнитного склонения соответствует внутренняя склонность, приверженность к определенному градусу напитка, и этим подтверждается единство макро- и микрокосмосов, ясного и черного солнц. Градус географический — пояс по коре земной, градус земли; градус атмосферный, температура — градус воздуха; и градус противодействующей им живительной огневоды, вливаемой в человека, — скоординированы.

«Двигаясь от экватора, — продолжает Монтеस्कье, — к полюсу, противоположному нашему, вы увидите, что тут оно возрастает в направлении к югу, подобно тому как там возрастало в направлении к северу.

Естественно, что там, где употребление вина противно климату, а следовательно, и здоровью, злоупотребление им наказывается строже, чем в странах, где дурные последствия пьянства невелики как для личности, так и для общества и где оно только дурманит людей, а не делает их свирепыми. Поэтому закон, каравший пьяного человека и за совершенный им проступок, и за его пьянство, касался только его личного, а не национального пьянства. Немец напивается по обычаю, испанец — по личному желанию.

В жарких странах вследствие расслабленного состояния волокон происходит сильное выделение жидкостей посредством испарения, но твердые части тела сохраняются лучше (земля обогненна, крепка, закалена, как дамасская сталь, — кстати, именно в этом космосе недаром произведенная...). Волокна, действующие вяло и с малым напряжением, почти не изнашиваются, и требуется немного питательных соков для их восстановления; поэтому люди там очень умеренны в пище» (кн. 14, гл. X).

Пища — земля, масса и вес. Южане — легки, сухи, и недаром негры — чемпионы по легкой атлетике, бегу; а русский, поляк, немец, швед или англосакс — чемпион по тяжелой атлетике. Русские много едят в сравнении с западноевропейцами: кашицу сыро-землю, мягкотелость своего тела надо возобновлять. Француз — сухощав, легок, жив и электричен в сравнении с русским («французик из Бордо» — как кузнечик-попрыгун на увесистость Фамусова или даже Чацкого — фамилии у них какие: на «а», а у того — на «ик») и ест мало, зато гастро-

ном: в малом многое чтит, разнообразие, соотношения и пропорции на вкус <sup>16</sup>. Русский — щи да картошка утром, днем и вечером: много однородного; и хлеба в Европе мало едят не только потому, что мало его там: растет он — растет, только не садят, не надо, не интенсивная это для них культура.

В Индии ж и Афанасию Никитину странной показалось их пища: массы не едят, а все прянности. Но твердому атому, прокаленному, выдержанному, плотному веществу южной плоти — и добавлять помалу альфа-частиц надо. Прянности и суть эти радиоактивные частицы, ими бомбардировка и добавок, тогда как русское вещество трамбуется более крупными — протонами и нейтронами. «Благодаря силе своих мышц народы севера извлекают из пищи самые грубые соки. Отсюда два последствия: во-первых, частицы лимфы вследствие их значительного размера крепче утверждаются в волокнах и лучше питают, во-вторых, по причине своей грубости они менее способны придавать некоторую остроту нервному соку, поэтому у этих народов будет крупные тела и мало живости» (кн. 14, гл. II). (Отметим попутно, что пищу-землю, куски француз рассматривает в отношении опять к водам-жидкостям нутра, наполняющим его сосуд: лимфе, нервному соку.)

Англосакс ест бэкон, яичницу с ветчиной, бифштекс — крупные куски мяса; недаром бэкон и спиритуально благословлен: основополагающий для английской философии мыслитель был Бэкон (Фрэнсис, а до него еще — Роджер Бэкон) — не встретишь же в других народах такой фамилии, а наткнешься на соответствия иным предметам.

Монтескьё объясняет запрет на свинину в исламе: жир закупоривает поры и выделения — и тело задыхается. На севере, напротив, нужно закупоривать поры, как одеждой тело, как ставни на окнах, и свинья там — жизнехранитель.

«Свиньи должны быть очень мало распространены в Аравии, — говорит де Буленвилье. — Эта страна почти лишена лесов, и в ней нет почти ничего, что могло бы служить пищей этим животным. Кроме того, избыток соли в воде и пище делает население ее восприимчивым к кожным болезням». Кстати, «откожность» французского мировосприятия выражается в том, что и Буленвилье, и сам Монтескьё обращают внимание именно на то, как там у них дела с кожей, у разных иных народов, — и ни на какие другие болезни. В кн. 14, гл. XI «О законах, имеющих отношение к болезням, порождаемым климатом» говорится о проказе и законах о прокаженных, о том, как «два века тому назад болезнь, неизвестная нашим отцам, проникла из Нового Света в наш и стала поражать человеческую природу в самом источнике жизни и наслаждений... Упрочила эту болезнь жаж-

---

<sup>16</sup> Вкус — электрические токи по разным травам-проводникам учитывает, как гальванометр, и соотносит. И опять недаром это явление романским народом открыто: Гальвани на лягушке французской; а потом и Вольта, тоже итальянец, добавил...

да золота, за которым люди постоянно устремлялись в Америку, принося оттуда все новые и новые семена заразы».

Золото — отродье черного солнца, и сифилис — плесень во Эросе, очернение пола, осквернение фалла, стоячего обелисками, торчащего в открытом пространстве в Старом Свете под очищающим солнечным УВЧ. Золото — из недр; и эта золотуха, из нутра и ночи идя, кожу шелушит. Еще упоминается чума — болезнь городов, социального рондо.

«Местный закон, — комментирует Монтеस्कё мнение де Буленвилье, — воспрещающий употребление свиного мяса, не был бы приемлем в других странах, где свиное мясо составляет почти всеобщую и в некотором роде необходимую пищу.

Присоединяю к этому еще одно соображение. Санкторий заметил, что употребляемое нами свиное мясо дает очень слабую испарину (вот что французу чувствительно, накожность, климат — как испарение пота земли) и даже препятствует испарению всякой другой пищи. Он нашел, что это уменьшение испарения достигает одной трети нормального. Между тем известно, что недостаточное испарение причина или усиливает нажежные болезни. Употребление свиного мяса должно быть, следовательно, воспрещено в таких климатах, где часто встречаются эти болезни, как в Палестине, Аравии, Египте и Ливии» (кн. 24, гл. XXV).

Жир заклепывает поры кожи и, действуя как одежда на севере, сохраняет тепло. На юге бы он удушил человека в своем теле. С другой стороны, соль производит чрезмерную эрозию в коже южного человека, разъедая ее этим едким посланцем черного солнца, как землетрясение — кору земли.

## Де Сад — Сатана по-французски

8.XII.68. Свинья — животное низа земли (недаром вверх взглянуть не может), крот поверхности, накожный; кабан водится в лесах, в волосах земли, как вошь. Как змея — выполз черного солнца в Индии, так и свинья, кабан, вепрь — гнида недр: недаром все туда роет мурлом, вернуться хочет под корни дуба, на родину, в ночь утробы, ближе к черному солнцу, где кабан — светило, тьфу! — темнило, наподобие быка, который соотносится с солнцем, есть дом солнца — в созвездиях Зодиака Телец<sup>17</sup>. Потому быка-корову чтят, и если убивают — в Испании, на закате солнца, — то ритуально, в корриде, с пиететом, как заклание священного животного, тогда как охота на вепря, на кабана — царское, Кесарева мира, людское занятие в Европе: изгоняют беса с лица земли. И недаром в евангельской притче о бес-

<sup>17</sup> И верно, у антимира Черного солнца должны быть свои 12 созвездий, парных и полярных зодиакальным.

И кабан, наверное, парен быку; змей — льву; шлюха — девам; фонтан — водолею; гермафродит — близнецам и т. п.

новатом бесы, покинув человека, вошли в стадо свиней и бросились в пропасть — домой, вниз, в тартарары.

Свинья — приминает и трамбует растительный мир, рвущийся вверх. Кабан — каток, каким перегной-асфальт земли уплотняют. И как земля всеприемлюща — все в себя силой тяготения тянет: и Гамлета, и камень, — так и свинья всяедна: все съест, есть всеобщее понятие = понятие, высшая, то бишь, низшая абстракция, и не абс-, а ат-тракция, т. е. привлечение. Свинья — живая помойка: то бы гнили отбросы в стационаре, а так самоходным животом всеобщая могила бродит, да еще кормит! И то, что германские народы так необходимо должны потреблять свинину, чтобы прожить в своем космосе, — их необходимый союз с Сатаной, Фауста с Мефистофелем — выражает. При недостатке жара верхнего, от солнца, они должны прибегать за помощью к черному солнцу, огню недр, кузни, индустрии ископаемых; и бурому углю соответствует бурый хряк-кабан, чрез кого они к телу не господню, а сатаны причащаются, как и чрез бурое пиво и спирт — к спириту, духу огненному, а не святому, к демону. Так что сатанинское начало у этого народа в крови и плоти.

У французов, напротив, всякое сатанинство и inferнальность — наигранные, заемные, поверхностные, не чувствуют они геенну нутром, интимно, искренне. И появляется все это во Франции лишь в начале XIX века после знакомства чрез м-м де Сталь с Германией и английским готическим романом ужасов. Тогда и пошли уроды, Квазимоды, а потом цветы зла и всякое мелким бесом сатанинство в розницу («опт» же поставляет германство). Ну да: бес во Франции — хромой (Лесаж), сопатый, увечный, неполноценный — не то что германские князья тьмы, мильтоновские Люциферы, байронические Кайны, Манфреды. И как смешно, что всю чертовщину, когда она расцвела в литературе XIX века, называли **романтизмом**, тогда как это чистой воды германизм! Романтизм объявили воскрешением традиций средних веков. Но ведь как раз в германстве тогда чорт на приволье гулял и каждым бюргером интимно ощущался, так что Лютер запустил в него чернильницей, а Яков Беме прямо в личное единоборство с Люцифером вступил в своем труде «Аугога, или Утренняя заря в восхождении». И ведь там напропалую прижигали каленым железом. А во Франции не было охоты на ведьм, и если сожгли там Жанну д'Арк как ведьму, то опять же германцы — англичане.

Правда, был там маркиз де Сад. К нему стоит приглядеться как ближайшей французской ипостаси Сатаны. Он эстет и наложник: садизм есть чувственное эротическое наслаждение чрез боль другому или даже себе. То есть, то, что у Монтескье еще разведено: боль и наслаждение, — здесь сведено на общей платформе чувствительности кожи. Садизм — поверхностен, не претендует на душу и совесть, их погубление, как договор Фауста с чортом. Другой Антихрист — Наполеон, зверь с числом 666, —

император, тварь социального, Кесарева мира; и очень эстетичен сей социальный фейерверк. Вообще, Франция знает скорее Антихриста в разных ипостасях (Вольтер, Наполеон), нежели Сатану. Их разница такова: Сатана — антиБог-Отец, т. е. более бытийствен, охватывает и люд и природу; Антихрист же, как и Христос,— касаем лишь до социального мира, до человечества и цивилизации. В этом смысле Наполеон историчен, а Гитлер — более метафизичен — Сатана, Враг бытия вообще, «сверхчеловек», во всяком случае, вне-человек (теософией питался), и недаром в народе русском уж нарицательно употребляется это имя ко всякой закоренелости во зле. В соответствии с французской ориентацией вперед, в будущее, на цель, Наполеон — Антихрист, предтеча того, кого еще не было, но должен в будущем прийти; Гитлер же, по германской ориентации на начало, причину, происхождение,— есть исконный Враг, ипостась Сатаны.

Итак, нет во Франции интимного сродства с глубиной, недрами земли, черным солнцем, того тяжкого туда притяжения, которое чуёт англосакс (Ньютон — открыв трагический закон всемирного тяготения, фатальный: от судьбы не уйдешь, все в землю ляжем) и германец (культ глубины духа, мысли, сердца-недра в германской мысли и музыке). Стихия земли здесь представлена, родна именно своей кожей, почвой, поверхностью. Отсюда и огонь во Франции иной, нежели в Германии. Там — огонь низовой, горн-кузня, из недр земли полыхающий (уголь — в Англии и Германии), черного солнца завет, гееннский жар<sup>18</sup>. Во Франции ж тепло внешнее, из пространства, теплота и жар солнца, что производит загар на коже земли, смуглость и брюнетов (тогда как германцы — блондины: верхний жар лучей солнца слаб, а внутренний до волос не доходит, даже, напротив,— их и глаза белит: альбиносы, рыжие недаром во всех народных проклятиях, сатанинские — что я рыжий что ли? Хотя по внешнему взгляду рыжий, казалось бы, прямо солнечен, но у волос и солнца соотношение и логика — не тождества, а противоречия: сын божий Христос — темноволос, а Иуда — рыж, золотист. Страдание, стеснение сердца — тоже акт черного солнца, его протуберанец,— белит сединою волосы. Солнце ясное к седине отношения не имеет. В побелении головы просто их братство, ясного и черного солнц, сказывается: черное производит белизну и тем — седым человеком, оканчивающим свой путь,— идет навстречу ясному солнцу назад в рассеянное бытие).

Во французской поэзии непрерывно *chaleur, chaud* и разум сравнивается с *soleil ardent*<sup>19</sup>. Как это точно: от солнца здесь

<sup>18</sup> И недаром во Франции нет угля, а лишь железо, и то на границе с Германией — отказал Господь в близости к черному солнцу.

И разогревается народ в стране социальным трением, брожением на поверхности земли, обильной историей, ее кружением и рондо, тщеславием, — а не копанием и индустрией, разработкой недр.

<sup>19</sup> Теплота, теплое; пылкое солнце.

берется не свет, а пыл. Солнце как шар и свет здесь не значительно, лучи его тепловые важны, ибо накожны. По Сеньке шапка, а по Сене — солнце. В пространстве России, где тоже солнце как шар и лицо в небе неважно (в отличие от Литвы, где солнце — лик космообразующий и постоянно присутствующий своим бытием, зраком иль тоской и мечтой о нем), — от солнца берется свет, рассеянные лучи: общая белизна в просторе народнее, ближе к сердцу, нежели узкая точка, шарик, личико, яблочко, колобок — мелкогато все это; видите, на каких низовых правах здесь пребывает солнце.

## Спектр стихий

Итак, начинает проясняться вид и соотношение стихий во французском космологосе. Земля здесь выступает не как недра (глубина — в Германии), не как форма-тело (в Средиземноморье), но как кожа-почва, поверхность. Огонь — как *soleil ardent*, т. е. как жар света, от чего получается цвет (живопись), — но не как огненный дух германства или ясный шар Гелиос эллинства.

Вода — как внутренние реки в нашем сосуде: кровь, лимфа, вино туда же. Вода образует нашу, человека, душу (а не воздух), внутреннее наполнение нашего сосуда. Поэтому француз не хочется птицей взлетать вверх, распахнув рубашку и душу (как воздушной, легкой душе русского). Жидкость социальна, связующа (недаром все поселения людей — на водах, а реки образуют основу объединения в страну — естественную дорогу или границу), тянет к соседу втечь (проблема другого — *l'autre* — основная в экзистенциализме; она же в рассечении — мужчина и женщина): капельность индивидов, стекаясь на плоскость, и образует социальное рондо. Пить невозможно на одиночку — это чисто социальное дело и для общения и любви совершается. Потому вино во Франции не просто крепит национальный антропос, добавляя огня в его лимфу, — но и вливает бытийственную кровь в жилы цивилизации; крепит общение, питает социальность, историю, страсти партий, столкновения и т. д. Потому, когда напомнить о себе Бытие истории и цивилизации захотело, оно вторглось в веселое социальное рондо и стало кровью из черепов пить («Боги жаждут»<sup>20</sup> — назвал свою книгу о 93-м годе Анатоля Франс) с желобка машины доктора Гильотэна — сего повара, а точнее — виноградаря от Бытия в обществе, виночерпия, кем в эллинстве на Олимпе пребывали прелестный мальчик Ганимед и дева Геба. Ну что ж, это-то как раз не новинка во

<sup>20</sup> И Пантагрюэль = «всежаждущий»; и Гарантюа — *Que grand tu as!* = «какая у тебя большая глотка!» Антропос по-галльски есть сосуд, и совершенно справедливо у Рабле «конечный вывод мудрости земной», извлеченный из уст оракула Божественной Бутылки, — «Гипик!» = «Пей!», что значит — «будь человеком!» (социальным; по-французски).

Франции — общий котел крови. Друиды галлов гадали по крови жертв, и, как сообщает Страбон, «передают, что у кимбров (тоже франко-германское племя) существует такой обычай: женщин, которые участвовали с ними в походе, сопровождали седовласые жрицы-прорицательницы, одетые в белые льняные одежды, прикрепленные на плече застегками, подпоясанные бронзовым поясом и босые. С обнаженными мечами эти жрицы бежали через лагерь навстречу пленникам, увенчивали их венками и затем подводили к медному жертвенному сосуду вместимостью = около 20 амфор (амфора = 26,196 л); здесь находился помост, на который восходила жрица и, наклонившись над котлом, перерезала горло каждому поднятому туда пленнику. По сливаемой в сосуд крови (вот: „обнимитесь, миллионы“ кровавых шариков! Триумф свободы, равенства и братства первостихий, элементов — освободившихся от заключения в формах тел, руслах сосудов и т. д.) одни жрицы совершали гадания, а другие, разрезав трупы, рассматривали внутренности жертвы и по ним предсказывали своему племени победу. (Это все уже близко германству и ему принадлежит: культ внутреннего, Inpere, а душа там тоже водяная — Seele.) Во время сражения они били в skóry, натянутые на плетеные кузова повозок, производя этим страшный шум» (и это — германская черта: звук в помощь) (Страбон. География, кн. VII, II, 3).

В Индии жены сопровождали царя на охоту, обволакивая огонь человека внешним кругом влаги. Здесь же жены-воды блюдут внутренние воды в сосудах людей. И верно Толстой полагал (в «Крейцеровой сонате», в частности): город нужен женщине, она — импульс к социальности именно в форме цивилизации, т. е. городской жизни. В самом деле: в деревне тяжелой жить женщине, легче мужчине; в городе — обратное соотношение, и здесь развивается культ одежды, мод, и мужчины становятся женоподобными и женскими угодниками.

Итак, вода во Франции важна — но не как бытийственная влага-семя, а как социальная огневода — кровь, как внутреннее воды, рондо = озеро социальности, распределенное по сосудам людей-антропосов = капель. Потому так чтятся там чудесные капли, самобытно, не слившись, как индивиды, в пространстве существующие, капли огневоды = винограда (винограда — на словах Платоновой идеи, Демокритова атома, первоэлемента всего сущего); и величайший праздник народный — когда индивидов в общество сливают: давят виноград, и реки вина по жилам истории текут, поступая на выдержку-службу Времени; и уж теперь для него социальная категория с л а в ы действует — как времени, в течение которого меня помнят — значит, я существую в памяти: слава вина = его выдержанность во времени, древность рода. Тогда — «славное вино!».

Монтескьё прямо связывает виноград с плотностью населения (предпосылкой социального объединения) во Франции: «Страны, где преобладают пастбища, бывают слабо населены, потому что

они дают занятие лишь небольшому количеству людей; пахотные земли требуют большего числа работников, и еще несравненно больше — виноградники. (Кочевые люди — родные животным, земледельцы-пахари — растениям, а виноградари, что возделывают солнечные капли в воздухе, головки,— создают головы людские, легкий шипучий дух в них — *esprit*. Да, французский ум — брызжущ, дух здесь взлетает из огневлаги, крови, это искристое вино, игристое. Монады мысли здесь не искры, а брызги шампанского. *Esprit* — не есть *spiritus*, чистый бытийственный огневоздух, а увлажненный жизнью, человечностью.)

В Англии часто слышались жалобы на то, что увеличение пастбищ ведет к сокращению населения. Во Франции же замечено, что множество виноградников составляет одну из главных причин многочисленности ее населения» (кн. 23, гл. XIV). Гроздь велит и населению рядком гроздьями располагаться.

Итак, вода направляет всемирное тяготение не по вертикали, но по горизонтали, на плоскости (по поверхности, по коже) Земли, капель друг к другу, и Париж — очаг социальности на Земле, орган образования мировой цивилизации и источник социальных моделей, идей для нее (партия, свобода, равенство, братство, республика, социализм, коммунизм — все эти термины оттуда), стремится всех людей и все народы сообщающимися между собой сосудами сделать, по образу и подобию французского космолога.

Ну а воздух? Никак его следов не найду: Ну: *plein air* («плэнэр») — так ведь *plein* — полный, налитой, так что воздух как сосуд трактуется иль как жидкость (как Декарт трактовал свет), и француз Лавуазье, как разложил воду на водород и кислород, — так наподобие этого разложил и воздух на азот, кислород и т. д. Но ведь кислород = газ огня, **горючий**, горение поддерживающий, так до Лавуазье назывался. Зачем же не к огню его своим названием приспособил, а к окислам — т. е. к почве, к загару земли (ржавчина), вкусу кислому вещества? Не сказала ли в этом откожность французского мировосприятия, — т. е. от имени и лица кожи отношение к бытию?

Итак, огневоздух, чистый *spiritus* назван французом *oxi-géniump*, т. е. «рождающий кислое»: составлено имя из идеи — **гонии**, Эроса, животного порождения, и из вкуса (*le goût*) — т. е. обернут от неба, верха мира, — к плоскости земли и к ее контакту с водой (ибо вкус не сух, а через капельность сообщается). Так что и огонь и воздух во французском космосе центростремительны к человеку, а не человек к ним центробежен (как отчасти в Индии, отчасти в России, отчасти в зороастризме: огнепоклонники — огню как свету, а не жару, именно).

Так что романскому народу в крови предписан геоцентризм, гуманизм, и не случайно самые острые баталии гелиоцентрическое мировоззрение выдержало в романских странах (Бруно, Галилей), тогда как в славянской стране Польше — от «поле», близ рассеянного бытия, оно естественно возникло; без труда:

утвердилось и в германстве, где нет человеко-центризма, где не мир для человека, а человек для чего-то высшего, нежели он.

И действительно: на равнине, в поле легче представить, что мы повисли в небе, нежели в горах, где уж явно небо на зубцах и крючьях обвисло и держится — на подпорках земных, как и представляли эллины-горцы=греки<sup>21</sup>, поместив плечи Атланта в горы Кавказские или Геркулесовы столпы.

Так как же воздух во Франции? Он — скорее пар, вариант воды. И придется теперь поправку внести в то толкование призыва климата, что я дал вначале. Климат — это да, надземность, но захватывая слой почвы-кожи и от него танцуя и на верх мира обратясь и с него все судя. Так что климат — это пот: испарение капли, выжатой из кожи жаром, — таков комплекс климата.

Так как же так: во Франции пьют вино больше всех народов, а пьянства нет! Пьянство — это человек шатается, выходит из себя в бытие, не чувствует земли, ног под ногами, море по колону, размахивает руками-крыльями (в драке летуч: оттолкнувшись от другого, как птица взлететь хочет). То есть, отвергаются стихии земли и воды, а, уповая на огонь — спиритус, огненный дух внутри, — взлететь в воздух. Оттого человек не земен тогда, не от мира сего, и закон (социальность) ему не писан, ибо от земли взлететь ему в мировое пространство безудержно надобно (то неньютонова тяга человека подмышки подхватывает и приподымает в духе: заносится тогда в мечтах, во вдохновении). Так я передал самочувствие северянина в пьянстве.

А француз пьет, чтоб не из себя выходить, а как раз в себя, в человека, в социальность, входить, свою меру получить, войти в землю, в сосуд свой, в социальное рондо — ибо, если не пьешь, какой ты собутыльник, сотрапезник и партизан в партийной борьбе! Так что питье во Франции есть абсолютно социальный акт, и де Голль советует возводить новое здание Сорбонны на сваях над старинными винными погребами, — так Соломоново примирив их торг за территорию. В России ж, где и так человек худо прикреплен к месту, к городу, к социальности, пьянство изымает человека из общества и возвращает его в родное рассеянное бытие, так что это акт бытийственный, но антисоциальный.

## Черное и ясное солнца

9.XII.68. Еще к уточнению стихий и принципиальных понятий у французов. Эллин Аристипп, «потерпев кораблекрушение, до-

<sup>21</sup> «Греки» — букв. «горцы»; начав недавно изучать греческий язык, я обратил внимание на то, что здесь поход в *глубь* страны, наступление называется «анабасис», букв. «восхождение»; а отход, возвращение — «катабасис», букв. «нисхождение» (28.V.69). Т. е. то, что в равнинных странах понимается в горизонтально-низовых отношениях и аффиксах, здесь выражается в вертикальных.

стиг вплавь ближайшего берега и, увидав там начерченные на песке геометрические фигуры, очень обрадовался, заключив, что он попал в страну, населенную греками, а не варварами.

Если какой-нибудь случай забросит вас к неизвестному вам народу, то, увидев монету, можете быть уверены, что вы находитесь в стране с благоустроенными гражданскими порядками.

...Благодаря потокам и пожарам мы узнали, что земля содержит металлы, которые легко вошли в употребление после того, как были открыты» (кн. 18 «О законах в их отношении к природе почвы», гл. XV).

Итак, для эллина интимно родное — фигура, форма, вид-эйдос — идея. Для француза — металл как социальный индивид — монета. И открыт металл-монета (=создан французский социальный атом) стихиями-творцами — водой и огнем-жаром: потоки и пожары произвели эрозию коры-кожи земли, разъели ее, растрескали, растеребили и явили сложившееся в недрах земли черное солнце (=брат ясного), ибо металлы — звезды: золото=солнце, серебро=луна и т. д., так что чрез металлы мы при себе, в кармане космос носим, элементы придерживаем. Цивилизация и призвана своим трудом, историей и существованием воссоединить ясное и черное солнце, и один из первых шагов этого — превращение залежей металлов в склад социальности: строй общества — в зависимости от напряженности металлов, ими владения: Сатана там правит бал, люди гибнут за металл.

Металл — представитель в людях черного солнца (Сатаны), и, являясь двигателем общества (стремление к обогащению), металл, неорганическая природа, определяет высшую якобы форму движения — социально-историческую (пусть и высшую, но глубина для бытия столь же существенна, сколь и высота).

Недаром и века и поколения приурочены к металлам (см. выше об этом). И Европе — Западу=закату досталось железо, железный век, «жестокий век, ужасные сердца» — твердейший атом, черствость. Распределение металлов=светил и их орбит=народов по странам света очевидно и для Монтескьё, когда он объясняет характер торговли Европы с Индией: оттуда предметы роскоши, туда — золото. Оно выкапывается и ползет, идет навстречу солнцу (своему яснолицему брату) из западного полушария (Америки) чрез Европу — в восточное. «Можно еще спросить, выгодна ли была римлянам их торговля с Аравией и Индией. Они должны были посылать туда деньги, а у них не было, как у нас, Америки, которая восполняет нам наши затраты... Все народы, торговавшие с Индией, всегда отправляли туда металлы и вывозили оттуда товары.

Причина этого лежит в самой природе. У индийцев существуют свои ремесла, приспособленные к их образу жизни. Их роскошь — не наша роскошь, и их нужды — не наши нужды. Климат их не требует и не позволяет им почти ничего из того, что

исходит от нас» (кн. 21, гл. 1). Ни одежда, ни пища европейские туда не подходят, единственное остается, что взять у европейцев,— это монеты, которыми европейцы дорожат, а индусы нет, и там они как-то без толку рассеиваются в пространстве — в блеске украшений, драгоценностей, которые носят и голодные бедняки; т. е. здесь место, где черное солнце, сжавшись и воплотившись в металл, золото, возвращается к солнцу ясному — рассеивается в бытие, свет и пространство. Понятно теперь, почему «на Русскую землю товара нет», по воздыханию Афанасия Никитина, и наоборот: с Руси в Индию нечего взять. Принципиально торговля с Индией возможна и изыскивается бытием лишь как широтная, по отношению к ходу солнца, а не как высотная: с севера на юг, и обратно. Ибо торговля, как металл на товар, есть путь восхода черного солнца: товар ведь — предмет поверхности, приподнятость над землей социальным трудом и цивилизацией; а металл — внизу, в земле, его выкапывают, и, посылая с Запада на Восток навстречу солнцу, поднимают его до уровня товара и там, в Индии, в носимых украшениях разбрызгивают лучами вверх и во все стороны.

Так что недаром широко направился Колумб в поисках Вест-Индии — пути солнца он следовал и действительно открыл землю запада солнца, где оно западает, пропадает в низу земли — и от него лишь осколки — золотые жилы = окаменевшие лучи Мексики, ацтеков, инков, Клондайка, Аляски, Калифорнии. «Открытие Америки имело следствием сближение Азии и Африки с Европой. Европа стала получать из Америки материал для своей торговли с той обширной частью Азии, которая носит название **Ост-Индии**. Серебро — этот металл, столь полезный для торговли как знак ценности, — стал в качестве товара предметом самой обширной в мире торговли. Наконец, плаванье в Африку стало необходимо как средство добывать там рабов для разработки американских рудников и земель» (кн. 21, гл. XXI).

Это тоже феномен, к бытию имеющий отношение: Америка, земля запада солнца, была почти не населена, так что род людской (белых и черных) пришлось туда завозить со Старого Света — как на тот свет, на новое светило, на новую планету, землю или луну. Да, Новый Свет — спутник Старого, как Новый Завет — отпрыск Ветхого. Новизна восстает и крепчает, по мере того как солнце западает, — как электрический свет цивилизации, огонь недр, к ночи возжигается. В самом деле: где восход — Восток, там крепость старины: Китай, Индия; чем к Западу — тем более брожение, и вот уже динамический взрыв вавилонского столпотворения и смешения языков = раскол людского бытия вдребезги. И вот уже поблизости зона религиозных брожений, узел необходимых после раскола воссоединений (re-ligio = восстановленная связь). Тут тебе иудаизм, христианство, манихейство, разные церкви, византийство, ереси и т. д. А далее к западу еще более крошиться пошло человечество на новеллы-новизны — ереси, ордены, секты; и когда уж стали Новый Свет

колонизовать, туда готовый Вавилон завезли — осколки вер, тысячи сект, и вместо *re-ligio* там *re-clamo* = крик в отклик, зов вопиющего в пустыне, самоутверждение каждого как особи, расталкивающей других криком и светом. Америка искалась как Индия, но есть Лжеиндия, антипод Индии, зона залегания черного солнца.

А в Европе оплот новин, новелл и новаций, конечно, — Франция<sup>22</sup>: здесь как бы накапливается энергия новизн Старого Света, чтоб, прыснув, перепрыгнуть через океан и обдать Новый Свет. (Правда, тут же еще более крепкий орешек — в Англии, которая есть консервы Евразии: все, что там ни возникнет, и старое и новое, удерживается на этом острове в сосуществовании и в вечном хранении. Иная архаика — в Испании. Если Англия — склад широтного движения солнца и цивилизации, то Испания — стык Европы и Африки, севера и юга, что в завоевании арабов, мавританской там культуре и реконкисте сказалось.)

«О божественных и человеческих законах» Монтескьё рассуждает так: **«Сила религии покоится главным образом на вере в нее (т. е. любви, притяжении), а сила человеческих законов — на страхе (т. е. отталкивании) перед ними».** И естественно, что Восток солнца — зона религий, там люди с верой обращены к бытию и богу; а Запад — зона цивилизации и индустрии, ибо чего людям, сокрушаясь, вперяться в западающее солнце? не

---

<sup>22</sup> В «Опыте о вкусе в произведениях природы и искусства» (кстати, вот подход французской эстетики — через накованность и именно по линии органа вкуса — языка, где и слово, и стиль = палочка — вилка гастрономическая. Германская мысль об искусстве, хотя и обозначила себя греческим словом «эстетика», т. е. чувственность, т. е. накованность, танцует от этого по сторону глубины души, избирая из органов чувств теоретические, созерцательные, без прямого касания — глаз и ухо, зрение и слух — и толкуя эстетику как чувственное познание, мышление в образах, т. е. рассматривая искусство не под категорией вкуса, а под категорией идеи, познания) Монтескьё так объясняет, почему наша «душа всегда ищет нового»: **«Душа создана для того, чтобы мыслить, т. е. наблюдать, мыслящее же существо должно быть любознательным. Все предметы связаны общей цепью (сама природа предстает как социальное рондо: связь есть основное понятие французов, и если по-немецки, как уже говорилось вначале, отчуждение — *Ver-äusserung* — овнешнение, т. е. угроза идет по линии гибели *Innere*, „Я“, то по-французски оно — *a-lien-ation*, т. е. антисвязь, разрыв связей, нитей, распад социального рондо). Эта связь влечет за собой и связь идей, причем каждая идея вытекает (образ воды как социальной связи) из предшествующей и, в свою очередь, служит причиной последующей. Поэтому нельзя находить удовольствие при виде одного предмета и не желать увидеть другого. И не испытать мы такого желания по отношению к первому предмету, мы не получили бы никакого удовольствия от второго. Таким образом, когда нам показывают лишь часть картины (*NB* аргумент к живописи), мы стремимся увидеть и ту часть, которая от нас скрыта. При этом сила нашего желания (категория из зоны Эроса) соразмерна удовольствию, доставленному виденной частью картины (германская проблема — отношение части, „я“ к целому; французская — отношение части к части, частей к частям, сословий к классам, к соседу по окружности социального рондо, ощупывая, что меня касается, и переходя дальше по хороводу). Итак, удовольствие, полученное от одного предмета, влечет нас к другому; вот почему душа всегда ищет нового и никогда не успокаивается на достигнутом»** (Монтескьё Ш. Избранные произведения, М., 1955, с. 740).

лучше ль отвернуться от бытия — бога и самому не плошать, положить на себя, человека, крепость ума и рук, и всяк своего счастья кузнец? Так что Запад стал зоной человеческой активности, но ее основание — не вера, надежда и любовь, а как раз безнадежность, пессимизм, одна живем! — так что надо рвать от жизни куски в борьбе за существование — идее, выдвинутой на крайнем Западе Старого Света Дарвином и величайше реализованной практически уж в Западном полушарии — в США. Итак, верно, что страх, боль и вражда всех против всех, расталкивание — естественное состояние человеческого рода в представлении Запада: Гоббс, Руссо и Монтескье — о страхе и боли дикарей. Идея любви здесь не естественно-природная, как на Востоке, а искусственно-рукотворная: появляется в цивилизации, в обществе, для их внутренней жизни и для удобрения страсти людей. Но то, что Западная цивилизация первородно замешена на страхе, на ночи, где все кошки серы<sup>23</sup>, а человек человеку волк, — нет-нет да прорывается в самосознании, как ныне в экзистенциализме и абсурдном мире.

**«Древность существования благоприятствует религии; степень веры часто соразмеряется с отдаленностью предмета, в который мы верим, ибо наш ум при этом бывает свободен от побочных понятий той отдаленной эпохи, которые могли бы противоречить нашим верованиям. Человеческим законам, напротив, дает преимущество новизна их происхождения»** (кн. 26, гл. II).

Вот почему перенос, посягательство принципа новизны с человеческих законов на религию (что случилось в введении Нового Завета) замешивал божеское на человеческом, слишком человеческом, эфемерном (Христос-богочеловек) и противопоказан идее религии в корне; потому христианство оказалось уязвимо для социально-исторической критики (ибо само сложилось как социально-человеческое учение, а Христос недаром толковался уже на социальном уровне: как защитник угнетенных и рабов, социалист, коммунист и т. д.). Но не случайно в Западной Европе утвердился Новый Завет, ибо для нее слово «новый», «современный» — автоматически значит «лучший» (идея прогресса), так же как на Востоке священно понятие «старый», «древний», как гарантирующее большую мудрость и причастность бытию. В приводимом у Монтескье письме иудея к инквизиторам Западной Европы высказывается этот аргумент новизны: **«Когда вы призываете нас к себе, мы указываем вам на тот источник, своим происхождением от которого вы так гордитесь (очевидно — Бога-творца и Библию). Вы отвечаете нам, что ваша религия новая, но имеет божественное происхождение»...**

<sup>23</sup> Серый — цвет рассеянного бытия. Вот почему на Западе справедливо чувствуют большую причастность ночи к бытию, нежели дня (см. «Гимны к ночи» Новалиса), тогда как в космосе Востока обратное: день святее, бытийственнее, ибо к ясному солнцу причастен; на Западе ж ночь бытийственна, ибо грешнее, ибо к их черному солнцу, к энергии электричества, причастнее, а день — луден, скучен, убог его свет...

(кн. 25, гл. XIII). Вот в сознании старого иудея божественность нового очень сомнительна, и потому «новое» он употребляет в соседстве с «но».

И показательно, что на западе солнца победил Новый Завет над Старым (идея нового), а когда в Индии возникла было аналогичная новая вера — буддизм, во многом родственный христианству, — он не ужился, и победил здесь Старый Завет Вед — религия индуизма, брахманизма (идея постоянного восторжествования). Новый же Завет есть уже в принципе антивера, и Христос уже есть свой собственный Антихрист, его с собою носит, и точнее: собою, ибо сам посягнул на реформу, так что «поднявший меч...». Новый Завет уже есть введение принципа моды — чего новенького? — в религию. Ясно, что на таком фундаменте она легко сокрушима, ибо — надкожна, есть одежда. И для Монтеस्कё инстинкт самосохранения антропоса выше религии, т. е. приверженности человека чему-то высшему, нежели его жизнь: «**Камбиз, осаждая Пелузий, выставил в первом ряду множество животных, считавшихся у египтян священными, и гарнизон поэтому не решался стрелять. Для кого не очевидно, что требования естественной самозащиты выше всех предписаний!**» (кн. 26, гл. VII).

И поскольку социальное рондо для француза — основная зона людей, отношения внутри-социальные важнее отношений человека к бытию. Потому для него верх нелепости то, что «**иной индус почтет для себя бесчестьем есть за одним столом со своим царем**» (кн. 24, гл. XXII). Между тем в Индии царь — из варны кшатриев, выше которой варна брахманов; в экономическом же отношении брахман беден и часто нищий, живущий подаянием, тогда как люди низших каст — богачи (кшатрии — воины и вайшьи — торговцы, земледельцы), но они считают за счастье, если нищий брахман возьмет у них подаяние<sup>24</sup>. Иерархия здесь обратна европейской. В Индии: чем выше — тем легче, воздушнее, ибо человеку в том космосе заповедано воз-дух в бытии поддерживать и расширять, а все остальное ему от бытия само приложится; потому чем ниже по бытийственно-религиозной иерархии — тем плотнее и жирнее вещество человека: неприкасаемые уже жрут мясо, совсем низовы, нутряны, утробны, животны и черносолнечны.

В Европе же жирные наверху — *porolo grasso*: богатые (материально, веществом плотные) узурпировали себе понятие «бог»; наверху тяжелые, твердолобые, консервативно-уплотненные, — оттого здесь и гнет социальный, и пресс: давят они на низ, где как раз более легкие, неимущие, лишь руки рабочие, не

<sup>24</sup> «Население этих (индийских) государств состоит только из нищих, которые грабят, и нищих, которых грабят. Те, кого там называют знатными, имеют очень небольшие средства, а те, кого называют богатыми, имеют лишь необходимое» (кн. 16, гл. X).

В Европе знатность и богатство в основном нераздельны (кроме Испании, где тип — идальго обедневший = отголосок восточно-южного браминства — чрез арабов).

имеют ничего, кроме своих цепей — т. е. гнета на них. В Индии же именно естественно-бытийственно не заповедано социального угнетения, а есть скорее социальное восхищение, восстание, выпрямление всех вверх, в воздух, вслед за языком Агни.

В Европе ж, на Западе, при зове черного солнца — оно действует через притяжение к низу: а сверху по его воле прихлопывают, сплющивают, уплотняют все бытие, и для того наверху помещены тяжкие люди — бабы трамбующие, катки, чтоб ни охнуть, ни вздохнуть, ни продохнуть от низменных интересов и притяжений. Ибо даже если и восстают там, то из-за перераспределения металла, вещества и богатства — т. е. чтоб на еще большем числе людей были гири навешаны.

Людские общества Запада — как закрытые сосуды с воздухом, на котором тяжелый поршень лежит-давит. Ну да: здесь холодно и приходится **закрывать** от бытия в людской дом или сосуд (общество здесь — то или иное закрытое помещение) и здесь уж внутри людским давлению становится подчинену и подверженну. Внизу больший объем — социальное большинство бедных, легких молекул газа — воздуха (бедняки — более духовны). Вверху — социальное меньшинство: объем железа в сравнении с газом меньше, а гнет, вес и, значит, значительность с точки зрения черного солнца — больше. Чем больше гнет — тем больше разогрев молекул воздуха, социальное брожение воздушных низов, борющихся за идею, свет (т. е. воздушные — за свое, духовное), и наступает накал — предел — неспособность — и социальный взрыв, при котором не только поршень вверх взлетает и разлетается на куски, но и сам сосуд-дом вдребезги, и люди вырываются в открытое бытие, на его простор погулять. Оттого революции всегда есть вновь причащение людей к Бытию, его истине, и обладают более метафизическим содержанием, имеют большее откровение, нежели годы мирной и жирной жизни. Однако потом вырвавшиеся газинки чувствуют, что на просторе открытого бытия холодно и, чтоб согреться, надо нахлобучить на себя начальство, посадить кого на плечи — сначала как доху, шубу, одежду. Так новый сосуд-дом строится и утепляющее давление необходимой социальной организации.

Так что основной вопрос жизни и смерти для людей на Западе — правильное регулирование взаимных социальных давлений чрез законы, которые предусматривали бы и постоянство, и гибкость, и диффузию слоев и т. д.

В Индии ж, в космосе, обращенном в открытое бытие, не социальные законы, а предписания религии (т. е. воссоединения с бытием) суть основные, конституции.

Но вот, начинают в уме связываться кислород, магнетизм, черное солнце. Сейчас-сейчас. Значит, Лавуазье, мыслитель Заката, назвал огневоздух (т. е. то, что над землей, в пространстве и свете рассеянного бытия, стихию из сферы ясного солнца, его херувима) — «кислородом», т. е. рождающим окиси, вещества, материи — все, что в земле, т. е., действуя по-француз-

ски, антропоцентрично и наочно, притянул огонь к низу, к Западу, укоренил и приурочил к черному солнцу нутра земли, где — металлы (недаром, по Монтескье, и пожар и потоп, т. е. гнев стихий надземного бытия, — для того, чтоб разрыть металл в коже-коре земли).

Но тем раскрывается природа земного магнетизма, которая, как читаем в современных курсах физики, еще неизвестна. Магнетизм есть притяжение полюсов-полюсов расколотого бытия друг к другу (т. е. процесс во Эросе) и именно сродни электрическому току, т. е. току искр-электронов=атомов огня; и электричество в веществе, в металлах — это солнце в веществе: ставшее землей и черным ясное солнце открытого бытия.

Земля на 49%, т. е. наполовину, состоит из кислорода (такова статистика химии) — т. е. горючий газ, потенциальный огонь есть половина материи мира, а другая — иное. Магнетизм и есть потенциальный огонь и электрический ток, и есть Эрос целого шара Земли — оттого что расколот ее состав на половинки, полюсы — полюса, и необходимо их притяжение и отталкивание. Притяжение и братание ясного и черного солнц чрез их взаимопроникающего посланца — огневоздух, который по Европе — кислород, а по Ведам — Агни=Джатаведас, знаток всех существ, ибо вездесущ (ток ведь электрический все бытие насквозь и каждый атом пронизает, вездесущий и всеведущий) — се и есть природа земного магнетизма.

Электрон ведь исходно — янтарь—земляное солнце: смола=огневода, отвердевшая в земле. Все электричество — возвратное к солнцу течение (ток): снизу вверх (лампа — солнце на столе) возжжение черного солнца (угля, нефти, белого угля) навстречу ясному.

Получение ж электричества чрез трение — это акт соития расколотого бытия в единое целое и выделение энергии в этом процессе (как в ядерной реакции восстановления атомов вещества).

## Петух и дуб

10.XII.68. Продолжая уточнять стихии во Франции, вспоминаем, что Галлия, как ее обозначили римляне, — от gallina — курица, gallus — петух, и недаром символ Франции (и в шаржах) — галльский петух. Петух — птица... нет, курица — не птица. Петух как раз об этой приземленности воздуха (взлетит курица еле-еле над землей и опять вниз), о наочности французского бытия говорит. То есть, и вверх над землей важен такой же слой, как и в землю вниз — почва: французы — поэты испарений надземных, дыхания, от тела через поры кожи (но не через легкие и душу — основной канал русского и йогического дыхания). Ну да: и свет когда входит в эту среду испарений, он разное преломляется и становится цветом — живописью.

Петух сопряжен со стихией огня (красный петух — пожар), и его крик предвещает восход солнца, и от него разлетается нечистая сила ночная: петух — враг черного солнца. Однако идея утра здесь из петуха не выводится — чтобы утро было любимейшее время суток. Нет, во Франции любим полдень — *mi-di*, а из времен года — лето, *l'été*, и положение солнца — зенит: и верно — тогда от солнца наименее чувствуется свет (в отличие от утра, рассвета, зари, авроры, восхода, что так любимо в странах Востока: и в России, и в Индии чтут более утро, нежели полдень; в России еще и вечер любим — вообще пороги, рубежи, кануны, берега света и тьмы): на солнце в зените глянуть нельзя — голову задираТЬ по вертикали придется, но наиболее ощущим жар, пыл — и воспринимается это от солнца не глазом, а кожей. Вертикаль солнца-жара есть короткое замыкание с катодом — головой человека, — и тогда время крутых решений, ударов судьбы: *coup de soleil=coup d'état*<sup>25</sup> (У Камю в «Чужом» солнце, *chaleur* — причина события ножевонзания: нож от человека в бок другому есть здесь просто преломление луча из вертикали чрез среду социального человека, которого естественные тяготения — вбок, к другому человеку. Так что явно герой здесь невиновен, а подлинная причина его поступка, как он и твердит непонятно для судей, — солнце.)

Однако утро во Франции все ж важно — как зона пробуждений и тончайших кожных ощущений: тело тогда парное и зябкое, и от него исходят и наплывают в полудреме еще запахи, воспоминания о касаниях — весь Пруст в этом ощупывании себя в утреннем поживании. Это время крайнего сладострастия — но уже индивидуально-бытийственного, а не социально-полового: в утреннем пробуждении человек совокупляется прямо с бытием, им обволокнут, к нему прямое отношение имеет. А в уме еще ошеломление и колебание: от бытия ночи — к небытию дня и наоборот, и плывут все формы и идеи у только что выброшенного на берег, в жизнь.

Петух — птица цвета, крика и дурного звука, что вполне отражает устройство чувств французского антропоса и соотношения искусств там. Яркое оперенье, гребешок=яркая одежда, шляпки: французы — законодатели в живописи и модах на одежду. Но со слухом у них неважно: ну да, слух требует сумерек, тишины, а ее «дневные разгонят лучи», «их оглушит наружный шум» — любимый французами «говор, крики... пламенного дня» (Тютчев).

Потому французская манера исполнения склонна превращать пение в говорок — шепоток и крик, мелодию — в речитатив и декламацию (шансонье XX века). Французы — нация городской цивилизации, а в городе, как современная медико-география установила, у человека вырабатывается адаптация к шумам, к звуку, он глушеет. И манера пения-говорка не просто современ-

\* Солнечный удар=государственный переворот.

ная и модная,— она по нужде такая, ибо ни слушатель иного не воспримлет, ни исполнитель иного не может: он полупоеет, полурассказывает с выражением и пришептыванием — не от хорошей жизни, а оттого, что он уже зачумлен и не слышит, не может чисто проинтонировать мелодию. Кстати, недаром введение криков и возгласов, декламации и шумов в музыку было совершено ее гениальным убийцей Бетховеном — германским дитящем французской революции и пророком современного большого города. В самой Франции этого не могло произойти, хотя тому предтечи — драматизированные оперы Глюка (тоже немца, но только во Франции остановившегося). Так что это должно было совершаться в стране звука, слуха и музыки — Германии, как ее реакция на соседние социальные пертурбации и протуберанцы.

И атрофия слуха в ухе у современного горожанина сопрягается с тем, что органами, воспринимающими звуковые — уже не музыкальные, а шумовые ритмические колебания, становятся ноги, бедра, ягодицы, что ходуном ходят под звук джаза. Как у кузнечика, у современного горожанина орган слуха — в ляжках, он ягодицами слушает, как неподалеку оттуда и звук издает.

И страшная провиденциальная символика — в том, что Бетховен — тончайший слух венской музыкальной классики — был оглушен надвигающимся грохотом мирового города и полжизни творил глухим, так что его музыка — зрелище, т. е. слухалище всемирно-исторической борьбы между тончайшей внутренней музыкой души и обрушивающимися на нее ультразвуковыми волнами и скрежетами надвигающейся мировой цивилизации, которая оглушила (своими еще инфразвуковыми, неслышными волнами) мембрану Бетховена еще до того, как стала улавливаться слухом обычных людей.

Но зато петух — театрален, представителен, напоказ, на людей и на эффект: на *paraitre* (казаться) работает. А походка — пружинная, танцует, обходителен. И его мир — двор-сои́г, как и социальное рондо француза — двор короля. Петух — король среди кур: они — его сои́г, двор. И основой общества служит Эрос — объединение по любви, на основе полового влечения, как в реформе общества на основе серий по страстям у Фурье, который предлагал культивировать Сахару, например, так: изъявляют желание записаться в трудармию несколько красавцев и красавиц; вслед за ними туда устремляются любящие их; вслед за теми — любящие тех — и так, куртуазно, трудятся коммунистически, как на турнирах средневековых, стремясь, отличившись, стяжать любовь возлюбленных; а обществу-то и выгода и польза, и людям это приятно, радостно и незаметно: труд — побочный результат любви, чистой социальной жизни (в германстве, напротив, труд как самодеятельность «я», воля и опредмечивание — первее социальности и любви, что и выступило ясно у Гегеля и Маркса).

Социальная жизнь и преобразования во Франции не есть внешнее проявление внутренних глубинных процессов — в духе, в производстве, — но тоже наковня, есть контакт наружного с наружным. Вот подтверждение этому у Монтескьё: «**Порабощению всегда предшествует усыпление. Но народ, который не знает покоя ни в каком положении, который постоянно как бы ошупывает себя, обнаруживая все свои больные места, такой народ не может поддаться сну. Политика — беззвучная пила, которая незаметно совершает свою работу и медленно достигает своей цели**» (кн. 14, гл. XIII).

Социальная история и есть это постоянное прошупыванье себя, и в итоге — реформы, революции, новые законы, чтоб уютнее касалось человеком человека, переусаживанья, переворачиванья в ложе, новых поз принятие, переодеванья по новой моде. О наковности говорит опять и боль, парная чувственному наслаждению, и пила — как трение, эрозия кожи (как пожар и потоп, что открыли металл), тогда как германству более свойственен пронзающий вглубь инструмент или расщепляющий надрвое (Zwei-fel<sup>26</sup>) — меч, нож, топор.

Петух — тщеславен, фанфарон, задирает, храбрость его на показ, для чести и славы — герой, но не может быть героем при незаметности, как в России основной тип — незаметного героя, как Тушин Толстого в отличие от героизма петушино-галльского Андрея Болконского на поле Аустерлица, который недаром сподобился французской отметины: источил, извлек *mot* (изречение) из уст *L'Empereur même* (самого императора); *Voilà la belle mort*<sup>27</sup>, и тут же французское социальное рондо ориентированности на наковный слой земли и жизни (при дворе и среди людей) опрокинуто явлением неба — не как выси, но как простора чистого бытия, и вся социальная шкала ценностей разлетается как нечисть — в тартарары.

Итак, петух — для чести и славы: его *point d'honneur* (дело чести) — войти в *Légion d'honneur* (Почетный легион) — вот истинный Град Божий и Царство Божие внутри нас по-французски. Вместо *religio—legio*, вместо связи по вере — связь по чести и закону (*lex*): легитимность — важнейшее слово во Франции. И религия там могла утвердиться только в своей крайне социальной, кесарево-мирской форме — католицизм (как религиозно-социальная вселенность, *Empire* — империя).

Из деревьев во Франции чтимы дуб и ива (как в России — белая береза в поле, дерево света и бытия, и даже не женственности, а девичества; мужского же эквивалента нет: дуб хоть и бывает, но реже и не тянет в пару по значимости). *Le chêne* — дуб, солнечное дерево — фалл, недаром *chêne—chair* — плоть, *chaleur* — жар. Дуб — сам государство, развесист, образует дом в бытии и двор, где поросль (Дуб среди молодой поросли в

<sup>26</sup> Сомнение.

<sup>27</sup> Вот прекрасная смерть!

«Войне и мире» — что-то очень галльский образ и притча; гораздо национальнее три сосны Пушкина на пригорке у дороги.). Дуб — храм и пантеон, у дуба друиды жертвы приносили. Но дуб — приземист, не в высь взор зовет, как сосна-ель, Fichtenbaum литовско-германские, и не в простор даль-ширь степи, как белая береза в поле,— но центростремителен он, геоцентричен, в нашей здешней местной жизни закрепляет, делая прекрасным наш locus, создавая «локальный колорит» (кстати — французский очень термин: и цвет здесь, и замкнутое место — обжитой locus есть социальное рондо в пространстве).

Ива — у вод, женский изгиб, древо-волна, волокна волос распущенных, символизирующие чувствительность нервов, по Монтескьё. Ивы у вод реки блюдут галльскую социальность (как жрицы в древнем германстве) и реагируют на режим вод выпрямлением, склонением — на славу и честь отечества или его позор (ср. фигура Франции у Домье иль в статуе «Марсельеза». Везде Франция олицетворяется в женщине). Кстати, Марсельеза — песня, состоящая из выкриков, и вообще французские chansons — подпрыгивающие (Ça ira, Карманьола) вприпрыжку, как и походка галльского петуха.

Рассуждая «О правлении женщин», Монтескьё полагает так: «Противно и разуму и природе ставить женщин во главе дома, как это было у египтян, но нет ничего противоестественного в том, чтобы они управляли государством. В первом случае свойственная им слабость не позволяет им преобладать, во втором же случае эта самая слабость (опять французская логика баланса и реле) придает их управлению ту кротость и умеренность, которые гораздо нужнее для хорошего управления, чем суровые и жестокие нравственные качества» (кн. 7, гл. XVII).

Да — так это во Франции, где «король-солнце» (вот, кстати, опять светило-жар-петух) управляет государством, а им правят женщины: Лавальеры и Помпадуры — они правят обществом, а общество во Франции важнее государства, то — функция общества. В России, напротив, государство важнее общества, его формирует сверху (Петр I и так далее), его воспитывает по своему образу и подобию, не считаясь с общественным мнением, а само его считая и расчет ему давая. Потому фаворитизм в России — явление чужеродное, наносное и справедливо осмеяно вице-губернатором Салтыковым в его докладной записке отечеству «Помпадуры и помпадурши». Государственный был ум у сего сатирика.

Во Франции же, где именно общество, двор, социальное рондо важно, женщина — скрепа общества оттого, что просто пассивно находится в его центре, как перводвигатель Аристотеля, который движет наподобие недвижимой статуи, что сама стоит, но привлекает глядящих на нее и так становится источником движения в мире. «Счастливы люди, живущие в этих климатах, которые дозволяют им общение друг с другом, где прекрасный пол составляет украшение общества и где женщины, составляя

счастье одного, в то же время являются источником радости и для всех» (кн. 16, гл. XI).

Однако и в обществе для француза дороже накожность, нежели внутреннее, глубина и душа: **«Общество женщин портит нравы и формирует вкус. Желание нравиться более, чем другие, порождает наряды, а желание нравиться более, чем можешь сам по себе, порождает моды (опять рагаître важнее être, и мода — выражение этого принципа). Моды же — дело очень важное. Чем прихотливее становится ум людей, тем более умножают они отрасли своей торговли»** (кн. 19, гл. VIII). Так женщина чрез общество и вкус становится перводвигателем торговли, индустрии, городской цивилизации.

Другой характер имеет правление женщин в Индии, на что чутко реагирует Монтескьё: **«В Индии люди прекрасно чувствуют себя под управлением женщин»** (кн. 7, гл. XVII). И сейчас лишь в Индии и на Цейлоне женщины — премьер-министры: Индира Ганди и Сиримаво Бандаранаике.

Различие здесь равно различию в положении воды в Индии и во Франции. В Индии воды — вне человека: реки, дожди, влаго-воздух, умеряющий человека, который есть язык пламени. В буддизме направленность — антиогненная, и тем он тоже работает на расширение сферы воздуха, с огнем справляются образами воды: **«Ума порок обычно, как огонь, сжирает благо свое и ближнего... Как угасает даже и пылающий огонь, водой наполненную до краев большую реку встретив, так, встретивши полезную в мирах обоих кротость, к ней применившегося сердца пламя угасает... Она могущественных украшение и высшая ступень великих сил подвижников святых, поток воды для пламени пожара помышлений злых и в том, и в этом мире кротость все несчастья погашает»**<sup>28</sup>. А Монтескьё воду использует не против огня, а в отношении к земле, к жесткости почвы: размочить и разжигить суровость и жестокость мужей европейских. Но еще важнее, что во Франции воды — внутри антропоса, есть главное наполнение его сосуда, есть источник (социальность) его действий в мире, так что если правление женщин в государствах Индии извне обволакивает, то правление женщин в обществах Франции — изнутри побуждает, раздражает, взвинчивает и толкает вращение социального рондо.

---

<sup>28</sup> *Арья Шура*. Гирлянда джатак, с. 258—259.



ГЕРМАНСКИЙ  
ОБРАЗ ИНДИИ

### Гёте, Тютчев и Шакунтала

11.VI.69. Если у других народов об Индии рассказывают и рассуждают люди периферии, то в германстве об Индии думают царь поэтов Гёте и царь философов Гегель, глава романтической школы Ф. Шлегель, чем знаменуется прямое избирательное родство (Wahlverwandschaft) меж Индией и Германией, тогда как интерес и касательство эллина и русского и француза до Индии — побочны.

Четверостишие Гёте на «Шакунталу» Калидасы:

Willst du die Blüte des frühen, die Früchte des späteren Jahres,  
Willst du, was reizt und entzückt, willst du was sättigt und nährt,  
Willst du den Himmel, die Erde mit einem Namen begreifen,  
Nenn ich, Sakuntala, dich, und so ist alles gesagt<sup>1</sup>.

Дам сначала свой, дословный перевод. Как ни тяжеловесен, он прямоком схватывает национальные корневые идеи и для нашей цели полезнее литературно отполированных переводов. (Так я буду поступать ниже и при цитировании текстов Фридриха Шлегеля.)

Хочешь (ли) ты цвет ранних, плод более поздних лет,  
Хочешь, что влечет и восхищает, хочешь, что насыщает и питает,  
Хочешь небо и землю одним именем схватить,  
Назову я, Шакунтала, тебя — и так всё сказано.

<sup>1</sup> Цит. по: Риттер П. Г. Калидаса, его время и произведения. — Избранные труды русских индологов-филологов. М., 1962, с. 216.

Что юный год дает цветам —  
Их девственный румянец;  
Что зрелый год дает плодам —  
Их царственный багрянец;  
Что нежный взор их веселит,  
Как перл в морях цветущий;  
Что греет душу и живит,  
Как нектар всемогущий:  
Весь цвет сокровищниц мечты,  
Весь полный цвет творенья  
И, словом: небо красоты  
В лучах воображенья —  
Всё, всё Поэзия слила  
В тебе одной — Саконтала<sup>2</sup>.

Кстати: оригинал и перевод весьма свидетельствуют о германском и русском мирозерцаниях. Стихотворение Гёте гораздо энергичнее и собраннее. Русский перевод многословнее и жиже, растопляет матерью-сырой землей (=водоземлей) энергию и волю огнеземли германца. Но зато отсюда у русского певучесть и плавность, что особенно выступает в конгениальном оригиналу стихотворении Лермонтова «Горные вершины» (где тоже слов больше, чем в *Auf allen Gipfeln ist Ruh*<sup>3</sup>): здесь раздольность и мягкость, женственность русской дали, тогда как у Гёте стих не плывет, а статично дышит, и рифмы: *ist Ruh — sprühest du, Nauch — auch* выпаливаются как облака-выдохи вершин-вертикалей, которые ими курятся; у русского ж поэта горы, конечно, стоят, но бытие и душа и облака вокруг них плывут в даль, в текущем ритме стихотворения.

У Гёте обращение к воле твоей: *Willst du — хочешь ли ты...»* (как и в песне Миньоны: *Kennst du das Land — знаешь ли ты землю...»*), т. е. воззвание к действию твоей воли иль познания — двух основных духовных способностей человека по-германски: ср. теоретический и практический разум Канта, мир как воля и представление Шопенгауэра, субъект-объект у Фихте, Шеллинга, Гегеля, материальное и идеальное Маркса. Эта парность антиномий как почти врожденная, априорная структура жизни и мысли отчетлива в четверостишии Гёте: цвет — плод, ранний — поздний, небо и земля. И проблема его: как соединить пару в одно (=одним именем все эти пары назвать) — типичная проблема германской классической философии.

У Тютчева исчезло «Хочешь ли ты?» — т. е. обращение к воле, идея деятельности, а заменено вялым описанием: легким вопросом и тут же, без напряжения, — ответом. Парность антиномий хотя и намечена в первом четверостишии, но ослаблена многословием, а далее растоплена перечислениями. Вместо жестко структурного расщепления мира и всего в нем надвое, а потом

<sup>2</sup> Тютчев Ф. И. Стихотворения. М., 1957, с. 319.

<sup>3</sup> На всех вершинах покой.

собрания в одно — здесь неструктурное, неорганизованное множество (масса материй, предметов), которое можно дополнять и нанизывать, как гирлянду (что есть уже восточный принцип); и за всех этих одна — Саконтала (как «26 и одна» у Горького). «В тебе одной — Саконтала» = «ты одна», т. е. обозначает здесь любовную избирательность: «ты единственная!» — а не как у Гёте: покрыть пару одним именем, привести двоицу к единому. Из русских реалий обращает на себя: «Что греет душу и живот?...» — русский холод и слабость жизни в русском бытии отмечая.

У Гёте в восприятии индийского сюжета происходит перевод одного космологоса на другой. Во-первых, эпико-драматический сюжет о внешне-событийном откликается внутренним переживанием лирического стихотворения. Кстати, лирика субъективного переживания, столь распространенная в китайско-японской поэзии (четверостишия, хокку), в индийской словесности отсутствует, ибо «я» здесь не обособленное, не отсоединенное, не причастное, имеющее мир против себя как предмет, а расплывчатое с бытием. Гёте переводит сюжет животного-телесной Шакунталы, которая в Индии оборачивается в лань, на растительные координаты земледельческого германства: цвет — плод. Этим тут же две идеи вводятся: вертикали и времени. Вертикаль подчеркнута помимо ствольности растений парой: небо — земля. В то же время намечено низовое горизонтальное тяготение (*reizt* — «влечет») und *entzückt* — «и восхищает» — тут же ввысь. То есть: → ↑ — структура пространства как мироздания, дома. В индийском космосе пространство скорее — клубление, что (кругловидность) соответствует большей животности космоса; ширь и горизонталь скорее подчеркнуты на небе, наверху, нежели внизу, как в германстве, — и недаром у того же Калидасы поэма «Облако-вестник», где плоскость по небу плывет.

Третьей из мировых координат для Гёте выступает (после воли и растения) время:

Willst du die Blüte des frühen  
Хочешь ли цвет раннего...

Ибо *Sein* (бытие) по-германски в паре с *Zeit* (*Sein und Zeit* — основной труд Хайдеггера). В индийском же космологосе страшно беспечно насчет времени и сроков, ибо там существа пребывают и переносятся на другие уровни, а не отсекаются, не ограничиваются стенами рождения и смерти.

## Язык и мудрость индусов

«Шакунтала» — наиболее и сразу полюбившийся германцам сюжет из Индии. В первом же обобщающем германском труде об Индии — в книге Фридриха Шлегеля «О языке и мудрости индусов» (1808 г.) в приложении дан перевод истории Шакунталы

по Махабхарате. Женщина как более возвышенно-духовное начало души (водовоздух Индии), в сравнении с более жестко ограниченным мужским духом огнеземли,— для германства это краеугольное соотношение: «Ифигения в Тавриде» Гёте; Гретхен и Фауст — das Ewig-Weibliche «вечно женственное» влечет и спасает; коллизия главной и побочной партий в сонатной форме венских классиков, где главная партия явно — «огнеземля», энергия и жесткость, мужское начало, а плавность, певучесть, воздушность и парение побочной партии есть начало женское, воды и воздуха. (В русской музыке и главная партия — разлив, ср. Рахманинов.)

Любовь богини к смертному (валькирия Брунгильда и Зигфрид) в германстве характернее, нежели наоборот (Лоэнгрин, где лебедь света в любви с земной женщиной,— кельтско-романский сюжет). И, как исследовано в марровском труде о Тристане и Изольде, под редакцией Франк-Каменецкого, Изольда — первоначально источник, вода: недаром любовен напиток. Во всяком случае, в германстве, как и в Индии, женщина более вода, нежели земля, в отличие от эллиниста (Гея) и России (матери сыра земля), хотя и в германстве есть норна Урд и Эрда = земля<sup>4</sup>.

И не случайно немцы подхватили и избрали именно этот периферийный в Индии сюжет: любви небесной к земному (отшельницы-брахманки Шакунталы к кшатрию-царю<sup>5</sup>) — он является в позднерафинированную эпоху индийской классической

---

<sup>4</sup> Любопытно, что отмечено и обратное избирательное сродство: тяготение Индии к германской мысли и музыке. Из европейских композиторов, как замечает П. Г. Риттер в указанной уже статье, Вагнер ближе всего индийцам: его телесно-духовное томление, духовная чувственность (ср. и Шопенгауэр), коричневый пар (как у Рембрандта), где словно шипит раскаленный огненный меч — металл (=огнеземля) Зигфрида, опущенный в воды (и свившийся там в кольцо Нибелунга): источники, волны — дочери Рейна, облака валькирий, отчего воздух уже становится не чистой первостихией, а производной — паром (ср. пушкинское «из Германии туманной» — и идея зарождения мира из туманностей в космогонии Канта), тогда как в России «здоровый, ядреный воздух» — первостихия, первое огня и независим от воды, которая спарена с землей; и он сопряжен скорее со светом чрез ветер. Воздух в Германии — Nauch (у Гёте) — дуновение-выдох, т. е. уже отработанный продукт бытия. Дух же там — Geist, т. е. огненно-жесток, вспыхивающе-взмещающ его звук, а не родится, как в России, со стихией воздуха.

Итак, о Вагнере: «Индийцы тем более могут „вкусить“ прелесть поэзии „Тристана“, что самая музыка Вагнера из всех европейских композиторов им приходится особенно по душе, как подтверждает в своем только что вышедшем капитальном исследовании Г. Стрэнгуэз» (Strangways G. Music of Hindostan. Oxf., 1914, с. 424): «Hindoos have said to me more than once that they like Wagner best of our music (Индусы неоднократно говорили мне, что из всей нашей музыки они более всего любят Вагнера)» (Цит. по: Избранные труды русских индологов-филологов, с. 226.)

<sup>5</sup> «Шакунтала сказала: ...Мое ведь рождение, о Духшанта, превосходит твое рождение. Ты ходишь по земле, о царь, я же двигаюсь по воздуху» (Махабхарата. Адипарва. Пер. В. И. Кальянова. М.— Л., 1950, с. 209).

Воздух в Индии женственно-телесен и прясн. Недаром низшие боги, «гандхарвы», обитающие в воздухе,— букв. «благовопные».

культуры: вот в литературной драме Калидасы. И в Ригведе если и есть любовь богини Урваши к смертному Пуруравасу — так это в десятой, позднейшей мандале (X, 95). Классичнее здесь и кореннее обратная ситуация: соединение богов со смертными женами, что зафиксировано в народном эпосе Махабхараты, где Пандавы, дети жен Панду, — от богов. Жена Кунти «родила сыновей: Юдхистхиру — от Дхармы, Бхимасену — от Марути, Арджуну — от Шакры... От Мадри были произведены обими Ашвинами Накула и Сахадева» (Адипарва 90, 72—74).

Фундаментальным знакомством и проникновением в индийскую культуру Германия обязана романтической школе. Тогда были заложены основы индоевропейского (индогерманского, арийского — впервые и эти слова были введены в научно-культурный обиход) народоведения и языкознания (Вильгельм фон Гумбольдт). Глава романтической школы Фридрих Шлегель явился и автором основополагающего для индийских штудий в Германии труда «О языке и мудрости индусов»<sup>6</sup>. В отличие от француза Монтескье, которого интересуют порядки, обычаи и нравы в быту и общении, социальности людей, германец сразу откидывает чувственно-социальную, бытово-телесную сторону и сосредоточивается на духовном: **мудрость** есть то, чем люди общаются не друг с другом, а с бытием, истиной, богом; а **язык** есть то, чем общаются люди как души, духовные существа (в отличие от обычаев, законов и т. д.). Значит, если у француза — то, чем люди соприкасаются внешне: телесными, кожными поверхностями в трении друг с другом, то у германца это словно отменяется: твердь эта истаявает и неважна, а остается внутреннее — *Innere* и его всепроникающее марево — духовность<sup>7</sup>.

Из обычаев же лишь на один не мог не прореагировать германский земледельческий дух с отвращением — что трупы запрещено предавать земле: **«по персидской религии чуть ли не величайшее из преступлений — опускать труп в землю (что и в Индии также недозволено) или же предать на пожирание еще более священному — пламени (в Индии же труп огню Джатаведасу = „знатоку существ“ на возврат дается, а прах по воде Ганга развеивается, т. е. восприемник человека — огневода, что суть главные стихии в Индийском космосе); и так возник ужасный обычай старой магии давать трупы на растерзание диким зверям, который удерживается в Тибете, хотя религия там с тех пор изменилась (на буддизм), и распространен вплоть до северного угла Камчатки»** (136—137).

<sup>6</sup> Ueber die Sprache und Weisheit der Indier. Von Friedrich Schlegel. Heidelberg, 1808. При ссылках на это издание далее в тексте указываются лишь страницы.

<sup>7</sup> Состоит это «восточное своеобразие, по обычному способу представления, в высокой смелости и расточительной полноте и великолепии образов вместе с часто с этим связанной склонностью к аллегории. Южный климат может рассматриваться только как содействующая, а не как главная причина (Hauptgrund — букв. „главное дно“ = высший низ) этого направления фантазии» (213).

Показательно, какими струнами реагирует германец: отлучение от земли и от огня воспримется им как ад; значит, от противного,—самые это ему дорогие и внутренне присущие стихии, и германский космос есть мир, где царит **огнеземля**; недаром и уголь тут «бурый», и *Sargina birgana*<sup>8</sup>, и цвет распространен коричневый: ведь средняя из черно-красно-золотого (трехцветие национального флага) есть коричневое. Земля есть глубина, любимое *Tiefe*, как более важное, чем даже *Höhe*, высь,—в германском мироориентировании<sup>9</sup>; огонь же есть «Я», *Ich*, *Selbst*, самость, воля, деятельность, дух, труд, начало формы и понятия (по-ятия, формирования бытия)<sup>10</sup>.

Интересно, как Шлегель объясняет этот восточный запрет захоронений: «Из этой не только поэтически прекрасной, но и очень глубокую истину содержащей мысли о красоте, чистоте и святости высших основных сущностей (вот как постоянно вместе высь и глубина у германцев: *der obersten Grundwesen*), или элементов, возникла ужасно страшная озабоченность (*ängstlich furchtsame Besorgnis*) не пятнать и не отравлять эти священные источники жизни и духи природы соприкосновением с мертвыми и с трупами» (136).

В германском принципе изыскивается не неприкосновенная чистота и взаимная отрешенность элементов, но — связь и отношения их между собой, взаимопроникновение, переплетение и взаимоопределение — и как раз через смерть, которая есть предел, определение, **отрицательность**. А мы знаем, какую творческую роль играет отрицательность в германском миропонимании — ср. как Мефистофель о себе у Гёте: «Частица силы я, желавшей вечно зла, творившей лишь благое»; или принцип «отрицания отрицания» у Гегеля.

Книга Шлегеля носит подзаголовок: «Вклад в обоснование науки о древностях» (*Ein Beitrag zur Begründung der Altertumskunde*): человек приносит (*Beitrag*) кирпич и кладет в фундамент здания — такой образ в подспуде прорисовывается: строительство дома, мир — как *Haus*. Причем взор упорно устремлен в низ, в глубину, в землю, в корни — в **грунт** (*Begründung*) и в старину, первопричину, которая есть тоже **грунт** здания цивилизации.

## Символика чисел с Востока на Запад

12.VI.69. Дивная, читая Шлегеля, открылась мне закономерность в символике чисел: с Востока на Запад их ряд идет ниспадаю-

<sup>8</sup> Сочинение современного композитора Орфа «Песни буров».

<sup>9</sup> Подробнее об этом в моей работе «Германский образ мира по „Ифигении в Тавриде“ Гёте» (рукопись).

<sup>10</sup> А об этом подробнее — в моей работе «Осень с Кантом. Образность в „Критике чистого разума“» (рукопись).

щим каскадом. В Китае гексаграмма, число 6 — узловое логико-математическое понятие для объяснения целостности мира и каждой вещи в священной книге «И-цзин». 6 есть, по сути, три раза по два, триада двоиц «ян» и «инь», суммарий взаимных по отношению друг к другу позиций мужского начала — и женского — —, как поз любовного соития.

В Индии не проглядывается единого организующего числового принципа. Здесь рой их: и 5 элементов в Упанишадах, и Панча (т. е. пять) тантра, и панча шила, 5 членов силлогизма в логике Готама<sup>11</sup> и 10 (два по пять) Праджapati — отцов творений; и 4 варны — касты: и трехчленное деление мирового пространства в Ригведе; и триада божеств: Брахма, Вишну, Шива; и 3 гуны; и 1 — единый Брахман... Однако Н. В. — нет 6<sup>12</sup>, что в Китае определилось. И нет четкой двоицы<sup>13</sup>, что имеет установиться далее к Западу, в Персии: свет и тьма, Ормузд и Ариман, а далее дуализм идет на Запад. В Индии важнейший принцип, очевидно, — прогрессия и степень, чем из малого способна твориться бесконечность (это — в предании о вознаграждении зернами изобретателя шахмат), путем умножения числа на себя же, т. е. путем произведения от произведения = потомства от детей; и так идет трансмиграция существ. Так что здесь характернейшее — бесконечность (нигде не оперируют ужасающе астрономическими числами с такой легкостью, как в Индии) и ноль (шуньята в буддизме).

Акад. Щербатской о математике индусов так говорил: «Что индийский ум посвящал свое внимание цифрам гораздо более, чем все другие народы, это видно уже из санскритского языка, где с древности имеются, кроме общендоевропейских слов для обозначения сотни и тысячи, еще особые слова для гораздо более высоких чисел, которых у других народов нет. В древнейшем эпосе, „Махабхарате“, имеются уже особые слова для обозначения таких чисел, как сто тысяч миллиардов».

Архимед был занят вопросом, возможно ли удовлетвориться имеющимися в распоряжении греков обозначениями, если бы понадобилось выразить число песчинок, из которых состоит наша планета. Для индийцев и санскритского языка это не составило бы ни малейшего затруднения. Точно так же не может быть признано случайным, что понятие и обозначение нуля вместе со всей десятичной системой цифр были изобретены в Индии, а не где-нибудь в другом месте. Сопоставляя индийскую математику со всеми другими индийскими науками, с индийской физикой, атомистикой, психологией, теорией познания, метафизикой, мы везде видим, что индийский ум подходил с различных сторон к понятию предельной величины, будь то величина интенсивная или экстенсивная, и что в конце концов этот ход мышления вы-

<sup>11</sup> См.: Маковельский А. О. История логики. М., 1967.

<sup>12</sup> Ред.: 6 встречается в буддийских классификациях, например шад-альяшана — шесть баз.

<sup>13</sup> Ред.: А Пुरुша и Праkritи в санхье — куда уж четче!

**разился в изобретении нуля для обозначения понятия уже готового и со всех сторон разработанного»<sup>14</sup>.**

И как в буддизме Нагарджуны Нирвана есть то же, что и Сансара, т. е. сопряжены друг с другом, и требуется бесконечно свободное от вещества состояние Нирваны именно потому, что есть бесконечно переполненное и избыточное вещами и существами круговращение Сансары,— эту же сопряженность, парность бесконечности с нулем еще резче ощущает германский дух; и Ф. Шлегель мог так это врожденно и яснейше просто выразить:

**«Китайскому дао, как его собственное, существеннейшее и эзотерическое учение, приписывается чрезвычайно ясное и решительное признание, что Всё есть Ничто, откуда естественно выводится учение, что Всё есть Единое; ибо если перед только абстрактным и отрицательным понятием бесконечности всё другое сперва уничтожается и исчезает, то убегает (entflieht) наконец и оно само и растворяется в Ничто, потому что оно первоначально было пусто и без содержания» (140—141).**

Итак, Индия=всё, но ничто в особенности определенное; так это и в числах оказалось, как и в прочих областях духа; потенции всего: всех религий, философов, теорий, сюжетов здесь обитают — и ничто в особенности и по преимуществу актуально. Актуальна в Индии именно потенциальность всего. Как каждое существо может переродиться в любое, так и возникла здесь наша система счисления, где та цифра передвигаема на другое место=на другой уровень, разряд существований, и там иное значит. Цифра получает значение от положения=перемена функция, нетвердо, несамостоно существование, тело, бытие, «я».

Далее к Западу, в семитском мире арабов, египтян и иудеев, актуализируется пятерница: 5 — каббалистический знак микрокосмоса, Пятикнижие у Моисея, Низами; Пифагор из Египта воспринял пятиконечную звезду как символ человека-микрокосмоса, а его пары противоположностей — числом 10, т. е. дважды пять. Наконец, десятиричная система счисления — арабская, хотя в потенции, как все, она наметилась уже в Индии.

5 есть уже не триада двоица, а двоица плюс триада. Если в умножении — принцип -гонии, рождения: от двух — столько-то, то в сложении и вычитании — принцип -ургии, добавления, прикладывания, труда, творения. И верно: в арабо-семитской зоне смешанно сосуществуют и сливаются идеи порождения мира и вещей через эросные сочетания пар божеств («-гония») и принцип креационизма — сотворения мира единым божеством-демиургом («-ургия»). И в Библии мир сотворен Богом, однако Бог-Слово — едиnorodный; и в Троице кроме -ургической идеи Духа есть еще -гонийные понятия: Отец и Сын.

Эллинский мир проявляет четверицу как универсальное чис-

<sup>14</sup> Избранные труды русских индологов-филологов, с. 267—268.

ло. Ею поверяется универсальная фигура — шар: проблема квадратуры круга. И вся геометрия строится и доказывается с помощью разного рода квадратов. Если «теорема» есть (как и однокоренная ей «теория») «созерцание», то призма этого созерцания — квадрат, число 4. Эллинские натурфилософы свели вещество мира к 4 элементам: земля, вода, воздух, огонь (тогда как в индийских упанишадах сюда добавляется еще и «акаша» — «эфир», пространство. В эллинизме ж пятый — эфир — хоть и был открыт, но оказался лишним). У Аристотеля — 4 причины, сущности, эссенции: материальная, формальная, действующая и целевая. У Платона в «Тимее» — 4 элемента-фигуры: земля — куб, вода — додекаэдр, воздух — икосаэдр, огонь — пирамида. И на стыке семитского и эллинского мировоззрения, на востоке Средиземноморья, при римлянине Понтии Пилате пятиконечная звезда как образ микрокосмоса упростилась до четверицы креста. И т. д. Хотя, конечно, надо всеми числами здесь размышляли и ими символизировали.

4 — основа здания, города, цивилизации, труда, существования как производства, а не как рождения. Это — сведение органических кривизн бытия к прямым линиям, конструктивным абстракциям, к механизму и машине. Недаром 4-тактен двигатель внутреннего сгорания и 4 угла у избы. Недаром и символ европейской умности (не мудрости!) — «дважды два=четыре». Квадрат — поистине магический, ибо им заклинаются энергии, отводится иррациональное и признается только ясное, что можно сконструировать трудом рук.

4 — число стран света, и, приведясь к ним, человек в мореходно-городском эллинизме проявил себя, осознал и исповедал как существо политическое, только социальное, пребывающее плашмя, ориентированное на стороны света (а не на высь, глубину или центр — от них горожанин цивилизованный отрешается, не признавая ни бога, ни черта, ни души, а лишь площадь, агора). Человек стал распростерт. Кстати, в Индии пространственная ориентировка состояла из 7 отношений: восток, север, запад, юг, зенит, надир, центр.

Квадрат есть принцип «разделяй и властвуй!» В самом деле: два здесь получается из расщепления единого, единицы; четыре — из расщепления расщепленного. И т. д. Кроши себе, руби, а потом составляй, воспроизводи целое, как уже всеединое, из микропалочек — таков принцип труда, постройки механизма, машины из стандартных частей. И недаром когорты квадратного Рима и римлянин с волевой квадратной челюстью и черепом осуществили наяву квадратуру эллинского круга: покорили круглоголового эллина и чрез «разделяй и властвуй!» — мир.

Но квадрат был взорван и смят треугольником, четверица — троицей. Западная Европа в целом недаром приняла христианство с его принципом Троицы.

В квадрате еще в равновесии находятся принципы -гонии и -ургии: 4 получается в результате и «дважды два» (что есть

порождение, -гония) и «два плюс два» (что есть прибавление к бытию через складывание, полагание, творение, т. е. -ургия).

3 уже только принцип складывания знаменует: 3 не получишь -гонией, никаким умножением, а лишь сложением:  $1+2=3$ ;  $2+1=3$ .  $1+2=3$  — есть символ труда, который в Западной Европе становится основным путем прибавления к бытию. Если Восток умножается -гонией: перенаселение земли телами (откуда и в истории — переселения народов на Запад и Север), — то Западная Европа наращивает панцирь материальной культуры, производства, городов на тело земли и духовно-логическую культуру науки и знания развивает — вот чем знаменита европейская цивилизация, в этом ее вклад в бытие земли, а не умножение тел: тела-то как раз избыточные старательно перемальвала в войнах и социальной динамике — как земледелец обрывает лишние побеги у помидора, чтоб растение не в ботву шло, а в плод. -Гония здесь ушерблена: ее принцип здесь  $2+1$ , т. е. от двух родителей — одно дитя. Умножает же себя здесь человек делами:  $1+2=3$ : «Ленин умер, но дело его живет». Стерн полагал, что человеку надо сделать 3 дела: родить дитя, посадить дерево, написать книгу. Вот 3 и остаются вместо одного. И вся коллизия европейской истории — как раз в динамическом соотношении двух вариантов построения троицы. С одной стороны,  $1+2$  есть приумножение богатства, изобилия бытия чрез труд, производство. С другой стороны, действует тенденция  $2+1=3$ , когда из двух получается один, т. е. признавать социальным субъектом, человеком, личностью, представителем рода — одного. В системе майората получалось, что имущество, явившееся через -гонию в итоге сложения двух: отца и матери, — наследуется одним, старшим, а младшие дети выталкиваются в пшик, в труд, в -ургию. Та же тенденция — в первоначальном накоплении, разорении мелких собственников, империализме, сведении к монополиям и трестам и, наконец, к единому соборному собственнику — общине в целом, человечеству в целом (коммунизм мыслится как всеединство). Итак, противоречие между общественным характером производства (в -ургии) и частным способом присвоения, т. е. между прогрессирующим увеличением, множественным и прогрессирующим умалением к единству, сводимо к этим же формулам: 3 как  $1+2$  и 3 как  $2+1$ . Но это значит: чтобы разрешить это противоречие между избыточностью вещей и малостью лиц, умалением личностей-субъектов, и привести существование человечества в равновесие с цивилизацией, надо перейти к новой структуре числа, к иному универсальному числу. Ибо 3 есть самое неравновесное, самое динамическое из чисел. И хотя немцы его трактуют как восстановленную из расщепления единицу, как возврат из раскола бытия и вещи в единое целое, тождество (тезис, антитезис, синтезис в триаде Фихте — Гегеля), однако ж суверенно здесь расщепление, стремление к единству, деятельность, борьба — а не единство итоговое, которое лишь идеально мерещится. 4, квадрат в этом смыс-

ле равновесен: недаром равновесие и гармония излучаются из бытия эллинизма. Ну да, здесь  $2 \times 2 = 4$  и  $2 + 2 = 4$ , причем положения двоек не имеют значения, так что и производится 4, и присваивателей 4, тогда как в Европе производится 3, а присваивает 1, ибо в  $1 + 2$  один в исходе, причине, творец, работник; а в  $2 + 1$  — в конце, в цели, результате, хозяин, господин. Хотя в религии христианства это пытались умерять эпитетами Бога: тем, что один Бог — он же и Творец, и Господь. А еретики — гностики, валентиниане, маркосиане — как раз делили это: творец — Демиург, низший; а Господь — другой бог. И в Индии то, что в христианстве эпитеты одного Бога, там распределено между богами: Брахмой, Пурушей, Праджapati, Нараяной и т. д.

Примет того, что в Западной Европе в целом утвердилось число 3, — не счесть. Еще: в строе музыки 3 функции — тоника, доминанта, субдоминанта; 3 мира — небо, земля, недра (рай, чистилище, ад); 3 измерения пространства: высота, ширина, длина; трехчленное деление общества: господствующие, угнетенные, средние слои; разделение трех властей в Англии: законодательная, исполнительная, судебная; в теологии: Бог, человек, Сатана; в философии: разум, душа, тело.

Тройка есть суммарий Западной Европы. Внутри же нее и под покровом троицы идет дальнейшее разложение и умаление. Воздымается двоица. Она еще в Китае: «ян» — «инь», мужское и женское; в Персии: свет — тьма; в манихействе два равноправных творца мира: Благо и Зло, Бог и Сатана, зло есть активная сила, черное солнце. Далее в дихотомии: да — нет, пары пифагорейцев. А в Западной Европе уже совсем активно работает дихотомия: материализм и идеализм, «или — или», «третьего не дано», дуализм Декарта, антиномии Канта, классовая борьба Маркса, «выбор» экзистенциализма и т. д.

Вообще, чем меньше число — тем более глубинный пласт бытия оно выражает: и происходит, и есть везде и во всем. Но речь у нас не о числах-предпосылках, а числах-универсумах, которые уже в себе суть структуры, организации, способные самостоятельно существовать: 3 — последнее из чисел-целостностей: здесь и разность, и единство. В 2 — только разность, но не просто различие, как среди многого (внутри одиннадцати девятое тоже различно от пятого), но равновесное различие противоположности.

В 2 нет творчества, прибавления к бытию, динамики, а есть констатация факта неизбывного изначального раскола. 2 есть  $1 + 1$ . Здесь нет -гонии, порождения, ибо  $1 \times 1 = 1$ , каждый сам себя сохраняет, родители без детей, картина мира как бесплодия, хотя связь любви и ненависти есть (свет и тьма взаимно отъединяются, чтоб иметь друг к другу отношения любви и ненависти). Различие в 2 есть страстнейшее небезразличие и тем взаимная «вцепившесь» друг в друга (в отличие от 9 и 5 в 11, где 9 и 5 различны между собой, но друг к другу могут быть

вполне безразличны — без отношений друг с другом, тогда как 2 есть прежде всего идея отношения).

Так вот хотя 2 число предпосылочное, а не универсум, но есть в Европе тенденция сделать 2 числом целого и удовлетвориться на этом. Отчаянную борьбу против этого ведет германство, которое в полной мере уже соблазн двойности, Zweifel = раскол бытия на-двое<sup>15</sup> испытывает, но и тем сильнее еще рвется к единому, так что мизмизм в германской философии всегда под собой таит, по существу, 3. А вот Франция уже вполне отворачивается от числа 3 — оно ей совершенно чуждо (скорее, просто несвязанная множественность числ здесь приемлемее), зато все более доброжелательно относится к консолидации мира и вещей и всего вокруг числа 2. Симметрия, баланс — принципы французского вкуса в искусстве, в стиле. 2 нужно не как кричащая динамическая противоположность, требующая движения и разрешения (как это трактуется в германстве: антиномии Канта — нож в сердце германскому духу, и, не могши удовлетвориться, успокоиться на них, он и развил из своих недр проблематику немецкой классической философии), но нужно как раз для статики, для мира и равновесия, чтоб не было преобладания; «крайности сходятся», «от великого до смешного — один шаг», «наши добродетели — замаскированные пороки», «от жажды умираю пред фонтаном», «Бытие и Ничто» Сартра и т. д. — все это сбалансированные, внутри себя симметричные жесты французского мирозерцания<sup>16</sup>.

В другую сторону от германства — в России — тоже размывание крепости числа 3 идет, но по-другому, чем во Франции, естественно. Что исконно, соответствует России 2, а 3 взаимно, — уже в сугубом крещении, в двоеперстии старообрядцев и в официально-насильственном троеперстии Никола выразилось. Русская музыка ослабляет доминанту (=идею господства, кричащую неуравновешенность и неустойчивость), и излюблены в ней плагальные обороты: тоника — субдоминанта — тони-

<sup>15</sup> Zweifel — «сомнение», от zwie-falten — «сгибать вдвое».

<sup>16</sup> 16.VI.69: Руссо, который глубиной своей и музыкальностью — полугерманск во французском климате (недаром из Швейцарии, где стык германства и романтизма), вносит идею целого, но толкует ее как симметрию, т. е. чрез число 2. В «Новой Элоизе», рассуждая о наряде Юлии и убранстве дома Вольмаров, он пишет: «Великолепие (как положительное понятие — это чуждо лютеранскому германству, но вполне в духе французской социальности) состоит не в роскоши, а в прекрасном строе всего целого, согласованности его частей и единства замысла устроителя». Под последними словами подписался бы и германский мыслитель. В примечании к этому месту Руссо раскрывает свое понятие о единстве так: «В симметрии частей большого дворца есть великолепие, его нет в беспорядочном скопище домов».

То есть единство видится не как организм или даже механизм, изнутри самосогласованный по целесообразности, но как внешнее устройство и социальное упорядочение самих по себе готовых частей и атомов: «Есть великолепие в единообразии построенного в боевом порядке полка, его совсем нет в толпе, взирающей на сей полк» (Руссо Ж. Ж. Избранные сочинения в трех томах Т. II. М., 1961, с. 474—475).

ка: Т — СД — Т. Вот разница с французской двойцей. Парны друг другу Т — Д, и эти обороты характерны для гражданской музыки, городского романса и жестокой романской цыганщины (цыгане — ромен, румыны...). Цыгане суть кочевники, но не среди земледельчества, как татаро-монголы и прочие собственно кочевые народы, но именно среди городов, меж городов, их предполагая для своего существования, — недаром и у Гюго в «Соборе Парижской Богоматери», и у Пушкина в «Цыганах» цыганка ориентирована на «неволюдушных городов» и горожанина; французская ж «богема» есть цыганщина интеллигенции (Bohémien = «цыган» по-французски).

Русская же гармошка дает перебор СД — Т. В них нет противоположности (в аккорде СД есть основной звук Т), а различие. СД есть просто перестановка, перенос отсыл Т. Они стоят не друг против друга, но друг возле друга, по сторонам: моя хата с краю, мое дело — сторона, родимая сторонка<sup>17</sup> Тела, индивиды, сущности в России — рядом и не заслоняя друг другом, не застя собой другому мира (как во вперенной, кричащей, въедливой, вцепившейся друг в друга противоположности Д — Т), но вбок от другого, от его центростремительности и эгоизма, через общий им обоим (СД и Т) звук переходно отводя, отставляя и открывая глаза на ширь, даль и пространство мира. Функция СД, другого, ближнего, — есть не уравнивание первого, а отвод от его, первого, самости, самостоятельности, и прислонение плечом к плечу (но не лицом к лицу, где свет застится другим и каждый друг другом ограничен и определен), бок о бок. Вот это и есть основа русского представления мира как незавершенного, открытого. Однако незавершенность здесь не антоним совершенству — излюбленной идее Запада о Боге и мире, которая приводит неизбежно к пределу бытия, к ограниченности, узости и несвободе. Нет, в России очень просто и ясно, что незавершенность есть одно из совершенств бытия. И 2 здесь толкуется не как 1 плюс 1 и не как  $1 \rightleftharpoons 1$  (как во Франции), но скорее приставочно: 1,1, что сразу снимает определенность и ограниченность первого 1; второе 1 открывает первое, веки Вию поднимает, второй глаз открывает; и второе 1, будучи приставлено, тут же будит мысль о следующем 1 и о бесконечности ряда. Так что двойца по-русски есть 1, 1 т. е.  $\rightarrow \infty$ , что и увиделось мне несколько лет назад как начертательный символ русского космолога. Этот заворот к бесконечности есть взгляд России на Восток и туда возврат и ориентация.

Наконец, на другом конце Европы, на Западе, в Англии, тоже нарушается число-универсум и организм, число как модель и структура. В Англии индифферентны, ироничны к триадам, дуализмам, монизмам, и философы не стремились сводить мир

<sup>17</sup> 17.VI.69. В музыкальном словаре уточнил: «плагальный» — от греч. plagion — бок, сторона. Вот сошлась угадка с правдой!

в единое целое. Здесь берет свои права дробная множественность чисел — но Н. В.: это не есть бесконечность. Здесь — теория множеств как конечных, пределы. Отличие «множества» от «бесконечности» в том, что первое позитивно: много отдельно, много вещей, существ — счислено: я не знаю, сколько, но число этому есть. Бесконечность же — понятие отрицательное (без = не) и уводит от реального в метафизическое, сама идея эта есть трансцензус ума по ту сторону<sup>18</sup>.

## Индо-германство

13.VI.69. Как же нам быть при анализе Шлегелева труда? Мысли, высказанные там, стали общими местами индоевропейского народоведения, так что пересказывать их нет смысла. Сосредоточиться же на «как»: в каких координатах и какими ходами мысли подцепляет Шлегель индийский материал, — исчезнет последний и останется голая априорная структура и форма германского космогоса, и Индия, выходит, здесь ни при чем. Придется все-таки сначала передать мысли Шлегеля об Индии, а затем выяснять, отчего они такие.

Мы — у самых истоков европейского научного исследования духовной культуры Индии. Начали его, как это естественно, англичане, у которых и компания Ост-Индская. Но до конца XVIII в. английские репортажи об Индии носили практико-этнографический характер бытописания для торговли: учиться у индусов уму-разуму не приходило в голову. Но вот после века разума сие забружило, и пионерами индологии выступили англичане Чарльз Уилкинс и Вильям Джонс, на кого первым делом в своей книге ссылается Ф. Шлегель. Русский индолог Иван Павлович Минаев в «Очерке важнейших памятников санскритской литературы» пишет: «Одним из первых произведений, переведенных с санскрита на европейские языки, была драма Калидаса „Шакунтала“ („Śakuntala“). В 1789 г. вышел английский перевод В. Джонса (W. Jones), а в 1791 г. Г. Форстер (G. Forster) переложил „Шакунталу“ с английского на немецкий. Выбор, сделанный В. Джонсом, был весьма удачен и немало способствовал возбуждению интереса к изучению древнеиндийской литературы... В. Гёте отозвался известным четверостишием, в котором он очень характерно оценил красоты древнеиндийского поэтического создания. И. Гердер (J. Hoerder), Ф. Шлегель (F. Schlegel), Ф. Шеллинг (F. Schelling) еще обстоятельнее характеризовали поэтические достоинства „Шакунталы“»<sup>19</sup>.

И опять же какая дистанция: в Англии смиренные работяги-

<sup>18</sup> 25.VI.69. В чем причина этого падения числ от 6 до 2 с Востока на Запад? Не знаю. Может, есть аналог за-падению, понижению от гор Гималаев к долинам низких земель Нидерландов...

<sup>19</sup> Цит. по: Избранные труды русских индологов-филологов, с. 46.

переводчики, а здесь духовные вожди нации. И притом не просто читают в переводах и отзываются, но вот Ф. Шлегель прямо идет на выучку к члену калькуттского общества Александру Гамильтону, изучает санскрит, списки древних текстов, пьет из первоисточника, сам переводит (к книге приложены метрические переводы отрывков из «Рамаяны», «Законов Ману», «Бхагавадгиты» и эпизод «Махабхараты» о Шакунтале) и индийскую мысль из узкого круга ученых-ориенталистов вводит в самое пекло и кузницу немецкой классической философии, которая тогда еще как раз на полпути своего становления была: к 1808 г. закончились Кант и почти Фихте, расцветал Шеллинг и только начал Гегель («Феноменология духа» — 1806 г.). Что труд Ф. Шлегеля не остался дремать в библиотеках, а сразу был восхищен мыслью как первейшая ей пища — свидетельство тому Шеллинг, который тут же прибрал в свою мысль рассуждения Шлегеля о пантеизме и ссылается на них в «Философских исследованиях о сущности человеческой свободы» — сочинении 1809 г. По этой ссылке я, собственно, и узнал о существовании книги Ф. Шлегеля. Так что индийская мысль сразу тем самым встала как слагаемое и фактор одного из высших творений европейской культуры — немецкой классической философии, и Гегель, как показывают его «Эстетика», «Философия истории» и «История философии», уже обнаруживает большую начитанность в индийских книгах.

Что же касается немецкой литературы, то на ней происходившее в начале века духовное породнение с Индией сказалось меньше — то ли потому, что в отличие от философии, которая была в разгаре, немецкая классическая литература уже заканчивала свой век, и даже романтическая школа к тому времени уже сделала свое дело и ориентировалась к тому же больше на Элладу (Гельдерлин) или на национальное германское средневековье; то ли потому, что для влияния на литературу, на текст и слово, нужна именно буква, т. е. чтение в подлиннике или в прекрасных переводах, а не дух, которого достаточно для философии.

Таков духовный, философско-литературный контекст, в котором создавал свой труд Ф. Шлегель. Из него следует, что влияние Индии шло не столько на литературу прямо, сколько на философию, а через эстетику косвенно и в дальнейшем — на литературу. Что же до исторического контекста, то это время национальной скорби: чувство униженности после наполеоновских разгромов требовало духовного подкрепления. И именно из этой потребности вспыхнуло слово «индогерманский» — отождествление, сплав, которого в ином контексте, при ином накале национальной температуры могло и не произойти, — и были бы мы об Индии без этого понятия, а с другими...

(Какая красота! Девять часов только, а уже работал два часа, писал — пора завтракать. Поставил на керосинку. А пока сосед, внучек дедов, принес мне косу — и вот скосил я траву

и лопухи огромные — приют комариный. Тут же и работа, тут же и косьба. О деревня! О изба!)<sup>20</sup>

Иначе, откуда такая интонация страстной личной заинтересованности в рассуждениях об отдаленных по времени миграциях народов с Востока на Север, которую мы слышим, например, в нижеследующем месте, где проводится мысль, что данные религии и мифологии дают и для путей самой истории больше, нежели факты полтики: «Так, например, ничто не может возбудить больше сомнения, чем то, как это могли народы переселяться из плодороднейших и благословеннейших областей (Erdstriche — „полос земли“: русский логос склонен обозначать и место как обволокнутое по сторонам, т. е. с точки зрения вечно ему родимых сторон, тогда как в германском логосе органичнее прямая линия, куда стягивается и образ плоскости. Германская тактика в войне — клин, русская — мешок, засада со стороны, сбоку, как и выиграны битвы на Чудском озере и Куликовом поле) Азии вверх вплоть до крайнего севера Скандинавии; тому, чтобы эти народы чрез все новые орды туда вверх выталкивались, должно быть, особенно при таком многочисленном роде (Stamm — „ствол“: понятия из мира эллинской животной -гонии германский ум заменяет понятиями от имени растения, к нему большую свою причастность ощущая), каким были германские народы, какое-то объяснение, которым сведущий в истории едва ли бы легко мог удовлетвориться. В индийской же мифологии находится нечто такое, что это направление на север может совершенно объяснить: это сказание о чудесной горе Меру, где расположен трон Куберы, бога богатства („богатство“ в России — понятие от Бога, в Германии же — от Кесаря: Reichtum от лат. rex). Возникло ли это представление из непонятого предания, или из смутного естественного воззрения, или из природного суеверия — все равно: это высокое почитание севера<sup>21</sup> и священной горы на севере там есть, и оно не есть только нечто побочное (Nebensache) во всей системе индийского образа мышления (Denkart), но повсюду возвращающееся, во всей их поэзии излюбленное понятие... Этот для нашей отечественной (vaterländische) истории столь важный вопрос исследовать дальше, однако, здесь не место...» (193—195).

Иначе зачем так торопиться и, когда так мало еще фактов, данных и конкретных знаний, ставить себе задачей обрисовать целостность индийского мирозерцания? — а именно такую задачу ставит перед собой Ф. Шлегель, постоянно извиняясь за скудость еще частных сведений и невозможность представить

---

<sup>20</sup> Оставляю этот кусок дневникового текста, случайно попавший в рукопись трактата, дабы предстала атмосфера и ситуация жизни, плацента — «детское место», контекст места и времени, в котором тогда мысль автора воспаряла к познанию Индии и Германии, — из глубинки русской деревни, из сего колодца, родника чистого бытия и вольного духа. — 29.3.89.

<sup>21</sup> Действительно, в индийской иерархии стран света север чуть ли не важнее, чем восток.

целое и в деталях: «Итак, мы покидаем здесь сравнительный путь первой книги („О языке“), — пишет Ф. Шлегель в начале второй книги труда („О философии“), — и даем, вместо сравнительного анализа мифологий, для чего еще рано, скорее нечто, что всем подобным изысканиям может служить в качестве надежного основания, а именно: представление о восточном образе мыслей (Denkart) в его важнейших ступенях и различиях. Разумеется, остается и здесь еще многого желать в частности, но все же того, что мы уже имеем, достаточно, чтобы образовать себе понятие о целом и, если только оно правильно понято, погрузиться в древний образ мыслей; факты же, если только они ясно понимаются, упорядочатся сами собой до совершенной отчетливости» (92—93).

Таким образом, труд Шлегеля это не столько наука, сколько идеологема, определенное построение индийского мирозерцания из балок и априорных форм германского духа, пук идей, направляющих дальнейшие исследования. И, как показал потом XIX век, русло, проложенное Ф. Шлегелем, явилось действительно основополагающим в индоевропейских исследованиях. Предчувствуя, что он открывает новую эру, Ф. Шлегель сравнивает нынешнее влияние индийской культуры в Европу с Ренессансом античности: «Пусть занятие Индией найдет только несколько таких возделывателей (Anbauer) и покровителей, каких нашли Италия и Германия в пятнадцатом и шестнадцатом столетиях для занятий Грецией, когда столь многое внезапно поднялось и в короткое время столь великое было совершено, так что чрез пробужденное вновь знание древности облик наук и, даже можно сказать, мир быстро переменялся и помолодел. Не менее великим и всеобщим — мы отваживаемся это утверждать — может также стать ныне воздействие индийских студий, если их предпримут с такой же энергией и они будут введены в круг европейских знаний. И почему бы нет? Также и те, столь славные для наук времена Медичей были беспокойны, воинственны, а как раз для Италии частично и разрушительны (не слышится ли здесь отзвук поражений немцев Наполеоном?); тем не менее удалось ревнованию немногих все это осуществить; ибо их тщание было велико и нашло в соответном величии общественных установлений и в благородной жажде славы отдельных князей поддержку и покровительство, в которых подобное исследование на первых порах нуждается» (X—XI).

### Германский Логос

Первая книга труда Ф. Шлегеля — «О языке». Главы: 1. Об индийском языке вообще; 2. О родстве корней; 3. О грамматической структуре; 4. О двух главных видах языка по его внутреннему строению; 5. О происхождении языков; 6. О различии родственных и некоторых особенных посредствующих языков (Mittel Sprachen).

Пока интерес народов к Индии оставался на вещественном уровне: природы, климата, быта (а именно так взирают Страбон, Никитин и даже во многом Монтескьё),— Индия оставалась страной чужой=страной чудес, особенной, отличной, непохожей; и это естественно: материя материю, тело тело отталкивает — плоть стоит оградой и броней пронцианию.

Теперь впервые заговорили о сродстве, похожести: не о диковинах, но о нашем же, родном, едином, и это — поворот радикальнейший. Но произведен он мог быть лишь постольку, поскольку точка зрения (=архимедова опора для познания) перенесена из внешности и вещественности во внутреннее, в глубь, в дух, и тут открылось всеединое, тогда как материя — начало различий и множеств. Но для того, чтобы стало возможно такое воззрение на внешние предметы, в частности на Индию, ее культуру и понимание сокровенного единства, лежащего в подспуде разнообразия материального мира,— сам инструмент миропонимания, разум, должен был быть предварительно очищен и приведен к единству, что и проделано к тому времени в горниле и чистилище Кантовых критик разума и в кузне Фихтева наукоучения, где выковано единство субъекта-объекта. И. Ф. Шлегель, варившийся именно в этом соку, осуществляет проекцию структуры германского чистого разума («Я») на индийский материал — это якобы данное извне «Не-Я», которое при ближайшем рассмотрении оказывается насквозь продуцированным, произведенным, положенным из «Я» — т. е. на познании, понимании Индии, в том образе целого, который здесь обрисован, абсолютно прочитывается структура глаза, призмы, воззрения, разума, логоса германского, который на нее вперед и лучами своими столько же малюет внешнюю форму, предмет, сколько и выводит наружу, опредмечивает то, чем сам жив и из чего состоит. Таким образом и осуществляет Ф. Шлегель познание Индии как самопознание Германии. Это прочитывается и на поверхности — в предметах Шлегелева интереса, устремленного к единому и общему (сродство языков индийского и европейских, близость философского понимания мира и образов бога, пути миграций в истории), но и во внутренней форме Шлегелевой мысли: в том, как, какими зацепками, крючьями-ухватами-понятиями (*Begriff* = «ухват») он индийские горшки улавливает и переставляет, какими ходами мысли осуществляет истолкование. Так что идеологема об Индии оказывается овеществленной априорной структурой и формой германского логоса и потому не имеет нам смысла далее передавать, что полагает, мыслит и говорит Ф. Шлегель об Индии, т. е. сами его суждения и высказывания, ибо все это предопределено и выводится из того, что он посеял, что вложил,— а вложена туда тогдашняя структура германского космологоса. Ее и начнем мы проявлять сквозь индийскую материю суждений Ф. Шлегеля, чем одновременно и будет объясняться тот или иной поворот мыслей, реализованный в его идеях, положениях, мнениях.

Уже по переписанному мной оглавлению первой книги структура германского логоса, его строение и категории выступают.

1. Всеобщее («вообще»).

2. Родство (-гония: целое мира — как семья, фамилия) корней — т. е. подход от растения, и развитие мира предстанет не как животная жизнь из страстей и политических интересов и отталкиваний, как это у француза Монтескьё, а как рост генеалогического древа — излюбленная германская модель.

3. Структура = Архитектура — Здание: целое как конструкция, -ургия, продукт труда-творения; и именно как дом, Haus: бытие есть мироздание.

4. Вводится двойца — разделение единого (здесь — понятия языка), исходя из Иппеге — внутренности дома = внутреннего строения. Целое в германстве определяется в единое и ограничивается не извне, как Сферос-шар эллинского космоса, но — из исходной точки: из основы или из центра, изнутри, из глубины, — не из А, а из Я: эллинско-аристотелевский закон тождества  $A=A$  у Фихте превращен в  $Я=Я$ , т. е. в самость. Целое ж есть и прочитывается как самодеятельность «Я», сотворение здания бытия из его глуби и нути.

5. Происхождение: взгляд германца устремлен не к цели, а к причине, основам, и потому маниакально повертывается к древности, как к своему родному магнитному полюсу, тогда как взгляд француза автоматически поворачивается в сторону цели, прогресса и будущего: «что сбудется в жизни со мною?» Для немца же вопрос вопросов — «откуда я?»<sup>22</sup>

6. Вводится различие и посредство: я ж говорил выше: что германец не может удовлетвориться на числе 2 — и вот пожалуйста: является понятие «посредствующего языка», которым уже вводится троица, так что можно закончить рассмотрение, ибо всеединое завершено как структурное целое по-германски.

Потому бессмысленно было бы мне приводить высказывание Ф. Шлегеля о том, что не по вещественным совпадениям корней надо читать родство языков, но по внутренней структуре (с. 166) — и хвалить за близость современному воззрению и личную пронизательность: вот де, мол, прозорливо предвидел! Иначе и не мог помыслить германский чистый разум на рубеже XVIII—XIX веков, как исходя из внутренней структуры целого, а не из эмпирии вещественных частных.

Вот Ф. Шлегель в приложении пересказывает ход мыслей в космогонической части I книги «Законов Ману». Вслушайтесь: ход мыслей индийский выдает ту же структуру и последовательность, что мы видели в оглавлении I книги Ф. Шлегеля «О языке». В самом деле: **Ход мыслей следующий. В начале все было тьмой** (первое — всеобщее). **Неведомый, самостоятель-**

<sup>22</sup> 18.VI.69. Гегель в «Философии истории» различает немецкий и французский способ писать историю: «Французы, наоборот, остроумно создают для себя настоящее и относят прошлое к современному состоянию» (Гегель Сочинения. Т. VIII. М.—Л., 1935, с. 8).

ный создал все, извлекая (hervorziehend) это из своего собственного бытия (он — корень всего, породил существа, вытягивая их из себя — как стебли). Теперь следует известный образ **Мирового Яйца**, который знаком и египетской мифологии. (Следующий пункт, на который сама собой наводится мысль германца, — это структура, архитектоника мироздания: дом ли, яйцо ли.) Далее следует **троичность всецело духовных основных сил** — Grundkräfte (четвертым пунктом является число: там, в оглавлении книги „О языке“ 2, но которое будет доведено до 3, здесь — сразу 3; словом, первое членение целого совершается. И как там этим раскрывалось внутреннее строение здания языка, так и здесь — духовные основы мира, которые и суть внутренние, а не внешние, в отличие от каркаса структуры или скорлупы яйца): из **непостижимой основы** (Grund — почва, фундамент, грунт) **самостоятельного бытия** выступил прежде всего **дух**, из него — **Я** (Ichheit — яйность: Фихтев это термин); **Атман, Манас, Аханкара** (там в пятом пункте говорилось о происхождении языков — кстати, трех, по основным видам; и здесь, как из корня три стебля, три первые уже особые сущности-идеи произошли) Затем следуют **семь естественных сил: великая мировая душа, пять чувственных способностей, или элементов, и истоки — матра — первоначальной самости (Selbst), Атмана.** (Перешли уже в сферу множества и различий особенных сил — как там языков.) **Наконец, является вся множественность единичных существ и противоположных естеств, все подверженные неотвратимой судьбе по неисследимому предопределению» (273—274).** Является идея посредства: судьба — посредник между бытием целого и отдельным существом. Через посредство, третье, и осуществляется связь и нить меж двумя расколотыми: нить — не даром образ судьбы, а мойры — пряжи. Бытие же — пряжа. Gewebe (ткань) — частый образ мира у трудяг-немцев<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> Вызванный Фаустом Дух Земли, являясь из огня (N. В. германская комбинация — «огнеземля», и Фауст именует его далее Flammenbildung — «огненное образование»), представляется **ткачом** бытия: «In Lebensfluten, im Tatensturm» — вот пара противоположных: названа **-гония** (— жизнь = вода: «в потоках жизни» и **-ургия** (деяние, буря, огонь: «в буре деяний»). И далее весь каскад парами движется:

Woll ich auf und ab,  
 Webe hin und her!  
 Geburt und Grab,  
 Ein ewiges Meer,  
 Ein wechselnd Weben,  
 Ein glühend Leben.  
 So schaff ich am sausenden  
 Webstuhl der Zeit  
 Und wirke der Gottheit  
 lebendiges Kleid.

Качу я вверх и вниз,  
 Тку туда и сюда!  
 Рожденье и Смерть,  
 Вечное море,  
 Переменчивое тканье,  
 Цветущая жизнь.  
 Так тружусь я на жужжащем  
 прядильном станке времени  
 И выделяю живую одежду  
 божества.

Материальный мир вещей, жизнь существ — одежда бога, который и есть их Иппеге, внутреннее. И не даром не каких-нибудь докеров стачка, но восстание силезских ткачей воспринято было в Германии как символ новой -ургии,

Как видим: в «Законах Ману» может быть и действительно есть иная структура бытия и последовательность введения основных сущностей,— но в передаче германца она звучит по-своему, по-родственному, зеркально похожей на него.

## Стремление на Восток

14.VI.69. Однако придется себя сейчас осадить, зарвавшегося. Что ж, тогда выходит, что никакое разнообразное «что»: предметы, мысли — не имеет значения и веса, но все они — функция от структуры, формы, от «как? Тогда нечему и учиться, ничего знать не следует: имей правильное мировоззрение, суй его повсюду, и всякие врата этим Сезамом отворятся, сей универсальной отмычкой. Но ведь перед нами книга германца об Индии, и неужто материя, жизнь, входя в нас как предмет мысли, безгласна там? <sup>24</sup> Ведь еще платоники недаром полагали, что душа уподобляется предмету созерцания, и, чем дольше во что, любя, в духовном Эросе, вглядываешься, тем более сам у твой и дух подлаживается и принимает форму и образ созерцаемого. Здесь душа и ум — женщина, страдательны, испытывают, тогда как в германском идеализме разум — мужское, активно формирующее, обтесывающее начало. (Хотя *die Vernunft*: «разум» — она? — 18.VI.69.) Так что не будем заморожены германским принципом — недаром сам он как раз в это время замороженно тоже потянулся к иным берегам, чуя в чем-то свою, в одиночестве, недостаточность. И вот во второй книге Ф. Шлегеля, «О философии», проступает, зачем понадобилась индийская мудрость. Задыхаться уже начала германская мысль, направляясь, с Канта, сама на себя и дожав себя до последних кишков, и все, что можно из себя высосать, извлеки в «Я» Фихте, которое отменило все внешнее, всякое самодовление окружающего мира, так что остались мы наедине со своим торжествующим и самодостаточным «Я»; а все остальное плотное, весомое, живое — улетучилось, и вместо живого Эроса меж субъектом и объектом — схоластическая суходрочка.

Потому и Шеллинг и вот Ф. Шлегель, задыхаясь в атмосфере субъективизма, потянулись туда, где не все знание извле-

грядущего катаклизма и преобразования мира пролетариатом, четвертым словом, и вызвало в Гейне стихотворение, которое диалогично к гетевскому:

Deutschland, wir weben dein Leichentuch.

Германия, мы ткем твой саван.

«Живая одежда» и «трупный покров» — не внятная ли перекличка?

<sup>24</sup> Гегель в «Философии истории» иронизировал над немцами: «...вместо того, чтобы писать историю, мы всегда стараемся определить, как следовало бы писать историю» (Гегель. Сочинения. Т. VIII, с. 6). То есть, настолько гипнотически переживается определяющая роль формы, структуры по отношению к материалу, что до материала никак и не доходят, и, как в анекдоте о слонах, точно обозначено, что немцу свойственно написать «Введение в слововедение».

кается из «Я» как абсолютного источника, но где есть откровение бытия, природы, Бога — словом, чего-то реального: Шеллинг — в натурфилософию, к эллинам, а потом на Восток к религиям откровения; а Ф. Шлегель от романтического субъективного гениальничанья — к пантеизму (как он это именовал) индусов и в романский католицизм, который есть, в отличие от лично-рассудочной конфессии лютеранства, вера социально-организуемая, более объективная и вещная. Все разбегаются от своего германского огненно-гееннского «Я», приотворившего в Канте и Фихте свою пустую и абстрактную и ненасытно-империалистическую пасть и утробу: «от самой от себя у-бе-гу». Ну да: это «Я», Ichheit есть огонь всепожирающий — и все пустым и голодным остающийся. Потому и потянулись эмиссары и миссионеры германства за необходимой огню землей, материей, веществом — в «жизненное пространство» иных народов. Так что интерес мыслителей рубежа XVIII—XIX веков к Востоку — это тоже своего рода Drang nach Osten — любовное во Эросе стремление.

Сам Ф. Шлегель вполне отчетливо осознает эту необходимость времени от времени впрыскивания в Запад восточного духа и им оплодотворения, особенно в нынешней полосе: «Мы рассмотрим теперь в нескольких словах влияние, которое оказала на европейскую восточная философия, из которой значительная и, разумеется, не худшая часть — индийского происхождения. Очень велико было это влияние издревле, хотя, наверное, ни одна восточная система не достигла Европы совершенно чистой, и греки, так же как и новые философы, все, что они оттуда воспринимали, самостоятельно осваивали и на многие лады преобразовывали и изменяли.

Но мы должны предпослать некоторое понятие о ходе и своеобразном характере европейской философии, прежде чем мы сможем отчетливо представить влияние на нее восточных идей. (Вот школа Канта—Фихте: сначала пусть субъект осознает себя и что в нем есть и заложено априорно, до данного опыта,— тогда ясно станет, в каком направлении сам опыт пойдет. Восприятие влияния есть не пассивно-страдательный, но активно-избирательный акт, где кажущийся объект влияния оказывается сам его субъектом, и „Я“ в акте самоопределения предопределяет возможное войти в него „Не-Я“, впускаемую в дом его долю „Не-Я“.) При первом взлете еще не ослабленной силы духа европейская философия везде — идеализм, под чем мы не только учение об „Я“ (Ichheit) или о ничтожестве (Nichtigkeit) внешних видимостей (Scheins) понимаем (камешек в сторону Фихте), но всякую философию, которая исходит из понятия самодеятельной силы (типично германский принцип) и живой деятельности (selbsttätige Kraft и lebendige Wirksamkeit — пара, аналогичная той, что в словах Духа Земли в „Фаусте“: in Lebensfluten, im Tatensturm — жизнь и действие в разных сочетаниях), так что и системы стоиков, и Аристотеля, и многих из еще бо-

лее древних греков (а тогда были все больше натурфилософы, телесность бытия уважавшие). Когда понятие бесконечного еще в наличии (vorhanden — „под рукой“: от Hand — „рука“, а в русском — от „лицо“, и здесь грандиозная разница: рука в деятельном германстве святейшее начало, так что национальный символ её — Фауст, Faust, что буквально „кулак“; тогда как в России „кулак“ — понятие отрицательное, и здесь „рукам волю не давай“), а ведание (Kunde) древнего откровения уже утрачено, — что более естественно человеку, нежели верить, что все он берет из себя самого, и желать все основывать на собственной силе и разуме? (Значит, Канто-Фихтева самодеятельность „Я“ — от бездарности эпохи, от покинутости ее богом и откровением, от узости нынешнего человека и скудости причастия его к бытию.) Все высокие понятия, которые в языке и религии, в старой поэзии и сагах его с детства окружали и неосознанно побуждали, считает он теперь только за свое произведение и собственность, — ибо то были одиночные следы божественного и их связь для него потеряна. Правда, еще не было такого, чтобы у какого-нибудь народа возникла философия, которая бы действительно была предоставлена только себе и располагалась в совершенном отдалении от источников и потоков древнего общего предания (как пытались конструировать Кант — „Религию в пределах только разума“ и Фихте — „Наукоучение“, единственно верную систему знания, опирающуюся только на себя); и если бы эта мудрость действительно так уж все целиком черпала из себя, как она это выдает, то лучше бы она самой себе помогла выходить из несказанной путаницы, в которую она на этом пути каждый раз попадает. Ее заблуждения нагромождаются все более быстро, так что философия вскоре становится скептической, пока она наконец, когда силы рассудка в продолжительном сомнении достаточно ослабеют, не опускается до чисто эмпирического образа мыслей (как это стало в XVIII веке в Англии: Локк, Беркли, Юм, — пока Кант не предпринял самокритику разума и не восстановил его суверенность), в котором мысль божества, если она еще там по названию и остается, все же в основе изничтожена, вообще идея целиком исчезает, и человек под предлогом разумного ограничения только потребным ему кругом опыта, — от высокого духа, что единственно, по существу, отличает его от зверя, отрекается, как от ложного стремления. Безутешность этого последнего состояния духа обычно побуждает одиночных мыслителей, которым становится невозможно в нем пребывать, искать какой-то исход назад (Rückweg) — к более старой и лучшей философии; и так как это у них всерьез — наверняка и находят. (Описан здесь Ф. Шлегелем прежде всего свой казус и себе диагноз поставлен.)

Таков простой путь всей европейской философии от древних греков до новейших времен. Это круговое движение от философии, которая по крайней мере еще не потеряла понятия бесконечного и самостоятельную силу, к скептицизму и наконец

к эмпирическому образу мыслей — повторялось более, чем однажды; каждое новое повторение было от предыдущего отлично как раз тем, что с ним было знакомо и его использовало, чтобы новое, по крайней мере частично, примыкало к старому через преобразование или через противоположение. Но еще большая неравномерность и еще большие колебания (*Schwankendes*) вступают в ход европейского духа чрез время от времени происходящее вторжение восточной философии как чуждого бродячего материала (*Gärungsstoff*). Без постоянно обновляющегося возбуждения (*Angeregung*) этого оживляющего принципа европейский дух никогда не поднялся бы столь высоко или бы раньше снова опустился. К тому же высочайшая философия европейцев — идеализм разума, как его утвердили греческие самостоятельные мыслители, — в сравнении с полнотой силы и света, содержащейся в восточном идеализме религии, казался бы лишь слабой Прометеевой искрой против полного небесного сияния солнца, только похищенной и все угрожающей опять потухнуть. Но чем скуднее содержание — тем искуснее была выработана форма, — заключает Ф. Шлегель в своем этом акте самосознания европейской философии (204—208).

Итак, на Восток устремляется европейский, германский дух в тоске по субстанциональному и реально-устойчивому, прильнуть к несомненным ценностям и к самодостоверному, не нуждающемуся для подтверждения в доказательствах и хитроумной диалектике.

Открытие на рубеже XVIII—XIX веков и переживание светлейших духовных ценностей в древности и на Востоке меняет всю перспективу исторического развития человечества, и Ф. Шлегель во второй книге, «О философии», прямо начинает с опровержения распространенного и будто бы естественного и самоочевидного воззрения, по которому «человек начал с состояния совершенно животной глупости, но, гонимый чрез нужду от одного усилия к другому все дальше, среди множества внешних поводов и подстегиваний, совсем постепенно, наконец, возвысился и доработался до некоторого разума» (89). Такого воззрения придерживается и английский логос (Гоббс), и французский (Руссо, Монтескьё), как это мы видели в предыдущей части работы. Эллинский же ум (Гесиод, Платон) исходил из золотого века позади и представлял себе постепенное умаление человеческого рода. Иудейский креационизм дает сначала золотой век, совершенство: человек = образ и подобие Бога; потом динамический срыв в самую пропасть черноты, греха и зла: грехопадение Люцифера, Адама и Евы и Каина; а далее — волнами: то род людской праведен в патриархах, то испепелен в Содоме и Гоморре — и так все пребывает как колеблющийся и зыблущийся *status quo*. Новый Завет, христианство вновь дает достигнуть бездны падения *plus ultra* — «дальше некуда»: да и куда ж, когда род людской дошел до того, что в лице Иуды предал и в Иерусалиме распял Сына Божьего! До того и Люцифер

Сатана не доходил, так что зла в человеке больше, нежели в дьяволе: тот лишь только восстал в гордыне!.. Но для того достигнута и оставлена в человечестве позади низшая точка падения, чтоб прорисовался перед ним единственный и прямой путь нравственного восхождения. Ибо даже при Антихристе не смогут пасть люди ниже, нежели каковы они уже сумели быть.

Индийское воззрение здесь вообще человеку мало что приписывает — оно сверхчеловечно, и в нем на тех же правах участвуют и боги (низведенные до человека, тоже смертные, участвующие в цепи рождений, в колесе сансары), и птицы, и обезьяны, и растения, и камни. Мир периодически светлеет, проясняется когда Всеединое нечто (в разных ипостасях) бодрствует, — и темнеет, погружается в пучину, когда Оно засыпает (см. в «Законах Ману», космогоническую часть которых Шлегель перевел и приложил к своей книге).

Германский логос в своем воззрении на путь человечества находится в динамической антиномии. С одной стороны, врожденная его устремленность и тяготение к низу, основам, глубине, корням заставлял его поместить целостность туда и видеть золотой век вместе с эллинами и отчасти индусами (как сейчас вот Шлегель) позади. С другой стороны, принцип -ургии, свободы воли, труда, деятельности из «я», высокое чувство самости, *das Selbst*, гордыня — не допускает быть зависимым от чего-либо, кроме себя самого (в том числе от грехопадения чьего-то и чьей-то вины), и побуждает полагать себя кузнецом своего счастья и видеть благо впереди. И когда Руссо во Франции (мыслитель глуби, *de profundis*) явил две перспективы: прогресс цивилизации = регресс нравственности, то он как бы наложил на франко-романскую схему модель эллино-германскую и явил раздражающую вкус и баланс французов какофонию, которую они вытерпеть не смогли; и потрясение, раскачав балансир своего маятника, довели до того, что их маятник из симметрии вбок пошел по-германски вверх-вниз машиной доктора Гильотэна. В Германии же какофония выносимее и роднее: какофония гармонизована в противостояние главной и побочной тем сонатной формы и звучит пригляднее: «антиномия» есть родной *Widerspruch*, что, по Гегелю, *führt* («противоречие, которое ведет»). Так что без предварительного раздвоения в *Zweifel* («сомнение» = расщепление надвое), как источника *Streben* и *Drang*, стремления к целостности на всю жизнь — самочувствия своей жизненности не хватает им вроде: раз огонь в их *Innere*, в нутре, горит, раз сердце бьет — обо что-то оно должно бить и откуда-то: вот тебе и необходимость исходного раздвоения. А в какую сторону пойдет синтез — третье число, — зависит уже от конкретного момента. Поскольку Фихте явил синтез как безудержный оптимизм и начертал человеку безусловный прогресс (хотя в «Основных чертах современной эпохи» нынешнее состояние весьма пригвоздил), то Шеллинг и Ф. Шлегель склонны синтез де-

лать в обратную сторону; поскольку Гегель дает стоический оптимизм разума — Шопенгауэр дает пессимизм и т. д.

Итак, Ф. Шлегель полагает, что человек начинает не со зверства, но с божества, и залог тому — дошедшие из древности и с Востока, из Индии, сокровища духа, света и разума.

Во второй главе второй книги рассматривается система переселения душ и эманация, которую Ф. Шлегель полагает наиболее существенно индийским изо всех восточных учений. Передаёт он ее по первой космологической главе «Законов Ману», которые он считает древнейшим из известных Европе тогда памятников («Вед» Шлегель еще не знал). Излагает он ее в постоянной полемике с системой пантеизма, на которую она внешне похожа, но по внутренней сути резко отлична, так что смешивать их, как он говорит, нелепо и даже безнравственно. «Тем, кто привык только к диалектической форме сравнительно молодой европейской философии, легко представляется пантеистической большая смелость и фантазия каждой восточной системы. Первоначальное же различие между ними очень существенно, ибо индивидуальность в старом индийском учении никак не снимается и не отрицается. Также и возврат единичного существа в свое божество только возможен, но не необходим, упорствующее злое остается навечно отделенным и отринутым» (96—97).

Здесь явно подтягивание аморфного индийского воззрения под четкие определения и грани германского логоса — Haus'a: ведь индивидуальность в индийском воззрении не жестка и переходяща и есть скорее отрицательный принцип личности «аханкара» — на это и сам Шлегель спотыкается в переводе «Законов Ману» и толкует в примечании: «Аханкара, яйнось (Ichheit), имеет в индийских текстах в большинстве случаев дурной оттенок (Nebenbedeutung — побочное значение), как противостремающееся и противостоящее божественному единству и ровности» (276). И не может быть вечности мук злых, как и блаженства добрых, ибо и пребывание в богах ограничено, и весь мир зыблется: то есть, то исчезает со всеми своими «твердыми» различиями, в том числе «добра» и «зла». И нет необратимости, которую Ф. Шлегель хочет здесь увидеть, чтобы установить для человека любимую свободу воли, а значит, нет зависящего только от «я» выбора меж добром и злом — в вину или заслугу. В индийском воззрении выбор есть — на этом буддизм основан: решение избрать восьмеричный путь дхармы; но сам выбор не абсолютен, но относителен и предопределен заслугой или виной предыдущих рождений.

«Пантеизм учит, что все хорошо, ибо все есть лишь единое, и всякая видимость того, что мы называем неправым или дурным, есть лишь пустой обман. Отсюда разрушительное влияние его на жизнь, поскольку можно вертеться лишь в выражениях и присоединяться как угодно к выступающим отовсюду чрез голос совести верам: в основе же, если оставаться верным этому принципу порчи, поступки человека должны почитаться безраз-

личными, и вечное различие между добром и злом, между правом и несправедливостью должно целиком сниматься и считаться за ничто. Совсем иное в системе эманации, где скорее все существующее бытие (Dasein) считается за несчастье и сам мир за испорченный и злой во внутреннем своем, так что все есть не что иное, как печальное погружение из совершенного блаженства божественности бытия» (97—98).

По этой выдержке видно, сколь односторонняя трактовка Ф. Шлегелем индийских воззрений, а главное — абсолютизация различий до противоположностей, по-германски, чего там нет.

Под «пантеизмом» же, столь неприемлемым для Ф. Шлегеля в силу своей безнравственности, утопления божества в веществе и за фатализм и отнятие от человека свободы воли, — многие разумели тогда, по преимуществу, систему Спинозы, которую трактовали как безжизненный абстрактный догматизм, как это раскрывает Ф. Шеллинг в «Философских исследованиях о сущности человеческой свободы», где он задался труднейшей задачей: вывести свободу из природы (то, что с Канта принималось за само собой разумеющиеся противоположности), свободу воли и нравственность — как раз из натурфилософии и, в общем, приемлемого ему пантеизма.

Пантеизм неприемлем германскому духу из-за его статичности: здесь же дорого развитие, деятельность, превращения — и за это интимно близка Ф. Шлегелю индийская теория метемпсихоза — пуше, чем эллинское статическое многобожие (тоже род пантеизма): падения, опускания существ от божества до растения и камня и поднятия душ, восхождения через собственные усилия — здесь и необходимость есть, и свобода.

Эманация (как это еще ввел Плотин) есть истечение: божества, света, единого самого из себя и, по мере отдаления, — затемнение, отяжеление, превращение в тьму, вещество и материю. И на этой шкале вспыхивают, как точки, в процессе потемнения разные элементы, стихии, существа, тела. Однако здесь и обратный путь: постепенного просветления человека через усилия души и ума — и возврат к центру, к свету, к сиянию.

В индийском варианте эманации Ф. Шлегель отмечает сначала сторону затемнения: в учении о четырех веках, о четырех варнах-кастах видит он это ступенчатое понижение (Abstufung) состояния мира. То же и в учении о трех мирах («лока»): небо, воздух, земля (или небо, земля, недро), трех «гунах»-качествах («саттва» — свет; «раджас» — страсть, мир блеска и майи; «тамас» — тьма) — «закон постоянного ухудшения и постоянной порчи» (10).

15.VI.69. «Всякий охотно допустит, что фантазия едва ли может заполнить противоречие и промежуточное пространство между мыслью о совершенном существе и видом несовершенного внешнего мира более легким и естественным образом, чем чрез воззрение эманации» (107).

Структура этой мысли: противоречие, двоица и необходи-

мость заполнить пространство (недопустимость пустоты). Заполнение и есть опосредствование между двумя, есть третье, а по содержанию своему — деятельность, становление. Эта схема и в основе философии Гегеля. Таким образом, эманация толкуется как *Werden*, т. е. получается как эволюция и прогресс; не погружение (как по Плотину), а возвышение. И иначе не может быть, ибо во внутреннем созерцании германцев глубина, основа, т. е. низ, всегда в начале (логика растения), так что для развития один путь остается — вверх. У эллина же Плотина глубина в конце, свет утопает, погружается, и мир есть человек, стоящий по пояс в воде.

## Внутренние образы

16.VI.69. На каждом шагу бессознательно проговариваются эти координаты германца: «Она,— продолжает Фр. Шлегель мысль об эманации,— не только корень древнейшего и наиобщего суеверия, но и стала богатым источником поэзии» (107). Третья глава второй книги начинается словами: «Если система эманации чрез свою моральную глубину, чрез свою положительную полноту и генетическое развитие мирового целого...» (114). *Tiefe*, *Fülle* и *Entwicklung* — вот координаты миропонимания: глубина — исход, причина; полнота — цель, результат; генетическое развитие в целое — посредство. Непрерывно рядом являются как равнозначные координаты ценности — глубина и высь: «Все земные существа на дно того возвышенного (*in den Grund jenes Erhabenen*) будут проглочены» (15) — так передает Ф. Шлегель мир как сон и бодрствование бесконечного существа в «Законах Ману».

Итак, мы преследуем внутренние образы, которые, безотчетно даже для такого рефлексивного писателя, как Ф. Шлегель, залегают в подспуде его мыслей и предопределяют их склад и направление. Они, эти слои созерцания, лежат на глубине такой, которая уже недоступна субъективному началу художнической индивидуальности, есть не особенность индивидуального стиля или манеры, — но принадлежат национальному гену, родовым чертам сознания народа как космолога.

Первоначально для германца глубина (не высь, не даль, не ширь) из измерений пространства, и его глаз — в постоянном устремлении в *Grund* — основу, фундамент здания, в корни — *Wurzeln*, в источник и родник — *Quelle*. «Ибо как иначе можно понять и объяснить произведение, если не по образу мыслей, что залегают в его основе» (*zum Grunde liegt*)? (203).

Он предлагает судить о народах по признакам большего или меньшего возраста их появления в истории — «так же, как естествоиспытатель, внимательно следуя природе, устанавливает залегание различных видов грунта (*Erdarten*) в горах и на поверхности твердой земли» (166). «В этих пластах народов (*Völker-*

schichten) мы видим, подобно как естествоиспытатель во внутреннем строении гор, одну часть потерянной древней истории (Urgeschichte=букв. „древние слои“) в основных чертах...» (169).

Германский народ — горняк, в недра земли и глубь ее проникновен за огнем и мечом, углем и металлом: недостатку божеского ясного солнца, тепла и света за счет своей людской энергии покрывая чрез связь с низом, чертом, черным солнцем. Если греки=горцы (такова этимология их имени) по внешнему силуэту страны, по формам тела земли, то германцы=горняки — гномы — Нибелунги — кузнецы — в Innege, внутренность горы проникающие; и «горняк», «шахтер» — здесь вполне метафизическое понятие. В «Генрихе фон Офтердингене» Новалиса, где в недолгом путешествии Генриха по Германии, по местам и людям выводится только то, что на правах детали-символа носит характер национальной мифологемы,— огромный кусок повести занят встречей со стариком-горняком, его рассказом о своей профессии, поэзии, стихах, песнях, с ней связанных. «Господин,— сказал старик, повернувшись к Генриху и вытирая слезы из глаз,— горное дело, должно быть, благословенно Богом! Ибо нет другого искусства, которое своего участника делало б счастливей и благороднее, которое более б будило веру в небесную мудрость и содействие (Fügung) и чище бы сохраняло невинность и детскость сердца (N. В.— качество глубины, сердца, внутреннего, чистоты, начала=культ детства), нежели горное дело. Бедным рождается горняк и бедным уходит опять (библейский стиль!). Ему довольно знать, где находятся металлические силы, но их ослепляющий блеск никак не властен над его чистым сердцем. Не воспаленный опасным безумием, радуется он больше их чудесным образованиям и странности их прибытия и их обиталищ (вот мир черного солнца недр, который германцы чувят конкретно как развернутый и богатый живой организм в сочленениях жил, артерий, дышащий и живущий; там интимно их взаимопонимание с чертом — ср. сюжет Фауста), чем все обещающему ими обладанию. Они не имеют для него больше никакой привлекательности, когда становятся товарами, и он охотнее разыскивает их среди тысячи опасностей и тяготей (Mühseligkeit — букв. „блаженство усталости“ — у какого народа, как не у мастерового трудяги, может тягость так расшифровываться!) в крепостях земли (горняцкое дело=война, штурм), чем станет следовать за ними по их зову в мир и на поверхности земли, что уже под ногами (Boden — разработано понятие „земли“ во многих оттенках в германской лексике), с помощью искусных ухищрений за ними стремиться. Эти тяготы содержат его сердце свежим и его ум бодрым; он вкушает свое скудное вознаграждение с внутренней благодарностью и каждый день поднимается с помолодевшей радостью жизни из темных склепов своей профессии (Gruft — могила: каждый день он умирает и воскресает на свет божий, как и земледельческий бог —

зерно; горняк — самый метафизический земледелец, ее хирург, вспарывающий ей кишки, и чревовещатель, маг, знакомый с таинствами того „света“ — тьмы и ада, каждый день туда заглядывающий). **Только он знает соблазн света и покоя, благодетельность свободного воздуха и вида окрест себя.** (Вот гигантская и чисто германская мысль: настаиванье на тьме, зле, страдании, усилении — как предпосылках и условиях света, добра, радости; т. е. Бог, свет, добро не самостны, не абсолютны, но производны и если не вторичны, то хотя бы взаимообусловлены со своими противоположностями,— тогда как по средиземноморской традиции свет абсолютен и есть Бог (Платон, Плотин); в теодицее североафриканца Августина зло вторично, оттенок лишь Блага, ему для видимости (чтобы быть видимым) извне нужный; в германстве же тьма и свет взаимопронизываются, внутри и по существу, производят друг друга, и Шеллинг выводит самого Бога из основы в Боге.) **Только им вкушаются питье и пища вполне утоляюще и благоговейно, как тело господне** (т. е. каждый акт еды и питья для него — причастие, таинство евхаристии: ведь мир для него всегда, значит, храм и тело божье, а не только в особые дни и местах, как для непосвященных, то бишь „непотемных“). **И с каким преисполненным любви настроением и благорасположением вступает он к себе подобным или ласкает** (herzt: „ласка“ от „сердце“ — тоже недро-ядро, глубь) **свою жену и детей и благодарно наслаждается прекрасным даром доверительной беседы!**

Одиночество его профессии обособляет его от дня и общения с людьми на большую часть его жизни. Он не привыкает к тупому равнодушию по отношению к этим неземным глубокомысленным (überirdischen — „поверхземным“, tiefsinnigen — „глубокомысленным“; опять über и tief, высь и глубь неразлучно вместе: не может германец сказать о высоте, тут же не вспомня и не воздав глубине, и наоборот) вещам и сохраняет детское настроение, в котором ему все является в своеобразнейшем духе и в своей первичной пестрой чудесности»<sup>25</sup>.

Итак, для германца мир — Berg (гора), Burg (город), Haus (дом), мироздание. А дом есть лишь структурированная гора — и недаром высокий дом выводится из людства в естество и называется природно: «небоскреб». Земля для германца не форма внешняя, геометрическая конфигурация, как для эллина; и не закрытая непроницаемая поверхность, как для индуса (который как не преступит запрета вскрывать трупы и не имеет хирургии и не знает анатомии,— так и в тело земли не вторгается, а богатства свои — жемчуга — лучше в воде и на поверхности, нежели в недрах, будет отыскивать); а открытая их трудом многостраничная = многопластовая Книга. И недаром сама история по-немецки звучит Geschichte, т. е. букв. «слои» (как Gebirge), «собираемость пластов». Историк = горняк цивилизации. И не-

<sup>25</sup> Novalis. Ausgewählte Werke. Verlag Philipp Reclam. Lpz., с. 146—148.

даром всякое знание и науку склонны германцы превратить в историю: прикинуть к происхождению, к началам, корням вещи и шаг за шагом проследить ее вырастание, как наращивание пластов и слоев субстанции на первоначальную ее сущность. И Гегель утопил логику в истории, т. е. светлый эллинский Логос в шахту погрузил — единство логического и исторического рассмотрения вещей изобрел.

Естественно, что при таком исходе из глубины и недр, при земледельческом воззрении на мир, как раз воззрение-то отменяется, а усиливается вчувствование щупальцем (Gefühl, «чувство» — собирательное понятие от Fühl(er) «щупальце», «усик»...) чувства внутреннего и осязание руки, как у кротов и червей безглазых. И в германстве голос чувства, сердца, внутреннего убеждения достовернее, есть критерий истины гораздо больше, чем то, что предоставляется на свету, а значит, на поверхности лишь вещей — глазу: это все явления, видимости, феномены, а не сокровенные вещи в себе<sup>26</sup> — т. е. в нутри своей и глуби. Чувство есть дыхание сердца, нутра, глуби; оно «в пении выдыхает» (aushaucht — 162; помните Hauch Гёте — «дуновение» на горных вершинах?). И Ф. Шлегель недаром выбрал из «Рамаяны» для перевода место, где рассказывается о происхождении метрического стиха, шлоки: увидев, как на глазах возлюбленной убили возлюбленного, певец Вальмики возрыдал в душе — и рыдание выпелось в прекрасную ритмическую структуру шлоки, причем Шлегель переводит индийскую этимологию shoka и shloka на немецкое миро- (не «-воззрение», а) чувствование как Leid (страдание) и Lied (песня); последнее из перевода, как и у Бетховена принцип: durch Leiden — Freude = «через страдание — радость». Ну да! Lied — это наверху, на поверхности, голос в воздухе; а достоверен он, когда рождается в тверди, в недре, стиснутый в веществе, в сердце — как корень дерева.

И естественно вырастает в таком толковании мира образ дерева как мировой модели. Есть он у многих народов, но у германцев недаром родилось понятие «генеалогического древа» — как всеобщая модель познания предметов в разных науках. В этом понятии совмещены животная эллинская -гония и германское растение так, что -гония сведена к растению. И то, что в эллинстве — род, в германстве — ствол (Stamm). Вот и у Ф. Шлегеля третья книга «Идеи о истории» начинается образом генеалогического древа народов: «**Древние языки, чье родовое древо Stamm baum) мы от корня до главных ветвей пытались проследить в первой книге...**» (157). Растение в своей структуре дает гарантию истины и естественную модель строению всякой вещи оттого именно, что оно есть выполз недр, язык, воздымающийся из глубины, из толщи, там укрепленный и укорененный, и оттого имеет гарантию основательности, а не верхоглядства.

<sup>26</sup> Ap sich = «при себе»; но не случайно русская интуиция иноземного мировоззрения перевела ап как «в». — 25.VI.69.

Растение — щупальце земли, ее рука, что высовывается в воздух. Из дома (Haus'a) земли чрез окно вытянутая в пространство (в Raum) рука,— трансцензус и связь осуществляющая. А дуализм Haus и Raum, который должен быть преодолен чрез трансцензус, переход, связь, становление,— тоже из подспудных германских внутренних созерцаний — волений.

Если для француза Декарта гарантия истины и существенности высказывания есть ясность, отчетливость и правильность— световые, наружные критерии, то в германстве гарантия истины — глубина, внутренняя связь, органичность вырастания; и лучше темнота, нежели летучая поверхность.

17.VI.69. Восточный стиль отличает, по мысли Ф. Шлегеля, от греков темнота (Dunkelheit) — плод изобильной фантазии. Темнота же многоглагольна. И родна она «Германии туманной» (туман=полутьма), стране нибелунгов — от Nebel (туман, мрак). Он упрекает английский перевод «Законов Ману» Джонса за то, что в нем многое определяется «более ясно и четко, нежели в первоисточнике. Ибо сам язык его уже насквозь метафорический, и к тому же часто смелая образность смешана с (unter- „под“, как под крышу дома, тогда как в русском „с“ — „вбок“, рядом, в родимую „сторону“) абстрактными понятиями, и, если в некоторых местах развитие совсем отчетливо и ясно, зато снова господствует в других почти загадочная краткость и отрывочность. Я постарался оставить все именно таким же неопределенным и таинственным, как это было в первоисточнике, чтобы читателю передать впечатление от него так чисто, как это возможно» (273). Rein и gemischt — «чистое» и «смешанное» — тоже одна из германских пробразных полярностей, отчего и река здесь главная — Rhein (Рейн), и Кант предпринял Kritik der reinen Vernunft — «Критику чистого разума»; а все смешанное, всякая смесь всегда отрицательно толкуется, в отличие, например, от Франции, где смесь трактуется положительно: как пестрота и разнообразие, винегрет и нескука. И тем хороша для немцев идея противоположности, как способа соединения разного, что она позволяет каждому отстоять друг от друга, сохраняться как особь статья в чистоте и, вступая во взаимодействие,— самостоятельность как раз поддерживать и питать, а не растворять. В германстве есть взаимопроникновение, переплетение противоположностей — но не растворение, не слияние, как в космологических, где большую роль играет вода, текучесть, социальность, женскость. У них же, в космосе огнеземли, взаимопроникновение предполагает твердость, острие, а переплетение — самостоятельность разных нитей. И бытие есть ткань. «В языке, как и в мифологии, есть некая внутренняя структура, основная ткань (Grundgewebe — вот и „грунт“ и „ткань“ вместе: если бы я обозначал основные пробразы буквами, то это было б, допустим, алгебраическое сочетание — ab) ...Мифология — наиболее (сложно) переплетенное (verilochtenste) образование человеческого духа» (90, 91).

«Это понятие целого единственно может осветить спутанную тьму (verworgene Dunkel)» (158). Над тьмой даже не свет — высший начальник, но целое, все (опять триада); и в германских натурфилософиях (Шеллинг, Гегель) свет не наружное нечто, но во внутренней полости, в кишках бытия проводник — нерв — передатчик — Меркурий — луч — нить — связь: чрез свет идет самочувствие бытия. Понятие связи (Band, Verbindung) потому в германстве так важно, что самостоятельно разное может только и должно быть целым; раз разное не текуче, а упруго, связь должна быть усилием, волей: целое должно удерживаться рукой — Gehalt, Inhalt=со-держание. То есть целое есть то, что все друг друга держат, соборное держание, удерживанье друг друга в противостоянии и независимости, чтоб не навалиться и не смять всяческая вся и друг друга в смесь и кишмиш. Для Шеллинга связь — божественна<sup>27</sup>.

Теперь мы можем полнее представить процесс понимания, по-германски. Главные категории: целое и основа. Основа — всегда тьма, опора, земля, низ. Начинается всякое понятие с воздвиженья основанья, фундамента. Целое ж есть здание, дом — Haus, т. е. вакуум воз-духа над основой и тьмой,— вакуум, который и вытягивает тьму и вес вверх чрез растение, становление (Werden), стремление (Streben) ввысь. Целое и получается, когда достигается überhaupt (русское «во-обще» есть по-германски «выше головы» — значит, можно прыгнуть, и это есть занятие германцев в истории). Целое — цель причины: куда последняя ведет. Объяснить нечто можно лишь через Grund, подведя под него основание, причину. А понять — через результат, к чему ведет, где суть тьмы, почвы и веса проявляется в чистоте и свете. Потому Марк писал, что анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны: т. е. более развитая форма дает понимание цели, что к чему в более первичной. И Ф. Шлегель таким же

<sup>27</sup> В передаче Куно Фишера, по Шеллингу, «именно эта связь соединяет мир в глубочайших его недрах» (=глубина и недра). Эту роль играет тождество в мире. Тождество вещей является в вещах как их „связь“ (тождество есть как бы непрерывный глагол-связка между всеми вещами и понятиями в мире: это есть... то-то; бытие есть связь: глагол бытия sein=он же глагол-связка). Чем ниже ступени развития мира, тем более сокрыта эта связь, как бы запрятана в том, что связано; чем выше ступени развития, чем более светлым становится мир, тем более раскрывается связь и выходит наружу как таковая. „Мир... есть совершенная и в прогрессивном развитии пространственная связь“. Исходя из последних оснований (т. е. абсолютно), нельзя допустить, что существует хаос и что вещи разрознены; точно так же необходимо признать, что мир есть целое, которому подчинено и которым проникнуто все единичное. Эта подчиненность есть всеобщая централизация, эта проникнутость есть всеобщее одушевление... Связь централизации есть тяготение, а связь одушевления есть свет (тяготение=Haus, свет=Raum); связь тяготения и света есть живая материя, источник жизни в природе. Таким образом, в совокупности вещей тяготение и свет относятся друг к другу, как тело и душа. ...Свет есть взгляд жизни в вездесущем центре природы; благодаря тяготению вещи объединены извне, точно так же в свете они объединены как во внутреннем центральном пункте» (Куно Фишер. История новой философии. Т. VII. Спб., 1905, с. 504—506).

ходом сознания толкует суть Ветхого Завета, который он считает одним из произведений восточного мышления, «конечно, **изо всех наиболее возвышенное и глубокомысленное** (erhabenste und tief-sinnigste — опять неразлучны высь и глубь). Ибо как иначе можно понять творение и объяснить, как не по образу мышления, который лежит у него в основе? И где может быть этот образ мышления сам схвачен, если не там, где он целиком высказан и является в совершенной ясности?» Потому не Талмуд, остающийся в пределах Ветхого Завета, в пределах основы, есть ключ к его смыслу, но Новый Завет, который выходит за его пределы и освещает тьму. «Следы истины, одиночные следы божественной истины находимы повсюду (überall — „надо всем“: в России высь везде сглажена, смягчена острота ее противопоставления низу, горизонталь подавляет вертикаль и рассасывает, оттаскивает, растаскивает ее), особенно в древнейших восточных системах; однако связь целого (вот опять пошли руководящие миропониманием праобразы-категории) и достоверное обособление примешенных заблуждений никому не найти, кроме как через посредство христианства, которое одно дает разъяснение (Aufschluss — „отмыкание ключом“ — двери дома знания) об истине и сознании, которые выше, чем всякое знание и мечтание разума» (203—204).

В концепции Маркса в начало понимания истории кладется базис (основа): производственные отношения, т. е. связи и нити между особями в акте труда, который есть выведение наружу, на свет отломка материи (=матери — тьмы — сырья — воды) и превращение вещества в «вещь» — форму, через огонь, высушивание. А смысл истории открывается в коммунизме, который, как цель, есть разгадка тайны всемирной истории, ключ к ее причине, базису, ибо здесь — выход из многослойной толщи и штольни Geschichte=слоеного пирога истории — наружу, на свет целого. И чрез разрез, анатомию новейшей структуры — капитализма, дорылся он до основы структуры общества вообще, до его первопричины.

Ф. Шлегель так намечает последовательность понимания различий между народами: «Если желают всю многоскладчатость (Mannigfaltigkeit — горняцкий образ множества как напластования) столь различных народностей сделать предметом исследования, надо прежде всего отставить в сторону всякое производное предположение и мнение об их общем происхождении (отвергается -гония) и некогдашней причине разделения и выделять народности только по признакам высшего или меньшего возраста так же, как естествоиспытатель, следуя природе, упорядочивает положения различных земных формаций в горах и на поверхности твердой земли. Первый признак и здесь — язык (т. е. начинает с духовного, сокровенно-внутреннего, чистого бытия), но более в его внутренней структуре, чем в его материальной части, корнях, в которых обычно только видят далеко отыскиваемые подобия. Следующее по важности после языка

есть употребление металлов: как меди и железа — к войне и пашне, так и золота и серебра в качестве повсюду действительных знаков внешней цены вещей (итак, полость духа одевается корой-стеной вещества и дух становится *Innege* в *Haus*, внутреннее в доме: мир строится железом — орудиями труда; то взгляд народа-кузнеца. И здесь извлекаются из недра и тьмы земли металлы=светила черного золота, и выстраиваются, ходят хороводы материальной культуры вокруг духа=искры ясного солнца, как последнему — дом, родное, просвеченное, тогда как до труда, в природе, они, как свет и тьма, раздельно и обособленно пребывали вне друг друга. У *Монтескье*, напомним, металл упомянут был не в орудийной, а в социальной функции: монета — орган общения народов); и приручение тех животных, которые человеку нужнее всего и необходимее для этих искусств» (166—167).

Как та же реальность понимается по-разному в зависимости от национальной структуры сознания, очевидно из того, что эллину *Александр Македонскому* Индия показалась состоящей из республик, а вот как ее строй в древности истолковал германец *Ф. Шлегель*: «Когда греки *Александра* полагали, что они нашли в Индии своеобразные республики, то едва ли можем мы это понимать по образу эллинских, финикийских или итальянских свободных государств (как полисов-атомов, как островов, разбросанных и обособленных в Средиземном море). Греки не имели никакого понятия о сословном строе (*ständische Verfassung* = букв. „стойкое изделие“: германское „дело“ заменено в переводе русским „словом“, а стояние=вертикаль — «строем»=горизонтально), каким индийский был в древности; еще менее — об основном на нарушаемых священных сословных правах законном и свободном королевстве; итак, они по своему подобию сочли за изолированные свободные государства то, что было только самостоятельными членами, пребывающими в теле большего целого» (190—191).

18.VI.69. Из прочих достопримечательностей германской мысли об Индии в *Шлегелевом* трактате — «разрушающие дух пытки йоги» (192). Странно это слышать, ибо йога есть культивирование духа. Но дух по-германски — *Geist*, огненный, деятельный; индийское же притушение деятельности, неподвижность, активная, волево-напряженнейшая статика германцу видится как паралич, оцепенение и смерть духу.

Зато многократно с пониманием упоминается служба *Шивы*, кто есть телесно-огненный разрушитель-возродитель, в ком угадываются интимные германству черты *Сатаны*, приметы черта (см. с. 119).

Свойством древнего и, в частности, индийского стиля в поэзии *Ф. Шлегель* полагает «соединение гигантски смелого и кроткого (*riesenhaft Kühne und Sanfte*)» (164).



Интермедия  
КОСМОС  
И КОСМЕТИКА  
(По индийской драме)

Читая работу М. Я. Калиновича «Природа и быт в древнеиндийской драме»<sup>1</sup>, я понял, что в индийской драме — так сказать, интравертная космичность, то есть: те стихии бытия, божества, что в Ригведе и Упанишадах вне человека, сами по себе бытуют, его лишь раззявая и прорезая, — здесь сведены в человека, его существо, тело, одежду, душу, настроения, замкнуты в его городском быту и в его микрокосмосе прочитываются.

Проследим с этой точки зрения образ героини в древнеиндийской драме. Это ж — женское начало мира вообще, миньютюризированная вселенная: ее смены дня и ночи, бурь, засух и т. д. М. Я. Калинович, на основе девяти классических индийских драм, дает следующий суммарный образ возлюбленной (179 и сл.). Вдумаемся в него и протолкуем:

**«Первые же слова любой драмы о героине»**

В индийской драме главный персонаж — женщина, и лучшая драма — „Шакунтала“, тогда как в Европе — „Царь Эдип“, „Гамлет“ — преобладает мужское начало. Вообще, с точки зрения Эроса, страны и народы имеют свое распределение. Так, Индия — страна-женщина (как и Россия-матушка, родина, мать-сыра земля), тогда как Китай, а в Западной Европе германский мир — страны-мужчины. Оттого и Индия, и Россия в своей кажущейся пассивности и податливости так приманчивы, завлекающи чужеземцев. И Кутузов у Толстого недаром бабью

<sup>1</sup> См.: Избранные труды русских индологов-филологов. М., 1962. При ссылке на это издание далее указываются лишь страницы.

наружность имеет: жует куриную ножку бабы-курицы и читает роман m-те Жанлис — французской бабы. Срединные народы, с точки зрения Эроса, — Персия, Эллада, романский мир (недаром здесь смешения полов и гермафродитизм развиты).

Мужские персонажи индийской драмы, ампула любовников: царевич, знатный юноша, горожанин — безлики. **«Об этих любовниках, одинаково благородных, доблестных и верных до конца, драме как будто нечего сказать. Они лишь зеркала, предназначенные для того, чтобы в них отражалась красота мира и особенно женская красота»** (179). Характерность же есть именно в женщине: она активна, выбирает женихов.

**вводят нас в пряную атмосферу индийской эротики.**

Эротика — не просто клубничка, но — Эрос, космическая стихия воссоединения и разделения, как это у Гесиода или Эмпедокла. Так что «пряная атмосфера эротики» — это испарения тропического космоса, избыточного спариваниями и рожденьями существ. Это — напряженная для зачатий и рождений плазма бытия.

**Сотканые из лунного света, они пылают, эти девушки,**

Вот уже и луна в пространство человека закупорена, но и на этой теперь платформе она действует — не все ли ей равно, раз все — во всем, по индийским воззрениям? Теперь не небо и землю, а вот эту девушку и ее любовь будет озарять изнутри.

**один лишь миг, подобно краям вечерних облаков,**

Вот явились и облака — не в штанах, но под сари девушек запрятались, и даже не облака лишь, но со светом: края их огнистые, розовые, пыльные.

**у них так нежны, что почти теряют сознание, если подруга в шутку слегка ударит их цветами шириши.**

Их нежность — это готовность к иставиванию. Эросом проникновенность сочится в фибрах их и порах, так что малейшего удара (=идея мужского стержня — стебля шириши) достаточно для вознесения в нирвану, где нет «я», отдельностей, сознания: в метафизический уровень бытия-небытия.

**У них лицо с продолговатыми глазами,**

Световые щели — молнии это, огни-вертикали, в отличие от косоглазия монголоидов, которые не огнепоклонники. Ну да: огнепоклонники еще персы — и у них продолговатые лица и глаза, по вертикали вытянуты, и тем они отличимы среди окрестных тюркоидов: узбеки, таджики — среди казахов, киргизов, туркмен.

**как полный месяц осенью,**

Осень, по Индии, равна европейской весне, это начало года, самое благодатное время: год по осеням считают, а в России — лишь цыплят, осень — итог, а здесь — зачинанье, зачатие.

И опять «месяц полный» — вот кто обитает в девушке: она лишь его ипостась, одно из перерождений.

Это не просто метафора: «девушка — как луна», она буквально и есть луна в одном из прежних ее рождений: например, 3 сентября 546 г. до н. э. ведь и луна каждые сутки — но-

ворожденная. Женщины несут в себе именно лунный такт времени — в так называемых месячных регулах.

Индианка — есть полный месяц, а символ тюрок — полумесяц и раскосые по горизонтали глаза.

**высокая грудь** (как горы Гималаев), **широкие бедра и талия** столь тонкая, что сильное душевное волнение может ее переломить.

Здесь важно сочетание массоидов телесных и хрупкости: избыточность материи, форм весомых — нанизана на духовно утонченную ось и артерию. Здесь совершенно смертельный эротический образ, возбуждает вожделение ошеломительное, готовность смерть не заметить: умрешь, как ось переламывается, или сам ее раскрошишь в объятиях. Отчего так? Да оттого, что здесь метафизический образ мира, склад ко́смоса в предельном напряжении дан: высота предельная, широта — предельная, соединение шаров и полушарий (самых совершенных фигур) — и на чем? на ниточке волосяной.

Такие превосходные тяжести организованы в столь совершенные формы, которые позволяют этим массам на ниточке держаться и не распадаться, — т. е. только благодаря совершенству форм равновесно удерживаться в твари этого существа — этой женщины.

Как тут не восхититься умопомрачительному чуду бытия и совершенству мироздания!

Ведь будь формы иными: какой-нибудь перекосившийся прямоугольник — его б и массивная база, колонна не удержала. А тут — ниточка талии осиной всю конструкцию выдерживает.

Но, с другой стороны, здесь и край бытия, грань небытия: ибс дохни, колебни не так — и рассыплется совершенство, сосуд. Так что все здесь захватывает дух — и соблазном края бездны, и головокружением от предчувствия небытия: лишь шаг один — и ничего, и тебя нет!

Вот метафизика соблазна прекрасных женских форм. Такая фигура — как песочные часы с узким горлышком: тоже перелив времени и его скоротечность и хрупкость — *memento mori!* выражает. И любовь, объятие, что есть игра этими шарами и осями — с риском сломать их, — есть метафизическое фокусничество и жонглерство, великая эквилибристика, столь же поддерживающая равновесие вселенной, как и молитвы брахманов каждодневно подкрепляют порядок бытия. Вот почему искусство камы — наслаждения в Индии наряду с дхармой (религиозным законом) и артхой (житейским благополучием) разработано, и эротика здесь мистически почтенна.

Если героиня — куртизанка, она вся в золоте (цвет солнца), как актриса на первом представлении новой пьесы (ну да — новорожденный свет есть каждодневно новое представление бытия), как лунный серп (ну вот и высказана родственная солнцу светильность), затененный осенней тучей (вариант образа, что выше — о краях вечерних облаков); ее стан перехвачен поясом,

где сверкают разноцветные камни (се — радуга, пояс разноцветнополосый, два пространства делящий), в ушах у нее серьги (звоны стран света, перезвоны пространств), на голове благоухающий венок.

Это нимб, солнечный диск: голова ведь тоже кругляшок. А цветы — маленькие солнышки. Так что венок вокруг головы, лица — это солнце в солнышках, солнечная система: солнце, окруженное планетами, планеты, окруженные спутниками. И это не вид лишь только, но и запах — т. е. не духовно-световое явление лишь, но и земляно-телесное: по индийской космогонии, из четырех великих элементов (земля, вода, воздух, огонь) запах — чувство, присущее земле, а вид, свет — огню<sup>2</sup>. Так что светила здесь благоухают, телеснодушие повсюду в мире разлито.

Если она — скромная дочь отшельника (рассматривается иной вариант космоса, устройства вселенной), выросшая в заброшенной обители и принужденная носить грубую мочальную одежду, она похожа на цветок, полуприкрытый пожелтевшим листом.

Что это значит? Ведь лист тушется перед лепестком цветка, и сам лепесток, по «Метаморфозу растений» Гёте, — есть превращенный лист. А тут мертвые хватают живых: прошлое, старое навалилось на будущее — лист полупридавил цветок. Но в бытии существует и такой уровень организации: когда солнца стесняются, и мир — «природы вековечная давиленья» (Заболоцкий). И космос в таком варианте тоже правомочен и должен быть представлен и как вариант женской красоты, что мы и находим в «Осени» Пушкина и в героинях Достоевского.

Она — скромная дочь отшельника? Отшельник = отошедший от центра — города, мира — в бок: и солнца там косые лучи падают (как верно: в России, в Петербурге), а не жгут прямо вертикально (Агни). Это периферия воплощенного бытия (=суэты центроземных воплощений, зачатий и творений), зато ближе к вселенскому бытию и холоду, к равнодушию нирваны.

Румяна, помада для губ, душистые мази, мушки и красный лак для ног должны увеличить девичью прелесть.

Косметика — недаром того же корня, что и «космос». Это его дублирование в микрокосмосе: показ, что есть в человеке, сего угад, так что он подчеркивает рельефы и черты бытия: красное в себе, в теле — краснейшим из окрестного мира: там его находит и точно на намекнутое бледным цветом в теле — накладывает.

Ну да. Что есть женское охорашиванье? Это письмена и художество по своей болванке: холенье формы. Открыта красота изгиба бровей, присущее ему очертание — ура! узнала свою суть в этой точке! — так оно, ликуя — эврика! — еще праздничнее прорисовывается.

Все формы и линии — барельефнее одеждой выявляются

<sup>2</sup> См. комментарий А. Я. Сыркина к кн.: Чхандогья упанишада. М. 1965, с. 163.

(бюстгалтеры, корсажи и фижмы в Европе), «чертами и резами» проколов серьгяных и т. п.

Как детям для раскрашиванья рисунки — так и тело нам дает природа как подсказ и стимул цветовой и формотворческой фантазии.

И косметика — это доклад мой, насколько я познал подсказ мне природы, данный в моем теле: какие цвета, линии, формы должно мне найти и извлечь из окружающей природы, где они в рассеянном виде, — чтоб навешать на данные мне в теле моем подсказы. Так что это — высокое дело познания бытия вместе с самопознанием и самотворением.

Краски — в камнях (ляпис, киноварь), в травах (индиго — от «Индия» — недаром из зоны косметики индийское понятие в Европу зашло). Выволоки оттуда на свет божий и на лик свой нанеси, где все пространству, небу и свету оче-видно.

Но не только формы и цвета — краски: еще запах к запаху льнет и уловленный легкий аромат тела, той или иной его складки, подчеркивается сродными мазями — маслами — жирами — жарами — огнями (ибо запах — дым, воздух от огнеземли; значит, тоже огнистой природы), из внечеловечьих существ — пере-рождений природы — берется.

Косметика — установление братства, всесимпатии и взаимопонимания меж травой — и бровью, цветком губ — и нектаром чашечки цветовой. Это метафизическое дело отождествления меня с миром и членов моих — с другими участками-частями бытия.

Это непрерывные переносы, метафоры, связи, воссоедине-ние — ge-ligio.

Поэтому у женщин это культ и обряд. И именно им довере-но Вселенною это дело: внутри себя телесного познания.

Им косметика — как молитва Брахману. Талант телесной ин-туиции, одной формы бытия к другой, немое влечение и срод-ство — на их, женский, угад бытием доверено.

Вот нанесение мушек, пятен — это ж утверждение точек опо-ры, центров, светил и планет — в рассеянном бытии. И потому мушка священным знаком является — как знаком Зодиака.

Но это недаром «мушка» — от мухи. Мухи и суть такие пор-хающие точки, потенциальные центры, а пока не уловлены, не поняты — на периферии в Броуновом движении пребывают.

**Но никакая косметика не в силах помочь девушке, если та влюблена** (т. е. отходит от своей самодостаточности, централь-ности, равновесия — и тянется, т. е. ощущает себя половиной, полом, осколком бытия. Влюбленность — это космос в потенции движения, перехода).

**По целым дням сидит она одна, закрыв лицо руками**, т. е. устроив себе ночь, заявив, что она теперь адепт ночи, свет — не для нее, ибо свет — сам есть движение и ему нужны самост-ные, неподвижные, устойчивые формы, чтоб по ним прокатывать-ся, созерцая их, связи-нити лучей протягивая. Ну еще — как

дрова огню. Здесь же самодвигаться восхотелось: и тогда уж из ипостасей огня — не свет, а жар заливает и выпадает.

**бледная** (без света — цвета, от них отлученная), **с вздрагивающими губами** (= лепесток, чашечка цветочная засамодвигалась), **вся в поту**,

Вот: жар — вместо света; и если свет-луч утром, прокатываясь по миру, собирает и сушит извне капельки росы, то огонь внутренний, жар, сушит космос изнутри — душу, капли вовне, на кожу — на периферию тела выдавливая и изгоняя.

Что есть пот?

Если по индийской космогонии огонь — Агни нашли боги в водах, молнию — в тучах, то есть искру — в капле, то пот есть капля, отсоединенная от искры, результат диссоциации первостихий, когда они отшвырнулись друг от друга. Потому потливый — несчастен, жалок и импотентен, воды его бессильные, огня лишены: огонь не с ними, а сам по себе нутро жжет.

**увядая от любви, как жасмин на морозе.**

От любви увядают — неразделенной. Когда же соитие — то именно семя, как капля-искра, огневода, восстанавливает нарушенное в поту предвосхищения равновесие огня и воды в мире — и устанавливает искомую — исходную (она же — конечная) гармонию.

Мороз, который, как и пот, тоже надо исследовать, есть агрессия воздуха на огонь и воду: мороз убивает горение и замораживает каплю — превращает ее в землю-лед. Жасмин-цветок, лучик снизу вверх, как язык пламени вырастающий, — вянет на морозе, т. е. опадает сверху вниз — из-за того, что воздух не поддерживает огонь, из-за разлада стихий.

Итак, неразделенная любовь = нарушение мирового порядка, лада и склада бытия: все стихии начинают отворачиваться друг от друга, идти в разброд. Так что соединить влюбленных<sup>3</sup> есть не только дело их лично-личного удовлетворения, но и метафизическое дело приведения вновь стихий космоса в равновесие и гармонию друг с другом.

В «Кама-сутре» — книге наслаждения, написанной не кем иным, как брахманом Ватсьаяной, любовь понимается так, что в браке людей совершается космическое дело, и потому совместимость тканей должна быть выверена и по звездам: учитывается положение Солнца **в знаке Зодиака, благосклонность звезд и счастливые знаки на теле**<sup>4</sup>. Значит, звезды фиксируют-

<sup>3</sup> Это необходимо по сюжету индийской драмы — в отличие от русского сюжета, требующего их развести в разлуку вечную: чтоб психически усилить — хотя бы неудовлетворенностью — потенцию энергий («В разлуке есть высокое значенье» — Тютчев) в и так уж замороженном, мало энергетичном русском космосе. В индийском же космосе — преизбыток энергий, рождающих и творящих, так что незачем еще усиливать их людской неудовлетворенностью-взрывчатостью, и надо вовремя преизбыток сил спускать, а не стимулировать недостаток потентности — как в России.

<sup>4</sup> The *Kama-sūtra of Vatsyaṇa*. L., 1963, с. 82. Далее приводится только страница данного издания.

ся на теле нашем — на каких-то его изгибах, складках, пятнах. В мире слов и звучаний тоже должно быть взаимное соответствие: «Девушка, которая носит имя одной из 27 звезд, или имя дерева, или реки,— считается недостойной, так же как и девушка, чье имя оканчивается на „р“ и „л“» (83).

Соединение их происходит — как химическое: надо приготовить, очистить и выдержать по времени вступающие в связь элементы: «В первые три дня после женитьбы девушка и ее супруг должны спать на полу, воздерживаться от половых удовольствий и есть пищу, не приправляя ее щелочью или солью» (85). Ибо они деревянят кровь, а она должна быть у обоих максимально размягчена, чтоб могли друг к другу притираться, сплавляться в диффузии. Соль же и щелочь, добавленные в раствор нашей жидкости, под током и напряжением Эроса могут вызвать нежелательный электролиз и распадение тканей. А то, что на полу,— это чтоб ближе к земле, максимальная заземленность была обрушившихся на них из атмосферы электрических токов космических притяжений: звезды — к отметине на теле. Ибо через мое соитие с нею не я один (я — лишь проводник и доверенный), но стихия со стихией в связь и взаимопроникновение вступает, «и звезда с звездой говорит». И они ревниво и заинтересованно относятся к тому, что происходит между нами, их временными поверенными. И нам их должно уважить и помнить об их в нас интересе. «В следующие семь дней они должны купаться под звуки приятных музыкальных инструментов» (85). Они настраивают себя в резонанс со строем бытия, которое благословляет их водами и звуком. При любой свадьбе огонь должен быть принесен из дома брахмана, «ибо таково мнение древних авторов, что брак, торжественно заключенный в присутствии огня, не может быть потом разорван» (99). Огонь — сплавляет два элемента.

Прислужницы охлаждают ее ложе влажными лепестками лотоса (как роса землю ночью), но все же ночью ее ждет бессонница (тоже нарушение порядка в космосе). Если ей удастся задремать, от любовного пота с ее ног стекает размягчившийся лак (180) (т. е. она спит, но Эрос в ней не дремлет — «враг не дремлет»: и недаром в русских бабах толкование есть, что это враг, лукавый искушает).

Вся косметика стирается в соитии: помада, мази, ретушь. Значит, они красота — для статического состояния мира. Когда ж космос в движении,— вселенская смазь устанавливается. И, вместо красоты, дорога энергия, сила.

Некрасив, стекает лак с ногтей ног — а на что он во тьме-то и ночи, при тесном контакте осязаний? Лак — на свету смотрится и на расстоянии, при недотроге.

Итак, в любви, в движении — безобразие устанавливается: стирается косметика — космос в хаос, в тартарары летит, пред бытием тушуеться,— иначе гордый и красивый.

**и развязывается пояс,**

Как радуга организовывала пространство — надвое его деля, так пояс был организатором аморфного бытия. оно было подтянуто, как подпругой, и в нем были различия установлены. Теперь — распушенность, т. е. расхристанность — исчезновение Христа, Логоса, границ-граней, форм, делений, различий. Живот-жизнь не подобран, выпускается лоно: свое забирать и заглатывать в миру.

Пояс=экватор тела, уравниватель, стабилизатор. (И полярный белый воротничок — тоже «пояс».) Но он нужен не для Бытия, а для особи: ее в самости и отрыве содержать. Когда же вступает в свои права Бытие — все особи плывут, самости растекаются, переливаются — и долой пояса-перевязи-портуней-коновязи. Бытие теперь — абсолютный коновод.

она гяжело дышит (дыхание — сама легкость, взлет: тяжелое дыхание — это земля-воздух, оземление воздуха, духа, перехват, перепоясанье) и прижимает к груди руки.

Се — короткое замыкание: сама себя обнимает, свои руки здесь эрзац, замен мужских: в объятиях половины-половинки, сливаясь, образуют целое. Здесь же уродство: половинка на себя замыкается, и часть — целое изображает, что есть нонсенс, и в сем вожделении взбесившаяся половинка блуждает, допуская еггог — ошибку логическую в понятии — поятии.

В мечтах и во сне она слышит знакомый голос и видит того, кого любит. Ей снится, будто он преследует ее, убегающую, и, настигнув, крепко обнимает, прикасается руками к ее волосам и после приподнимает ее опущенное вниз лицо для поцелуя, отчего ей и страшно и радостно. Но проснувшись и убедившись, что все было только сном, она лишается чувств (181).

Когда солнце-свет закатывается — что с ним происходит? А вот то, что во сне у нас: погоня, захватыванье; лик за волоса=лучи распушенные прячется, заходит, и в нутри нашей, в сновидение сгущается на ночь бытие солнца.

Любовная игра наша и есть ночная жизнь солнца, его прокатыванье по небосводу, погоня, задыханье, темпы — ритмы разные. Любовною игрою мы и поддерживаем ночью силу — огонь мира живым, выдавая из себя тот жар и пыл, что днем впитали с лучами солнца-света. Космотворно любовное трение, как дощечек — плоскостей, Агни, согласно гимнам Ригведы, добывающих.

И Н. В.: литературная поэтика допускает изображение соития не реального, а сна-соития (ср. сон Татьяны у Пушкина). Оно и явлено во всех своих деталях — и в то же время нет, ибо не происходит в реальности. Но словесное бытие оно уже получило; а для слова — для поименования — все равно, что вещь в реальности, что во сне.

Во сне этом космическая погоня: как ночи за днем, солнца за луной — отражена. Опущенный лик в волосах (у героини индийской драмы) — это луна во тьме, образуемой волосами-покрывалом. Он, что преследует, хватает, — это перун-палец-фалл

луча жаркого. И женщина в любви = запрокинутая луна, тайны и света и волос своих (тайны тьмы ночной) лишенная.

Выдраить бабу-луну-тьму надо, чтоб свет и утро наступили; и недаром заря встает как выдраенная женщина: и индийская Ушас, и эллинская Эос, и румяная Аврора романская — все помолодевшие, освеженные, раскрасневшиеся после жарких ночных объятий.

Так что заря — та же луна и ночь, другая ипостась женщины, женского начала в бытии. Луна, лишенная оболочки, растекается аморфным светом зари. А волосы ночи становятся полосами лучей.

Но заря одновременно и жаркая любовница (Ушас в гимнах Ригведы толкуется как танцовщица, баядерка), и девственница — предтеча что ли откровенного света солнца? Но ведь и наоборот: луна — Диана, девственница, а заря — она же кроваво-красная, уже девства лишенная.

Так что мистерия большого метафизического тождества пребывает в заре, как стыке луны и солнца, ночи и дня. Здесь и конец, и начало: конец, тут же оборачивающийся началом, блудница — девой непочатой и непорочностью утра.

Весной в саду при храме бога любви, в старинном парке с изысканным названием «Корзинка цветов» или в простой беседке из диких лиан (=переплетенность рук, ног и тел — бесстыдно дневной подсказ природы и образ объятия), где обычно проводят знойный полдень молодые отшельницы, встречается девушка со своим возлюбленным, бледная, как слоновою костью, с осунувшимися щеками, похожая на нежную мадхави, когда ту обожжет сухой ветер.

Значит, цвет и влага должны войти в мир — как мессии, спасители: для них вакуум создан. И весна, кстати, в Индии — сушь в отличие от Европы. Ожидается сезон дождей летних. Весна — малокровие мира, лейкоз его.

Ее глаза то широко раскрыты и неподвижны под приподнятыми бровями, то закрыты, как бутоны;

(Глаз, действительно, бутон, когда закрытый, и цветок — открытый. А мигая, мы мгновенно эту собранность-разверзтость — производим.)

их взор томен, долог, полон изумления и ласковых улыбок. (Улыбка — зев: «на!», приглашение, зазывание, открывание двери рта-лона; это — засос. Первично хочет в Индии женщина, водо-земля. Вожделение мужского начала — огневоздуха — вторично, производно.)

При всей своей скромности обычно героиня первая дает понять любимому свои чувства. С этой целью она то посылает к застенчивому юноше свою наперсницу, то ногтем на лотосном листе, мягком, как брюшко попугая, пишет любовное признание (ноготь — в лотос и брюшко = фалл — в лоно; это письмо-идеограф, пиктограмма-предварение, подсказ и призыв: она сообщает и научает его, чего хочет), то, несмотря на ливень, приходит

в дом возлюбленного, с грудью, увлажненной дождевыми каплями, стекавшими с цветочной ветки кадамбы, ее головного убора.

Ливень — соитие неба и земли, и приход ее к нему в ливень — тоже подсказ, что ему делать. Капли дождя на ней = капли мирового семени. Она приходит к нему сладострастная: ее уже поимел бог и теперь очередь за человеком.

И только опытный в любовных интригах царь сам находит удобный случай подойти к девушке, которую он любит, хотя бы для того, чтобы осушить своим дыханием свежий, еще не высушенный лак на ее ноге.

Здесь — любовное перепутыванье верха-низа, творение пространства: голову к пяте наклонив, женщину через сальто с низа, ей присущего, в воздух приподнимают. Лак сушить — как росу лучом пить.

Окружающие оставляют влюбленных, подыскав подходящий предлог: то им будто бы надо отогнать от дерева лань, объедающую молодые побеги, то будто они должны отвести заблудившуюся молодую газель к ее матери.

Лань, газель — это сонмы возможных прежних и будущих перерождений девушки в бытии стекаются, чтобы дать космическое добро и усилить любовное соитие: ею и лань и газель зачинают.

Вся в жару, совсем больная, когда девушка впоследствии переживает в мечтах эти минуты свидания, она испытывает облегчение, как раскаленная земля в дождь. Тогда ее вздрагивающие губы полуоткрыты, по щекам с приподнявшимся пушком — признак страсти — текут слезы радости, обращенные вверх зрачки почти не шевелятся, капли пота, густо выступившие на челе, придают ему сходство с серпом луны, сочащейся нектаром. Видя такую внешность, многоопытная наперсница начинает подозревать, что ее подруга уже не девушка. Позже кто-нибудь из близких может заметить, что ее лицо стало бледным, как плод лавали, все тело утратило прежнюю гибкость и упругость, что указывает на беременность. Здесь недалек и исход пьесы, неизменно благоприятный: разгневанная соперница усмирена, уничтожены козни разлучницы-колдуньи, искуплено роковое проклятье оскорбленного странствующего монаха, — и любящие соединяются (182).

А в «Шакунтале» так: «Вот юная отшельница в саду, преследуемая пчелой. Автор не забывает упомянуть, что пчела вылетела из цветка жасмина после того, как на нее попала капля воды из поливальницы, и затем следит за каждым ее движением: как она то касается дрожащих ресниц девушки и нежно жужжит (дрожь ресниц = жужжание пчелы), словно нашептывая ей какую-то тайну, то впивает сладость ее губ, и как девушка, очаровательная в испуге, не пропускает ни одного поворота назойливого насекомого, нахмурив брови и будто изучая для будущего приемы кокетства» (183).

Итак, у пчелы девушка учится кокетству. Пчела же любовно облетает, обхаживает девушку.

Вообще, при мировоззрении перерождений — шире рамки и понятие жизни: пчела, цветок — живые существа, переходимые в людей, и ничто не мешает пчеле и девушке быть влюбленными друг в друга и серьезно относиться к ухаживаниям.

Вот в «Шакунтале» описание летнего дня: **«Посмотрите на легкие пучки тычинок, их целуют на лету пчелы; нежно плетут женщины венки из цветов шириши»** (184). Пчелы и женщины — соперники в обхаживании цветов шириши. То есть, не только себе подобные понимают друг друга (человек — человека), но и не подобные влюбляемы связуемы. Отсюда художественная тонкость индусов, японцев в отношении к естественной природе: букет, сад — это тоже любовное священнодействие.

Жизнь плотнее облегает, там нет бездушности, — тогда как в Европе, в России велик зазор пространства между живой душой человеческой одной — и другой (Сосна и Пальма Гейне: голость меж ними. А по индуизму меж ними — пчела, травы, облака<sup>5</sup>, ветры — все напоено душевным существованием разных индивидуальностей — существ).

Вот, например, кабан — космическое событие: пожар.

В драме Кшемишвары «Гневный Камшика» к тоскующему царю является лесной житель и сообщает, что появился необыкновенный кабан. **«Все десять стран света наполнил он приятным запахом корня мусты, который он раздавил своим рылом. Его уши сердито торчат вверх, так как ему неприятен львиный рев в лесу; язык его свисает вниз и, болтаясь, кажется пламенем, колеблющимся на огне его ярости. Он напоминает лесной пожар, все сильнее и сильнее разрастающийся. Его ошестинившийся затылок, как пучок молний, у него туловище темное, как сапфир, как сажа, как листья тамалы. Он мечет вокруг сверкающие взоры кровавовоспаленных глаз, и эти пламенные глаза на черной морде как последние искры потухающего костра. В его пасти страшные клыки, блестящие как стебли лотоса»** (183—184).

Да это же — Агни, сам огонь во множестве ипостасей: лесной пожар, пучок молний, потухающий костер. Если бы ему воплотиться в одно животное, он, верно, и был бы таким кабаном: животное лесное и яростное, стремительное; это — горящее дерево, огнеземля, ярость и треск их соединения. И на туловище животного в разных точках-членах тела живут разные варианты огня: во рту — язык свисающего вниз пламени, колеблющегося на ветру (=дыхания); на затылке — пучок молний; туловище — уже сажа, выгоревший огонь; искры потухающего костра обретают себе место в глазах. Так что портрет кабана — это как если бы на одном листе бумаги нарисовали рядом лесной пожар, костер, пучок молний — и обвели это все одной линией, очертив существо. Описание кабана — описание Агни, об-

<sup>5</sup> «Облако-вестник» — поэма Калидасы.

шего понятия огня, как если бы он стал животным: куда б делись его варианты и какой бы вид обрели в членах животного тела.

Что же касается ландшафта, пейзажа в индийской драме, то в сравнении с ним в Европе, в России — много воздуха, простора, фона и мало предметов, существ. Часто один — на фоне мира (портрет). В Индии же — загроможденность: деревьями, формами (горы), животными — не продохнуть (как Кавказ в русской поэзии или мир в «Казаках» Толстого). Запахи, цвета, звуки — душно. Набитое жизнью бытие. Обильны перечни названий пород деревьев, животных: «Горные леса из сандала, ашвакарны, сосны и паталы в окрестностях Падмавати, благоухающие малурой... В Бхавабхути эти глухие дебри, орошаемые Годавари, нашли своего вдохновенного певца. Он прославляет их необозримые пространства, тонущие в фиолетовой полумгле, непрерывную смену (толкотня в ступе бытия!) их священных прудов, пустынь, утесов, ущелий и непроходимых чащ, зеркальную водную поверхность на дне глубоких оврагов, их отягощенных сном пифонов и жадных ящериц. (Нигде нет неба, воздуха, простора, чтоб —дохнуть. Из первостихий как раз воз-духа недостает в природе Индии, и потому деятельность людей там в эту сторону устремляется: воз-дух в мире творя и расширяя=духовную культуру). Он любит их густо тенистые леса, черно-синие, с блестящими тонами павлиньих перьев, то неподвижные и безмолвные, то оглашаемые водопадами, которые низвергаются в глушь темных эвгений, гнущихся под тяжестью своих плодов (таково и все преизобильно-кишащее жизнью бытие в Индии), и потоками, катящими прозрачные, пропитанные запахом тростника воды, где режутся веселые стаи птиц. С восторгом он говорит об их горах, похожих издали на облачные венцы...» (185—186). И небо-то стеснено облаками, тварями — не есть простор, а кишение звезд и прочего. Простор вошел в существа: хрупкая навамалика прозвана «Лунным светом в лесу» (187). И в этом — точное обозначение космической родни, модели, парадигмы данного растения.

Итак, быт в древнеиндийской драме, взятый в контексте индийских умозрений, — метафизичен, бытийствен: через него Бытие просвечивает.

19.V.1968

Книга вторая

СОПОСТАВЛЕНИЕ  
ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ  
СИМВОЛИКИ

*(по поэме Асвагоши „Жизнь Будды”),*

или

БУДДИЗМ—  
КАК ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ





Предстоящий разбор — не научно текстологический (он и невозможен, так как делается по переводу), но призван выявить образно-ассоциативную вязь поэмы, что тоже затруднено, но все же возможно. Если припомнить принцип дополнительности, работающий в современной квантовой теории строения вещества, то первый подход, точно-точечный, исходит из предположения об устройении всякого бытия — как частицы, а второй — как волны. Некоторые — и глубинные — сущности схватываются лучше не точным (претенциозно-рассудочным и однозначным) стилем мышления, но приблизительным, как бы заранее согласным на свою немощь и неадекватность. Тут каждое явление, понятие (вернее: «понимание») берется как поле (а не точка) возможных смыслов, и ум работает «мыслеобразами» умозрения, а не жесткими терминами.

Замедленное, въедливое чтение поэмы Асвагоши, которому мы предадимся на этих страницах, имеет еще и тот смысл, что даст читателю шанс промедитировать это великое произведение индийской культуры, которое у нас пока — на правах библиографической редкости.

*30 апреля 1988*

• • •

Если в области искусства, поэзии Запад и Восток неплохо понимают друг друга (достаточно напомнить «бродячие сюжеты», что, родившись на Востоке, пристранствовали в литературы Западной Европы и России и там хорошо прижились и многое оплодотворили), то в науке, естествознании расхождение сильнее<sup>1</sup>.

На правах аксиомы тут ходит, что собственно наука, естествознание — дело Запада, а Востоку присуще лишь религиозно-поэтическое переживание и освоение природы.

Однако применение натурфилософского языка четырех стихий и тут позволяет обнаружить общую основу под научным естествознанием Запада и религиозно-поэтическим мышлением о природе на Востоке, а уже на этой основе явить и взаимопонятные различия. Эта работа и осуществлена в нижеследующем очерке.

Читая буддийское евангелие — «Жизнь Будды» Асвагоши, я отчетливо почувствовал буддизм не просто как нравственный закон людям, но как космический закон всем существам, определенно упорядочивающий вселенную — типа того *ṛta* (*рита*), что в гимнах Ригведы поддерживает строй в бытии. Последовательно ощупывая текст, попробуем в итоге вырисовать мироздание по-буддийски.

Подлинник санскритский мне недоступен (по незнанию языка). Но и вообще поэма больше известна в переводе китайского буддийского монаха V в. н. э. Дхармаракши<sup>2</sup>. С этого списка сделал перевод К. Бальмонт, приложив также четыре главы (1, 2, 3 и 13-ю) в переводе с санскритского<sup>3</sup>.

Начну рассмотрение с них и продолжу уже по Дхармаракше.

6.VI.68. Попробуем смиренномыслие. То есть: начинаю я работу, писание: «Буддизм как естествознание» — выяснять буду это, комментируя Асвагошу — «Жизнь Будды». Но не беру больших листов, где обычно раззявился на «я»-писание: входил в раж и самолюбовался, как источающий мысли. А беру ученическую тетрадочку, ибо поучаться, читая, намерен. А если что и своего напишу — то как себе уяснение и толкование.

---

<sup>1</sup> Достаточно напомнить полемику между учеными из европейских стран и стран Востока, развернувшуюся на конгрессе историков науки в Токио в 1974 году.

<sup>2</sup> Ред.: Это не совсем так. Китайский перевод оценивается исследователями как довольно поздний и ненадежный. Ученые опираются на санскритский подлинник поэмы, хотя он и не сохранился полностью. Самое фундаментальное исследование и лучший на сегодняшний день перевод поэмы на европейский язык принадлежит Е. Х. Джонстону (см.: Jonston E. H. *The Buddhacarita or Acts of Buddha*. Lahore, 1936).

<sup>3</sup> Асвагоша. Жизнь Будды. Пер. К. Бальмонта. Изд-во Сабашниковых. При ссылках на это издание далее указываются лишь страницы.

## 1. Рождение

Тот Просветленный в песне здесь прославлен,  
Что не имеет равного себе,—  
Кто, счастье верховное даруя,  
Превыше Созидателя — Творца,—  
Кто, прогоняя тьму, сильнее, чем Солнце,—  
Смягчая зной, пленительней Луны. (279)

Хотя такой панегирик возможен в Индии всякому богу и герою, который становится в центр внимания, однако и это не без значения: что в принципе индусскому уму допустимо Солнце, Луну и Творца принизить, как периферийных, когда некое существо ставится в центр и фокус лучей мысли и слова: ценность и цель бытия преходит, подвижна, переносна, нет жесткой закреплённости и иерархий существ — возможен сдвиг. Вот родился некто. Но ведь и Солнце рождается каждый день молитвами брахманов, и ничем, в этом смысле, сего существа не выше.

Но в применении к Будде эти обороты, вроде гиперболы, имеют смысл не условного слова, а точного фактического его измерения и определения. Ибо Буддой, как увидим далее, унижен верх мира: Небо и боги — и узурпирована светильность: сам он — Просветленный, самосветный, Солнцем и Луной становится, перемещая средоточие света из выси в центр бытия.

Приглаждая теперь, в каком природном контексте, ландшафте как сочетании стихий, в земно-читаемом гороскопе возникает это существо, из чего сплетается его состав.

Был город, место Капилы святого;  
Высоким плоскогорьем окружен,  
Он также был объят узором горным,  
Как если б это были облака,  
Их тонкий очерк,— сам же он, с дворцами  
Парящими, взносился в Небеса. (279)

Итак, город-венец, город-корона в зубцах гор, в кружеве облаков — весь как бы филигранно выделанный бытием — как лоно для особого рождения. Что он лоно, это есть: он ведь — котловина. Но лоно все предельно просушенное: нет паров, влаги, ароматов, пахучести — землей и не пахнет. Явно, не земля из четырех стихий будет рождать: на ней лишь разместится что-то. И облака-то какие-то не парные и влажные, а свет и белизну призванные явить: облака-то и не всамделишные — то горы белоснежные. Итак, если лоно земнородящее — глубь, пещера, море-окиян, то здесь оно предельно выпяченное вверх.

Выходит: как небо (и высь) во входном в поэму панегирике снижено, так и в описании места рождения земля, низ мира, вознесена вверх, ее тяготение полупреодолено. Бытие стягивается к своему центру.

С развесистостью праздничных деревьев,  
С возвышенностью сводчатых ворот  
И с башнями высокими своими  
Тот город каждым домом светел был

И, не найдя соперника здесь в мире,  
 Соревнованье лишь в себе таил.  
 Здесь Солнце, даже на ночь удаляясь,  
 Не в силах было лица победить  
 Красивых, луноликих, стройных женщин,  
 Пред кем стыдиться лотосы должны,—  
 И, словно разгораясь в бессильной вспышке,  
 Шло в свежесть вод, в закатный Океан.  
 «Тот Индра совершенно уничтожен  
 Народом, засветившим блеск такой,  
 Приобретенный знатым родом Сакья»,—  
 Так город, весь в знаменах, возвестил.  
 В ночи превыся нежность водных лилий  
 Сиянием серебряных шатров,—  
 Днем город был — один блестящий лотос,  
 Сменивши Солнцем бледную Луну. (279—280)

Неважно, что полно здесь условных поэтических оборотов, важно, что таковы именно в Индии эти традиционные обороты. Город — лотос: разворачивается мотив лона, ибо одно из значений лотоса — образ женского начала. Но опять светоносность и сухость, выделанность космоса подчеркнуты (Луна, Солнце, серебряные шатры) — чуть явилось естественно-природное: «развесистость праздничных деревьев», тут же уравновешено искусственно-цивильным: «возвышенностью сводчатых ворот»; да и деревья — праздничные, т. е. социальностью блестящие.

Самородный свет («самоцветный блеск») — вот что подчеркнуто городом, и Солнцу естественному здесь нечего делать: оно — варвар здесь и стыдливо уходит в варварский же океан. И Индра — громовик-перунец совсем не нужен оказывается: отменяются стихии бытия в первичных своих ипостасях.

И вот уже важный вывод: буддизм — цивилизаторск, т. е. с бытием уже выделанным (как шкура зверя) имеет дело — с городом, а не крестьянством: оттого так не слышит он запахов плоти и вожделений земли и так унижает женское живородящее начало. Вообще его главный враг — это неупорядоченная плодovitость бытия, земли в первую очередь, вообще неисповедимость всякого рождения: что существует в бытии такое учреждение, такое заведение, что в необузданной хаотической мощи может затоварить, загроздить вселенную и забить существами, телами воздушное пространство, так что не продохнуть, и нечего делать будет цивилизации, уму, труду людскому, не шевельнуться от спирающей со всех сторон плодovitости природы.

И вот первое заявление буддизма о бытии: в нем не должно быть именно природы, стихийного акта рождения, а если и возникают существа, вещи (хотя всякое прибавление к бытию нежелательно), они должны, во всяком случае, не рождением создаваться. Потому, кстати, нелепо было бы применять термин «космогония» к буддийской картине бытия, ибо -гония = рождение, а буддизм именно, как абсолют, выдвигает требование прекратить цепь рождений.

Итак, ипостась космоса, с которой имеет дело буддизм,—

иная, чем та, что в Ригведе. Там — просторное, не стесненное бытие, где только еще плодиться да размножаться надо существам и людям, и потому о плодородии молят, об умножении, об изобильном прибавлении к бытию. И люди — не в городе, а на просторе природы, прямо под небом жертвенную солому растилают и зовут богов на сому и вместе сообщаются с ними: с грозами, с ветрами, с солнечным лучом, с космическими водами мирового океана — Варуны и т. д.

В буддизме бытие — уже явно притесненное своим преизобилием, спертое, тяжело ему дышать и повернуться и взвидеть свет: ибо кругом существа кишмя кишат, спирают. Нужна прочистка — не коренная, а именно центральная<sup>4</sup>: не низа, но середины, сердца, духа, а человеку — задуматься: зачем так он суетится? желает чего? цели-то его каковы?

В Ригведе человек — ненасытное чрево и вакуум: все желает и просит и умоляет дать ему; беда понимается лишь как неудовлетворение богом желания человека, неисполнение просимого, молитвы. Человек здесь — великий попрошайка, и не задумывается, что это стыдно может быть, и в желаниях своих не приходит ему на ум даже разобраться: может, есть дурные желания, об исполнении которых и молить-то не следует.

В космосе буддизма явна сытость бытия, перенасыщенность его раствора, так что его надо прореживать (как изобильно посаженную морковку). От тесноты и зуда взаимных касаний, контактов, претензий, микрожеланий страдают теперь люди города и цивилизации. Но ведь ты этого хотел, Жорж Данден! Сам выманивал это преизобилие у ведийских богов. И ловил их — чем? Жерлом желания. А ведь не сосед твой — источник беды и боли твоей, а то, что ты от него чего-то хочешь, к нему как-то относишься. Так что желание твое — первейший враг твой, выводящий тебя на связь и впутыванье и в зависимость от всего.

Итак, отвратительно желание, а с ним молитва — попрошайничество (в буддизме нет культа молитвы, жертвоприношения — этой сделки с богами по принципу: *do ut des*<sup>5</sup> — когда на крючок и червячка жертвоприношения сомы или быка ловят большую рыбу: урожай, сына, победу); и вообще тут всякая йога — связь с высшими силами, с кем-то другим, чем я, ощущается именно как иго — всякая потребность в чем-то, даже в соединении с Брахмо: ибо они — тоже стремление, желание, вожделение, что суть варианты пут и несвободы (буддизм оттого и не приемлет Бога и Высшее начало). Нет: ослабление, замирание активности, паралич — и покой и Нирвана вот они, здесь, при тебе: выколупи лишь их из-под пут, желаний и связей.

И сгущение энергии бытия теперь требуется именно на торможение, на приостановку разогнавшегося, расходившегося ходящим прибавления к бытию, осуществляющегося через рожденные ли, труд, искусство и т. д.

<sup>4</sup> Ибо «корень» растением дышит, -гонией чреват.

<sup>5</sup> Даю, чтобы ты дал.

И направление энергии — всясть, повернуть колесо. Но где и как набрать силы на этот акт — чтоб бытию своего коня на скаку остановить?

Вот это космическое нахождение точки опоры для самопереворачиванья и набирания мирового энергетического кванта — и совершается в рождении и деле Будды.

Город и царство, где Будде явиться, — это насыщенное счастьем бытие, где преисполнены все желания, где они не шелохнутся: такой стоячий здесь мир и воздух, как в котловине меж гор, как оазис в пустыне. Все, чего могли бы желать люди и как им жить по ведийским запросам, — здесь осуществлено при жизни, и нет надобности молить о переселении в высшее небо, в «третий шаг Вишну» — к чему? когда блаженство уже есть здесь и теперь.

Значит, уже здесь — космос покоя, остановленного бытия, заторможенного. Но пока это лишь поверхность и затишье, ибо энергетический импульс — стержень рождений-смертей не убран (подспудно шевелятся его жернова), а стыдливо прикрыт — для незамечания.

И хотя утопичен отец Будды — царь Судходана: ведь он попробовал продлить эту приостановку бытия и на время вырастания царевича — окружен он был только прекрасным, убраны были из поля его зрения всяческое зло и безобразие мира: болезни, смерть, — но благо этой отцовской утопии, ибо вскормлен, выдержан оказался будущий Будда именно в статическом бытии, и когда ему открылось его движение: увидел больного, старого и мертвого, — он был достаточно уже укреплен в идеале статического бытия — совершенного покоя, чтоб оказаться в состоянии устоять перед нанесенным ему первотолчком мирового движения и переменчивости — и пойти вопреки потоку и Гераклитову течению, покорно-унылому: «все течет, все изменяется» — и воздвигнуть непременный столп и утверждение истины, как ось непреложности в бытии.

Что Будда не для людей только, но для Космоса возник, когда ему пришла надобность в такой сущности и силе, — очевидно из зачатия.

Его мать — Майя. Мāуа в Ригведе слово двузначное: означает способность перевоплощения, многоликость богов; и она же — иллюзия, обман, ложь — в контексте демонов, зла. Мир существ — майя, иллюзия, покров — так уже углублено в индийском умозрении. Но Майя — мать Будды, та плазма, в которой его яйцо и семя вырастать должно, максимально прозрачная, бестелесная, лучшая из возможных «майя».

Его супруга называлась Майя,  
Обманности в ней не было совсем.  
...Для подданных была как мать родная,  
К их благу — вся внимательность одна.  
...Поистине жизнь женщин — мрак и сумрак,  
Но, повстречав ее, стал звездным мрак. (281)

Итак, плоть в этом женском (ибо для рождения все же нужно женское лоно) — наиболее опрозрачена, воздушна, просветлена: лишь дымка — пленка — флер один.

«Когда я явлюсь вне восприятий чувства,  
Не так легко народ мне пробудить»,—  
Промолвил Долг, меняя бестелесность,  
И воплотился в облике ее. (281)

Итак, Дхарме — справедливости бытия зачем-то угодно было, понадобилось привлечь усилия людей к миростроительству, к восстановлению закона (ибо, по старинным ведийским представлениям, ритм бытия, устойчивость мира, неба и земли, каждодневный восход солнца зависят от исполнения людьми культа, от верных мыслей, слов, молитв и жертвоприношений) — через усилия людских психик, мыслей и поведений.

Тогда, с Небес ниспавши высочайших  
И радостно сияя Трем мирам,  
Мгновенно наилучший Бодгисаттва,  
Как змей в пещеру, в чрево к ней вошел.  
Принявши лик слона с окраской белой,  
Как снежный облик Гималайских гор,  
С шестью клыками, с ликом благовонным,  
На гибель злу он в лоно к ней вошел.  
...И Майя, хороня его во чреве,  
Как туча вспышку молнии хранит (281)

Вот лишь отголосок хтонических сил: «змей в пещеру» — эротический образ, но он дан в сравнении и тут же заменен белым слонем: это, верно, земля, но надземная, пространственная и световая: промелькнувший было огонь — змей освобожден от жара и взят лишь в ипостаси света — да и то холодного (близна снега). А шесть клыков его — то как фрезы против зла в мире: число «шесть» не животное-природное, а умом-трудом сотворенных форм — ср. шестигранник<sup>6</sup> (кстати, нет его, числа 6, в числовой символике Ригvedы).

Что Майя — туча, а зародыш — молния, — тоже не земнородность, но небесно-воздушно-рожденность Будды являет. Он наслан на воплощение, как комета. И плоть, его рождающая, прозрачна: не земная, а туманность (туча). И когда рождается,

Как только он родился для Вселенной,  
Тысячеглазый Индра взял его  
Тихонько, в сердце радуясь глубоко. (282).

Так же поступают и другие стихии: угодно естеству его явление. Почему? — это нам и надо выяснить, ибо не метафоры то, а выражают «кровную заинтересованность» Бытия в новорожденном законе.

<sup>6</sup> В списке китайца Дхармаракши в I главе «Рождение» читаем:  
«Так Магесвара, полный торжества,  
Младенца шестиликого родивши,  
Давая даянья щедрою рукой. (15)

Родила его царица в саду (среди **дерев**):  
Когда она за ветку ухватилась,  
Тяжелую от пахнувших цветов,  
На свет исшел внезапно Бодгисаттва,  
Из чрева открывая ход себе.  
В тот миг созвездья были благосклонны;  
Из бока он царицы изошел,  
Родясь, дабы достигнуть блага мира,  
Не причинивши **боли** никакой,  
Как Солнце утром разрывает тучу,  
Он был из чрева матери рожден. (282)

Ветка дерева — как нож кесарева сечения; растительный мир — восприемник и постоянный фон жизни Будды: под деревом он получит озарение.

А то, что он исшел из бока, без боли, а не из чрева, — чреват многим смыслом.

Во-первых: без боли — да, но, значит, тем обратно на наслаждение посягнул, ибо лоно женское — центральная точка мировой материнскости — матери — матери-земли — женщины — есть средоточие как мировой боли (на выходе), так и мирового наслаждения (на входе).

А, во-вторых, что значит, что вышел не из центра тела (ибо в гениталиях наших, еще по пифагорейскому знаку микрокосмоса — пятиконечной звезде, — находится центр нашей фигуры), а из бока?<sup>7</sup>

Как из руки рожден владыка Притху,  
Как из бедра рожден был Аурва,  
Как Шива же рожден был из-под мышки,  
А Индра сам родился из чела,—  
Так он чудесным образом родился,  
Из бока безболезненно придя. (282)

То есть, каждый здесь — аутсайдер, разбойник, с периферии, с провинции бытия пришел, а не с традиционного центра, столицы анемичной. Потому и могут они быть демиургами, творить мир, переворачивать земной шар, устанавливать новый центр, ибо со своей точкой опоры в мир пришли, которая расположена в том или ином органе мирового космического тела.

Что значит бок?

Это, во всяком случае, увод от различий: лицо—спина, перед—зад, где резко подчеркнут пол-половинность существа человека; это отворот от ворот пола — и увод в бок, где пол незаме-

---

<sup>7</sup> Ред.: По индийской мифологии, неутробное рождение богов и святых означало, что их миновали родовые страдания (джанма-духкха), в результате которых обычные люди теряют сознательность, присущую зародышу, и вместе с нею и память прошлых рождений. Таким образом появляются на свет высшие существа, наделенные всезнанием.

Введение этих элементов в биографию Будды свидетельствует о приспособлении буддизма к общиндийским популярным мифологическим представлениям. В самом буддизме, насколько можно судить по текстам палийского канона «Трипитаки» («Трех корзин»), мифологизация образа Будды происходит довольно поздно.

тен и не важен и где человек виден не как пол-половинка, осколочек, но выходит, как целое, цель, особь...

И уходя в Нирвану, Будда принимает позу — лежа на боку, руку под голову (много таких его изображений).

А в сидячей позе Будды что в нем совершенно развито и подчеркнуто? — Торс в зоне от шеи до живота, т. е. не верх, не низ, не центр, а промежутки: промежуток между верхом и центром, т. е. периферия *par excellence*.

И так родясь, горел небесным светом,  
С умом, что был очищен чрез века,  
Через несчетность жизней созерцаюем,—  
Как Солнце молодое над Землей. (283)

Акты созерцания ложатся нимбами, светоносными слоями и образуют такую плотность чистоты и света, что становится мировым энергетическим квантом — земным дублером Солнца среди людей. (Подобно этому далее в слове о карме оказалось, что каждое желание, вожделение, поступок рождает тень, что, наслаиваясь, образует плотное, тяжелое материальное вещество кармы — силу заземления, удерживающую существо в круге рождений.)

А уж пора занять среди людей светильник на уровне их, а то верхнее Солнце не справляется: особенно когда город, стены, дом и дверь, и людская теснота, так что люди кругом на тела взглядом упираются. Нужно, чтоб засветилась сама горизонталь, срединное царство, людской уровень бытия, а не все задирает головы за светом вверх: в тесноте людской, в толпе, и головы вверх не подыметь.

«Для высшего я веденья родился,  
Для блага мира,— и в последний раз». (283)

Вот — прекращение движения к цели, ибо родилось существо, которое смеет заявить об исполнении цели, а значит, о завершении = достигнутом совершенстве бытия, которое из раскола становится опять целым. Так в «Крейцеровой сонате» выяснено, что потомство — это лазейка человеку быть несовершенным: дети исправят. А откажись от отлагательства исполнения цели, взвали все на себя — и сразу цель человечества будет исполнена, и незачем и рождаться и продлеваться дальше.

Итак, это рожденное существо — последнее, знает себя таким и встает существованию пределом, иже не преjdeши — и может выполнять роль поворотного пункта и оси, вокруг которой можно будет обернуть бытие — и насадить его, и установить.

А для того плоть его — твердый свет:  
Оправа вся из золота была,  
В подножьи голубел лазурный камень. (283)

Луч — мягкий свет, а золото, самоцветный камень — это кристаллизовавшееся в веществе земли солнце. И как Дхарме, чтоб

явиться людям, надо вотелесниться, так и свету, чтоб разгрести бытие на земле, на земле по-земному говорить, понятно выть, надо овеществиться. И потом в буддийских храмах: золотить бодхисаттву — на то уходят все сокровища.

Изжаждавшись, заждались его стихии:

Великие драконы, что Закона  
Так жаждут, чей удел высокий был  
Служить в кругах времен минувших Буддам,  
Благоговейно на него смотря,  
Ребенка оведали опахалом,  
Струя над ним душистые цветы.

Небо пролило на него воду живую и мертвую, чтоб укрепить и закалить его массажем:

Сорвались с Неба два ключа живые,  
Блестящие, как лунные лучи,  
Горячий и холодный, чтобы тело  
Того, кто несравненен, освежить.

...Пред сыном Майи Боги, преклонясь,  
Смирненно белый зонт вносили в Небо,

— расширяя ему воздушное пространство — главную, как увидим, стихию бытия Будды.

Земля же, хоть оплот ей Гималаи,  
Дрожала, как корабль, что вихрем взят. (283)

Враг Земли пришел — легат Рассеянного Бытия прилетел и воплотился, чтоб навести на ней порядок, и она, виновная, уже от страха дрожит: разгребать твердь ее вещества, карму накопленную будут. Условна, оказывается, устойчивость ее — песчинки в пространствах бытия.

Радуются какие стихии?

Дождь лотосов и водных лилий лился  
С небес и дух сандала нежный шел.  
Пленительно струился тихий ветер.  
Двойной горело Солнце красотой,  
...Забился благодатный водомет.

Воздух, вода, свет радуются. Нет лишь огня и земли. С земли приветливы лишь ее надземные клочья, жители скорее воздушно-го пространства, чем земли:

Растения вне срока зацветали,  
И ветер нес их дух во все концы,  
Жужжали зачарованные пчелы,  
Вдыхали змеи нежный аромат.

Ожидание космоса в радости водомета сказывается:

Влиянием существ, живущих в Небе,  
Мог Будду увидеть тот водомет

И с помощью деревьев, цветущих пышно,  
Благоговенье смог ему явить. (284)

Водомет — бьющий ключ — тоже облегченная, овоздушенная вода (фонтан), а не сама по себе тяжелая, увесистая, как море, река. Недаром его (Будды) брат: дерево — тоже фонтан, и только долгов срок его вздымания и биения. Но оба — жители воздушного пространства.

Далее проводится важная мысль о продолжающемся творении:

Не мог создать ни Бхригу, ни Ангирас  
Тот царственный Закон, что явлен был  
Их сыновьями, Шукрой с Брихаспаги;  
Сын Сарасвати Веду возвестил,  
Что не была в веках минувших зрима. (284)

Презумпция продолжающегося творения и откровения должна быть заявлена, чтоб допустить, что и сейчас, при нас, может совершиться космотворческий акт и установление. Открывается поле для демиуржьи деятельности и Будде.

В то же время всегда должна звучать и мысль, что бытие совершенно, что к нему ни прибавить, ни убавить. И эту мысль призван внедрить в существа Будда. Все до сих пор умножали бытие: «плодитесь и размножайтесь!» Он — прикрыл, довершил творение, дал ему ощутить себя целым, ибо — при чувстве исполненной цели.

Наивные брахманы пророчат младенцу план жизни по старому закону: он будет славно царствовать.

«Когда же вступит он в преклонный возраст,  
Да отойдет, ища спасения, в лес». (285).

Срок дают тому, кто как раз призван отменить время и сроки — и сделает это как раз тем, что молодым пойдет в отшельничество: спутает время и его зоны, так что оно потеряет его след — как ловить и где поймать его, ибо сам по себе значит пору смерти.

Знак колеса на детской был ступне,  
Меж пальцев рук и ног — связь волоконца,  
И светлый круг волос — между бровей. (286)

Существо не от мира сего, как машина-марсианин на колесах, а не ступнях. Подчеркнута идея колеса, круга — как самозавершенности и самоопорности и означена центральная точка — круг между бровей.

А то, что фаланги пальцев не отпущены на свободу, но как бы вновь перепонками-плавниками, как у птиц водоплавающих, прослоены, — означаеткрытие людской загребушести: пальцы-то = зубья для хапанья; ладони, стопы = челюсти. Все это — члены жажды, жадности, недостаточности и агрессии на мир. У Будды же ступня — колесо, т. е. круг, закрытость.

Как волхвы идут поклониться новорожденному Христу, так и мудрец Асита приходит к отцу Будды. В христианстве тот, кто узрел Сына Божия, сказал: «Ныне отпускаеши, Господи, раба Твоего с миром» — и может спокойно умереть. Асита скорбит, что ему еще раз придется родиться:

Мне время уходить, а он родился,  
Рождение уничтожить сможет он. (287)

Странно: в христианстве главная заслуга — смертью смерть поправил, т. е. конец жизни — пункт скрещения сил. Здесь же все устремлено на начало. Но это великая широта индийского мировоззрения — способность отождествить конец и начало и увидеть, что разгадка конца — в начале: смерть можно уязвить и отменить, начав с рожденья. И именно такое представление о населении мира существами: что они представляют собой цепь рождений и перевоплощений, так что смерть во облике человека есть рождение цветком на могилке и т. д., — позволило там удручаться не столько смертью, но необходимостью рождаться вновь и вновь: вечная жизнь — сей предел стремлений западного человека, христианства, — здесь уже дана налицо. Ну и что с того? Отверзается проблема следующего уровня: бытие (а не жизнь: жизнь лишь часть бытия, зона воплощения рассеянного бытия. А что за нею?).

В пророчестве Аситы космопреобразующее дело Будды очерчено.

Свое оставив царство, равнодушный  
К мирскому, правды высшей он дойдет,  
И будет он сиять, как солнце знания,  
Тьму заблуждений Мира озарит. (287)

Знание — есть просвеченность материи, прозрачность тьмы, вещества: нет загадок — значит, бытие — в равновесии, в согласии с собой, цельное. Если узнают — незачем шевутиться существам в движении и крутиться в колесе.

В ладье высокой мудрости избавит  
Носимый в океане скорби мир.  
И старость не вскипит бессильной пеной,  
И смертный вал не будет доходить. (287)

Как и в Ригведе: вокруг жилого пространства мира — космические воды. Прообразы этого: на плоскости — Индийский океан; в верху мира — дожди; в низу — родники, ключи. Так что если нам видится вокруг земли — космос, мировое пространство как разряженный воздух, то индийцу там представлялись воды. И они — запретная зона для проникновения<sup>8</sup>:

---

<sup>8</sup> Гегель в «Философии духа» отмечает у индийцев неприкасаемость к морю, к океану: не стали мореплавателями в отличие от эллинов, для кого вода — своя, первородная стихия.

Живые существа, в глубокой жажде,  
Прозрачный ток Закона будут пить,  
Что вдвинут в берега разумных правил,  
Обетов полон, словно красных птиц.

(Закон это не людской лишь, но — космический).

Он путь освобождения объявит  
Тем, кто в предметах чувства, как в силках,  
Кто заблудился на лесных дорогах,  
Как странники, что потеряли путь. (287)

Мир — клубок. В изобильных чащобах и джунглях тропиков так важен верный путь, что даже бог Пути, дорог — Пущан — есть в Ригведе. В России же просто выход на дорогу (любую), лишь бы не дома, в даль, в путь — есть уже гарантия очищения (недаром дорогой кончаются художественные произведения в России: уходом, а не приходом).

Дождем Закона свежую он радость,  
Тем множествам, что хотью сожжены,  
Как облако великое прольется,—  
Потоки влаги в душный летний зной!

(Брахман Асита еще в понятиях ведических представляет Будду — как дождь, что прольется для изобилия).

Он распахнет широко пред живыми  
Ту дверь, где страсть хотенья есть засов,  
Две створки — заблужденье и незнание,—  
Закон одним ударом путь пробьет! (287)

(Как певец — риши Брихаспати гимном-словом, как лучом, рассечет скалу, где коровы Вала спрятаны, в ком молоко, изобилие, плодородие, свет,— тут та же структура представления.)

Итак, Будда даст возможность существам выйти из тверди, тесноты — земли, преодолеть ее притяжение. И вот иерархия врагов Будды: земля, огонь (ибо — жар, а свет его принимается: лампада), вода (ибо океан-бесконечность).

Так не скорби о нем, благой Владыка,  
Скорьбь свойственна тем низким существам,  
Которые, отдавшись наслажденью,  
Законы не приемлют в слепоте. (287)

Скорьбь — власть земли: в ее створках в теснине горит чадный огонь. Это приниженность, сокрушенность, давление, пресс, гнет, тоска — теснота.

А я хотя ступени созерцанья  
Прошел, моя судьба не свершена:  
Закона не слыхав, и в высшем Небе  
Как злополучье жизнь свою приму». (288)

Ему, святому, предстоит отправиться на небо, жить с богами и предками — и этот удел, казалось бы, предельно высший, не улыбается: как снова рождение. И Небо — лишь верхний от-

чек колеса Сансары, рождений — перерождений; и ничем участь бога в этом смысле не лучше лягушки, ибо неизбежно повернется колесо — и богу придется в новом рождении стать лягушкой. Так что желанный удел — выйти вообще из водоворота и вихря рождений. А Небо, хоть и рай, — в жизнь-смерть-рождение входит и тем в системе буддизма мало почтенно.

Сказав свое пророчество, Асита

Дорогой ветра, как пришел, так отбыл,—  
Следили взоры за полетом тем. (288)

Итак, Асита — предтеча Будды — родственную стихию оккупирует: воздух, ветер. Будда же открывает Нирвану, что буквально угасание = безветрие.

## 2. Юность

Благодать в царстве наступила после рождения царевича.

И в городах дышала радость,  
Как в нетревожимых лесах. (292)

Город стал лес. Растительное царство — идеал: буддизм чтит город и лес — минуя животный мир. Последний, напротив, в ведизме важнее растений.

Когда родился тот царевич,  
Как бы вернулось царство Ману,  
Как будто благостный сын Солнца  
Опять для радости царил.  
Такая всюду завершенность,  
Что царь царевичу дал имя  
Сарвартхасиддха — Тот, Которым  
Все к Завершенности пришло. (292)

Вот космоорганизующая суть Будды, его акцент истины: открыть бытию его завершенность, совершенство, осуществленность цели — и, значит, нечего более желать и стремиться. Будда — анти-Фауст, в котором восхищено вечное беспокойство, неудовлетворенность, стремление, вечная отрицательность. Будда же — блюститель исполнившегося совершенства, которое тут, при нас, незачем за ним далеко ходить; будь в довольстве и благ — и ты тут же — сосуд Нирваны.

Завершение бытия Буддой сравнивается с началом бытия рода людского — при прародителе Ману: они — как столпы начала и конца, привратники бытия, ограждающие его от человечества: дальше человеку проходить незачем — его круг и предел четко ограничен.

А что значит следующий поворот?

Нэ, видя эту славу сына,  
Царица Майя, не умея  
Восторга вынести, удалилась

На небо, чтоб не умереть.  
Сестра царицы, в материнстве  
Подобная сестре отшедшей,  
Царевича, любя, взрастила,  
Как будто сына своего. (292)

Что значит этот увод, отвод матери: похищение ее на небо даже под предлогом ее восхищения сыном? Во-первых, на Небо жить отправляются, «чтоб не умереть», и не через смерть здесь. В Библии только Енох был восхищен живым на небо; в индуизме же, где Небо очень заземлено, меж ним с Землей кругооборот тесный. Небо тоже включено в круг рождений, как одна из зон его колеса,— и не отъединено так резко, как «Царствие Небесное», зона Абсолюта — в христианстве. Абсолют в Индии — по ту сторону и Неба и Земли и ищется по-разному: то в Брахмо (Бхагавадгита), то в Нирване (как Будда), но в ином измерении, чем Небо и Земля. Вот почему в Индии атеизм не может получить себе питание вопросом летчику из европейского анекдота: видел ли он в небе Бога? — и если нет, то Бога нет вообще. Бог как Абсолют лишь в Европе срощен с небом. В Индии на небе множество богов и предков людей, и риши, и существ иных. Но Абсолют — не там и вообще не локализован.

Подмена же матери теткой — это тоже ход в бок, в сторону от обычно центрального пути человеческой жизни, который Будда явил уже своим рождением через бок, а не магистральным путем — из лона. Вообще, в продвижении Будды будущего по путям человеческой жизни типичны эти ускользания, ходы в бок: вот мать прямая подменена в нем косвенной — и тем ослаблено тяготение и привязанность к матери, материи, земле, женскому, и у него не мать, а как будто мать, и соответственно чувство не сыновнее, а как будто сыновнее.

Далее его жизнь как юного царевича — не прямая, а косвенная. Отец усладами его обставляет, красивыми девами, тот все норовит увильнуть:

И раз, в безудержной забаве,  
Упал он с кровли павильона,  
Но наземь он не пал,— как мудрый,  
В небесной колеснице был.

(Его небесная колесница — это колеса на его ногах: вспомним, что с этим знаком он родился.)

И так сошел от тех искусниц  
Во всех путях услад любовных. (293)

И когда сын Рагула рождается у царевича от «прелестной, красивогрудой Ясодхары», царь-отец по магистрали, центральным путем:

Лелеял царство — ради сына,  
А сына — для семьи, семью же —

Для славы, славу же — для Неба,  
А выси Неба — для души.  
Душе желал он продолженья —  
Во имя долга. (295—296)

Вот честный индуист, исполняющий свою дхарму и тем поддерживающий кругооборот рождений: ибо каждое звено — для другого и все взаимно перед друг другом обязаны, перепоясаны и переплетены связями и долгами<sup>9</sup>. Если же в одном месте порвать это «для», то весь кругооборот рождений, вся цепь будет разорвана и разлетится. Это и сделает царевич: когда сын у него рождается, он себя так ощущает, что существование его не для семьи, и уходит в отшельничество — опять ход с магистрали в бок.

Однако это важнейшее: что женщину все-таки будущий Будда познал, — что резко отличает буддизм от христианства, где Иисус — девственник. Нет, Бодгисатва

Так он, свершив предназначенье,  
Свои исчерпав воплощенья,  
Все же ведал радости, покуда  
Срок высшей мудрости придет. (296)

И хотя и у Будды будет мотив: вырви око, если оно тебя сблуждает (в главе об Амре), но в отношении к женщине и Эросу буддизм — не словом своей проповеди, которая достаточно к этому ригористична, но самой жизнью Учителя — мягче, терпимее. С другой стороны, буддизм в этом глубже христианства, ибо и эту зону бытия зачерпывает, Иисус же к ней неприкосновенен, и как же тогда можно сказать, что он взял на себя все грехи мира, когда основной-то соблазн меж людей ему и неведом: не оскоромился, чистоплюй, — и в преодолении его он людям не пример и не образец, но покинуты они в этом на себя? Тем, что Христос не познал женщину, христианство сразу обрекло себя быть частичной мудростью, для которой целая грандиозная зона бытия — за семью печатями, неведома, и к ней в христианстве лишь слово «не»...

Буддизм же, когда отрицает, то уже со знанием дела. И в своей роли космоорганизующего закона способен в этом плане большую махину бытия собой сцепить — хотя его всесторонность и мягкость лишает его той энергии и воли Абсолюта, категорического императива, которую в своем принципиальном незнании и запретности заключает в себе христианство.

Буддизм с этой своей терпимостью есть «человеческое, слишком человеческое»... Бог-то здесь утерян. И душа — тоже.

---

<sup>9</sup> В списке Дхармаракши:

«Так превосходнейшую карму  
Он уготовал лучезарно». (21)

Да, превосходнейшую, но все же карму, а ее-то взорвать и есть космическое назначение буддизма: остановить накопление вещества в мире.

«Женская лукавая любовь» (как говорил Борис Годунов) — последнее и главное средство, которым отец хочет заземлить сына, удержать его при семье, а значит, при царстве, и при касте, и дхарме, и пути кшатрия.

Однако, хоть женщина — спарена с ночью<sup>10</sup>, невеста Будды Ясодхара (как и мать — Майя) — обестелеснена и прояснена:

«Как некий холм, легко взнесенный,  
Как белизна осенней тучки» (19)

— такова Ясодхара. Холм — грудь; кажется, вот стихия земли! — но «взнесенная» и в невесомости; чернота тучи — ночи тут тоже побелена.

### 3. Тревога

Здесь — завязка пути и дела Будды, корень и причина. Путь, дорога, выход, передвижение — вот с чего началось. До сих пор царевич содержался в инкубаторном рае: во дворце, в садах, где продлено статическое бытие, безветренный стоячий воздух, и оазис города — царства совпадал для него со всем бытием, *uḡbs* с *oḡbs*<sup>11</sup>.

В некий день узнал царевич  
О пленительных лесах,  
Где звучит напев кукушки  
Меж деревьев над травой. (306)

Ширь мира, открытое бытие обозначено лесом: он всегда в буддизме — в положительном смысле: истинный мир почти совпадает с растительным царством. Ибо лес — это статика, покой, стоячесть пространства, недвижность бытия: дерево стоит, мудро пребывая, в позе Будды. В самом деле: корни = скрещенные ноги, голова = крона, а торс = ствол.

Птица кукушка (и в конце главы она конкретизирует лес) — единственная из птиц названа:

Он приехал в лес прекрасный,  
Все деревья там в цвету,  
Опьяненные кукушки  
Куковали по ветвям. (306)

По подсчету М. Я. Калиновича в статье «Природа и быт в древнеиндийской драме»<sup>12</sup>, она — вторая по упоминанию: павлин, кукушка, воробей, попугай...

Павлин — зритель, огненная птица индуизма: в нем расцветка неба, зари-утра, грозы, лучей в лесах, в преломлении вод и трав.

<sup>10</sup> В списке Дхармаракиши сказано:

«И женщины глубокой Долгой Ночи,  
Блюстительницы Ночи Мировой». (8)

<sup>11</sup> Город с миром.

<sup>12</sup> Избранные труды русских индологов-филологов. М., 1962, с. 208.

Кукушка же звукова, проста, не отвлекает глаз огнецветной пестротой, но усыпляет, навевает покой — отчего? Да тем, что ее два звука — это вверх-вниз, взлет-падение, рождение-смерть, начало-конец, их свод, такт бытия, ритм жизни, предел существования, *meemento mori*. И потому она — совершенный подсказ от бытия, буддийский настрой пространства и камертон мирового ритма прочим существам.

Итак, завязка событий — путь меж городом и лесом, где лес — все, город — *paris*, партикулярен, часть. Это трансцензус от жизни — к бытию. И на нем недаром свергается мнимая абсолютность жизни как якобы вечной — а в этом представлении выдерживался до сих пор царевич в оазисе благополучия, в инкубаторном рае, — и как вехи от жизни к бытию расставляются необходимые дополнения, пары, *pendants* к жизни: старость, болезнь, смерть, — чем разрывается узкий горизонт жизни, ум швыряется в дисгармонию и побуждается алкать не жизни (она — никакое не разрешение, ибо при ней — старость, болезнь, смерть), но Бытия.

Но взгляды, как и где явилось царевичу зло?

В изукрашенном, разубранном заботами царя городе, где всякое неблагообразие тщательно убрано, толпы ликующие приветствуют выезд царевича, как высокого гостя с аэродрома. И какое кишение тел, существ!

Лесников толпы там были,  
Карликов и горбунов  
Из фамилий очень знатных,  
Люди меньших степеней.  
Весть услыша от служанок,  
Что царевич едет в лес,  
К плоским крышам поспешили  
Жены разной красоты.  
Пояс их надет поспешно,  
Им мешают, соскользнул,  
В полусонном изумленьи  
Любопытствуют глаза.  
Звук браслетов их встревожил  
Птиц, живущих на домах, —  
Поспешая так, друг друга  
Упрекают и бегут.  
И одни из них невольно  
Замедляются, всходя, —  
Бедра полные мешают  
С полнотою их грудей.  
...Все дворцы и все чертоги  
Женских обликов полны,  
Пышный город словно Небо,  
Где толпы небесных дев.  
...А мужчины, что смотрели,  
Приподнявши лица, вверх,  
Мнилось, жаждою томились  
Вознестись на Небеса. (298—300)

Непривычная европейцу топография: нам естественно представлять верх мира, небо, мужским, низ, землю, — женским.

Но какое кишение существ, тел, звуков! Подтверждается мысль, что буддизм — городской цивилизации плод, из потребности приостановить умножение существ. И потому его основатель, „ро-езжая средь ликующих жизнерадостных толп, вперяется глазом не в них, но в старика, в больного, в труп: единичны они, но главную суть, тщательно людьми от себя и него скрываемую, выдали.

До сих пор ведизм и индуизм заговаривали факт смерти, болезни, справлялись с ними тем, что смерти вообще не давали развернуться в своей абсолютности: заменяли смерть перенесением на другой уровень бытия, в другое рождение, существование. Хотя и буддизм позднее это примет и смягчит абсолютность смерти, но в жизнеописании Будды видение им смерти не смягчено: словно впервые индус без обиняков и ускользаний в лицо смерти взглянул, вперился, увидел ее и постиг — ибо до сих пор от жесткого этого познания увиливал и смерти, и себе зубы заговаривал молитвами, жертвоприношениями и т. д.

Здесь же Будда, словно мальчик из андерсеновского «Нового платья короля», прозревает: А король-то голый! А живые-то — мертвецы будут! И если до сих пор взгляд и путь жизнепрохождения царевича был отведен вбок от общечеловеческой магистрали, то эта его бокоотводность как раз и позволила ему в дальнейшем не разделенно взглянуть на жизнь — вперед, а смерть — зад, так что при взгляде прямо в одно, другое не видно и не сопоставимо с первым, — а разом охватить это как единый целостный факт по имени: жизнь—смерть. жизнь=смерть (равно как наслаждение=страдание: *duḥkha* и то, и другое) — отождествление это произвести. Недаром и последующая буддийская логика тоже, с точки зрения европейской аристотелевской прямолинейной, требующей непротиворечивого ответа: «да» или «нет», — выглядит ускользающей вбок. Вон ведь как потом Нагарджуна скажет: «Учение Будды таково: все — истина; все — не истина; все — истина и не истина; все — не истина и не истина»<sup>13</sup>. Все вбок уходит, и даже «да» у него звучит не прямо, а как сумма двух «нет» — «не истина». Какое ж это «да»?

И именно такое зрение, провидение через начало — конца; их тождество сразу охватить способность, — позволили статичность бытия постигнуть при кажущемся кишении и движении жизни, страстей, интересов. Такое зрение есть вожди, которыми дано стало Будде остановить бытие на полном скаку, обернуть колесо и вонзить и утвердить в мире ось устойчивости и статичности. Нет „потом“, а все — сразу (раз рождение есть... ну, успокоительным, себя заговаривающим словом обозначим: „ведет“ — к смерти. По Будде, не „ведет“, а именно „есть“, сейчас и сразу, ибо измерение времени им отвергнуто — и это второй космоустраивающий его акт).

Так сынута (этим отождествлением) вся длительность су-

<sup>13</sup> Цит. по: Мьяль Л. Нулевой путь. — Семиотика. II Таргу, 1965, с. 189.

ществования: отрезок — в точку. И в этом один из постулатов буддизма как естествознания.

Царевич — сосуд избранный, стерильный ланцет, щуп для обнаружения того в бытии, что людям примелькалось и не видно. Для того и выдерживает бытие его так долго в вакууме стерильном неподвижности и блаженства, чтобы, выведя внезапно в открытый простор бытия и на воздух жизни,— обнаружить этим стерильно-тонким инструментом то, что растворено в повседневности. Ведь тот, кто с детства в этом воздухе, помалу и постепенно вдыхает опиум, привыкает и не может обнаружить малую толику его присутствия и как она влияет; лишь незатронутый, девственный, целомудренный — ему пылинка вонзается в сердце<sup>13а</sup>.

Итак, через Будду бытие ставит эксперимент с самим собой — для самочувствия и самопознания: для того так долго и выдерживает его в вакууме, чтоб сам он стал вакуумный столп, трубка прозрачная. И когда вынесен на открытый воздух жизни, он безошибочно среагирует на главное, выявит суть — «то, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи» (Гоголь). В легенде это подчеркнуто тем, что старец, больной и мертвец возникают среди толпы, но видимы лишь царевичу и вознице — и бог, Дэва, спускается, сгущается и принимает специально вид этих...

Но и то верно, что притянуть надо видение: плывет-то оно пред всеми, но они, имея очи, не видят. Истина — естина, она разлита повсюду. Но лишь чистый обладает вакуумом, чтоб ее втянуть, всосать — у других место уж занято. Поэтому, кстати, наивняки и дураки — самые пригодные для истины сосуды и так их любит бытие.

Так чем же поражен царевич?

Это что за человек там?  
Белы волосы его (300)

Волосы — трава наша, цвет им положено иметь: оттого что на притягивающий призывный луч света вытягивается земля вверх струей (растворенные соли, минеральные вещества), и от смешения света и той или иной живой тьмы земли эросной — образуется цвет. Седой же волос — белый. Это даже не только луч один, у кого разорвана связь с землей, ибо и луч — золотист, огнист. Это цвет отсутствия, от сути отрешенный, цвет «нет», чистый минус.

Опирается на палку —

орудие труда, искусства (а не естества) — подпорка ущербному естеству, когда оно само не держит. Собственно, вся цивилизация и производство — это *палка* ослабевающему естеством че-

<sup>13а</sup> Подобно и в концепции Вагнера: Зигфрид, этот мессия по-германски, в такой же чистоте с детства выдерживается.

ловечеству, ее усовершенствование. Что здесь дивно показалось царевичу? Прибавление третьего лишнего (=искусственной ноги) есть нарушение меры и числа — троица на месте двоицы. Старец трехногий — это принципиально иная тварь, у которой особые счеты с силой мирового тяготения и пространством. Если для нормально живого палка — сверху: бить его, погонять — и навевает, индуцирует воздушно, как ротором через магнитное поле страха, — новую силу, глюкозу в члены вливает для быстрого горизонтального движения, — то здесь палка вниз направлена. Если первая занесена в горизонтально-откосном положении и горизонтальное же движение производит, индуцирует в подпалочном существе, то старец — существо надпалочное, и палка вниз воткнута: статику, а не движение осуществляя — как распор для оттолкновения друг друга притягивающих земли и тела над ним как бы борется со сном уколом, щипком и вздергивает голову, опадать склонную. Неудержимо в посев земной уходит, и уже подпорка к черенку сажаемому готова (к старости человек превращается в дерево, растение: оттого так любят старики садоводство, а отшельники в лес идут, и бревно, по-болгарски, — «труп»; тогда как в детстве ребенок = животное подвижное, и путь человека по жизни — попятный к эволюции в природе: следует от животного — к растительному царству). И если две ноги — гибкие шарниры, приспособлены как для вертикального, так и горизонтального орудования с пространством, и оттого они — изогнуты, извилисты, тая в себе и прямую и круг, — то к старости ослабевает способность к вращательному движению (а оно и по эллинам, и по индусам — совершеннейшее) и усиливается прямолинейность вертикальная: как когда ваньку-встаньку толкнешь и, пока в нем запас силы, он и туда и сюда мотается, а, ослабевая, отдается могучему притяжению, что его пронзает и в себя ввинчивает. Так и старца земля подстерегает, так что ему или прямо стоять — или плоско лечь: *tertium non datur*<sup>14</sup>. А вся жизнь, значит, — в способности этих третьих движений: боковых, откосных, своевольных фортелей и сальто.

Под бровями тонет взор,

Свет похерен землей: надвинулась шапкой, кустом и зарослью, лесом (опять растительность преизобильная!) бровей — словно уж в землю луч уходит, всасываем во впадины-глазницы. Младенческий же глазок — выпуклый, как прилив навстречу солнышку: глазенки так и лезут из орбит — а у старца уж входят в орбиты, на пути и круги своя. Лучисты детские глаза, ярк цвет в них — светотьма-жизнь; у старца — выцветшие, сухие, не блестящие, матовые — седые глаза. Брови-горы надвигаются на озеро глаз — как на земле суша на мировой океан с годами: сантиметр за миллиметром.

<sup>14</sup> Третьего не дано.

Ноги согнутые слабы,  
Руки тощие висят. (300)

Рука — то, что вешает, а не подвешено: ей присуще разгребать пространство, загребать вещи; орган она связи, сплетения, путаницы всего со всем в мире: объятия, тычки топора, «раззудись, плечо, размахнись, рука!». И в руке выпуклости: мышцы — мощные, а тут мощи тощие. Именно выпуклости позволяют руке подниматься, сообщаться с шарообразностью бытия, приходить во вращательные и криволинейные движения. Без шаровидных придатков — даров бытия на вращение — рука поддана лишь вертикали, тяготению, весу — и висит = зависит.

От природы ли такой он?

Если это существо под названием «старик» таково по природе, значит, все в порядке: просто это одна из разновидностей существ, совершенных в своем роде, — ну, как муха, цапля, бегемот да облако, — мало ли их, отличных от меня, от человека, от рода людского, существ! Тогда и тревожиться нечего и приводить в связь с собой — каждому свое: у этого существа — своя природа и закон, у меня — своя, мы не соприкасаемся и не связаны, и моя хата с краю...

Однако же царевич недаром — сосуд-орган самоиспытания бытия, а не только человека и рода людского (как человек-то он скорее недоделанный, «боковой», отклоненный от магистрали, выродок), — и потому он, как локатор бытия, наводится во все-симпатии на меру всякой твари, ее чует и отклонение от нее. Стариком он обеспокоен пока от бытия, а не от лица рода людского.

Иль тут случай был какой?

И в этом случае можно оставаться спокойным: не колеблется норма и закон бытия — на то и случай, чтобы было по ведомству чего списать непонятное, отмахнуться и успокоиться.

И возница простодушно  
Тотчас тайну рассказал:  
«...Молоко и он пил в детстве,  
В час свой ползал по земле,  
Шаг за шагом стал он юным,  
Шаг за шагом дряхлым стал». (301)

Уподобил он «старца» человеку, ввел в понятие рода людского. Но для этого потребовалось совершить прорыв в стати ческом бытии и ввести время: оно связует внешне несходных, червясь и буравясь в их нутре. Рассечен статичный человек — и срезам детства, юности, старости представлен. Введен «час свой» и движенье «шаг за шагом».

Все это чародейство — времени — невероятно пребывавшему до сих пор в вечности царевичу, привыкшему к пространственной рядоположности отдельного, куда бы и улеглось существо под видовым названием «старик», будь он по природе такой или

случаем создан. Но вот ворвался вихрь, смерч времени, все закрутил, спутал — и глядь: выстраивается новая картина мира, где все сплошь вылезает друг из друга, вползает... — кошмар, шабаш, наваждение химер, где безостановочно и ни в один момент нельзя уловить, сказать, что я, где я, что это. Нет ни меня, — ни этого, а я есть — это.

И царевич, это слыша,  
Встрепенувшись, спросил:  
«И ко мне придет такое?» —  
И возница отвечал:  
«Силой времени, конечно...» (301)

Мир тотчас лишился благообразия, существа перестали сиять своим ликом и мерой, а как если бы с помощью киноэффекта за несколько секунд перед нами: вывалился красный комок из матки, обрезан, закричал, надуваться стал, вытягиваться, перевернулся со спины на ноги, встал, пошел, стали наливать-ся фалл иль груди, упали, зачали, потянулись жилы из них выматываться на детей, кожа сохнет, зубы выпадают, челюсть отвисает, в руках уже клюка, и вон уж труп-бревно лежит.

Обычно этот эффект времени ослаблен, его длительность и расширяется, размягчается пространством и рядом-положностью особого, разного.

И люди нормальные этого не ощущают остро. Ко всему привычные, они потому и не годятся как приборы, чтоб бытию доставить эксперимент самопознания. А вот выдержанный сосуд:

Он, с великою душой,—  
Что очистил ум высокий  
В круговратности времен,  
Чрез свершения благие  
В многих жизнях до того,—  
Так глубоко был взволнован  
Этим образом «Старик»,  
Как бывает бык испуган,  
Если молния падет. (301—302)

Его субстанция прочищена и нагнетена светом, потому он способен лучом световым сразу пронизать и стянуть временную последовательность в миг (как скорость света — всякую относительность к абсолюту приводит).

И вопрос тогда так встает:

Как же жить можно спокойно, когда все это тут же, сразу, а не потом (ибо «потом» — иллюзия: все ж сейчас и сразу — в масштабах бытия, а на этот масштаб заведен, запрограммирован Будда, абсолютом меряет)? Именно это поражает царевича: покой и безмятежность веселящегося, когда вот он же — мертвец.

Видя зло своих болезней,  
Люди все же могут быть  
Так спокойны! Горел Горел  
Смех — среди угроз таких! (303)

В чем же тут дело? Наверное, в медленном иммунитете. Люди обычные, не выдерживающиеся в колбе, как царевич из рода Шакья,— поглощают время, зло, болезнь малыми дозами повседневно, среди множественности существ и ликов бытия — притерпеваются, слюбляются; для них все во всем, дети множества они, монад и гомеомерий, привычной подвижности и суеты. Но марсиане Уэллсоны, которых не могли сразить никакие машины и оружие людей,— погибают, стерильные, от микробов: великаны — от микро-малого. Так и царевич-бык потрясен тем, на что обычный среагирует: «Старик? Ну и что с того? Все там будем». Двоица для него привычна — разврат дихотомии, связь, изменчивость, движение. Наш же твердо настроен на Единое, на тождество, на статику и непреложность бытия. Для него правда — лишь единица, Единое. Двоица — уже ложь, не может быть. И если есть, то не должно быть: вернуть надо выпукло-выползшее бытие — в Нирвану, в там, «где нет...».

Гераклит понимал так: «Для бодрствующих существует единый и всеобщий космос, из спящих же каждый отвращается в свой собственный».

Потому Будда — будный, бодрствующий, озаренный, преодолевший «я»; обычный же человек, с этой точки зрения,— спящий, не видящий, довольный множеством, которое привычно дополняется и организуется самочувствием «я», своей самости, своего собственного космоса — мира.

И здесь уж: чья возьмет — то есть, точнее, какой акцент и оборот вещей в данный момент угоден бытию: настаивать на множественности или на единстве? Монада не менее необходимый бытию принцип, нежели субстанция. И Будда — велик, свет, но нежизнеспособен. Он «бытиеспособен» — да, это верно, но к жизни — нет. А Жизнь-то зачем-то есть? Значит, угодна Бытию, как зона какая-то его. И для того оно надарило живые существа и людей этим божественным даром слепоты, самозабвения, веселья над пропастью, способностью радоваться, желать того-сего, зная притом, что это ни к чему не приведет и все умрем!

Рассудочному, без жизненных сил, эросно бездарному Гаутаме, однолинейному монстру — никак не вместить этого в своей коробке. Ведь это же дар не меньший — замутнения, — нежели дар яснovidенья. Если я там, где унылый видит пустоту, зрю луч, павлина, запах, ступая бодро, и разное и многое люблю и утверждаю своей привязанностью, способен творить — пусть из ничего! — плести узоры — ведь веселее ж от этого Бытию: оно Жизнью забавляется и так свою Вечность коротает — к ней присужденное, как мы — к Времени, и ничей вариант не лучше: оба равноугодны. Просто бытие соизволяет настаивать то на своем единстве (и тогда является Будда, останавливающий умножение и являющий взорам чистый свет Нирваны), то на множестве (и тогда Эрос завладевает, захватывает, мутит взор страстью и побуждает рассеянное бытие к воплощению,

сгущению в жизнь, к порождению, творению — всяческому при-  
бавлению и бытию).

Итак, дивен дар — не замечать пропасти, смерти, болезни, старости — и, несмотря на всех этих монстров, — героически сплестать венки радости, традицию желания в мире тянуть, волю рассеянного бытия к жизни и воплощению поддерживать.

То есть, даже если вот эта плоть, которой я желаю, — тлен и смерть, но я ведь так же могу иметь на другой бекрень глаза повернутыми и видеть это тождество так: из тлена — плоть пышная, свежая! — и чуду этому дивоваться и радоваться.

То есть, и буддизм к радости призывает безмятежной, довольство иметь в себе — исходя из отказа от желаний. Но ведь довольство и блаженство и от колыхания на волнах — приливах-отливах, смертях-жизнях (так повернем) бытует. Прекрасен великий и бесконечный. Но разве менее дивна малая птичка, что резвится и поет и не замирает в оцепенении, хотя питон на нее глазеез и вот-вот сожрет? Даже питон и лев оторопевают перед безмятежной смелостью малой тваренки, птенцов своих защищающей. И чем это преодоление смерти, вызванное Эросом и любовью — цветением жизни, менее драгоценно, нежели ее ж преодоление, вызванное замиранием еще при жизни, т. е. прививанием себе смерти по каплям и в итоге — иммунитетом к ней? Скорее последнее есть поддавшесть смерти и времени, тогда как первое — просто их игнорированье, волевое утверждение: ваших нет — и баста! И перед этим смерть и время не менее стущуются, нежели перед довременной фамильярностью и побратимством с ними.

Но — отставить этот спор нелепый! Зачем мне я и мой голос? Пусть стихнут. Вслушаемся в путь Будды, пойдем его из его основания.

Увидев труп, царевич вопрошает:  
«Это только с ним случилось,  
Или то конец для всех?»  
И отвечивал возница:  
«То конец для всех живых,  
Благородный или низкий, —  
Разрушенье есть предел».  
Царский сын, что был спокоен, —  
Чуть о смерти услышал,  
Пригнетенный, весь склонился,  
К колеснице прислонен.  
Громким голосом воскликнул:  
«Всем живым — один конец,  
И, отбросив страх свой, люди  
Вовлекаются в обман!  
Их сердца, должно быть, жестки,  
Раз такой избрали путь». (305)

В смерти особенно действует спасительное чувство и рассуждение: это не я, это не он. Всем это ощущение известно; когда видим покойника, кого знали живым, — не можем связать два эти образа: сильно ощущение, что это не один и тот же чело-

век, существо, что произошла подмена: неужели тот, кого я любила,— вот этот костячок желтоватый? И скорбим, что ушло, исчезло любимое существо, что его не будет больше с нами, но что оно не этот — отчетливо в нас это разъединение.

Подобно этому и к себе действует рассуждение, отчетливо проведенное Эпикуром: что мы со смертью не встречаемся, ибо, когда мы есть — ее нет, когда она есть — нас нет. Так что жизнь и мир живых оказывается в нашем ощущении неприкасаемым для смерти, словно окружен рвом, через который невозможен трансцензус. То есть смерть происходит — факт налицо,— но жизни и живых она (и это) не касается.

Только при таком самосохранительном чувстве возможно нам жить, желать в ней мелкого, малого, радоваться и т. д. Хотя умом знаем, что смерть для всех и для меня, но в чувстве, в самочувствии — ее не знаем: в отсеке холодного рассудка эта мысль герметически законопачена — и непреходима в другие зоны нашей души. Прорыв совершается изредка — как снопом молнии пронзает: сверхсила нужна, чтоб ошеломляющее отождествление совершилось. Но это — праздник и событие — самочувствие смерти в нас; в буднях же оно отлетает, испаряется.

Будда же пригвожден этим самочувством смерти как именно ко мне лично относящейся, и оно в нем заседает неотодвигаемо. Он весь — воплощенный трансцензус и отождествление, и сам облик его, поза Будды,— излучает эту волю, способную производить и в нас этот акт отождествления жизни=смерти и к себе применения (так же, как христианам — на Западе — образ распятия).

То есть, не жизнь и не смерть — как отъединенные ряды и миры, но жизнь—смерть, смерть=жизнь, жизнессмерть — вот что излучается на нас из этого возвышенного образа: потому с душой о нем, с ним в душе, его представляя, буддистам легче переходить эту грань.

Ибо — Будда сидящий — чей это лик? Жизни? — не скажешь: покой, неподвижность — скорее, смерти оцепенение. Смерти? — не скажешь, мягкая полуулыбка, круглая мягкая плоть. Сидит, как Сфинкс и Янус — все би-образы, только два лика здесь не разведены в разные стороны (как в Янусе), но совмещены. И Христос в новозаветной мифологии, во всем цикле его сводит концы и начала рождения, смерти, воскресения — и излучает его лик тождество всего этого, переходимость, трансцензус.

Но и не диалектика это: подвижная изменчивость и переход из одного ясного определенного состояния: «живой» — в другое, тоже обособленное. Диалектика — края этого процесса охватывает и отворачивается от каждого: не то — в отрицательном определении. Здесь же — не отрицательность диалектики, но утвердительное отождествление: жизнь=смерть, сам переход увековечен, а не отдельные крайние соотношения берутся, и не как точка-искра мгновенная, но как статуарная истина бытия, ко-

торое приоткрылось средь вихрей, сверкнуло в сумятице жизни или смерти (когда различают). Это — статуарная молния из сфер Абсолюта, ухваченная и заземленно-удержанная при нас истина, ее образ.

Вот и я ведь сейчас, рассуждаючи, не имею самочувствия смерти, ее отнесенности к себе. Если б имел, то, верно б, бросил писание и тупо бы оцепенел иль забился. Вот и Будда поражается: как люди смогли отбросить страх? Ведь страх и есть это гносеологическое состояние, сообщающее нам в чувстве этот трансцензус, тождество смерти-жизни: ибо я ощущаю — то есть в этом акте усиленно и обостреннейше живу, переживаю — и в то же время отчего? Оттого что замираю, умираю («умирать от страха») — реальностью смерти дышу, она через меня проходит. Потому страх — недаром «Божий» эпитет имеет — метафизическое чувство, причащать нас к абсолюту одаренное. И он не стыден — в отличие от таких качеств и ощущений, как трусость, боязнь, которые не трансцендентны, а шкурножизненны, по сю лишь сторону — в зоне жизни лишь — находятся. В буднях люди и заменяют Страх Единый — страхами, испугами, ахами, раздробляют единое метафизическое чувство на крошку мелочей — и так с ними уже справляются в раздробь.

Но кто-то должен его Единый лицезреть и справиться — ибо и нам раз в жизни это придется вынести, и должен быть нам прецедент и образец. Вот это Деяние, это поборание, скручиванье жизни-смерти в тождество и трансцензус — осуществляет Будда (как и Христос — ибо другие религии не въедаются так в факт смерти, как лично меня касающейся).

Жесткость сердца, которую царевич отмечает у людей, благодаря которой они и переносят знание о смерти, но не перепуская ее через клапаны сердца в душу, — есть камень в душе, представительственный труп внутри нас, еще живущих, — пока не распространится на все тело и существо. И это еще более и дополнительно убеждает Будду, что человек живущий — мертвец уже. Размягчает же сердце страх и [со]страдание — тогда сердце сочтется и не окостенело жизнемертво, но любовно, душою мертвовживо. И в Будде как раз это явление: статуарность, неподвижность земли, камня — при кротости и мягкости членов, что сочатся сердечностью — теплотой душевной (тогда как в обычной нашей жизни, чем более подвижен, энергичен, легко, упруго скачущ человек — как воздух, как водопад, — тем жестче его сердце — кремень, эгоистически-пробивной боёк).

В плане трансцензуса не без значения, что меж ездоком и возницей происходят эти метафизические уяснения: так это и здесь, так и в Бхагавадгите, где в разговоре Арджуны с его возницей Кришной (превращенным богом Вишну, а то и Всевышним <sup>140</sup> — Ишварой) в философских диалогах великие вопросы бытия трактуются.

---

<sup>140</sup>а Н. В. игра (звуковая): Вишну — Всевышний.

Но ведь я на колеснице, уносимый, лишь наполовину принадлежу «здесь», я уж «там», отъединен от притяжения привязанностей, от силы земного тяготения: колеса его скрали и ошеломили всякую «здесьность», приобщив к потусторонности (в колесе его оборот живет: оно все — перенос воплощенный, в отличие от столпа, стержня воткнутого или куба гранного, тяжкого, недвижимого). На колеснице я уже изъят и не себе («я») и не миру принадлежу, но несом и могу отдаваться, восхищаться и воспарять духом.

Из важных для нас метафор, позволяющих представить космически-стихийный контекст дела, точки зрения Будды и нововводимого им закона, помимо «жесткого сердца», приведем еще — из списка этой главы в китайском варианте Дхарма-ракши.

О старике: «Пламень жизни в нем иссяк». (26).

Царевич при виде старца:

Так сражен был, что внезапно  
Каждый волос дыбом встал.  
Как в грозу раскаты грома  
Обращают в бегство скот,  
Так сражен был Бодгисаттва (27) —

т. е. образ космическо-ведийский: грозы, коровы...

... Годы этой жизни  
Словно ветер, что летит. (28)

Ветер — как отрицательная сила в космосе Будды.

В другом космосе — Бхагавадгиты — ветер выступает среди очистителей (X, 31).

При виде недужного царевич

Мыслью скорбною смущен.  
Так порой на ряби водной  
Схвачен зыбью лик Луны,  
«Кто в печи великой горя  
Ввержен в дым и в жгучий жар,  
Как он может быть спокойным,  
Может ведать тишину?» (29)

При старике и мертвец: «пламень жизни» — положительное, «камень», «чурбан» (31) — отрицательное. При восприятии больного, т. е. зенитно живого с болью, страдание от которой тем острее, чем сочнее жизненность, огонь — отрицательное, и нужно умерение жизненности, ее приглушение, притушить свет, и здесь желанно:

Ночь, ночь! где твои покровы,  
Твой тихий сумрак и роса? (Тютчев)

Прохлада ночи, Луна, воды (отлив так и связан со светом Луны: воды-нимфы уходят к ней, замороженные, на собеседование, как ведьмы по воздуху на шабаш) — вот положительное в контексте жизни-боли-страдания.

#### 4. Отречение (уже по тексту Дхармаракши)

Отречение от чего? От космоса извивов, кишений, улыбок, касаний — женских кривых, волн, — от волновой теории вещества мира (буддистам атомистика роднее) — от втягивающей воронки.

Вот эта перистальтика:

С тайным замыслом друг к другу наклонясь,  
Бьют в ладоши и ногами движут в лад  
Или телом к телу льнут, рука с рукой,  
И сливаются совсем друг с другом вплоть.  
Или в шутках ищут быстрый дать ответ  
И улыбкой на улыбку проблестеть. (33)

Так женщины в саду пытались возрадовать и рассеять, отвлечь царевича от сосредоточенной думы. То есть именно — рассеять крепость мысли на чувственное разнообразие ощущений, впечатлений и кажимостей, единое разменять, рассыпать на множество, от сердца — центра — средоточия оттянуть — на периферию (в том числе и тела: чтобы не центр и стержень ума, думы, сердца и воли сигнал повелевающий издавал, но чтоб чувственные волоски периферии: кожи, набегающие волны касаний, теплоты, щекотаний, укусов, укулов — чтоб раздергали устойчивость столпа центрального, и обмяк бы я и, рухнув, изогнулся б и сам явил собой обнимающую кривую, полусферу). А средство — вот эта равномерная зыбь и плазма волн-волнений, что оттягивает и размывает, и каплями точит камень. Шутка — волновая, а не атомарно-твердая мысль, как и улыбка — переливчатость, а не твердь радости.

Но царевич в сердце был неколебим,  
Был безгласен, соблюдая тишину,—  
Так стоит порой один могучий слон,  
Стадо ж все толпится шумно вокруг него.  
... Вместе, порознь, говорят или молчат,  
Для соблазна выгибают ли тела,—  
Бодгисаттва как скала в себе замкнут  
И для грусти, и для радости закрыт. (35)

Опутывающие сети женской красоты пленяют корабль даже великих подвижников:

Красота имеет власть, но не навек,  
Все же держит-держит мир она в плену  
Силой чувственной и тайностью путей. (33—34)

Все образы — волновой, изгибчатой природы. И как все неверное: огонь, вода (женщина — волна: волнообразно ее тело — возбуждает-направляет на себя огонь — язык — фалл мужчины<sup>15</sup>) — стихии, состоящие из волн[ений], — отвергаются в этом

<sup>15</sup> Умеют «чувственность желанья в них (мужчинах) зажечь» (34).

контексте, и опорой истины выступает стихия земли: скала, слон — в качестве своем незыблемости и непреложности. Соответственно красота уступает истине: красота — волна, из волн, волнует, впечатляет; истина — атом, статуарна, статична, пребывает — и все тут.

Даже воздух в этом контексте — полуотрицателен, предатель, ибо — дымка, зыбок: «В легких тканях видны белые тела» (34). Волнения в нас есть податливость, зацепляемость на волны извне, отзвук их, пронизанность и нас волновой природой вещества. И так мир загроможден существами, а тут еще они толкутся, давят друг на друга, усиливая тесноту бытия,— уж стояли бы на месте...

«И не ведают,— так молча мыслит он,—  
И не ведают, как скоро красота  
Опадает, как увядший лепесток,  
Смята старостью и смертью взята». (35)

Вот это: «как скоро»...— открытие — время: в буддизме Индия открыла себе чувство времени, и тут же в удручении дух поступил в рабство к нему. Оттого Индия и отвернулась от буддизма, и привился он в других космосах Азии, но не в индийском.

Но внимем, что это такое: «как скоро» и неведение времени.

Вот парадокс: движение для нас — само собой это разумеется! — сопряжено со временем. Для движущегося же это не так («инерция» Галилея — «система отсчета» Эйнштейна); в упоении танца и волнистых телодвижений унесен дух, и время не ощутимо: вечность, пребывание... Волна времени не знает — атом лишь: твердое тело отсчета со стороны, точка опоры. Вот и Будда, угрюмо отворачиваясь и не давая втянуть себя в движение, словно это призыванием ощутил: сотворить из себя мировую точку опоры, выведенную из камарилы движений,— чтоб дать возможность бытию озернуться и воззриться со стороны на свое движение — его, собственно, и открыть и изменчивость (ибо без статической точки опоры это невозможно). И тогда и совершается это потрясающее открытие: что движущееся — во времени, чего само движущееся за собой не знает.

«В том великая беда, что знания нет!  
Обольщенье затеняет их умы.  
День и ночь тот обоюдоострый меч  
Им грозит,— но вот, не помнят про него». (35)

То есть, нет знания о времени. Что это такое? Это значит, что миги самодовлеющи, не сцеплены: шаг не помнит прежнего. Собственно: время есть **память**; точнее — до самочувствия нашего. Время доносится как Память, ибо через нее связь мигов осуществляется. И буддизм открыл для Индии память, ибо в беспомощности оторванных друг от друга мгновений до сих пор жили, отчего и можно было не замечать, что молодой есть старый, большой и труп,— не сцеплять то, что сцепилось в наивном уме

царевича в тождество. В то же время (оборот-то: все временем мыслим!) движущееся в беспамятстве одно цеплялось за другое — а не за себя! Вот главное: время связует одно с собой же, замыкает вещь на себя, так что она может соотноситься с собой же, с рядом своих же состояний как с цепью. Беспамятное же движение (которое буддизм ощущает как сеть, узы, ткань) — в нем, как в сети и ткани, одно зацепляется не за себя, а за другое, так что нельзя проследить нить одну, а она тут же теряется в другой. И через сцепления желаний существа непрерывно перескакивают через себя на другое, не знают себя прежних, не помнят. Карма же, на которой настаивает буддизм, — есть одна нить, цепь рождений, память о своем пути. Через карму и приводится существо в чувство и в себя. Но для того, чтоб ощутить связь своих состояний, нужно вырваться из другого направления связей: к другим существам, вещам в пространстве, мост к которым перекидывает наше желание, вожделения. Себя же мы желать не можем. Отсюда обратно: чтоб добраться до себя, надо извергнуть из себя желание как модус вивенди. Вот почему так дорожил буддизм правильной памятью: «благородный восьмеричный путь» спасения включает в себя, наряду с прочим, «правильную память»<sup>16</sup>. И Будда ввел в обиход жанр воспоминаний: ибо «джатаки» суть мемуары о прежних рождениях Бодхисаттвы — вытягивающие их в единую нить.

Итак, сцепить существо с собой же, а не с другим, ввести его в самочувствие, самосознание, воспамятовать — и есть создание независимой, статуарной точки опоры в бытии, остановить его. Ибо и по себе знаем: как только опамятуешься: Боже, что я натворил! — обомлеваешь, замираешь в движениях — оцепенение наступает. А оцепенение — есть нечувствительность: хоть кол на голове теши — я не чувствую и, значит, освободился от боли, нет страданий: нирвана.

Но ведь обнаруживает Будда в мире время не для того, чтоб его утвердить, но чтоб отменить: оно и так есть, без моего открытия его действует, только его не замечают, не хотят замечать, боясь ощутить, отгоняют — ибо не имеют средства с ним справиться. Будда ставит диагноз: есть то-то, причина то-то, средство такое...

«Четыре благородные истины», что открылись Гаутаме в ночь озарения под деревом, после чего он и стал Буддой — «просветленным», по жанру представляют собой как бы врачебный диагноз бытия и рецепт, как его вы-лечить: «Зло, происхождение зла и преодоление зла, и благородный восьмеричный путь, ведущий к прекращению зла» (Дхаммапада, с. 191). То есть: в мире констатируется зло, у зла есть причина; зная причину и устранив ее, можно преодолеть болезнь, и рецепт лечения прописан как восьмисоставное лекарство.

---

<sup>16</sup> Дхаммапада. Пер. с пали, введ. и коммент. В. Н. Топорова. М., 1960, с. 148.

Так что Будда вначале утверждает, констатирует в мире как раз то, против чего он будет бороться: зло, время, страдание, печаль — и упорно и злорадно указывает на них бессмысленно веселящимся людям; дорожит тем, что он страдает, скорбью своей и печалью:

«Старый возраст, и болезнь, и с ними смерть,  
Эти чудища возможно ль созерцать  
И, глядя на них, смеяться и шутить,  
С мертвой петлею на шее — ведать смех?  
Человека — человеком ли назвать,  
Если внутреннего знания он лишен!  
Не из камня ли фигура он тогда,  
Не из дерева ли сделанная тень!». (35—36)

Память — внутреннее знание и есть позвоночник, спинной мозг разных сочленений — состояний существа, есть внутренняя его труба: сквозной путь, канал там, где внешне все загроможено разнообразием и непроходимо, память — канализация города — Пуруши — горожанина, человека. Воспоминания — сточная яма и канал и нечистоты, и потому

«И с отвращением читая жизнь свою...» (Пушкин) —

свиток воспоминания...

И это отвращение Будда, как врач, хочет до предельной остроты вызвать в человеке: воспамятовав его, уткнув в свои нечистоты и блевотину, — чтоб вырвало его этим и навсегда освободило — и от времени, и от памяти, и от «я», и всякого самочувствия. И вот он хочет сначала, чтоб острейшей стала боль и страдания:

«Не растет ли так в пустыне стройный ствол,  
Есть плоды на нем, и ветви, и листья,  
Но спилят его, а призрак от него  
И не ведает, что вот последний миг!» (36)

Чего ж бы, кажется, лучше: незамечаемо перейти в небытие! Так нет: именно этот миг — трансцензуса необычайно дорог, дороже всех других — буддизму и христианству, так что последнее лишь на нем настаивает неуклонно: человек может быть грешником закоренелым всю жизнь, но если в последний миг воспамятует и отвратится и свет взвидит — спасен, причтен, так что до последнего мига чаша весов неисповедима: миг чистоты в смертный час все время и бремя жизни уравновесит и перевесит — и тем, кстати, отменено время, и заявлено и осуществлено, что «времени больше не будет».

Так что именно знать человек должен, что умирает, и в чувство привести в своей смертный час, ибо если и его проспит — то уж ничего не понял: и жизнь, и смерть проспал, словно и не жил. Так что недаром до конца продолжаемы в человеке поиски истины, смысла жизни (жизнь-то его имеет, это бытие — нет, по ту сторону смыслов) и что он есть сам — ибо выявится это ярче

всего в том, как человек умирать будет, а до тех пор и людям, и ему — неизвестность о нем. И все мы ждем и знаем, что тогда-то Абсолют приоткроется; и, пригвожденные светом неведочерным, как посвященные в загадку, чтоб ее разгласить не могли, — умерщвляются Бытием (как те, кто слишком много знают, и в земных бандах, союзах).

Так вот: чтоб дерево, когда его казнят, острее чувствовало этот свой последний миг, — так что сама способность к остроте такого самочувствия есть мера доступной данному существу истины.

«Если б не был я печалью омрачен,  
Деревянным бы иль каменным я был». (39)

Лелеет печаль свою царевич и в дурном смысле называет дерево и камень — то, что будет как раз метафорами незыблемости в буддизме, пришедшем к разрешению, в утвердительном, а не вопросительном. В «Дхаммападе» — памятнике нашедшего истину буддизма, мудрый — как дерево, которое не поколеблют вихри, как слон, гора и остров, что не стронут волны, и беспечален он. А здесь именно в устах брахмана Удайи, который призывает царевича уступить наслаждению, дерево выступает как положительный символ:

«Если ж это отвергает человек,  
Он как дерево без листьев и плодов». (37)

Дерево вообще-то станет излюбленным образом буддизма, но не как плодоносящее — это не должный образ, срамота праотца, которую надо прикрыть, не замечать и не упоминать об этом, ибо порушит доктрину неприбавления к бытию, раз сам образец, высший авторитет — дерево — изменяется и плодоносит.

Собственно, и брахманизм тоже против изменчивости бытия много имеет и свои средства выдвигает, а именно: зацепить ее повтором, вернуть на круги своя, в колесо и круг замкнуть, где все на свете повторимо: сын — как отец, всему свой срок.

«Почему ж однако нужно уступать (наслажденью):  
Чтобы в этом всем удел свой получить,  
Раз возьмешь его — конец тревогам всем,  
Переменчивость мечты не мучит нас». (37)

То есть в мире налицо все и «я» — часть в нем: утверждается раздельность, особенность и твердое противостояние «я» и «всего» (тогда как в Нирване они растворяются, этих различий нет), и я получку от бытия получаю — удел свой. Но раз по потребности, потребность во главу угла становится, то у нее такт биения, как у волны и кванта: насыщенная, вновь оголодает, и тем подтверждается волнообразная ткань мира, мир как волна и волнение, состояние его из повторных взлетов и падений.

Будда же выступает, во-первых, с попятным вращением: колесо дхармы должно парализовать колесо сансары (брахман-

скую повторность, цикличность и круговорот, что удручал почти одновременно с Буддой и Экклезиаста); а, во-вторых,— прямую (а не волновую) линию кармы, цепи, которую надо взорвать, парализовать — послав, в частности, попятную волну памяти, воспоминаний о прежних рождениях: провести вновь дела свои и помышления — в отчете перед сознанием, ибо отчетно пережить жизнь — значит, перестать функционировать как сейчас живущее существо, замереть; ведь мыслящий — недвижим.

В глазах царевича движение безнравственно, ибо есть непрерывная измена, предательство, отказ от прежних состояний и мыслей — т. е. неправильные (не прямые) поступки, мысль и слово (что требуется восьмеричным путем). И с этим согласен и язык, когда с нравственностью ассоциирует стойкость (т. е. статуарность, статичность бытия), а движение, изменчивость одним корнем сопрягает с изменой. И Гераклит недаром в памяти эллинской закрепился как «Темный»: не только по загадочно-таинственной форме выражения мысли — но и потому, что на пременчивость всего в бытии злорадно и скорбно указывал и тем удручал зрелищем всеобщей измены, предательства и взаимного прислужничества стихий («огонь живет земли смертью» и т. д.) и нечестивости, царящих в бытии, где не оказалось ничего святого-светлого, статуарно-пребывающего. А тьма есть движение, волнение света, кишение перебивающих, перекрикивающих друг друга, как на базаре в толкучке, световых волн разной длины: набегаая друг на друга, перекрывая и перекрещивая, как сеть и ткань, они и создают в интерференции (накладываясь друг на друга, разночастотные, разноритмичные, разновременные) невидимость.

И царевич наш принял бы и наслаждение, даже зло,— если б хоть статуарно было: в незабываемый порядок бытия входило, так что с ним, как с неисповедимой нам разумностью промысла вышнего, надо смириться:

«Я совсем не безучастен к красоте,  
Человеческих восторгов знаю власть,  
Но на всем измены вижу я печать,  
Оттого в тяжелом сердце эта грусть.  
Если б это достоверно длилось так,  
Если б старость, смерть, болезнь — не ждали нас,  
Упивался бы любовью и я,  
Не узнал бы пресыщенье и печаль.  
Если женщинам ты этим возбранишь  
Изменяться или вянуть в красоте,  
Пусть в любовных наслажденьях есть и зло,  
Все же им держать в неволе ум дано!» (38)

Но вот еще беда, что и зло само неустойчиво, преложно, так что покой нельзя себе добыть и в примирении с разумностью действительного (мол, «ничего не напишешь...»); нет, раз и зло подвержено измене, как и добро,— значит, преоборимо, податливо и, выходит, опять покоя нет: напрягаться надо, чтоб самому изыскать путь преоборения. Но упаси господь податься на сразу

подвертывающийся путь: на сторону добра встать противу зла — увеличивая количество добра, блага, богатства, даров и ценностей (недаром я так продолжил, материализовав добро в добро как состояние и богатство), — ибо умножение добра есть накопление кармы добра, ловушка у него, подверженного измене (как и зло) и как раз превращению во зло — что в истории непрерывно происходит у каждых добродетелей рода людского. Не противу зла в защиту добра, — но против измены и времени, благодаря которым и существует само динамическое различие добра и зла, — устремится энергия и мысль Будды, как и не за жизнь против смерти, а вообще за отмену рождений, ведущих к жизни-смерти.

Однако я увильнул от того, чтоб вникнуть: что есть наслаждение с точки зрения естествознания? Много их, смежных понятий: блаженство, радость, счастье, приятное, удовольствие. Но здесь есть чувственный корень — «сласть» (тогда как во всех остальных корни абстрактны: благо, часть, приятно, воля). Сласть — то, чего вожделеет страсть — страх, куда забиться от неуютности, незащищенности в мире; сласть — от чувства непрерывного отсутствия, пустоты; и когда заполнится жерло, — возникает ощущение присутствия, т. е. пребывания при сути: оттого через наслаждение временно преодолевается изменчивость и неустойчивость бытия.

Итак, наслаждение — заполнение, насыщение голодного, уютное сцепление одного с другим, комфорт, как в венце наслаждений — в соитии эротическом — зацепление другого на свой крючок, заполнение, удовлетворение, ощущение себя через другого — радость взаимного дополнения и ощущение целостности двоих. Это связь, ее торжество и утверждение. Наслаждение как способ связи и воссоединения предполагает частичность, осколочность всех существ и тварей, их уродство (впадина, выступ — задиры и заусеницы; Будда ж — недаром покато-округлы все его члены и сочленения) и недостачу друг без друга — как вечную растрату бытия, что пытаются хотя б по внешности восполнить, ликвидировать приписками воссоединений — созданием липовой полноты из плюсования двух недостатков, пустот. И полнота не объективная, а субъективная возникает: да, наслаждение дает нам чувство полноты бытия и переполненности, избыточности и щедрости нас самих — но ведь то субъективная полнота, и на ее приманки мы ловимся в наслаждении по принципу: от «мне хорошо» умозакключаю, что и всем, и бытию хорошо.

Оттого наслаждение близко ко сну (особенно высшее — и в сон переходит), с ним соседствует, а не бодрствованью. Покой здесь — сна — авидьи — неведения — незнания, сновидения — майи, иллюзии, тогда как покой бодрствования, в истине и знании, является искомым.

Итак, в наслаждении

волна на волну набегала,  
волна погоняла волну=

самоупокоеение бытия на почве волнений, взаимных зацеплений, волновой теории вещества — как зыби.

Изменчивость всего может внушать в людях и положительные чувства: значит, плохое минется, «был гуще невежества мрак над тобой» (Некрасов), «будущее светло и прекрасно», — питает веру в прогресс, эволюцию и т. д. Изменчивость видов, которую наблюдал Дарвин и вывел отсюда ход эволюции существ, — вообще-то нить кармы, цепь рождений: homo sapiens вспоминает в этой теории, как Бодхисаттва, о прежних своих воплощениях: пребывании в инфузории, в яйцекладущем, в обезьяне, в археоптериксе, в синантропе, в Наполеоне и т. д.

Однако здесь есть, в эволюции-прогрессе, движимой желанием и надеждой на светлое будущее и возобладание добра, — шествие осла за охажкой соломы, перед носом подвешенной, накапливанье надежд на будущее как векселей, по которым платить; тут только, вместо настоящего, кармой забивается будущее: просто карма, как в математическом преобразовании уравнения, выносится за скобки того, что здесь и теперь, как  $3(a+b^2-c)$ ; и хотя она сейчасна: при  $(a)$  и при  $(b^2)$  = каком-то дважды рожденном, и при  $(-c)$  = каком-то зле, — но ее не видно, она отнесена за мой предел (мои скобки) и как общий удел нас:  $(a)$ ,  $(+b^2)$ ,  $(-c)$  — ко всем ведь нам подстерегающее  $3$  за скобками относимо — так что не одному отвечать, а всем пропадать, что уж и веселее: на миру и смерть красна.

## 5. Разлука

Здесь царевич впервые видит работу и трудящихся:

Цветами, плодами сняли **деревья**,  
И сердцем беспечен он был.  
Но возле дороги он пахарей видел,  
Что шли, проводя борозду.  
И **черви** там вились, — и дрогнуло сердце,  
И вновь был пронзен его дух.  
О, горестно видеть свершенье работы,  
Работают люди с трудом,  
Тела склоненны их, и волосы сбились,  
На лицах сочащийся пот.  
Запачканы руки и пылью покрыты,  
Пригнулись волы под ярмом,  
Разъяты их рты, и неровно дыханье,  
И свесился набок язык. (42)

Трудящийся — искаженный человек, безобразен: пот, пыль, кривь, кось. Но, с другой стороны, в нем космическая натуга, и оттого все стихии, в нем собранные, как в космотворческом узле, проступают: пыль — земля, пот — вода, язык (представитель огня во рту) — не вверх, как пристало огню, но вкось, вбок пламя. Язык при напряжении трудовом у нас высовывается наружу, как устрица сквозь створку — чтоб питание мира прини-

мать: язык высовывается как антенна, громоотвод, локатор—уловитель энергии космической. В то же время его высовыванье, как и поднятие фалла (они — корреляты, вместе с носом: все — огненные языки в нашем теле), есть выпирание нас наружу, нашего избытка, выход из себя, агрессия на бытие,— аналог протяжению руки (тоже, кстати, огненный язык в нашем теле: потому, когда шаман пляшет, машет руками — то космический костер горит), и протянутость руки имеет в высунутом языке свой pendant, подголосок и подпасок (как в музыке тема дублируется в сексту или в дециму — в другом тембре, регистре, члене, органе: сердечный голос скрипки=сердца пузом виолончели сопровождается).

Так что же такое работа — с точки зрения бытия? Отчего человек в таком искажении образа своего<sup>17</sup>: напряжен, в поте лица своего — склонен — согбен? Лицо в поту — значит, не светоносно — сухо, а космотворческим семенем сочится — как головка другая; голова от света отвернута — склонена: значит, стыдясь света божьего, средь бела дня тьму-тьень создает, прикрывая стыдно эрзное, ночи присущее дело космотворения; и раздеваться в поту, жаре, испарине=трудоуемой истоме — приходится: средь бела дня на большой дороге бытия собрались разбойнички — развратники — перераспределители мощны и форм естественного бытия: ведь труд и есть отображение у одного (ствола у дерева, металла у земли — недр ее) и придача другому: дерева металлу (черен+обух=топор), металл из недр земли вытаскивается и потом сверху по коже ее прохаживается, испаривает — плугом пашет борозду, а в ней черви кишат — как болезней земле и нагноение приносят трудом.

Итак, Труд есть исправление Бытия, переделка естественно-го распорядка, из усомнения в совершенстве бытия происходящее.

Но отчего так? Первая мысль, что приходит: бедные, несчастные, покинутые бытием — значит, неблагосклонно оно к этим существам было, обошло благодатью и дарами своими: бездарны, бесталанны — в полость и в изъян свой бытие их посадило, так что сами должны пустоту восполнять, срывая соседнее изобилие (с холма — кирпич, с леса — дрова и дичь).

Но ведь муравьята зачем-то перетягивают иголки еловые в кучку; рыхлят кроты землю; листики, падая, гниют — и дерево через то головой-кроной корни свои питает, как змея — хвост кусает, в круг самозамыкается; воды, потея, испаряются, тучки образуют и т. д.— везде ведь тоже работа функционеров бытия, усилие и свой вклад в миропорядок. Правда, бытие от этого не меняется: круговорот в нем (хотя горы выветриваются однолинейно, не восполняясь, но нам-то общий итог целого не виден,

---

<sup>17</sup> 13.XI.75. Здесь (как и везде) автор пытается вникнуть, как могли вещи представляться будущему Будде, а не высказывает о них общезначимые безличные суждения.

а лишь убывание части зрим — горы этой, а как по ней о балансе целого заключать?), тогда как труд людей не круговоротен, а однонаправлен, прямолинеен. Однако и история являла циклы — возврат, например, античности на круги своя после нашествия варваров — готов: волнами история, и неясен конечный итог.

Но главное — труд идет, копошение и роение жучков-паучков, плодящихся и размножающихся.

То, что они делают, нельзя назвать прибавлением в бытие по количеству: ибо берут то же вещество из бытия и лишь в другую кучку и форму его перелагают, — но можно назвать прибавлением по качеству и формам: дом — из той же земли, однако небоскреб — не гора, неведомая форма. Так что труд — формист, реформатор. Но так же как кораллы, по заданию бытия, плодясь, размножаясь и пропуская через себя воду, питание и экскременты оставляя, — в итоге вылезает островом из воды, так и цивилизация с городами-островами: вся история имеет жожет космическое предназначение и быть функционером бытия.

Но люди, трудясь, этого не могут знать. Напротив, на первый план выступает пассивность бытия и их, людей, мощь демидуржья — как преобразователей. Бытие — пассивная глина, безответно, мертво-пустынно, так что его мять да кромсать в нашу угоду: потребность наша и цель человечья вроде затмили и заменили строй и целое мира, что — в идеях «Провидения», «Промысла божьего» (а «Бог» — это подчеловеченное бытие, особенно христианский, где уж «Сын Божий» = «Сын человеческий»), так что будто у Бытия и дел и мыслей — только чтоб человеку подладиться и соответствовать.

И гордыня муравьишек растет пропорционально сужению их кругозора, данного им естественного бытия. Конечно, человек — горожанин, живущий на улочке, где ни неба, ни солнца уж и не видно, — ему присуще полагать, что бытия-то вообще осталось — вон, как неба — с овчинку, а всё — мы, цивилизация, техника, мозг человеческий и руки-машины.

Вот почему время от времени имеет бытию смысл одернуть зарвавшихся, напомнить им, что они у него в подоле, на лоне — и даровать им не себя лишь самоупоенно любить и восхищаться, но и бытие взвидеть, свет божий, прозреть широту мира, благодать его строя и красоту, совершенство и неприкасаемость всех существ и распорядка мира и понять, что мы у него на услужении, пассивны быть должны, и меру вещей и существ и всего тогда независимую от нас постигаем. Но чтоб такое понимание и причащение к бытию добыть, надо остановиться, смириться, от суеты и усилий заинтересованных, от нужд, целей, потребностей, желаний своих — эгоистически бытие щиплющих и откусывающих по кусочку — отрешиться, и замереть. Активностью дыхания — духа и ума — света, бытийственных посланцев в нас, парализовать желание и движение рук и ног.

И вот сразу же после видения людей работающих

Царевич, исполнен **огнем сострадания**,  
(Это жар, вызывающий тоже пот, но другой — слезы.)

И с любящим нежным умом,  
Был ранен такою пронзающей болью,  
Что в пытке своей застонал.  
Сойдя с колесницы и **севши на землю**,  
На зрелище боли смотрел,  
И в мыслях, сплетясь, протянулись дороги  
Рожденья и смерти пред ним.  
«Увы,— он вскричал,— злополучие миру,  
В несведущей он темноте!»  
И спутникам он предложил, чтобы каждый,  
Где **вздумает**, там **отдыхал**,  
Сам сел он под тению дерева Джамбу  
И мыслям отдался своим.  
Он думал о жизни, о смерти, о смене,  
О тлене, о дальнем пути. (42)

Панорама и калейдоскоп изменчивости — на этом он сосредоточивается, это делает предметом, — чтоб создалась упругость, от которой оттолкнуться в покой и статику созерцания истины, точнее — пребывания в истине, ибо в том смысл Нирваны, что она не предмет созерцания, как в йоге и индуизме — высший Брахман и т. д., — но состояние, со-бытие, пребывание. А созерцается же — смена рождений — смертей, жизнь существ, факты мира — но не заинтересованно, а оттолкновенно: чтоб из созерцания пременчивости еще более утвердиться и упорно быть в сожительстве с бытием — в Нирване, о которой нечего сказать и нельзя говорить в принципе — о вечных и последних, метафизических вопросах, ибо зачем это тому, кто уже в их разрешении находится, со-бытует? И обратно: раз и навсегда отвергнув, запретив себе выяснять метафизические вопросы, — я словно тем самым усилием завоёвывал себе их разрешение, вымог его, добился от бытия. Вот почему познавший путь мыслитель занимается разрешением частных вопросов: они его предмет. Будда отворачивался от метафизических прений, решая все последние вопросы о едином и т. д. — поведением, а не отодвигая их от себя в предмет созерцания, мысли и слова. То словно космос сам шевелится и себя упорядочивает — ведь не словом же, а тем, что так или иначе повернется, сложится, разогнется, разовьется — ту или иную позу-асану примет (лежа, змеей, сидя, стоя, распято на кресте и т. д.), акт совершит: грозу, землетрясение, выход на манифестацию и т. д.

Так **сердце свое закрепив без смущенья**  
И **тучкой пять чувств затянув**,  
В **просвете он внутреннем весь потерявшись**,  
Изведal **первичный восторг**.  
Первичная чистая степень восторга. (42—43)

(Восторг — как и вос-хищение = исторгание из себя, из «я» моего, похищение меня бытием: как Ганимеда — орлом вознесение, иль Христово)

Все низкое прочь отошло,  
Настало затем совершенство покоя,  
Слиянье с Верховным в одно.  
Отдельность души от препоны телесной,  
Один ясновидящий взор.  
«Я буду искать,— он сказал,— и найду я  
Один благородный закон,  
Чтоб встал он на смерть, на болезнь и на старость,  
Людей бы от них защитил». (43)

Здесь все противоположно работе, словно противовес ей и ее мировоззрению добывается. Трудящиеся стоят, склоняясь и перекосячась,— он садится, но зато выпрямившись, взяв за образец ствол дерева, под которым садится. Те — под открытым небом, воздухом и светом, но от них отвернувшись, склоняясь; этот — под дерево, что само есть связь трех миров, вознесение с земли вверх, ибо как молния, улавливаемая, кстати, Древом-громоотводом, есть посыл неба-света вниз, так и по стволу дерева естественно отсылается земная мысль, дух земных существ — как по желобу и руслу, чрез воздух в небо — как почта и телеграф.

И недаром огонь возженный, костер Агни, что связует уже землю с небом,— тоже через дерево-дрова возносится, высь набирает.

Потому и естественно, что под деревом Джамбу (Розовой яблоней) произошло пред-озаренное задумыванье царевича, зарница вспыхнула,— а потом под деревом Бодхи, или Древом Бо — Смоковницей Благоговения, совершится **озарение** — как снисхождение ослепительного снопа лучей, удар молнии, притянутой магнитом человеческого ожидания истины, сгущения всех сил на острие головы, так что она уж нимбом лучезарным тлеет, истекает, вихрится и пылит (N. В., кстати, все 4 стихии здесь само собой сказались — только «истекает» додумал, дополнил, а три остальных сами чредой объявились).

Те рыхлят землю, искажают бытие — этот сложил руки, увел свои сочленения и зацепки из зацепления с чем-либо, отрешившись от воздействия на что-либо, кроме себя,— зато замкнул их коротким замыканием на себе, усилив себя как земную искровую молнию, сосуд вакуумный, истину бытия втягивающий, получить ее как дар ожидающий,— а не со стержнем руки, фалла, палки, топора-лопаты пронзать его (бытие) выходящий. Кстати, все эти вторгающиеся в распорядок бытия стержни — в бок или в низ направляются, тогда как в позе Будды, как и у древа, стержень-торс-голова — вертикален.

И вот что совершается: закрепление сердца — как мировой точки опоры (тогда как при зацеплениях желаний и волнений сердце у нас вот-вот выскочит из груди или любимому преподносится), чувства отъединяются облаком, как изолятором воздушным,— от контакта осязательного, внешнего с внешностью же бытия,— зато сосредоточивается внутренняя полость и сообщаемость нутра с нутром — «внутренний просвет» открывает выход

в бесконечность света, где теряюсь и я, и вещи, и все — всего этого нет, зато есть восторг, восхищение и покой, и — Нирвана (= безветрие).

Закон — космический — им уже найден, он в нем, но он еще не ословеснен, не отверден в предмет и оружие — что совершится, когда под деревом Бодхи он станет Буддой и сформулированы им будут 4 благородные истины и восьмеричный путь.

Итак, царевич тоже, как и трудящиеся, — в величайшей энергии космотворения, в тапасае, пребывает. Но если у тех в итоге — переделка, изменение какой-то частицы бытия, сотворение формы, то здесь — восстановление бытия как целого, незатронутого, как совершенства, возврат бытия из странствий по изменчивостям и формообразованиям — к сути своей, для себя ясной и потому не нуждающейся в форме и образе (ибо форма и образ — это бытие для другого, когда ему стать предметом — даже созерцания и мысли). Это состояние бытия и со-бытия существ в нем и обозначается (как я пока понимаю) словом «Нирвана».

В сосредоточеньи явился ему Дэва, бог, в облике бхикшу, нищего, — и понял, что ему надо: уйти, что «в разлуке есть высокое значенье» (Тютчев). Уже сам акт сосредоточенья и погружения в (себя ли, в бытие ли, в небытие ли — кто уточнит?) был отрывом членов — рук и желаний, зацепляющих и привязывающих, — так что сейчас в нем конечности висят, не направленные, свободные валентности, а не растянутые — подхваченные и распятые по связям и направлениям на все четыре стороны. И вот он встал, свита за ним, он возвращается пока в город:

Он двигался телом по той же дороге,  
А сердцем был в дальних горах:  
Привязанный слон так, плененный цепями,  
Все в диких пустынях умом. (45)

Слон в городе — это Бытие в цивилизации. И то, что в Индии это до сих пор допустимо, почтенно и неприкасаемо: смешение этих двух «ремесел», так что обезьяны и коровы беспрепятственно разгуливают среди толп и автомобилей, — в этой какофонии — интимная близость индусов к бытию и равноправие асфальта траве, смирение Цивилизации, что знает себя как частичную лавочку в Бытии, наряду с его собственным непри-  
нужденным творчеством в ипостаси Природы.

И в город царевич вошел и увидел  
В людском закрепленных людей.  
О детях своих умолял его старец,  
Молил молодой о жене.  
... Все те, кто был связан родством и семьею,  
Стремилась к тому иль тому,  
Все бывшие слитыми родственной связью,  
Разлуки страшились они.  
И сердце царевича радость узнало,  
Когда он услышал слова:  
«Разлука и слитность». «То добрые звуки», —

Он тихо сказал про себя.  
...Он думал о счастье «родства, что порвалось»,  
В Нирвану он мыслью вошел.  
И было все тело его — в светосиле,  
Как скалы Горы золотой,  
И плечи его — как слона были плечи,  
И голос — как вышний был гром,  
Лазурны глаза — как у первого в стаде,  
У сильного рогом быка,  
И светел был лик — как Луна в полнолуние,  
Шаги — были поступью льва. (45)

Он сам разросся как космос, космическое животное, божество, заполняющее воздушное пространство, как Индра в Ригведе, выпив сомы. И эпитеты те же: бык он, лев и громовик. А отчего так сам вырос и взлетел? Да как воздушный шар, дирижабль, кого веревками в натяжении на земле держат — как царь-отец старался закрепить его привязанностями и вожделием, как работодатель заинтересован закреплять наемную рабсилу семьей. Чужая возможный отлет сына,

Послал к нему, зоркой заботой тревожим,  
Отменных советников царь  
И тех из родных, что с младыми летами  
Красу сочетали и ум.  
Чтоб, ночью и днем пребывая с грустящим,  
Влияли они на него. (41)

А оттого он силу набрал, что привязи родства и привязанностей к ближним решил порвать, — и тут же, этим решением и актом, стал сыном бытия, а не отца человеческого-родного; пригрет стал бытием и привязан к дальним, к вышнему — оттого и налился стихиями, воздушным пространством, и так вырос.

Ведь привязанности родства мельчат, раскрывают и по ниточкам растаскивают, заземляют энергию и светоносность человека, самочувствие его принадлежности бытию заслоняют: «он», даже «ты» — «наш», «мой», «родной», «любимый» — так слышишь и сам чувствуешь, что вот они — твой круг, твои соседи по бытию, и нет ничего ближе и дороже, и без них тебе не жить. Так что, чтобы явить человеку бытие во всем его величии и истине, его первым делом нужно отвязать от преимущественной привязанности к родным, от ощущения, что он принадлежит им, а они — ему.

В Бхагавадгите в какой ситуации начинается причащение Арджуны к бытию, откровение ему истины? Выехав на поле битвы, которая вот-вот начнется, он видит против себя своих родичей, друзей, свойственников, учителей — как же ему убивать их? Лучше уж себя убить! И на это его колесничий Кришна, перевоплощенный Ишвара, Бог Высший, растолковывает ему, что зря он мнит, будто они — его, а он — их, будто они и благо их друг от друга зависят; что все они — Его (бытия) перевоплощения, твари, и каждый должен исполнять свою дхарму, свой путь в бытии, и тогда в нем будет поддержан порядок.

Ты кшатрий? — значит, твоя дхарма быть совершенным бойцом, и твоя забота — поступать, как должно, а что выйдет из этого, плоды совершенных дел — уже не твоя забота, но забота бытия.

Сходно и в христианстве: «и враги человеку домашние его», и «кто возлюбит жену и детей более Меня, тот не любит Меня» и т. д. Итак, оттолкнуть родных, их моления — се — стартёр, только так можно начать, набрать первичной силы, чтобы преодолеть притяжение земной орбиты, что держит нас прежде всего любовью к родной плоти, крови и кости,— и вылететь в открытое пространство бытия.

Придя во дворец,

Почтительно он попросил позволения

Уйти и отшельником стать.

«Все в мире,— сказал он,— хоть ныне и слито,

Все в мире к разлуке идет».

И мир он оставить просил разрешенья,

Чтоб «истинность воли узнать». (46)

Итак, если, по Эмпедоклу, Любовь и Вражда соединяют и разделяют элементы, стихии на существа (ибо существо каждое можно рассматривать и как соединение стихий: земли, воды, воздуха, огня, как плод их любви,— и как особь, результат разделения целого бытия на части и отталкивания частей друг от друга, т. е. как результат ненависти и вражды), то в Будде подчеркнут космотворный момент **разлуки**, разъединения ближнего (для иного соединения — дальних), хотя движим состраданием (не любовью) к людям. Как здесь ослаблены, смягчены европейские противостояния: не вражда, но разлука, не любовь (как у Христа), но сострадание! Все это — очевидно, в соответствии с менее контрастным космосом (нет такого противостояния жары-холода, зимы-лета, в частности, и т. д.).

Чтоб остановить круговорот, колесо сансары, цепь перевоплощений, надо это целуяние ближних звеньев друг за друга прервать; чтоб расплести сеть и ткань бытия и клубок распутать,— надо высвободить и обособить нити, швырнуть их в рассеянное бытие — пусть уж оно вновь рассудит, что с ними делать, а не своим умом нам на прежнем сплетении настаивать.

Главный аргумент царя-отца: что рано еще, срок не вышел, время не наступило; ведь по индуизму у человека предполагается четыре полосы — ашрамы бытия: ученик, домохозяин, отшельник в лесу, саньясин-нищий. Ты пока молод, тебе надо детей народить, богатство создать, чтоб сын был — культ предков продолжать, иначе род прервется; чтоб богатство было — нищим, подавать чтоб было что. И уж исполнив эту артку — долг социального человека, гражданина, члена общества, и вкусив каму — наслаждение в любви и прочем, насытись, оставив за собой устроенную жизнь в порядке,— можно и уходить в лес, в бытие, к нему приближаться и к истине. Словом,

Блажен, кто смолоду был молод,

Блажен, кто вовремя созрел...

А тут молодой, сочный, в ком кровь и Эрос бурлить должны,— в нарушение сроков — в лес, перепрыгивая из состояния ученика в ашраму саньясин, из первой — в четвертую.

Но в этом-то вся и затея и задание: преодолеть время можно, лишь опрокинув его ритм, перескочив через зону его,— как, убегая от его власти, войти в реку, а выйти неизвестно где, так что время остается на том берегу; потеряв след, запутать его, спутать его карты и тем выйти из-под его юрисдикции — и тогда воистину «времени больше не будет...».

Царь: «Постой! Говорить тебе так еще рано,  
**Не время** в молебельность уйти.  
Свой долг соверши и составь себе имя,  
**И после** уйди от семьи». (46—47).

А вся суть космоустройства от Будды — чтоб время изгнать, и лишены смысла в таком мире понятия: «рано», «после». И делается эта отмена времени именно волевым актом энергичной приостановки бытия на всем скаку: когда молодой седец в силе мужской бастует и прекращает рождение, т. е. начало,— тем и снимая болезненность противостояния начала-конца. И движущая сила этого акта — жажда Абсолюта; царевич обещает остаться, если царь в силах избавить его от четырех бед: дать ему бесконечную жизнь, избежать болезней, старости и гибели владений. Царь же отец:

«Нельзя этих слов говорить.  
Здесь нет никого, кто бы мог устранить их,  
Сказать их явлению — Нет,  
Ты вызовешь смех у людей, если будешь  
Стремиться до тех **четырех**.  
Не думай же больше, чтоб дом свой оставить,  
Усладам предайся опять». (47)

Кстати, обращают на себя вновь числа: 4, 8, раньше часто — 6, и нет 3, 5, 7 — священных в ведизме и индуизме. И это подтверждает соображение о буддизме как мировоззрении цивилизации, города, труда — а не естества. 4, 8, 6 — это числа ургические, труда, форм и граней, трудом сотворенных: куб, шестивосьмигранник, тогда как 3 — число естественного природного вырастания (корень — ствол — крона; отец — мать — дитя) и данности: земля, воздушное пространство, небо; 5 — пять конечностей в нашем теле и пять чувств — все тоже данности...

По рассуждениям отца — правоверного брахманиста, видно, что индуизм-брахманизм внутри времени, приемлет, покорен отнесенности, цикличен и круговоротен в своем миропонимании.

Царевич просит отца не удерживать его:

«Молю, затруднений не ставь на дороге,  
В горящем чертоге твой сын,  
Ужели удерживать будешь в пожаре,  
Покуда и он не сгорит?  
Кто хочет сомненья распутать, он волен,

Не держат его, а не то  
Себя он разрушит, дойдет до разгадки  
Иным, безвозвратным путем.  
Неправой дорогой. А после, за смертью,  
Кто сможет его удержать?» (47)

Итак, воспламенен внутренний мир и, если не выпустить на воздух, в тягу бытия,— сгорит в коротком, на себя лишь, замыкании. То есть и здесь готовность на смерть и смертью смерть поправить,— однако не доходящая, как в христианстве, до реализации — как всякая в нем полярность доводится до кричащести,— а смягченная, без напряжения разрешаемая, что присуще индийским мировоззрениям: Будде не пришлось пострадать как великому ученику — царь-отец отпустил его.

В последнюю ночь перед уходом окружили его женщины:

Смотрели, как лани, что в чаще осенней,  
Увидя охотника, ждут,  
Царевич же стройный, царевич красивый  
Застыл, как утес золотой.

...Узнав, что царевича время пришло,  
Тут Дэва из Чистых высот  
Во образе внешнем спустился на Землю,  
Чтоб женские чары убить.  
И полуодетые призраки эти,  
Забывшись в сковавшем их сне,  
Являли глазам некрасивые формы,  
Их скорчены были тела.  
Разбросаны лютни, разметаны члены,  
Спина прилепилась к спине;  
Другие как будто потопшими были,  
А их ожерелья — как цепь;  
Одежды их были увиты, как саван,  
Или выявлялись комком;  
Красивыми были и вот уж увяли,  
Как сломанный маковый цвет;  
Иные во сне до стены прижимались,  
Как будто повешенный лук;  
Иные руками цеплялись за окна,  
Смотря, как раскинутый труп;  
Иные свой рот широко раскрывали,  
Противно сочилась слюна,  
И волосы были всклокочены дико,  
Безумия жалостный лик;  
Цветочная перевязь порвана, смята,  
Распотанный в прахе лохмот;  
И в страхе иные приподняли лица,  
Как в пустоши птица одна. (49)

Здесь та волнообразность телодвижений, что столь заманчивой явлена в картине, открывающей эту главу,— вдруг поймана на миге и остановлена, как в кино вдруг кадр застывает фотографией; и то, что должно переходить в другое,— застывает без перехода, в вечной статике немой картины, и обнаруживается, что мгновение-то, если его остановить<sup>18</sup>,— не прекрасно; что

<sup>18</sup> Имеется в виду Фаустова мечта.— 13.XI.75.

если на волновую природу мира взглянуть с точки зрения атома, дискретного состояния вещества,— то волна в статике безобразна.

Кстати, у Гоголя в конце «Ревизора» применен этот метафизический эффект остановки движения: немая картина, где люди окостеневают, как пойманные божьим лучом в миг своих сует, захваченные без раскаянья и покаяния, нагими, как они есть,— и так на вечность и зафиксированные и пригвожденные; это ад приотворен, каким он может быть и человек в нем: в вечной неподвижной корче. Движение-то как раз — как передача эстафеты нравственного исправления человечества потомкам: разрешает, облегчает маной надежды. А вот если этот мост убрать и остановить людей и существа на краю пропасти, какими они есть, каковы они без утоляющей волнообразности и избыточности движения, без его одеванья и сглаживанья — к чему пригодны твари, существа, люди, как они сейчас есть,— если к ним применить категорический императив, Абсолют, захватить врасплох и сразу оборвать и живыми взять на небо ли, в ад ли; если отбросить пришедшийся по плечу нам критерий относительности — т. е. переноскости, подвижности, движения: хлестаковского бодренького «все течет-с, все изменяется...»,— пригодны ли существа сразу быть, оказаться в истине-естине, как они есть, сейчас, теперь, а не потом,— если прервать цепь времен? Каковы мы сейчас как навечно,— если посмотреть?..

Потому сказано в христианстве: бодрствуйте, ибо не ведаете часа, когда придет к вам Сын Человеческий; Будда — «бодрствующий»; а еще сказано: «Бди!» (Козьма Прутков).

Царевич зовет возницу Чандаку.

«Душа моя жаждет, испить она хочет  
От влаги нежнейшей росы.  
Седлай же коня мне. Скорее. Желая  
Я в город бессмертный войти.  
Я жажду. Решился. И связан я клятвой.  
Нет чар в этих женщинах мне.  
Врата, что замкнутыми были, разъяты.  
В судьбе моей здесь поворот». (50)

Все ночное и лунное; солнце реже связывается с Буддой: свет его серебристый, хотя и с золотом есть сравнения. Ворота, поворот, колесница — жизни от ворот поворот: что закрутится колесо дхармы — предвещают.

Конь, что его выносит,— тоже космическое животное.

С высокою гривой, с хвостом, словно волны,  
С широкой и сильной спиной,  
С значительным лбом, с головой как бы птичьей,  
С ноздрями как будто клешни.  
С дыханьем как будто дыханье дракона.

...И был он как Солнце зари,  
И конь был как облачный столп устремленный,

Бежал, но бежа, не хралел.  
С ним были **четыре** незримые духа,  
И каждый ногам помогал.

И собирается царевич туда —

«Где жизнь бесконечная током струится,  
И биться с оплотом врагов,  
С людьми, что в погоню идут за усладой,

в том числе и с родными.

Во имя свободы твоей и всеобщей,  
Да будет достойным твой бег».

...Сдержав свои чувства, но память лелея,  
Из города выехал он,  
Такой незапятнанный, светлый и чистый,  
Как **лилия**, бросив свой ил. (51)

Лилия, лотос — как древо: и связь трех миров: земли, воздуха и неба. Вырастает в болоте — а светоносна.  
И слова он бросил:

«Когда б не избег я рожденья и смерти  
Навеки,— я так бы не шел!» (52)

И обратно: пойдя так,— я избегаю рожденья и смерти.

Так всадник и конь, оба сильные сердцем,  
Как звезды, пошли и ушли (52) —

сорвалась комета с земной, людской орбиты.

## 6. Возвращение Чандаки

Конь домчал царевича с возницей Чандакой в чашу, в обитель Риши.

Ключи журчали и звенели  
Необычной чистоты,  
И, увидав, что человека  
Здесь не боится зверь лесной (53),

царевич понял, что нашел искомое место — где семя, ядро чистого космоса, что он искал «в долгой ночи неисчислимых перемен». Движенье, жизнь = ночь, тьма. И далее:

Как в чаще леса, на деревьях,  
Все птички — по две в темноте,  
Придет заря — и разлетелась,  
Так все разлуки в мире здесь,—

растолковывает он вознице, зовущему домой в семью.

И действительно: путем движения малое вещество создает впечатление многого и сплошной материи: одна спица колеса,

вертятся быстро, может создать впечатление непроницаемой плоскости. Останови же движение — и сразу прозрачен мир — в крапинках вещества, в горошек тел, как небо в звездах. Если один человек бежит туда-сюда, кажется: как много здесь народу, какая толчея! Движущееся тело часто перебивает луч света, и оттого движение творит тьму.

Средь людей движение вызывается желанием, цепляющимся за разное, — как обезьяна рукой за ветви и притягивает тело; так и тьма устаетается благодаря привязанности и любви, в силу которой уплотняется вещество и разъединенные тянутся друг к другу через движение.

Встают высоко в небе тучки,  
Как сонмы островерхих гор,  
Но вмиг опять они разъяты,—  
Так с человеком человек.  
Начально это заблужденье,  
Любовь и общность меж людей,  
Все, как мечта — за сном, растает... (59)

Общество людей, соединенное любовью, = мир друг друга отовсюду сплоченно пытающих: скорбью, страданием, многократно повторенным, — чем более связей и привязанностей у существа: за того, за этого тревога — и этим быстрым трепетанием чувств заслонен свет бытия. Потому для блага же людей, чтоб избавить мир от страданий и скорбей, должно отрезать манящие сладости привязанностей, любвей, родства, дружб — и тогда разъединенные меж собой люди, распределенные в пространстве меж других тварей, будут чувствовать своими соседями по бытию не человека лишь, но — облако, дерево, тигриц и сочувствовать им (как Бодхисаттва в прежних рождениях, что в «джатаках» рассказаны).

Разрыв родства и любви жесток? Возница Чандака говорит:

«Кто в целом царстве мне поверит?  
Коли скажу, что жжет Луна,  
Скорей поверят, чем что может  
Царевич — жестко поступать.  
Утончен сердцем он и нежен.  
В нем к людям — жалость и любовь...» (58)

Жалость, сострадание — да, но любовь — нет. Исходная точка Будды — страх страданий, скорбей, болезни, смерти. Их преодолеть — первая задача, а уж благо от этого людям получается как вторичное, побочный продукт.

В христианстве же исходная точка — любовь Бога к людям, отчего Он и послал им в помощь Сына возлюбленного. Любовь здесь краеугольна: к ближнему, к дальним — но проповедуется здесь только меж людей, к другим тварям очень редок выход, общество людей как чуть ли не совпадающее с бытием — берется. Оттого, раз за первооснову принята любовь, вторичны, допустимы, терпимы и даже надобны становятся — страдания, скор-

би, болезни, смерть, — культ их и культура страдания в христианстве, и образец этого — Сам, принявший распятие: пострадав за людей и умерев, он освятил и страдание, и смерть.

Вместе с любовью свергается вера. Царевич говорит вознице:

«Тебя как верного лишь знал я,  
Теперь как сильный ты предстал,  
А может человек быть верным  
И силы в теле не иметь». (54)

В христианстве вера и есть сила, придает силу невероятную. Здесь же вера — частность, не абсолютна, да и кому она? — человеку, а не вера во что-то: Бога, абсолют, силу вне человека. В христианстве эта сила полагается в Боге, и через веру я к ней подсоединяюсь, как проводом, и идет ток. В буддизме же человек все сам: и верен, и силен быть должен — никто не даст ему избавленья...

Наконец, третья из христианских добродетелей — надежда — совсем уж имеет отрицательный смысл в буддизме. На что надежда? На будущее? счастье? небо? спасение? возрождение? — Но все это отвергается: все — здесь, сейчас, в настоящем — вечном. А надежда — отлагательство, рабство у времени.

«Ты говоришь, я слишком молод,  
И мудрости искать — не час,  
Ты должен знать, что верной веры  
Искать — всегда удобный час.  
Непостоянство и превратность,  
И смерть — всегда нас стерегут;

(Смерть-то вне времени, всегда наготове — с нее и образец, она модельер поведения<sup>19</sup>.)

И потому я обнимаю  
Текущий настоящий день» (55—56)

Итак, надо посметь совершить жестокость к ближним, оторваться от любви к ближнему — вот предпосылка и начало озарения. Царевич, забастовав как отец и семьянин, тем руку поднял на отца, восстал на род отцов, чуть ли не убил их, так как сын должен приносить жертвоприношения умершим отцам — тогда они могут поддерживаться и пребывать на небе с бога-

<sup>19</sup> И ниже:

«Все существа, путем различным,  
О **постоянстве** говоря,  
Явить хотят свое влияние,  
Чтоб не покинул я родных.  
Когда ж умру и стану тенью,  
Тогда — как смогут удержать?» (58)

Опять аргумент к смерти — как основа воли, с какой не меня внешняя сила и нужда (смерть), а сам я освобождаю себя от привязанностей — и вывожу из времени и тем сотворяю постоянство в бытии.

ми, в третьем шаге Вишну. А Будда отрекся, отвернулся, вспять пошла цепь рождений, прервал долг — и тем посягнул на отцов. Здесь — индийский вариант Эдипова комплекса (еще впереди его восшествие на небо, чтоб спасти МАТЬ и ее Закон рассказать).

Однако как везде в Индии смягчены противопоставления, и пределы не жестки (примерны, условны), а истаивают в безграничном, и допускаются иные варианты, нет ригоризма, — так и в буддизме: все ж Будда одного-то сына родил, брахманству все ж угодил, не совсем прервал цепь жертвоприношений предкам: сам ушел, но все ж есть внук деду для продолжения долга жертвоприношений.

Далее царевич — линяет: как змея, прежнюю кожу — оболочку — одежду светло-золотую, царскую меняет на темную — «цвет земли»:

«Он в цвет земли теперь оделся,  
Вошел в мучительный он лес» (62), —

скорбит, расставшись с ним, Чандака.

То есть, стал природой, не человеком, вошел в землю — посадил — посеял себя — на благодать и милость бытия: что взрастит.

Но с другой стороны — сверху — скрепляет он себя с небом:

Царевич вынул острый меч,  
И узел он волос им срезал,  
В котором яркий яхонт рдел.  
Он бросил волосы в пространство,  
Они взошли на небосвод  
Иплы там в провалах света,  
Как крылья феникса плывут,  
И там, где тридесать три бога,  
Схватили духи Света их,  
И, завладевши волосами,  
Они вернулись в небеса. (60)

Срезание волос — как космогонический акт: волосы — нити земли, веревки-канаты, которыми лилипуты Гулливера к земле присобачили. Волосы — пуповина, перевязь, связь родства, — и забросил он их на небо, его с собой сроднив. Разросся тем самым как космическое дерево.

### Одежда — что́ есть?

Разъединение существа с миром — обособление, знак самости, захлопыванье двери, прикрытые стыда — корня — пола своего, значит, его осознание: не может теперь мир со мной совокупляться, меня по своей воле зацеплять за крючок, или Зевс — небо дождем в лоно просыпаться: закрыто все, гладко, как нос, исчезнувший у майора Ковалева, — как будто и не было выступов-впадин, а все — гладко: не осколок — пол-половинка, но — особь я, сам с усам. Одежда — внешнее выражение «я», окутыванье

себя облаком: как боги им от смертных скрываются, так люди одеждой — от богов, неба, бытия. Одежда есть — небо с овчинку, на меня наметнутое (и одежда, и небо — покров); это — освоенное, присвоенное, объявленное небо: воле космоса — иглам его холода, палящим языкам жара — положен предел в мере самого человека, его средней температуры тела. Отсюда — его равновесие и устойчивость, хладнокровие и неподатливость, надежность. Оттого человек и таинство для мира представляет — все хочет бытие с него покров стянуть: в зачатии, в рождении, в смерти — но и тут лишь на миг, ибо ночь покровом покровительственным скрывает наготу зачатия, в пеленах — младенец, в саване — мертвец.

А по составу одежда — полное присвоение, по-[н]-ятие = взятие на себя мира: травы — ткань, кожа животного — пояс, меха; дерево — обувь, камни — ожерелье; воздушною дымкой колыхнется ткань-флер и волнами струится.

Части одежды — национальный тип рассеечения космоса, его анализа на составные. Индийское сари — единый монолитный кусок полотна = небо единое, которым многократно-многосферно, многопоясно окутан человек (как и в бытии, там несколько миров предположено, слов неба). Дробность европейской одежды — как изрезанность материка Европы, мелкое разнообразие рельефов: долинок, горок (в отличие от индийского материка — монолита) — являет дифференциацию, есть натолкновение космосом европейского человека на анализ, рассеечение единого на множество разного. Щупальцами зимы и студа касаясь, указывает бытие, наводит на мысль, что пора одеться, наматывает снег — покров.

Европейская одежда метко дифференцирует межами непроходимыми зоны бытия: голова = шапка (особая форма, не ткань — тюрбан, как сари, на голову навертываемое), рубаха, пиджак-жакет-куртка = грудь, торс (опять же воротник = шея, ворота, проход меж головой и корпусом); пояс — средину, экватор знаменует; далее — зона сокровенного особо упрятана, отгорожена: трусы, штаны — как земля и чрево ее — корой; и конечности — чулки, носки, перчатки, рукавицы, ботинки; сапоги = шаги.

В индийской же одежде обертываньем сари и чресла, и ноги-штаны-чулки — к Единому приобщаются. Так что метафизична одежда: и миропонимание в себе исконное таит, и метафизику на нас излучает; и, одеваясь, мы членение бытия бессознательно повторяем и космос мыслим и творим.

## 7. Лес

Царевич, отослав возницу, вступает в лес, и скоро вокруг него собирается толпа отшельников. Как приключенческий роман: попал к разбойникам, лесным жителям, обитателям иного уровня существования с иным укладом, строем, законом — как Гул-

дивер в Лапугу или Данте в иной круг бытия вступив (вообще, поэма Асвагоши «Божественной комедии» близка = тоже панорама бытия). Царевич хочет научиться у них истине и пути. Старший брамин ему объясняет:

Одни едят не то, что есть в селеньях,  
А только то, что в чистой есть воде. (64)

То есть — отбросив труд и плоды работы (что ею дается, бытие изменяя); общий принцип отшельников: на иждивении быть у бытия, к нему ни прибавить, ни убавить — чтоб не искажать его строй и закон некомпетентным вторжением, но вслушиваться в его порядок и его меру без отвлекающего шума, лягга и скрежета труда — постигать.

Так, эти отшельники — водяные: прильнули прямо к космическим водам Варуны, что мир окружают у его пределов, — этой стихии причастны, ей служат, ею притянуты.

Другие — только ветки молодые.  
Плоды, цветы и корни, что в земле.

(Эти = растения).

Одни живут, как птицы, и, как птицы,  
Что говорят, то и служит пищей им;  
Другие щиплют травы, как олени.

Все — тотемы: вспять эволюция, каждый словно осознает, чью линию и ответвление он в человеческом роде продолжает: проснувшись то память Дарвиновой эволюции и палеонтологии — в сочувствии и симпатии к данному именно животному сказывается или к данному музыкальному инструменту — чью партию в людском оркестре тянет. Случайно ли один избирает флейту-тростник или вообще деревянную группу — с деревом свою сородность проявляя; другой жилу струны пилит — на нервах животного существа играя, соединяя растение — дерево (смычок) с животным: струна = жила и корпус = пузо — живот — туловище женское скрипки или виолончели (ведь корпус этого инструмента — тело без головы и конечностей воспроизводит); третий — в барабан бьет = натянутую кожу — уж чистый живот и утробный звук; четвертый — на волынке гнусавит, бурдюк бараний выдавливая, воздух-газы из него; пятый — на металле = огнеземле играет: огнистый звук трубы, полыханье-костер медной группы; шестой — лес органа, небоскрежный город?

Иные только воздухом живут,  
Как змеи; а иные просят пищу,  
И отдают, остатки лишь едят;

(концы, что всякая вещь имеет, тем самым заостряя и подчеркивая, на них настаивая).

Иные лишь едят двумя зубами,  
Пока не будет ран у них во рту;

На голову иные принимают  
По капле воду; служат и огнем;

(то есть как бы тот или иной закон природы, естествознание со-  
бой осуществляя, опыт ставя: одни — гидравлики, другие — тер-  
модинамики).

В воде живут иные, словно рыбы (64)

...Отшельники оленьего устава,  
Что всюду за оленями идут  
Среди прогалин горных, наблюдая  
Согласно с ними образ жизни свой. (63)

...Все старые отшельники, что были  
В одежде из коры и чьи волосы  
Лохматы и запутанны торчали. (66)

Эти — люди-дриады, друиды, лесные = лешие. И так, у всех  
у них принцип бытия — совпасть по образу существования с ка-  
кой-либо тварью, существом, отождествиться, возвратиться в де-  
рево, рыбу, каплю, — главное, тем самым оторваться от чело-  
вечества, вспять колесо рождений = колесо Дарвиновой эволю-  
ции направить, стать жуком или травкой.

Но для чего это у них? Хитер замысел индуизма — брахма-  
низма! Ведь это же не «для» совсем — просто разделение труда  
меж зонами человеческого возраста: чтоб одним спокойно пре-  
бывать в ашраме домохозяина, предаваться каме, наслажде-  
ниям, желанием, скорбям и прочему усиленному движению, за-  
темняющим бытие скоростям — на одном витке или в зоне ор-  
биты, — для того на другом, антиподном, колесе существования,  
напротив, притормаживается, вспять толкается усилиями этих  
отшельников лесных. И так поддерживается круг сансары. Это-  
то и разгадал будущий Будда, не обманувшись внешним сходст-  
вом своих устремлений — остановить бытие — с попятным восу-  
ществлением аскетов.

Отшельники в лесу есть видов всех,  
Они идут дорогой истязаний,  
Чтобы в конце родиться в Небесах.  
Царь человек и мастер превосходный

(так назван царевич, Бодхисаттва).

О всех услышав способах тягот

(тягота — тяготение, сила земного, жизнесмертного притяжения:  
страдание приемлется из тяготения к жизни, к возрождению, в  
надежде на будущее блаженство — в более высокой ли касте  
родясь: был вайшьей — родился брамином; или вообще — в не-  
бесах),

И в них совсем зерна не видя правды,  
Отрады в сердце он не ощутил.  
Задумавшись, глядел он с состраданьем,

В согласьи с сердцем рот его сказал:  
«Поистине, подобные страданья  
Прискорбно видеть,— и притом их цель  
Людская иль небесная награда. (64—65)

То есть, одержимы заботой о плодах действий, о целях, а не о совершенстве самих действий. Еще в Бхагавадгите предложено человеку, существам всем радеть не о плодах действий, а о том, чтобы действия, поступки, поведение, мысли, слова были статуарно совершенны, прекрасны — независимо от пользы и результата, к которым приведут иль нет — это уж не людская забота, но Высшего Брахмо. И этот принцип принимает буддизм в своей космогонии — этике: ибо должное поведение существ есть ведь их нравственность, соблюдение присущего им естественного закона.

В возвратности рождений и смертей  
Как много вы выносите мучений,  
Как скудно награждение у вас!  
С друзьями расставанье, отречение  
От положений тех, где был почет.  
Ваш внешний лик, разрушенный чрез вас же,  
Чрез пытку многократную ваш путь,—  
И это все лишь с тем, чтоб вновь — рожденье,  
Продленье пятикратному Хочу

(пяти чувств).

Через страданье — ищите страданья,  
Рожденье — смерть, и вновь с рождением — смерть.  
Бояся боли, длите пребыванье  
В пучине боли, в море вечных мук

(аскетизм — прививка боли, наживание иммунитета к смерти — чтоб нечувствительно прошла),

Бежите одного разряда жизни,  
Чтобы другой немедленно создать. (65)

Итак, они опускаются в аскетизм и схиму, чтоб вновь взлететь в рожденье. Однако что здесь отвращает Бодхисаттву? Опять то же: повторность страдания, старости, болезни, смерти — в это вперед, ижд изгнать — его цель, и так как они срощены с жизнью и рождением, то и жизнь и рожденье — долой! Боль, страдание — непереносимы нежным по ткани телом Будды, и чтобы их не иметь — он готов на все: и не жить совсем, и другим заказать. Чувствительность жгучая к боли — краеугольный камень, мировоззрение, на котором буддизм выстраивается. В христианстве, напротив, — распятие есть пример людям преодолевать боль, скорбь и страдание, и смерть, — так что они не так страшны и нечего из-за них хаять жизнь и рождение.

Где же прототип этого самочувствия Будды в природе, где в бытии та его ипостась, с которой боль вырастает в Абсолют, что застит мир, и, чтоб утвердить Абсолют, надо уничтожить

боль и страдание. Движение — сцепление существ, их касание, деформация и скрежет зубовой.

Но вот «оставь меня в покое!» — эта мольба каждого существа, если уважена любым другим и всем множеством бытия, тогда — осуществленный буддизм: существование каждой особи безотносительно к другим и до них не касаясь и не зная, а, значит, и без самочувствия (ибо самочувствие дается отличением себя от другого и с помощью другого, до него дела и отношения). У Будды — плоть мимозы, *poli me tangere*<sup>20</sup>.

Итак, его враг главный — касание и осязание: их он, как деформацию собственной меры существ и вещей, — хочет изъять. Оттого в позе Будды руки прибраны и свиты — источники касаний, — чтоб ни до чего не касаться и не относиться. И зрение упрятано: чтоб ни на что не смотреть. Отключены чувствилища, ибо они — проводники впечатлений, а значит, пресса, давления, боли, страданий. Поза Будды — изолятор (никак не трансформатор — передатчик рождений): недаром форму ступы имеет.

Страдать, вы говорите, есть заслуга  
Дальнейшая, тогда ты сердцем добр;  
Так почему же те, кто не страдает,  
Не могут сердца доброго иметь? (65—66)

По Достоевскому — не могут. На Руси не изолятор нужен (как во влажной субтропической жаре Индии), но теснее людям прижаться, переплестись нитями душевных отношений — и так обгреть воздух, чтоб прожить в стуже; а прижимаясь — давить друг на друга и источать жар страданий, слез горючих — горячих источников русского космоса.

Но вы, терпя страдания, хотите  
Отраду знать рожденья в Небесах,—  
А я хочу от Трех миров спастись. (68)

В индуизме корыстный подход: за страдания здесь получить блаженство там; буддизму же, поскольку абсолютна для него непереносимость страдания, — не надо и блаженств, раз они со страданиями сопряжены. А отсюда и космогония: раз страдания — абсолютно нетерпимы, невозможны, не должны и исключаются из бытия, то само собой отпадает цель, ради чего страдать: всякое «там», Небо, Бог, Новая жизнь, — но есть лишь это существование, в котором надо не страдать, а радоваться, пребывать в довольстве нечувствия — в Нирване.

Довольство это — умное, а не телесно-чувственное (хотя подоплека — страх страданий, боли — т. е. телесно-чувственное).

Что ум отверг, отбросить должен я,  
Закон, что вы свершаете здесь жизнью,  
Наследство прежних есть учителей,—

(то есть долг, связь, цепь круговой поруки поколений)

<sup>20</sup> Не тронь меня!

Я ж накопленья все хочу разрушить. (68)

(— карму, уплотнение вещества через трамбование существований).

Итак, отключить существо от касаний с миром внешним (а признак контакта — страдание или наслаждение, оттого желание услад надо преодолевать, ибо приманка это на крючок страдания) — и свести всю энергию в полость внутреннюю, в сосредоточение: руки в боки или за голову заведя — из контактов выведя, крылышки сложить.

Исходит сила только из ума.  
Коль ум из поведенья удалим мы,  
Телесное деянье есть лишь гниль,  
Так должно упорядочить нам разум,  
И тело будет правильно идти. (65)

А раз предался уму, то безразлично, где я: в миру или в лесу, в дому — среди семьи — или в схиме; что я ем — траву или мясо; возжигаю ли я жертвенный огонь — Агни — богам или нет, — это все безразлично.

Есть чистое, то в набожном заслуга,  
Вы говорите; — если это так,  
И звери, что питаются травой,  
Знать, в набожном заслугу совершат. (65)

...И если иступленные все эти,  
Живя в воде, лишь чисты потому,—  
И тот, кто духом зол, вступая в воду,  
Он тоже, значит, будет чист и свят? (66)

Где? и когда? — место и время, обстоятельства, помещение человека в воде ли, в воздухе, в лесу ли — как внешнее — не имеет значения, трансцензуса и влияния на причастность его ума-духа дхарме, истине.

(В Дхаммападе есть афоризм:

«Убив мать и отца и двух царей из касты брахманов, убив пятым человека-тигра, брахман идет невозмутимо».

То есть, поступки, как внешние, — не имеют прохода в Нирвану, влияния на нее, поколебать ее не способны).

Коль праведность — основа чистой жизни,  
Такое обитание есть зло:  
Что праведно, должно быть очевидно,  
Его не прятать нужно, а являть. (66)

Буддизм — мирск, в люди возвращает (недаром — сын городской цивилизации). В этом плане брахманизм более космичен и косноязычен — не как гладко-логично рассуждающий умный буддизм (оттого им логика разработана во всех тонкостях до совершенства), — здесь мысль бессловесно вздымается жертвенным огнем Агни и таинственно передается в упанишадах = обрядах сидения при гуру — учителе.

Огнепоклонства видел он обряды,  
Как чистый пламень в дереве сверлят  
И как его обрядно раздувают  
И возлиянья делают из масл,  
И слышал, как поют потом молитвы,—

то основной ритуал Вед: возжигание Агни трением мужской и женской дощечек, возлияние сомы и пение гимнов — прямое действие в открытом космосе. Будда же, его поза созерцания — уход в себя, в дом своего существа, отъединение от космоса — внешнего, но добывание тем контакта с его умопостигаемым законом.

Аскеты же, сии ряженные в травы, в олени и другие существа,— непосредственно космичны.

Вот один брахмачарья,

Который постоянно спал в пыли,  
С запутанными был он волосами,

(крона листвы)

Одет он был в древесную кору,

(человек-ствол)

Глаза его от зноя пожелтели

(сочится — как смола уже),

Он полностью истязаний проходил,  
Тем, что зовется там «высокость носа»,  
Поднявши нос, на Солнце он глядел (68) —

как на Луну выл. Чем не грешник пытаемый — в «Аду» Данте? И они, поняв отличие замысла Будды от своего,

Коль нас ты усмотрел как нерадивых,  
В нас видишь не довольно чистоты,  
Так мы должны тогда уйти отсюда,  
А ты останься и почти сей лес. (67)

Вот индийская логика: не гонят его — проваливай, чужак! Иди своей дорогой, а то что — в чужой монастырь да со своим уставом? — но, напротив, готовы принять устав более истинный и освободить от себя монастырь, себя сами прогоняют!

Но он сам уходит, а они ему подсказывают, куда:

Места, что возле снежных гор ютятся,  
Где каются — кто кровию высок. (67)

По своей космической логике они реализуют метафору: царь — гора — высота. И верно: в канун возврата в рассеянное бытие выявляется, что это — истина: святой человек — гора снежная, недаром к горе льнет как к сородичу (как аскет в оленя или ту или иную траву).

Твой путь — на гору Пандаву идти,  
Туда, где жив мудрец великий, Муни. (69)

Итак, путь: лес — гора — путь восхождения, как у Данте в «Чистилище».

## 8. Скорь во дворце

Здесь — покинутый солнцем космос, сердце изъяли из тела — осталась бессмысленная груда членов еще шевелящейся периферии: по инерции, заведенные, еще пульсируют: стенают жена, отец, тетка, возничий, конь жены.

Метались они,  
Как стадо потерявших  
В грозу свой путь быков (74) —

сравнение ведическое.

Праджapati Гатами — тетка-мать упала без чувств:

Так вихрем сумасшедшим  
Кружится вдруг платан. (75).

Опять древо — положительное, вихрь, ветер — отрицательное начало.

Она сетует, что срезаны волосы, «где каждый волос — луч», «низброшена корона, повержена в траву» (75).

Будда — лыс, Христос волосат. Лысый — животен, волосатый — растителен, травянист. Но лысый также — ближе к камню, неорганической природе; волосатый — гриваст, шерстян — животен, значит, тоже.

При волосах я — земля, плодородная. Без волос — пустынь бесплодная: бритость — отказ от плодородия, от рождения, прибавления к бытию — уход в пустоцвет. Солдат тоже и каторжников, в знак их изъятия из общества и отлучения от женского лона и жизни во Эросе, — обривают.

Итак, с точки зрения низа мира, земли, волосы — трава, растительность. С точки зрения верха мира, неба-света, волосы — суть лучи, проводники света: недаром в волосах молния дремлет — электричество (когда проводят гребнем, электризуются — известный то опыт). Так что перуны богов-отцов: Зевса, Саваофа — в волосах дремлют. От жара, гнева, ярости — волосы дыбом встают, ошетиняются, как еж. И от страха, стеснения сердца стягиваются, натягиваются, костенеют.

Был бы Христос безволос — было бы объявлено, с одной стороны, бесплодие и в то же время подчеркнуто мужское начало — бесстыдно голой головы — фалла. Бреют абреков — мужей превосходных. И у мусульман лоно жен бреют — для усиления чувственности. Бритый Будда (хотя бывает на изображениях разный, и волосатый с пучком; но Христос-то никогда не бывает безволос) мужеско-детское начало подчеркивает: голо-пухл, ша-

ровиден, как младенец. А мужескость в нем — в бритости и в том, что познал он все-таки женщину.

Христос волосатый муже-женское начало подчеркивает: волосы его ниспадают по-женски (не торчат по-мужски), но фигура с худобой ее и костистостью — мужская, даже старческая, хотя и подростковая. Так что Христос обоеполость в себе соединяет — целостного человека, бесполого, самодостаточного.

По Христу — нет, а по Будде скорбят в доме как по мужчине и дитяти — сыну.

Жена Ясодхара:

Тот, кто приносит жертву,  
Устав Браминский чтя,  
Он хочет, чтобы с мужем  
Жена была одно,—  
Вдвоем да совершают  
Служение они,  
И оба да получают  
Награду в должный час.  
А ты скупой, царевич,  
В служении своем!  
Блуждать один пошел ты,  
Меня прогнал ты прочь! (81)

Итак, по Ветхому Завету индийскому — по брахманизму, муж и жена — плоть едина. По Новому Завету — буддизму, совершается разъединение, расщепление воссоединенного из половинок целого — оттаскивание их друг от друга на самостоятельное пребывание.

Космоустроительный акт, на который призван Будда,— это не раздвоение единого, а восстановление из сдвоенного, а значит, не совершенного единства, чреватого, с червоточиной и внутренним расколом,— единства атомарного, где всяк соединен с целым бытия прямо, а не через посредство другого — как своего дополнения, как восполнения своей нестачи.

То целое, сцепленное волновым объятием и притяжением во Эросе из двух, внутренне противоречиво и оттого динамично, чреват непрерывной пульсацией раскола — воссоединения, пульсирует, как такт — тиканье часов,— и находится во времени:

И оба да получают  
Награду в должный час,

то есть в будущем, на которое лелеется надежда; и расчет — на плоды дел — «награду», тогда как буддизм устанавливает стационарность бытия, его совершенство и завершенность сейчас — так что никакого будущего, ни плодов за заслуги быть не должно и не может и ни к чему: прекрасное деяние, ощутив себя как само себе заслуга, тут же убивает цепь времен, причину-следствие, сначала (прекрасное деяние) — потом (заслуга, награда, плоды дел). Все тут же пребывает, стяженны начало

и конец — к центру и не имеют развернуться в самостоятельные силы, самость их энергетическая парализована.

Аналогичный прерыв цепи времен, причины-следствия — и в положении покинутого отца. Если уход Будды от жены, как Алексея — божия человека в день свадьбы (кстати, вот близкие ситуации, но сколь розны: христианский святой остановлен у подножия ложа, прозревает до брачной ночи, не дано ему возлечь, — Будда уходит, свершив мужское дело, став мужчиной, восстав с ложа. Соответственно и у Алексея «невеста невестная» — так в плаче называет себя его вечно канунная дева-супруга, а у Будды стенает действительная жена, памятующая о ласках и вздымающая сына) — итак, если, уйдя от жены, Будда разрывает сцепление тел в пространстве, то, оставляя отца, разъединяет связь времен.

В плаче отца видно, что значит зависимость существ друг от друга во времени:

Я думаю о сыне,  
Я жажду, я один,  
Я как один из духов,  
Что пить и есть хотят. (84)

Так вот в чем дело: отцы действительно едят своих детей, как Кронос-Хронос: дети — пища родителей. И верно: борясь со временем, рождаем детей, чтобы нам потом культом предков служили, жертвы приносили, кормили (живых нас, стариков, или мертвых — славных покойников — прародителей, честь и славу бы подносили — как нектар и фициям).

Сын, жажда сына — кажется нам выходом в бессмертие: «Так, весь я не умру, но часть моя большая, от тлена убежав, по смерти станет жить» («Памятник» Державина).

Но, родив сына, я на пищу смерти не только себя предоставляю, но и забочусь, чтоб хватило смерти боепитания и на будущее. Так что жажда сына — подтверждение моей смертности, ошейник сансары. И вот как бесконечность ее танталовой муки выражена:

Я пить хочу, и влага  
Вот здесь, в моей руке,  
Но только наклонюсь я,  
Ни капли нет воды.  
...Средь духов, тех, чья пытка —  
Быть в жажде навсегда. (84—85)

{Чем не разновидность дантовых грешников в «Аде»?}

В дни прежние, бывало,  
Я силен волей был,  
Был тверд, нельзя подвинуть,  
Как землю, не качнуть.  
А сына так лишившись,  
Всего лишился я,  
Нет больше в сердце воли,  
Рассудок раздроблен. (85)

Сын — твердость, стержень отца: будущим он держится, а уберечь — развалина. Но будущего-то нет — значит, майей поддержим в бытии; то не стержень, а призрак, и держащийся в бытии надеждой на будущее, т. е. на то, чего нет, на нуль, — какая ж это твердость? То — рухлядь, а не существо истинное, во истине пребывающее. Будда и хочет вынуть мнимые стержни, чтоб каждый не в кредит жил, а настоящим золотым обеспечением и что-то собой представлял.

А поддержки существ на распорках и привязях веры, надежды, любви — желаний, потребностей, привязанностей — то, верно, сеть и ткань, где вырви ниточку иль колышек — и все повалится, как женский чулок от порванной петли. И это — совершенное бытие? Держащееся на круговой поруке взаимных обманов, кредитов, авансов и альянсов? Бессильное восстановить строй свой, коль одна петля лопнет (как вот он, царевич, изъял себя из службы в качестве звена соединительного)?

Всеобщая связь и взаимозависимость явлений здесь видится как составная сансары и рабства в опоясанности и об(в)язанности. Вот и мать Будды:

Когда б царица Майя  
Была теперь жива,  
На нем одном покоясь,  
Как горы на земле... (78)

Здесь он — подставка; для отца — стержень, для жены — шкворень. Без него она падает:

Так лилия, раскрывшись,  
Лежит, изведав град. (83)

## 9. Поиски

По наущению царя-отца учитель и советник отправляются на поиск царевича, с тем чтобы его вернуть к долгу и дому. Так они расписывают страдания царя-отца:

Печалится своим пронзенным сердцем,  
Как будто в этом сердце — острие.  
Рассеян ум; он бродит одиноко;  
Истерзанный, на пыльной спит земле;  
И днем и ночью полон размышлений;  
Как дождь струятся слезы по щекам. (89)

То есть, он, горожанин, причастился к открытому космосу, во дворце живет, как аскет-отшельник в лесу. Чем же плохо, что ему далось космическое это ведение и самочувствие: он — и острие, и дождь, и пыль, и день, и ночь?

Вообще расстроен космос:

Потоки рвутся по горам зеленым,  
И буря есть, и молния, и зной —  
Не дай же сердца нашего в добычу  
Неистовым тем бедам чстырем.

Затем что у тоскующего сердца  
Четыре эти беды есть вполне:  
Смятение, и знойная засуха,  
Жар страсти, и паденье в глубину. (89—90)

Тоскующее сердце — засушливый космос, сдавленный, без выхода:

Не дай печали вовсе захватить нас,  
Не оставляя выхода в сердцах. (89)

А что есть выход? Не что иное, как переход от жары — к воде, от воды — к ветру, от ветра — к земле, то есть чтоб кругооборот совершался бесперебойно, это и есть, по ним, выход. Но выход-то временный, на миг облегчение, и царевич-то узрел, что такой выход при поддержке бесперебойного круговорота — из огня да опять в полымя, только через посредство промежутков воды, воздуха и земли. Потому он что «изделал»? Заткнул проход в одном месте (это царь чувствует по острию боли, вонзившейся ему в сердце), стеснил проход, а он — в сердце.

Тут стали скапливаться горечь, страдание, печаль — и использовал он этот сгусток энергии, чтоб прорвать кишечник сансары и прыснуть вбок, сорваться с орбиты круговорота, преодолеть поле земного тяготения.

Сердце-то неудержимое и есть главный враг: любовью и страданием раскручивающий кровообращение сансары. Хотя индийцы, имея запрет на разрезание трупов<sup>21</sup>, не ведали, что там у человека внутри, не знали системы кровообращения, — но в космическом плане понимали, что все приводится в движение центром и от него круговорот сансары. Сердце в то же время — средоточие человека, его как особи, его «я», поддерживает эгоизм, эгоцентризм существования вещи как индивида.

Царевич так возражает:

Приходит страх, и тело — в вечном страхе,  
Вся мысль — о внешнем лишь, и вянет дух,  
С благоговеньем — сердце не содружно,  
Коли идти за множеством вослед. (93)

Укротив сердце (его любовь, скорбь, страдания — и прочие стяжения бытия) ко мне, подтверждающие лишь принцип индивидуальности («я»), через ум пробиться к сути в открытое бытие — таков путь буддизма.

Вообще Индия против гипертрофии сердца, закона сердца, ума сердца — в отличие от России, где «ум ума», как холодный, не питательный рассудок, противопоставляется «уму сердца» (Фет—Толстой)

<sup>21</sup> «По религиозному предубеждению,— писал Ф. И. Щербатской в работе „Научные достижения древней Индии“,— индийцы боялись прикасаться к мертвому телу, поэтому их физиологические представления не основаны на наблюдении. В этой области у них не было точных знаний, и вся картина человеческого тела и физиологических отравлений была построена чисто теоретически, с участием самой неудержимой восточной фантазии» (цит. по: Избранные труды русских индологов-филологов, с. 263).

Посланцы царя хотят орошения, рисуют пожар страдания и горечи в сердцах, космос засухи, каким остался мир без царевича:

И тем, кто ищет влаги, дай ее,  
Ее получат — и огонь потушат,  
Огонь потухнет — вновь прозреет взор. (91)

Все это вполне в духе Вед и брахманизма, когда космос земледельца, живущего в открытом пространстве, и выделил как основные стихии — огонь и влагу: Агни и Сома — главные боги Ригведы. Взаимно потакающим колебанием огня — воды в мировом пространстве теребили землю, тягу в ней в воздух для роста создавали, брожение, где огонь — дрожжи бытия, земля ж и вода — брага. И так источалось из земли плодородие, из бытия — изобилие. В буддизме ж недаром основное понятие «Нирвана» буквально значит «угасание». Есть и оттенок — «безветрие». Буддизм — антиогнен. Царевич отказывается вернуться домой, «Дабы вступить в огонь пяти желаний» (99), где «Весь в яхонтах дворец — но в нем пожар» (93). Агни для буддизма — пытка и корчи желания и страсти, геенна огненная, так что никак не смотрят с благоговением на пляску языков пламени в костре Агни. И Агни в Ригведе всемирный связной: вестник, посланец от людей к богам, в небеса возносящий жертвы и, наоборот, приводящий богов к жертвоприношению сюда, на землю, — то есть он как раз делает это дело всеобщего связывания и взаимозависимости явлений, что буддизм хочет ликвидировать в бытии — как причину взаимных цепляний, претензий существ друг к другу и отсюда — страданий. В ведизме Агни — Джатаведас = «знаток существ», ибо во всех существах пребывает как их зерно и движитель, выводящий на связь с другим: огонь спит и в дереве, и в кости, и в водах — тучи грозовой, в земле-угле — во всех существах и тварях; оттого он их сущность и «знаток» всех существ, и недаром, по Гераклиту, принимавшему кругооборот стихий и движение за основное бытие, космос — есть вечно живой огонь, мерами возгорающийся и потухающий.

Будда же хочет именно с огненностью мира справиться — но как? Не заливая водой, как в ведизме и индуизме, отчего нарастала новая плоть — пища для будущего горения, торжества Агни. Но — не подкладывая дров в огонь (прекратив рожденья, создание новых тел) и, во-вторых, ликвидацией тяги — ветра, установив стоячий воздух-вакуум — и в нем затушив огонь.

Потому буддизм — не религия, и не йога.

«Религия = восстановленная («ре») связь («лига»); «йога» = иго — ярмо, хомут, связь меня (индивида, вещи) — с чем-то, высшим миром и т. д. — но при том, что есть отдельные «я» и «мир», как предметы, субъект и объект. Будда же, уничтожая акт связыванья, уничтожает раздельность существ и мира и их вожделение друг к другу сцепиться в связи, а восстанавливает бытие в мире, мирное бытие всего, в мире и при истине. (Кстати, все религии зиждутся на культе огня, том или ином ог-

непоклонстве: алтарь, лампада, свеча... Антиогненность буддизма тоже позволяет от этого атрибута заключить к тому, что он не есть религия.)

Потому не могли тронуть Будду и аргументами к любви, страданию, страху. (В религиях это тоже основа: проповедь любви — к Богу или ближнему, и страх кары, идея возмездия, страх Божий. Ничего этого нет в буддизме, так как отвергаются связь, время, будущее и плоды дел.) Ополчившись на страдание в мире, он вместе с ним должен выплеснуть и любовь, ибо они — два сапога пара. И когда его укоряют: раз ты заставляешь страдать, значит, не любишь; страдания родных и близких смягчи, утоли любовью,— он объясняет им, что любовью лишь питается будущее страдание:

Не однолик порядок всех вещей.  
Природа скорби не необходимо  
Есть отношение сына и отца.  
Что создает страдание разлуки,  
Влиянье заблужденья это есть,—  
Внезапно люди встретятся в дороге,  
Лишь миг — и разлучаются они,  
И каждый вновь своим путем уходит,—  
Так силой совокупности растут  
Соотношенья, родственные связи,  
Удел отдельный, и разлука вновь.  
Кто проследит внимательно ту ложность  
Соотношенья связи и родства,  
Не должен он печаль в себе делеять:  
Семейная здесь порвана любовь,  
В другом же мире вновь той связи ищут <sup>22</sup>,  
И грубый — за мгновеньем — вновь разрыв.  
Везде куется цепь родства и связи,  
Всегда в цепях, всегда разъята цепь.  
Кому скорбеть о вечности разлуки?  
Зачатый постепенно изменен,  
Родится в мире, снова расставанье,  
Чрез смерть разлука, и родится вновь.  
Все то, что есть во времени погибнет,  
Леса и горы,— что без часа есть?  
Во времени вся пятикратность чувства.  
И с временем мирское все живет.  
Так, если смерть все время заполняет  
И всюду застигает путь его,  
Сбрось смерть с себя — и времени не будет. (92—93).

«Сбросить смерть» — начать хотя бы с того, чтобы перестать скорбеть о смерти ближних, своей. Даже, поскольку смерть есть переход (как и рождение), вместе с заповедью «Не убий» принимай тождественную ей — «Не роди!» (в Моисеевом законе не осознано их тождество, так что сочетаются: «Плодитесь и размножайтесь!» и «Не убий!»).

И так — остановить время.

---

<sup>22</sup> У Гейне в переводе Лермонтова «Они любили друг друга...»: «И смерть пришла, наступило за гробом свиданье... Но в мире новом друг друга они не узнали».

«Сама идея об этом, покушение на это — плод городской жизни, изъятая стенами и домами из круговорота природы. Буддизм — горожанин. Индуизм — земледelec, потому так органично звучат в устах, увещевающих царевича, аргументы — к сроку, поре, часу и т. д.

Настанет час — отшельник будешь ты,  
Теперь же презирать свой долг семейный... (90)

Для живущего в открытом пространстве так непреложны смены дня и ночи, дождя и суши. В городе это незаметно: его назначение — ночь в день превратить (электричеством и ночной жизнью), не чувствительны там и стихии. То есть, уже свивается здесь человечество внутрь себя, теряя внешний контакт чрез свои органы чувств (город — ограда — стена; а стены — бесчувствие) с естественным веществом мира. Буддизм уловил эту тенденцию цивилизации в корне и вытянул ее в истину.

И то еще не без значения, что Будда по происхождению — кшатрий, а посягнул на дело браминов — мудрость и истину искать и блюсти. Это тоже вспять пошедшее колесо: яйца кур учить вздумали — младший по касте, воин-царь, кому положено свой шесток знать и править, — посягнул на исправление бытия и знания. Но жительство касты кшатриев, царей — сугубо город, дворец, тогда как жительство брахманов — более на открытом лоне природы, где костры жгут, жертвы приносят, молитвы-гимны поют, а, став отшельниками, в лесу живут, — то все брахманов дела, а не иных каст. Будда ж и в этом делает безразличным всякую отдельность и твердые различия.

## 10. Зов

Царевич приходит в местность, где царем Бимбисара Раджа, и, вступая в город просить милостыню, излучает такой свет, что

Кто путь переходил, тот шаг замедлил,  
Кто сзади был, тот поспешил,  
Кто впереди, назад он обернулся. (101)

Этой реакцией среды, периферии подчеркивается, что Будда оккупирует центр, а не высь мира: Небо ему не нужно, так же отвращается от него, как и от дома родного, — то все бока, края, пусть и, как Небо, — высшие. Сам же он как светоносное космическое тело в спектре:

Затем, чтоб белый серп между бровями,  
Фиалки глаз его больших,  
И тело благородное, как золото,  
И волоконце меж перстов (приметы особые с рожденья.— Г. Г.)  
Пусть он отшельник был, — то знаки были,  
Что перед ними царь святой (101) —

царь света, но какого? Все время связь с Луной его подчеркивается, а не с солнцем. И серп, и фиалки — ночная синева глаз,

и, когда царь Бимбисара Раджа к нему в его обитель приходит, он на утесе,

Как Месяц чистый в небесах. (103)

И в предыдущей главе советники царя-отца сравнивают его уход из дома с затмением Луны:

Рассей же этот сумрак цепенящий,  
Как, если затмевается Луна,  
Все верные знаменье гонят кликом,  
Чтоб чудище не съело свет ночной. (91)

И с этой стороны подтверждается мысль о городском космо-се и природе буддизма, о связи с городом, электричеством, которые призваны ликвидировать ночь и естественный ритм времени.

Город в Индии был еще без своей веры и мировоззрения. Потому столь вопрошающе и доброжелательно встречают его горожане и царь, когда он в сей Иерусалим вступает. Нет здесь Ирода-царя: местный царь сам идет, как волхв, на поклон и вопрошение. И брахманы — не фарисеи и саддукеи. Правда, и христианство по сравнению с пастушеско-патриархальным Ветхим Заветом есть религия мирового города (хотя возникла из земледельческого культа умирающего и воскресающего зерна — каков Христос,— так что и земледельцам она близка, и русские земледельцы-крестьяне выводили этимологию своего занятия из Христа: «хрестьянство»), так что и Иерусалим — город без своего закона; но тут ближе к Европе, уже мир, резче пределы, начала, концы и грани, и формы рельефнее — и оттого ожесточеннее «да» и «нет», все различения, и не на живот, а на смерть идеи и принципы. В Индии ж — сосуществуют, мягко.

И в буддизме, как и в христианстве, растительность подчеркнута (Ветхий Завет — пастушеск, и индуизм — животная религия жертвы и заклания); Будда — отшельник побирается милостыней, что дадут, не выбирая,— как растение, что стоит (животное, пасясь, выбирает), и, что бог пошлет, принимает.

Как шелковица в солнечном сияньи,  
Светился весь его покров,  
Листопоподобно складки изливали  
Переливающийся свет. (103)

Ну, сам он как дерево — на солнце просвечиваемое.

Магнитом нового светила притягиваемый, царь местный идет к нему на беседу.

Его смущает,

... как это так случилось,  
Что тот, кто солнечно рожден,  
Из царственной семьи, благоговенье  
Хранившей десять тысяч лет,  
И даже десять тысяч поколений,—  
Как он, такой скопивши клад,—

все отбросил и вот — нищий? То есть как это солнце восхотело стать луной (ибо царь, раджа, кшатрий — связаны с огнем и жаром солнца, как брахманы — с его светом; недаром одна из трех гун — качеств мира Бхагавадгиты названа царственно: «раджас» — страсть, энергия, движение и естественнее всего сопряжена со стихией огня), а плотное, накопленное тысячами поколений веществ — начать размягчаться, рассеиваться? Подойдя к царевичу, «он видел черт нежнейших умягченность» (104). То есть, как это он отбросил традицию, преемственность цепи, карму — плотное вещество? А ведь воплощенное вещество твердо.

И он так рисует космическую роль должности царя:

Желанье власти близко к благородству,  
И справедлива **гордость** та.  
Коль нет желанья **покорять** надменных  
И волю **наклонять** в других,  
Отдать тогда оружию сильным нужно,  
Рукой воинственных водить.  
Но кто ж, когда ему дано наследством  
Главою царства мощным быть,  
Не возжелает взять бразды правленья  
И быть над миром и войной? (105)

Царь имеет дело с силами (ср. Ньютон), действующими в мире: тяготение, наклонение, толчок и т. д. Царь — палка. В Законах Ману, выясняя происхождение и назначение царя в космосе, прародитель так рассуждает:

«... Владыка с самого начала создал сына (ātmaja) — Наказание (danda — букв. „палка“), охранителя всех живых существ, [воплощенную] дхарму, полную блеска Брахмы.

Наказание — царь, оно — мужчина, оно — вождь (netar), и оно — каратель (śasitar); оно считается обеспечением четырех ашрам» (Законы Ману. VII, 14, 17).

Царь — палка — уплотнитель, трамбователь вещества мира: **«Из страха перед ним все живые существа — недвижущиеся и движущиеся** (а значит, и растения, и камни — космоустраивающ этот закон, а не людск лишь) — **служат пользе и не уклоняются от [исполнения] дхармы»** (Законы Ману. VII, 15).

Итак, если до сих пор в мире шло воплощение рассеянного бытия и порядок индуизма и Ману требовал уплотнения вещества, отвердения существ и обособления их в присущей каждому дхарме = естественном законе и сути, — то Будда знаменует поворот назад от воплощения — к рассеянию, к возврату в рассеянное бытие. И для того не случайно он по происхождению — царь, кшатрий, в ком максимальная энергия уплотнения сосредоточена, так что в руках у него волшебной уплотняющей палочкой — Наказание, скипетр, булава; и вот палка забастовала, перестала опускаться, но вознеслась. Будда-царь захотел стать не палкой, а полем. И спутаны все дхармы, различения, законы и сроки. И смущенный, в путанице, что образуется при остановке мира,

когда по инерции еще наваливаются старые дхармы, а тут уж на попятную пошло,— царь, вопрошая, вывергает старую дхарму:

Кто — мудрый, знает время для молитвы  
И для богатства и услад (105) —

перечислены три основных занятия индуса: дхарма, артха и кама — и всему своя пора: в молодости — кама, в мужестве — артха, в старости — дхарма. Индуизм, блюдя разделение труда между кастами, зоны и разделение и во времени устанавливает:

Пока ты юн и одержим страстями,  
Используй это, усладись,  
А в зрелый возраст собери богатство,—  
Когда же старость подойдет,  
Когда твои способности созреют  
И будешь ты как спелый сноп,

(Вот путь человека по жизни: от животного-ребенка — к растению-дереву — старику.)

Перед тобою время развернется,  
Дабы молитвенность блюсти. (105)

«Блюди троекратность» — принцип индуизма; и вообще число 3 в нем священо (ср. трехчленная структура всего мироздания и существ в Ригведе). Буддизму же число 3 — чуждо и редко в нем.

## 11. Ответ

Царевич излагает ему то, что он до сих пор понял и чего ищет:

Рожденья, смерти, старости, болезни  
Боюсь,— к свободе путь найти хочу я. (109)

Итак: начало премудрости есть **страх** господень. Буддизм — из «боюсь». Что же есть боязнь? Сжатие наше и отталкиванье от уничтожения, от «нет». Мы, существо — «да». Когда так себя и мир чувствуем, тогда — страх чего-то огромного, наваливающегося извне и особенно со спины — т. е. безглазого, тьмы. Глаз в этом смысле — наша шпага: штыки двух лучей, упираясь во внешний мир, его наваливанье сдерживают, на почтительном отдалении; и чем зорче зрение, и видение и знание, и меньше авидья,— тем далее откатывается внешнее бытие или вообще оно проникается, прозрачнеет и исчезает как чуждое, рассеивается плотное вещество мира, и кругом — рассеянное, не контрастное бытие (как в сумерках или при Луне), и тьмы нет.

Страх — душа в пятки, мороз по коже, дух перехватывает, волосы дыбом, сердце бьется, тело цепенеет. Все это — реакции из зоны кожи и соприкосновения в конечностях — с миром, и есть острое ощущение своей конечности, формы и определенности, ограниченности кожей.

Если же удастся замереть чувства и, значит, ощущения органов чувств, что на коже размещены, — теряется ощущение своей граненности в мире, тает граница, и мы с миром перетекаем друг в друга и есть единое.

Но энергия на такое породнение с миром набрана из острейшего у Будды чувства страха — отъединенности своего «да» от всяких «нет» мира (старости, болезни, смерти). Интересно, что германец Зигфрид в мифологеме Вагнера — исконно страха не знающий, и оттого именно — сверхдатель в мире: рукой и мечом, волей к жизни.

Я устранил семейственные чувства,—  
Так как же я могу вернуться в мир,  
К пяти желаньям, и не опасаться,  
Что ядовитый змей разбуден будет  
И ледяной град посыплется свирепо,  
И в лютом буду вновь сожжен огне. (109)

Боятся стихий, их крепости, сверхмерности, ибо то, что им — так себе: огню что 2000 градусов? — для меры человека — ужас. Так что собственная мера стихий человеком называется «стихийным бедствием»: пожар, наводнение. Невыносим мир по мере человека — вот заявление буддизма. За слишком многое, не за свое берется человек: сцепляется в стихии — и оттого то горит, то леденеет. Отъединиться надо от стихий, с которыми нас связуют их представители в теле — 5 чувств. То есть антиупанишадская тенденция, ибо там как раз славились отождествления: уха — с пространством, глаза — с солнцем, вкуса — с водой, запаха — с землей, — и наша через все это причастность цветному, спектровому, подвижному, разнообразному бытию. Нирвана ж буддизма бесспекторна, серенько-серебриста, как Луна иль кукушка (в отличие от солнца Сури, зари Ушас и птицы павлина).

Боюсь многопредметного хотенья,

(— мира как множества и как предметов вне меня, которые суть как крючки и кресты, на дыбе привязанностей и пожеланий которых меня и распяливают)

Водовороты взвихривают сердце,  
И пять желаний — шаткие то воры,  
Что заприметят, тотчас нет того.  
Сокровища любимые воруют,  
И вот они, неверные, как тени,  
И вот они скользят как привиденья,  
Действительность становится как сон. (109)

И верно — как во сне, если оглянуться и вслушаться в ощущение (но еще не допуская в себя воспамятованья и придержав осознание), живем. Скольжение хотений и движений наших по предметам создает впечатление рассеянной ткани существования, дымки и неопределенного марева. И 5 чувств нам не опоры, но провалы: чуть обопрешься — пошло скольжение от предмета к предмету — и невесомость твоя-своя предстает...

Придя ж в себя, как Будда, ощущаешь себя сгущенным, горой непреклонной, твердью в бытии.

...Коль радости Небес иметь не стоит,

(вот атеизм буддизма)

Что же о людских нам говорить желаньях,  
Любови безумной в них гнездится жажда,  
Ты в сладости, пока не истощен:  
Так дикий ветер мечет пламя выше,

(вот союз ветра и огня — против них как раз направлена Нирвана — как угасание и безветрие).

Пока топливо вовсе не иссякнет. (109)

Итак, буддизм — за экономию сырья, земли...

Далее приводит примеры бесконечной засасывающей прорвы хотений:

Так царь, что правит четырьмя морями  
И всем, что между них, желает больше,  
Так Океан, не знающий предела,  
Не ведает, где стать ему, когда. (109—110)

По индуизму округ упорядоченного мира — космические воды; и вот на эту беспредельность бытия как дурную бесконечность буддизм ополчается: в нашей власти не края иль беспределы бытия, но центр, только так возможно человеку организовать и утвердиться — чрез сосредоточение.

Лишь полелей одно мгновенье страсть,—  
И, как дитя, она растет проворно.  
Поэтому, кто мудр, ее не терпит:  
Кто захотел бы в пищу взять отраву?  
Лаская хоть свою, умножишь скорбь.  
Коль страсти нет, коль хоть не понуждает,—  
Истоков скорби нет, ни тока боли,  
И, ведая всю горечь скорби, мудрый  
В истоках скорби вытаптывает прочь. (111)

Таков ответ на принцип «камы» — наслаждения, желанья, любви, страсти — одного из триады индуизма.

Кама умножает скорбь, и если я боюсь скорби и хочу преодолеть страдание, начать нужно с самоотвержения от камы. А вместе с этим выступаешь и против воли к жизни, что есть англо-германский принцип борьбы за существование.

На очереди — дхарма:

Что в мире называют добродетель,  
Есть лик иной того же злополучья. (111)

Ведь добродетелью усеивают промежутки камы: умеряют хотенья, чтоб те друг другу не мешали и меж собой не сталкивались: дхарма — лишь диспетчер камы. Вождение и религия друг друга крепят и обуславливают, нужны друг другу как вос-

становление сил растратившего их в пустыне — чтоб вновь, освеженный, мог в пучину греха броситься: не согрешишь — не покаешься... — так кама кормит дхарму. И потому религия любви отвергается: ибо связаны круговой порукой сладострастные и любовь-страдание. На Руси ж, у Достоевского, именно это утверждается, и старец Зосима настолько любовь во главу угла мира кладет, что и ад толкует как муку нашу оттого, что недолубили при жизни:

«Отцы и учителя, мысля: „Что есть ад?“ Рассуждаю так, „Страдание о том, что нельзя уже более любить“. Раз, в бесконечном бытии, неизмеримом ни временем, ни пространством, дана была некоему духовному существу, появлением его на земле, способность сказать себе: „Я есмь, и я люблю“ (N. В. — видите, как утверждается „я“, как твердь, атом и точка опоры в бытии, и здесь *ато ergo sum*<sup>23</sup> наподобие Декартова *cogito ergo sum*<sup>24</sup>). А любовь есть подтверждение „я“ самоотвержением: чтоб пожертвовать собой, надо иметь что отвергать — т. е. я и личность свою безмерно развивать и утвердить. Любовь — связь отдельным особей и их подтверждение). Раз, только раз, дано было ему мгновение любви деятельной, живой, а для того дана была земная жизнь, а с нею времена и сроки, и что же: отвергло сие счастливое существо дар бесценный, не оценило его, не возлюбило, взглянуло насмешливо и осталось бесчувственным. Таковой, уже отшедший с земли, видит и лоно Авраамово, и беседует с Авраамом, как в притче о богатом и Лазаре нам указано, и рай созерцает, и ко Господу восходить может, но именно тем-то и мучается, что ко Господу взойдет он не любивший, соприкоснется с любившими любовью их пренебрегший. Ибо зрит ясно и говорит себе уже сам: „Ныне уже знание имею и хоть возжаждал любить, но уже подвига не будет в любви моей, не будет и жертвы...; нет уже жизни, и времени более не будет! Хотя бы и жизнь свою рад был отдать за других, но уже нельзя, ибо прошла та жизнь, которую возможно было в жертву любви принести, и теперь бездна между тою жизнью и сим бытием“».

То, что есть нирвана для Будды, почти то же — ад для Достоевского. И смотрите, как здесь совершенно последовательно славятся время, срок, конечность жизни, ее отграниченность через начало и конец — благодаря чему и сформироваться может твердь «я», годного для любви и жертвы, что есть такой силы подвиг — энергетический квант и атом, что вспышкой своей уравновешивает бесконечность райского существования, вечность и всякую бессрочность.

И если Будда отвергает всякое хотенье, потому что оно в результате и сути своей есть хотение скорби, — то Саул библейский и Байрон английский и Лермонтов русский поют:

<sup>23</sup> Люблю — следовательно, существую (лат.).

<sup>24</sup> Мыслью — следовательно, существую (лат.).

Пусть будет песнь твоя дика.— Как мой венец,  
Мне тягостны веселья звуки!  
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,  
Иль разорвется грудь от муки.  
(Байрон—Лермонтов. Еврейская мелодия)

А Пушкин: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...»  
Отчего это? Но есть подсказ от бытия — в сравнениях:

Кто видимого хочет, хочет скорби,  
Любовью будет вновь уловлен в сети,  
Не видя окончательной свободы,  
Пойдет вперед от боли к боли вновь.  
Такой в руке кто **факел** жгучий держит,  
Тот руки **жжет**; кто мудр, того бежит он.  
Безумец же, кто в этом усомнится,  
Все будет **сердце к зною** торопить.  
Алканье — **змеиное** то жало,  
И **ярый** гнев — змеинная отравка,  
Кто мудр, тот к скорби путь, как **кость гнилую**,  
Отбросит прочь, **чтоб зубы** сохранить.  
Ее ли будет пробовать и трогать?  
Сыны земли за то **гнилое** мясо,  
Как стаи **птиц**, готовы состязаться,—  
И царь за тем пройдет через **огонь**?  
...Как человек проходит с отвращеньем  
Близ **скотобойни** на Восточном рынке

(вот как буддизм-горожанин сказывается!)

И издали базарный стол заметит,  
Так веку страсти мудрый обойдет.  
...Так **ямы** есть: **огонь** в них рдеет жарко,  
Обманная над ямою поверхность,  
Чуть тело проскользнет туда, пылает —  
Кто мудр, тот в это пламя не пойдет.  
Лик хоти, это — мнимое виденье,  
Лик страсти — как **мясник с ножом кровавым**...  
Кто мудр, тот с этим дела не имеет,  
Скорей в огонь он бросится иль в воду  
Иль свергнется с обрывного утеса,  
Но не пойдет он к хоти в западню.  
...Она его бодилом жжет и колет. (111—113)

Почти подряд переписал и все сравнения захватил. Преобладают огонь и животное: чувствуется человек и космос, изнуренный преизобильным жаром и кишением существ, тварей (что льнут, как лианы-змеи, цепляются, переплетаются), трудностью уединения, отсутствием простора — настолько это важно, что основной космогонический акт в Ригведе — это воздвижение воздушного пространства после отщепления неба от земли.

На Руси же — стужа; «открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города» (Гоголь. «Мертвые души») — т. е. кой-где как точки, как значки жизни: недостача существ и тепла, оттого любовь — тепло, спасение. Еще у Будды страх острия — укола: ножом ли, жалом ли змеиным (кстати, змея — ползучий огонь,

язык пламени, оттого ее укус — «жалит», от корня — «жар»). И казнь там в близлежащем китайском космосе — на острие бамбука сажают.

Но тело разъятию не подвергают — как и при одежде: единым куском ткани — сари пеленают.

Казнь же европейская, исконная — анализ, отсечения, раздел[ка] на части — и прообраз ее, та же структура — в четких дефинициях костюма.

Такому же, как кама и дхарма, развенчанию подвергается и ар т х а — дело, труд, богатство.

Подумавши о надобностях жизни,  
В них постоянства вовсе не находишь:  
Едим мы, чтобы голод успокоить...  
...Чуть утишишь, вновь нужно утишать.  
Как человек, что одержим горячкой,

«опять жар — индийски-тропическая болезнь»

Прохладного испытть желает зелья... (113)

Человек в жизни — сквозняк, проходная труба, полость, рот.  
У тех, кто правит царством,—

«Их души вечно пусты, вечно в жажде» (115)

А

«Искать услад небесных — есть не больше,  
Как содвигать в перемещенья пытку».

Ибо боги, по индуизму, смертны, и, пожив даже 80 тысяч лет на небе, существо вновь обречено окунаться в сансару, возрождаясь: травой, землей, человеком... Оттого нет в буддизме царствия небесного. Небо, как часть трехленного мира, вовлечено в круговорот сансары и тоже безвыходно.

Отвергая артху, буддизм исходит и из неприятия физических усилий, труда, работы, ибо пустые то хлопоты: сквозную трубу наполнять.

Чрез восьмикратность мира все превратно.  
...Хоть будь царем, но пытка громоздится,  
Люби-скорби, один — нет счастья в том.  
Хотя б твои — четыре царства были,  
Участвовать — в одном ты только можешь,  
И в десять тысяч дел когда заглянешь,  
Узнаешь десять тысяч ты забот (N. В.— числа!).  
Так положи конец своей печали,  
Утишь хотенье, воздержись от дела —  
В том есть покой...  
...Что манит сердце — тихая обитель,  
Что любо сердцу — это вольный путь.  
А ты хотел бы, чтоб запутан был я  
В обязанности и соотношенья (114)

Буддист — существо тихой погоды, затишья, заводи, поиск нейтральной зоны в буре меж небом и землей, выйти из круговорота и потока — в отставку, на пенсию бытия.

Потому, кстати, и вегетарианец он: убивать не надо живое существо не из жалости к нему, но чтоб не высвободить место для нового рождения<sup>25</sup>, не создавать вакуум, тягу сансары: в бытии свято место пусто не бывает.

Кто мудр — тот разрушать не будет жизнь.  
Кто в этом — их закон превратный,  
Кто в этом — ими правит шаткий ветер,  
Они, как капля, свежая с травки,  
Я — выхода надежного ищу.

«Они» — это брахманы, жертвоприношение ведизма:

И те, что учат жертвоприношеньям,—  
Неведеньем подвигнуты они.  
Достойней — почитание закона  
И прекращенье жертвоприношений.  
Жизнь разрушать, хотя бы для молений,  
В том нет любви, в убийстве правды нет. (116)

Но и в его «не убий!» не любовь говорит и состраданье, но заткнуть прорву рождений — когда на смену убитому новое воплощение грядет. «Не убий!» — чтоб «не рождай!»

И наконец, последний аргумент — насчет поры и сроков — разбивает так:

Мне говорят: Коль молод, будь веселым,  
А будешь стар, тогда и будь отшельник.  
Но я смотрю, что в старости есть слабость,  
Благоговейным быть нет сил тогда.  
Есть в юности могущество и твердость,  
Есть крепость воли, в сердце есть решимость,—  
А смерть, как вор, с ножом идет за нами,  
И любо ей добычу ухватить.  
Зачем же будем старости здесь ждать мы? (116)

Молодой отшельник — вот что ново в царевиче, в Будде. И этим, сопрягши молодость со службой не жизни, а бытию, Будда сплутывает ашрамы, зоны времени — и тем его закон отменяет и воздвигает в бытии энергетическую статуарность, где нет ни начала, ни конца, но — центр.

## 12. Отшельник

Постранствовав как бхикшу-нищий, царевич идет на выучку к Араде — отшельнику. Видя его светлость, пять отшельников отмечают:

<sup>25</sup> Ред.: Этим делу не поможешь. Убил ты или не убил — ничего в мире не изменится, а вот на тебе грех: убийством ты свою карму отягощаешь, а карму убиенного, возможно, и облегчишь. Вообще, буддизм мало озабочен тем, чтобы творить добро, его главный принцип — не сотвори зла, не причини вреда (ахинса). А то ведь воинствующие доброты христианские и социалисты, загоняющие в «счастливое общество» дубинками, тоже считали, что они добро несут, а что получилось... Так что ахинса буддизма, которую иногда толкуют как «слабость нравственного акта», большим уважением к миру проникнута, чем все добротство, вместе взятое...

Силы **младой** ты исполнен,  
Все ж не вовлекся в **любовь** ты  
К гордому сану царя. (119)

— вот что ново. И видят в нем «надлежащий сосуд», куда удобно будет вместиться Правому закону.

Воля твоя, укрепившись,  
Мудрости будет **ладью**,  
Переплывет она **Море**,  
Жизни и смерти моря. (119)

И далее царевич о себе:

**Факел** в ночи да взнесу я,

(огонь как свет лишь приемлется, а не жар)

В месте ндя вероломном,  
**Челн** да пройдет через **море**. (120)

Вода, море — хотя и менее, чем огонь, — но тоже отрицательные в буддизме стихии, ибо засасывающая топь снижает летучесть, крылатость, воздушность. Если и сравнивается Будда с каплей росы, — то в восприятии и стилистике брахманизма:

Все Брахмачарины, видя,  
Как был прекрасен царевич,  
В качествах тех искупались,  
Чистой напились росы (118) —

это образы ведийской традиции.

И это брахманы называют будущего Будду сосудом; для собственно буддизма более присущ образ не сосуда, но корзины (Канон буддизма называется «Трипитака» — «Три корзины»). А корзина — легче сосуда, воздушнее, из растения, а не земли сырой — глины. Переплыть море на челне, ладье мудрости — это значит признать необъятным вещественность (море, Океан), а свет, ум — утлым челном малым. К тому же водой заполняется все поле и, главное, — центр мира. Зрелый буддизм, как Аю-даг, выпьет море, подсушит мир, поместив в центр и все поле заняв бестелесной энергией нирваны, родной уму и мудрости, которая теперь не «челн», но «море» по объему. Но, во всяком случае, буддизму ближе образ стоячего моря, которое я активный переплываю на ладье (оттого он ищет путь — Дхамма-паду), нежели образ потока, что сам несет, активен, а я — барка безвесельная. Усилие буддизма — наполнить сосуд бытия, чтоб оно не было проточным, рекой, а стало как озеро<sup>26</sup>. Путь, стезя — затем, чтоб я был активен, дух подвижен, чтоб атрибут движения перенять, отнять, изъять из бытия вещественного, его застопорить.

Далее на вопрос царевича:

Как победить, вопрошаю,  
Старость, болезни и смерть? —

<sup>26</sup> Ред.: А ведь в озере вода стоячая!

отшельник Арада излагает метафизику брахманизма и, похоже, Упанишад<sup>27</sup>. Толковать об этом по переводу К. Бальмонта нет смысла. Однако надо понять, что не удовлетворило Бодхисаттву, царевича.

Природа, стихии, восприятия, чувства, органы и предметы чувств — одно.

Руки и ноги — дороги.  
Их же корнями зовут. (121)

Ну да: дороги они, каналы, русла, как и корни — для прохождения потока и потоков. В позе же Будды конечности будут прибраны, свиты = подняты мосты, забастовали дороги связующие.

Разума корень — двоякий:  
Он — вещество и разумность;

(т. е. мыслящая материя)

Узел природы — причина,  
Знающий это есть Я.

Итак, приводит к «я» и душе. Он тоже отвергает самообман телесных жертвоприношений брахманизма: это круг, конечной свободы не достигнешь, ибо здесь увязывается душа вещественностью.

Точка начальная вихря,  
Водоворот изначальный,—  
Явственно вижу — есть я.  
Силою этой причины  
И возникает повторность,  
Узел рожденья и смерти  
Связан и вяжется ей. (123)

Вот уже канун буддизма, озарения: если в центр бытия поставить не «я» — эту твердь и атом, но сдерживающую энергию пустоты — нирвану, — то завязь буддистского космоса возникнет.

Здесь, по Араде, тоже ищется покой и отождествление расеянному бытию — через ярусы вознесений, развоплощений:

Дальше идешь в просветленьи  
...Третьей дхианы доходишь,  
Новое примешь рожденье  
В небе Субхакристны ты (125),—

пока в самой выси неба, уподобясь богам,

В теле почувствуешь всюду  
Вольность и с ней пустоту.

(Точно: свобода и есть пустота, отрицательное понятие.)

<sup>27</sup> Ред.: Араду считают предвестником школы санкхья.

То ощущение окрепнет,  
Усовершенствуюсь точно,  
И в пустоте развернется  
Веденья полный простор.

(Станешь сам бытием, истиной, чистой-пустой: ведь всякое наполнение — уже ложь и частность.)

Тишь изнутри получивши,  
«Я» отпадает, как помысл,  
Жизнь в невещественном примешь,  
Мнимость познав вещества.  
**Твердость зерна раздробивши,**  
Стебель восходит зеленый.

(Волна-стебель на место зерна-атома; рассеяние вещества, воздух — зона истины.)

Птица умчится из клетки,  
Мы — из телесных границ.  
Выше, чем Браман взнесенный,  
Признаки тела отбросив,  
Все же ты еще существуешь,  
Мудрый, свободный вполне. (126)

Что здесь не удовлетворяет царевича? Очищение души, «я» своего — сохраняет его волю как зародыш, семя, и в нем — волю к существованию — через новые воплощения в жизнь — и опять пути. Нельзя отбросить мысль о теле и тем освободить душу и наоборот. Связаны они. Сразу надо от них отвлекаться.

Также еще говоришь ты —  
Чистое знание есть вольность,  
Если есть чистое знание,  
Значит, и знающий есть,  
Если есть знающий, — как же  
Освободиться он может  
От единичного «знаю»  
И от отдельного «Я»? (128—129).

(Точно поставлен вопрос, ибо в новоевропейской традиции чистое знание сопряжено с «я», принципом личности, на «я» лишь обосновано: Декарт: *cogito ergo sum*; Кант, Фихте и т. д.)

Если без личности знание,  
Значит, тогда познающим  
Может чурбан быть и камень... (129)

Чистая теория, только мышление как познавание — именно сохраняет и увековечивает раздельность «я» и «предмета» и процесса сознания, — и оттого не утоляет душу, не дает тождества с бытием (=преодоления смерти). Потому царевич покидает Араду, идет к другим отшельникам, на гору, и в месте, «чье имя — Пыточный Лес Уравильва», близ просветленных бхикшу

Место близ них Бодгисаттва  
Выбрал и в мысли вступил. (130)

— начался шестилетний аскетический подвиг.

Что есть аскетизм, умерщвление плоти? Почему это дело не вышло у Будды и он его отверг как путь? Это — обрезать себя, свою ветвь от бытия — от притока стихий: пищи-земли, питья-воды, тепла-огня. Один воздух — не ограничен и беспрепятствен, и сюда выталкивается и втягивается существо в аскезе — чтоб стать воздухом. И вот царевич после шестилетья:

Духом был волен, а телом  
Легок, воздушно-утончен.  
...В нежной лазури означась,  
Серп новолунный так светит.  
...Он был иссохший и тонкий,  
Словно увядшая ветка. (131)

Опять лунность: свет без огня — вот почему (понял!) не с солнцем, а с луной сравнивают Будду: ибо солнце — свет с жаром, огнисто, золото; буддизм же весь принципиально — антиогонь. Потому свет его лунный, серебристый, не плодородящий, стерильный.

Но что здесь получилось в итоге поста? Сухая ветвь — как раз старость, бессилие, вялость, не энергия и никакого вознесения — торжество сморчковости.

Слишком много значения придается как раз плоти, когда на укрощении, ценой ее затравливанья, как коня загнать, — истину обрести желают. И в итоге — не расширение груди, дух-воздух в себе вбирающей, но воздух вне меня, а я — только иссохшая земля, она в итоге утверждена.

Путь умерщвления плоти  
Не был и средством тем прежним:  
Там он, под деревом Джамбу,  
Час вознесенный узнал.  
Это, он думал, есть верный  
Путь к просветленью восторга,  
Это — дорога иная,  
Не умерщвленная плоть.  
Должен искать я, скорее,  
Силы и мощи телесной,  
Должен напитком и яством  
Члены свои освежить.  
Этим достигши довольства,  
Разуму дам отдохнуть я,—  
Если мой разум в покое,  
В лад я безгласный вступлю.  
Лад призовет восхищенье,  
Взвевя, увижу я правду,  
Силу постигши закона,  
Этим распутаю все. (131—132)

Итак, вместо увядшей ветки, чем он стал, — розовая яблоня Джамбу: расширяющаяся, цветущая жизнь расширит и возвысит его, так что — можно бытием наполниться. Не свится в атом сухой и плотный, изгнав бичами истязаний из себя сок-воду и воздух-грудь сузив, — но разрастись в пространстве, по-

лость свою мирозданием, воздухом наполнив; а воздух из стихий — ближайший сосед к нирване, в отличие от земли.

Потому он допускает и воде, влаге воспомоществовать — чтоб размочить сгущение плоти, разуплотнить ее. И вот боги шлют ему царевну с пищей, а царевна сама — капля:

Снежились те халцедоны,

(прозрачные камне-капли)

Платье на ней голубело,  
Спорили эти оттенки,  
Как в пузыре водяном. (132)

И несла она — р и с: каплю-семя.

Только поел, освежился,  
Бодхи принять стал способен,  
Члены его воссияли,  
Сила еще возросла.

И вот он разрастается — как Индра в Ригведе, выпив сомы, заполняет три мира. Дерево для него — прототип. К нему он и идет, под ним садится: под деревом Бодхи — сим громоотводом и лестницей истины меж бытием и человеком: по его руслу она, из бытия сгустившись, способна каплей упасть на темя сосредоточившегося в падмасане — а эту позу принимает царевич.

Земля трясется, небесные Наги — змен  
Сдвинули веянье ветра (135) —

главного, наряду с огнем, врага. Змеи — огни, а туловище их — ветер (недаром дракон вихрем летит). Канун космотворения: садится Бодхисаттва-демиург под дерево на траву в твердом намерении не сходить, пока не поймет все.

Но пока отметим, что Будда как отверг вначале брахманский путь жертвоприношений, так и снял теперь, испытав, крайность аскетизма, и примкнул вроде к брахманизму (недаром сходство с образом Индры, разрастающегося, выпив сомы, обнаружили).

Итак, его путь обозначается как с р е д и н н ы й.

Однако и то верно, что слишком нежна и хрупка оказалась плоть Гаутамы — слишком изнеженно-чувствительна: не вынес боли. И вообще-то весь буддизм начинается с неприятия боли и страдания в мире: как мимоза свивается, не может их переносить. Не принимает закалки. Христианство — то как раз дало образец и прецедент для перенесения боли: терпеть. Буддизм не хочет терпеть, но — освободиться от страданий и болей любой ценой, даже ценой жизни и рождений (ибо рожденье создает еще одно чувствилище в мир, да и в акте зачатия — чувствительность обостряется, нежность кожи и сочность плоти, а значит — и чуткость к боли).

### 13. Мара

Наступает ночь искушенья. Будда закреплен в падмасане под деревом. Цель искушенья — заставить его сойти с места; оно — вихрь, что стремится вырвать Будду с корнем (ибо он — дублер Мирового Древа). Для того и сидит он — как бы ноги в землю запускает, вращивает, — а не стоит, как христианские столпники или Сократ. Здесь — вертикаль подчеркивается, в Будде же — центральность. И поза его под деревом — не для вознесения: смешно возносить существо, у которого так утяжелен и увесист низ, куда помещен центр тяжести, — как ванька-встанька. Возносить сподручно стоячего, расперившего руки-крылья распятого Христа. А Будда — не вознесенск, а притягателен, низводящ. И дерево Бодхи возле него не для того, чтобы по его стволу дух его вознесся в эмпирии неба (не уважает буддизм небо, а с ним и всякую высь), но чтоб кроной зацепить небо, вобрать в себя воздушное пространство — и привести в упряжке, суженьи и отвердении ствола — до этого усевшегося, который претендует центр миру установить, пуп-ступу, точку опоры.

Если в Ригведе Агни-огонь связной и вестник, приводящий богов на жертвоприношение, дары людей в небо отсылающий, знаток всех существ — Джатаведас вездесущий, — то в буддизме такую роль вестника, колесничего, почтальона — играет дерево: высь собирает, стягивает ветвями-вожжами в узел, запрягает в ствол — и статуарно низводит бытие в центр (а не как животное-несущиеся упряжки Ашвинов, Марутов и прочих из подвизного космоса Ригведы).

Что такую направленность имеет дерево Бодхи в буддизме, видно по искушению и аргументации Мары. Мара, царь желаний и зла, побуждает его отречься от своего поиска и отсылает его торной дорогой — вверх:

Миротвор — награду примешь,  
Путь свершив свой, в Небесах.  
Это — торная дорога,  
Победители ходили,  
Люди знатные и Риши,  
И цари — дорогой той. (138)

Так что именно Мара побуждает его к вознесению по ступицам — лестнице древа вверх. Будда ж — как Иаков: лестницу, по которой ангелы именно нисходят, узреть норовит. И для того уперся и уселся, как свая и краеугольный камень:

Он от косца получает  
Чистые гибкие травы

(травы — его костер, а он на нем — огонь. И верно: поза Будды — окаменевший костер),

Их возле древа простер.  
Выпрямясь, там он садится,  
Ноги скрестил под собою,

Их не небрежно кладет он,  
В теле он весь закреплен. (134)

И в ночь искушения боги ликуют, зря устойчивость Будды:

Вы не сможете Сумеру  
Сдунуть с каменных основ  
... Он скрещен четверократно,  
Тех углов не разделить. (144)

Его четыре благородные истины имеются в виду, но N. В. — четыре, как страны света, трудовое число, квадрат дома знаменующее.

И радость богов — от укрепления чрез Будду центра:

На своем законном троне  
Будет он — как были Будды  
Давних дней — в себе скрепленный,  
Цельно — замкнут, как алмаз.  
Если б вся земля дрожала,  
Это место будет стойко.  
Он на точке утвердился,  
Вам его не отвратить. (146—147)

Сам же Будда и путь его в гимне богов прямо выстраивается как древо:

Плоть застигнута, объята  
Морем смерти и рождений,  
Строит мудрости челнок он,—  
Для чего ж топить его?  
Ветвь молельности — терпенье,  
Корень — твердость, поведение  
Безупречное — расцветы,  
Сердце светлое — цветок,  
Мудрость высшая — всё древо,  
Весь закон есть плод душистый,  
Тень его — живым защита,—  
Для чего ж срубать его? (146)

Атрибуты же Мары: лук, стрелы; его воинство — женщины, животные, а пыталели — ремесленники-отделочники.

Мара — «царь пяти желаний», органов чувств, всех привязанностей=вожжей и приводных ремней, которыми колесо сансары и вертится. Будда же, всаживаясь в центр, хочет порвать как центробежные, так и центростремительные силы и тем остановить вращение. Потому Мара собирает все свое воинство, чтобы плечами: «навались, братцы!» — спицы его во вращении поддерживать. Недаром его оружие — лук и стрелы, что есть обод и спицы. А Будда — ступица (недаром буддийский храм в форме ступы строится). Стрелы должны — ранить, зацепить крючьями, как багры-гарпуны, — и растащить его сосредоточенность, расшеять.

Первые — женщины. Их назначение — стянуть Будду-древо с места, с корней; только он шелохнется и с места подвинется — он уже не древо, а животное, предавшееся движению и его претворностям подверженное.

Похотливостью движений норовят женщины-волны стронуть его в космическое перводвижение тела — соитие, сплетение, акт зачатия: начало движения и цепи рождений.

И стрела, скользнув, мелькнула,  
Впереди ж стояли девы,  
Но не видел Бодгисаттва  
Ни стрелы, ни этих трех. (139)

Он видит истоки веществ, атомов, волн — дхарм, но не сгущаются они для него в плотные образования плотяных тел, предметов. То есть он как раз зрит конечную истину и состав всех существ: в нем, значит, утвердилось правильное зрение (первое из восьмеричного пути), раз не видит, как мы, ложным будничным видением — авидьей завороченные.

Воинство Мары — ремесленники-отделочники с инструментарием:

И одни держали копья,  
У других мечи сверкали,  
А иные, вырвав древо,  
Помавали тем стволом.  
У иных сверкали искры  
От алмазных тяжких палиц,  
У других иное было,  
Лязг доспехов всех родов. (139—140)

Если Будда, воссев под древо Бодхи,

Клятвой клялся — к воле полной  
Совершенный путь пробить,—

то есть, как скважину в истину буравит, то воинство Мары и все искушение — как ОТК — апробация его алмаза на прочность, на разрыв и упругость, обтачиванье и каление. (Этот смысл имеет и искушение Христа Духом.)

Хоть неведение и злоба —  
Это — пыточная дыба,  
Это — тяжкие засовы,  
На плечах существ ярмо.  
Чрез века он был подвижник,  
Чтобы снять с людей оковы (146) —

то есть прорастал, как дерево, чрез века. Эти ж:

С четырех сторон окрестных  
Изрыгают дым и пламя,  
Вихри, бури отовсюду.

(вот состав стихий Мары)

Сотрясается гора.  
Пар, огонь и ветер с пылью  
Тьму, как деготь, созидают. (141)

Все они — хаотические сцепления — как бы зримый плод и воплощение неупорядоченных желаний:

На одном, иные, теле  
Много шей и глав носили,  
Глаз один на лицах многих,  
Лик один, но много глаз.  
...У иных узлом колени,  
Ляжки жирные раздулись,  
У иных не ногти — когти. (140)

Все эти чудища — от смешений, неподобающее производят:

Эти вьются колесом... (140)

То есть это мир — антидхармы, лишенный космического закона. Если по космогонии буддизма первый смысл понятия дхармы — всебытие как строй (точнее — «поддержание»: dhara — «держат»), то здесь мир — вихрь, хаос, взвихренный космос в шабаше и свистопляске всех своих сочленений и существ. Это даже не колесо сансары — она хоть упорядочена (кстати, и оттого, по Нагарджуне, Нирвана есть сансара), — но беззаконие сплошное и безобразное.

Суммируя: воинство Мары — «бесы», имеют облик животных и причастны к огню, ремеслам.

Мир Будды — растение и интеллект.

#### 14. Лицом к лицу

Итак, Бодхисаттва засел под деревом Бодхи в основной позе индийского созерцания — падмасане. В этой позе человек сам уподобляется дереву, деревом становится: взгляните в изображение будд — они вросли в землю корнями ног и на века так. Сам же Будда — как храм многоярусный ступенями поднимается и сужается: внизу самая широкая часть — колени, потом плечи, потом уровень волос и, наконец, — как идея всей фигуры — пучок волос на голове. Словно зачерпывая широким седлицем и корнями ног мысль земли, Будда своей фигурой ее многоэтажно трансформирует от животности к озарению, прочищает на разных уровнях «пути восьмеричного» и испускает уже с головы в небо и воздух чистое истечение. Как храм он и агрегат — очистительная установка, трест очистки.

Вспомнил он свои существованья,  
Там рожден и с именем таким,  
Все, до настоящего рожденья,  
Через сотни, тысячи смертей  
Мириады разных воплощений,  
Всякие и всюду, без числа.  
Всей своей семьи узнав сплетенья,  
Жалостью великой схвачен был. (148)

И вот он сейчас убьет все, окончит, прервет свой род. Или выведет, спасет? Он, как Моисей, выводит народ своих прежних воплощений. Ибо это — народ, все человечество; а так как

в сансару включены и животные, и насекомые,— вся жизнь, а по идее (все со всем сплетено и друг в друга переходит) — все бытие. Так что в Будде совершается сейчас не просто озарение, откровение истины ему,— но им совершается космогонический акт — переустройство бытия на основе вытащенного им изнутри, добытого из глубины своей Нового Закона.

И в середине бодрствования ночи  
Глянул он глазами чистых Дэв,  
Пред собой увидел все созданья,  
Как увидишь в зеркале свой лик. (149)

Ибо он — Всё. И глядя в себя, все бытие там, как в зеркале, зрит<sup>28</sup>. И это поистине так, что всё во всём и каждая монада со всем бытием сплетена и в себе его бы могла ощутить и познать. Но я тут уже воспользовался готовой мыслью: что всё во всём. А ведь она некогда должна была быть добыта и введена в обиход человечества — Анаксагором, Лейбницем и вот — Буддой. И его сидение это именно есть постановка себя громоотводом и выдаиванье из бытия этой вот и других истин, с ней связанных. И мы по себе знаем это различие: знать нечто и прюникнуть к нему. Когда знаем — холодно, когда проникаемся, т. е. идея пронзает все существо, сердце, мороз по коже,— тогда мы как бы собой, своим существом-сосудом навлекаем на себя эту (или новую какую) истину, как бы вновь первооткрываем. Так что Будда повторен, повторим — и это в самом буддизме предусмотрено: множество было и будет в человечестве будд и бодгисаттв, периодически они должны появляться в человечестве и бытии для его прочистки, просветления и раздвиженья плечами — чтоб дышать в мире чем было (атланты они, небо поддерживающие,— будды).

Так что это по внешности и на поверхности описывается вроде, как было с этим одним первым Буддой,— на самом же деле рисуется архетип, модель просветления для всякого существа.

Его озарения предпосылка — отказ от внешнего движения, возврат из животного в дерево, растение. Действительно, разве, движась, цокая, чавкая и хрюкая дыханием — шумя сам по миру,— разве могу я что услышать и разобрать в бытии и услышать, что в себе, воспамятовать? Я его заглушаю собой, своим атомом, телом, «я» — как тараном его пробиваю. И напротив, чтобы разложить «я» памятью, посмотреть да посравнить и вникнуть, нужно именно замереть, оцепенеть и поникнуть, травинкой бесшумно **никнуть**, воз-**никнуть** в бытии. А на ходу память невозможна: ее словно отшибает на бегу встрясками и стыковками, колотьюбой тела о землю.

А вот дерево — только-то и дел у него, что — чу! — прислушиваться, как соки туда-сюда по стволу и капиллярам его сну-

<sup>28</sup> Зеркало, наверное, первоначально — зьркало, куда зиркать, зырить; как рыло — чем рыть, а рало — чем [о]рать: плуг.

ют: само-то ведь не движется, зато движение, жизнь в себе и вокруг уловить антенной ствола и ветвей может и к тому призвано. Дело дерева — самочувствие, но не себя как части и особи (таково самочувствие самодвижного животного, что, движась, себя со всех сторон замкнутым ощущает). Дерево же — сплошная открытость, распахнутость — ветвями, листьями, корнями. Лишь в середине его, где сужение ствола (как шейка — талия в песочных часах бытия), — вот и вся его самость здесь: уплотнение плоти — поясок. Дерево всё — посредничество, средний путь. У животного — оболочка кожи, в мешке его существо: костяк, кишки — содержит. Дерево ж не закруглено, как животное, в минимум поверхности — чтоб удобнее самодвигаться, тараном бытие пронзать, но, напротив, свои внутренности — костяк и кишки — наружу выплеснуло: и листья, сучья, сосудистость — то, что у животного внутри, здесь — снаружи. Ибо листья это то же, что внутри нас капилляры, где трансцензус между мною, особью, и внешним пространством совершается: гаванью легких зачерпнутый наружный воздух здесь соединяется с внутренней венозной кровью, ее чернь забирает на выхлоп выдоха, а озон снаружи внутрь запускает. Но это у нас под одеждой — оболочкой кожи внутри; у дерева же листья — такие ветвистые капиллярчики-сосудики вовне; у дерева поистине вся душа нараспашку, и оно заинтересовано в максимальной поверхности своей, в наибольшей распростертости в пространстве, ибо в таком случае оно, стоя, как бы движется, точнее — пространством движет, вдвигает, всасывает, вгоняет его внутрь себя. Ну да: животное гоняет по миру за пищей, а дерево тягой своей загоняет в свой хлев ветры, лучи, струи, огни и свет, соли и кислоты из земли. Пастбища мира у рта дерева пасутся, гора приходит к Магомету.

И таким образом дерево — символ бытия, так что оно и обозначается деревом жизни: ибо все бытие сквозь него прогоняется и памятуется. И оттого Будда, чтобы вспомнить народ своих прежних рождений, обрести совершенную память и с нею узнать, что он есть все (ибо всем побывал и все прошло сквозь него на протяжении мириадов существований и контактов разного с разным), и провести перед взором внутренним все бытие, — должен был сесть под дерево и ему уподобиться — и вслушаться, как под корой его = своей соки струятся, кислород с водородом, незримо шипя, соединяется.

Итак, буддизм — это перевоспитание животного (и человека как животного) — в дерево (в человека-растение). Попробуй усади подвижное животное на место навечно! Ему поистине повернется вспять колесо бытия, и времени больше не будет (ибо дерево живет сотни и тысячи лет, а лев — годы, десятков), так что поистине для животного, ставшего растением, время совсем другим тактом и мерой потечет, неощутимо, не станет его. И это и не жизнь (в старом, привычном, животнo-львином понимании), но и не смерть, ибо явно чует, что дышит, что свет, дождь — в

попеременном, однообразном, повторном круговращении меняются; и так оно постигает бытие как круговорот бесформенных дхамм-качеств (а не имен-форм, *pāpa-gūra* — как свойственно воспринимать все: в форме и ограниченности — животному), как веяние сквозных брызг вод, снопов лучей (куч-скандх). Это и есть нирвана: для животного — стать растением. И транс, которым столь дорожат в буддизме, — есть как раз то ошеломление и завихрение жизненных сил, что возникает в животном организме, если на всем скаку остановить, и инерционные силы его нутра, упершись вдруг, вихрями в мозг завернут и закружатся видениями: подвижность животного, его транспорт оборачивается у ошеломленного в транс. И оттого, по ступеням созерцания, дхьяны, — сначала созерцаются внешние формы малые, потом большие; потом рассеиваются формы и зрится уже бесформенное. Потом уже я — не субъект, отдельное нечто, но пропадает грань между мной и пространством (как она истаявает в кроне и корнях дерева, где все более разуплотняется его вещество, его «я» неслышно через трепет листьев-волосков растекается волнами по миру и зыбь лучей в себя выпускает). Так постепенно отшибается память, «я», и возникает новое зрение и бытие по ту сторону...

Теперь мне понятно становится, отчего в буддизме в иерархии восьмеричного пути «правильное внимание» (*sati*) и сосредоточение (*samādhi*) ставится выше правильного дела (*kammanto*) и правильного образа жизни (*ājīvo*). С точки зрения привычных нам европейских гумано-животных измерений праведное дело всегда ставится выше правильного внимания, которое имеет лишь, по нам, лично-эгоистический характер, субъективную ценность моего самочувствия и равновесия. Ибо для животного бытия, конечно, важнее, куда двинется, поступок, нежели то, что там в себе надумывается в недвижности и что может еще и не перейти в поступок, быть или не быть. В животном бытии важны телодвижение, жест, поступок, оформленное дело и определенная мысль, понятие, точное, рассудочное знание факта — *pāpa-gūra* (имя—форма).

Напротив, в буддизме ценится не познание и не заключение бытия в определенные мысли-понятия<sup>29</sup>, а напротив, высвобождение бытия и «феноменов» от форм — в вольный поток бесформенных дхамм, качеств, элементов, — и, как то же самое: и меня, «я» мое, растопить.

Характерно такое рассуждение Учителя: «Есть же здесь, Ананда, восемь сфер преодоления. Какие восемь? Первая — когда воспринимающий формы субъективно (то есть еще как животное, корыстно практически относящееся к миру, как полю пищи) видит формы [как] внешние, ничтожно малые (то есть еще по нашим масштабам воспринимаемые), прекрасные и безобразные (то есть еще близко к обыденному нашему животному

<sup>29</sup> Ибо понятие есть по-ягте=взятие — эгоистическая процедура присвоения бытия как предмета — тела ко мне=тоже вещи, телу, особи.

практическому восприятию мира как отдельных, пригодных для заглатывания или рассеечения), **воспринимая [их, как они есть], и говоря: „Я знаю их, вижу их преодоленными“**... (в искусстве, например, это — стадия реализма, который видит жизнь и вещи „в форме самой жизни“, по формуле Чернышевского, вещи „как они есть“; но уже самим фактом их восприятия и изображения мы преодолеваем внешность и давление на нас мира как чуждого, справляемся с ним).

**Вторая — когда воспринимающий формы субъективно видит формы как внешние, неизмеримые, прекрасные и безобразные, воспринимая [их, как они есть], и говоря: „Я знаю их, вижу их преодоленными“**...»

Здесь новое только вот что: то, что виделось малым, растеклось в бесконечно большое (как если бы понадобилось кролика передать на расстояние сигналами, атомы — волнами: какое облако значений, марево понеслось бы в пространство!) — идет переформировка мира и вещей из животного в растительное мировосприятие.

**«...Третья — когда воспринимающий не-формы (вот уже новое: до сих пор все воспринималось как форма, феномен, факт, — теперь вышли из уровня форм-атомов в измерение, где бытие и все вещи — волны, потоки элементов — дхамм) субъективно видит формы как внешние, ничтожно малые. Четвертая, когда... как... неизмеримые... Пятая, видит формы как внешние, синие, такие же синие как... сияющие синим блеском... Шестая... — как... желтые... Седьмая... — как красные... Восьмая... — как... белые»**<sup>30</sup>.

На место вещей, существ как форм — встали лучи и цвета спектра; так и в химии разные элементы имеют разный цвет — как длину волны. Так что буддийское предложение рассматривать вещи и существа не как твердые определенные формы, «я», но как пучки скандх, потоки дхамм — улавливает ту истину бытия, которую на своем языке талдычит миру и современная химия. Только у Будды спектральный анализ производит дерево своим самочувствием. Где в мире синь? В небе. Но оно — велика Федора да дура, а есть в небе мал золотник да дорог — Солнце: оно — энергично сгущенное. Однако суть желтизны — красное: красны угли под желтым пламенем костра. И наконец, ослепительна материя, доведенная до белого каления. И как белый свет есть нечто по ту сторону заурядных цветов спектра, из суммы их уровней образующееся, — подобно тому и Нирвана есть не конец пути, не последний цвет в ряду цветов, а перескок вообще в другую зону бытия, где снимаются, становятся неважны локальные различия цветов и где Нагарджуна может заявить: нет различия между Нирваной и Сансарой, они одно и то же.

<sup>30</sup> Цит. по: Пятигорский А. М. О психологическом содержании учения раннего буддизма. — Ученые записки Тартуского Государственного университета. Труды по востоковедению. I. Тарту, 1968, с. 202.

Но когда мы, находясь внутри сансары и ее иерархии уровней просветления человека, цветов, мыслим о Нирване, она — «белое» — нам ближе всего, естественно, к желтому цвету видится. Так и в законе Будды переход к Нирване возможен не с конца среднего пути дхьяны (в белое — с красного), но с его середины.

По толкованию А. М. Пятигорского, «...при переходе от одного уровня к другому, т. е. при рассмотрении иерархии уровней, иерархия внутри уровня теряет свой смысл. Так, для того, чтобы достичь высшего развития на уровне дхьяны, надо быть человеком, а не богом, а переход от дхьяны к Нирване возможен не от 8-й или 9-й, а лишь от четвертой ступени дхьяны; эта ступень, будучи средней при рассмотрении в пределах трансa, становится высшей с точки зрения следующего уровня»<sup>31</sup>.

Кстати, изo всех агрегатов природы растение наиболее химически талантливо: именно оно преобразует свет и воду в зеленое вещество хлорофилла,— так что именно дереву присуще, пристало мыслить о мире и его первоэлементах цветами, как здесь: синее, желтое, красное, белое...

Итак, древо есть временное сужение в шейке-трубе ствола потоков элементов — хотя бы двух: с неба на землю, с земли в небо; а еще: воздушного пространства — в тело (дерева), в землю, с тела — в воздух, переход волны в атом и наоборот, рассеяние плоти «я» в сноп скандх и дхамм — волн, текущих элементов. Потому возможно в буддизме то странное сочетание пути (ведь истину свою и закон он называет Дхаммапада = путь (стезя) закона<sup>32</sup>; и спасение обозначает: Восьмеричный путь прекращения страдания, а себя меж крайностями вожделенческой жизни и аскетизма называет Мадхьямикапада = срединный путь) — и отказа от движения, передвижения телом в исполнении жизни; но должно засесть в позу древа и предаться трансу и сосредоточению.

Ствол и есть у дерева стоячий путь, труба — оплот, Столп и утверждение Истины<sup>33</sup>. Благодаря мироосознанию от древа, бытие есть истина-естина, то, что стоит, пребывает,— и в то

<sup>31</sup> Там же, с. 204.

<sup>32</sup> Не то слово: «закон» — *pāṭa-gīra*, определенное понятие, а для буддизма как для растения как раз важна аморфность качества: чтобы не телом зайчика предстала субстанция мира, дабы ее льву заглотать в пищу (ну что с того, что зайчик под дерево прибежал! что дереву с того? в такой форме — тела, атома — дерево бытие воспринять не может), — но чтоб текла энергия и субстанция бытия, разложенная на электроны, переведенная на язык волн, лучей,— тогда ее лист и корень уловить может. Оттого и понятие, с которым оперирует буддизм, есть не понятие от животного, а евангелие от растения, и должно быть изложено не понятиями—телами типа *pāṭa-gīra*, каков «закон», а текуче-исходяще в бесконечность, какова в Индии «дхарма».

<sup>33</sup> П. А. Флоренский, так назвав свое основное сочинение, с одной стороны, явил эту близость русского мировоззрения индийскому; но столп — безжизнен: каменная колонна или бревно, срубленное дерево; сила его — статическая. Оттого утерян оттенок процесса, энергичного дыхания бытия.

же время не объектна она, вне меня как тело-предмет,— но сквозь меня процессна, текуча, переливчата, самочувствием и волением психики моего ствола определена: ибо если откажет — ток дхамм застопорится, как Суэцкий канал. Потому rāda переводится и как пядь, стопа, ступня, опора: в ней и путь (ибо стопой движемся), и устой (ибо стопа — плоский низ, основание нашей колонны).

Дерево и есть этот неподвижный путь, его прообраз. Дерево есть непрерывное перепускание бытия — и буддизм стремится и в человеке выработать такое же самочувствие, такое понимание своего «Я»: что его нет, а есть поток дхамм в этом месте — и то еще: что значит сие ограничение «это место»?..

Дерево с кроной состоит из двух полуободов колеса, туда-сюда, разнонаправленных отрезков окружности. Таким образом модель Мирового Древа сопрягается с образом Целого как Шара, Колеса (дхармы), вписывается в круг — точнее: именно **вы**писывается (выступает) из круга.

Но продолжим анализ поэмы Асвагоши. Будда — в позе дерева под деревом. Мы прониклись, к чему это обязывает и ведет. Теперь проследим, что стало понято Буддой, когда он сел так. Он увидел в себе, как в зеркале, все прошедшие по земле создания и имеющие наступить — ведь одни и те же, лишь в новом сочетании:

Всех, кто был рожден и вновь родился,  
Чтоб в рожденьи новом умереть,  
Благородных, низких, пышных, бедных,  
Всех жнецов своих безмерных жатв.  
...Тех узрел, деянья чьи — молельны,  
Место их — с людьми и средь Богов.  
Те опять в адах рождаются нижних,  
Видел он всю пропасть пыток их,  
Токи пьют расплавленных металлов,  
Острые им вилы рвут тела.  
Стеснены в котлах с водой кипящей,  
Втиснуты в пылающих печах —

да это ж индустрия. Ад — промышлен, ремесло, город, цивилизация. Здесь огонь и укол:

Длиннозубым отданы собакам (се — власти),  
Птицам, что выклеывают мозг (а се теологи),  
Из огня уходят в лес дремучий,  
Где, как бритва, листья режут их,

наверху люди цивилизованные лес секут — в антимире ада обратно: лес сечет людей, се возмездие леса:

Лезвия им руки отрезают,  
На куски их рубят топоры (=сучья-ветви)  
...Видел также он плоды рожденья  
В лике зверя, всех свершений счет. (149—150)

Се — апокалиптический Зверь с числом — тоже собрал все прежние деяния людей и плоды их. Это — собирательный род людской:

Накопленье собственных возвратов,  
Смерть — и вновь рожден звериный лик.

Кстати, воинство Мары, что приходило в ночь искушать Будду, под деревом сидящего,— это глазами растения, глодать которое подходят всякие животные и зверье, все зло бытия представляется во облике животных, ремесленных инструментов и огня.

Из-за шкуры, или из-за мяса,  
Умереть одним велит удел  
Из-за рога, меха или крыльев.  
Те же рвут друг друга из вражды.

(Кругом зацепления горизонтальные, крючки у каждого существа.)

Видел также он скупцов и жадных,  
Ныне — как голодные они,  
Их тела крутой горе подобны,  
Рты же — как игольное ушко. (150)

(Вот космос жадности: вакуум и тяга.)

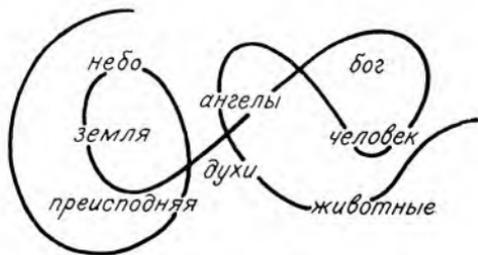
Прямо-таки Дантов ад. Но огромная есть разница: у Данте и по христианско-европейским воззрениям ад — там, потом, вынесен за скобки жизни нашей — в необратимость: то есть, после смерти будет или вечный ад, или выход в вечную жизнь праведников,— но то и другое: ад и рай — видятся как стационар,— конец, прекращение движения. После них нет возвращения души опять в люди на новое воплощение и жизнь. Обратная связь между землей и небом зафиксирована лишь в двух космотворческих случаях: восстание ангелов во главе с Люцифером «светоносным», когда с неба сброшены и образовали собой ад — геенну огненную, и сошествие Сына Божьего на землю, воплощение в человека Иисуса Христа — с обратным вознесением. Но все это — события, а не рядовой кругооборот бытия. Они вмешательством Бога-первотолчка, великим усилием творятся. В обычном же, рядовом течении бытия жестко разведены и закреплены стационарно жизнь, ад и рай. Из жизни есть разводящая в ад или рай; с неба слетают к людям ангелы-хранители, из ада подлетают бесы, лукавые искушители-соблазнитель, — но ни те, ни другие в людей не воплощаются, не возрождаются человеками и другими существами, а лишь косвенно в них свое навевают, нашептывают и наущают.

Схематично если изобразить направления, то они будут выглядеть так:



Нет прямого обмена веществ между ангелами и бесами, а лишь через людей — через навешивание своих сует, идей, в них рудный трансцензус (вечная проблема европейского духа) соершается. И потому небо и преисподняя трансцендентны, нередставимы для человека, как и человек для них (кантовская ситуация).

В буддизме же  
вот такое всеобщее  
клубление и прямая



переходимость, так что и богу срок, а не вечная жизнь, он согрешает и рождается червем; и люди, и боги, и животные — все друг в друга переходимы; раздел, трансцензус проходит не между небом и землей, и землей и адом, и адом и небом — ни все по сию сторону, сходят в поток перерождений, цепь, колесо сансары, — но между человеком и Нирваной, куда лишь от центра, от человека восходить можно (а не с верха, с неба, в качестве бога: богу, чтоб попасть в Нирвану, надо сначала озродиться человеком).

Таким образом, по Будде, ад не потом и рай не потом, а здесь, сейчас, по сию сторону нашей жизни, мы непрерывно воде и рае существуем, вертимся, и жадный казнится не потом, о аде, но сама жизнь его во жадности и богатстве есть его жизнь; и блаженство богов есть сиюминутная же казнь и мука:

Видел тех, кто заслужили Небо,  
Но снедает их любовь к любви,

Вот ведь, учтено то, как толкует ад старец Зосима — см. вые с. 287, по которому и в раю можно испытывать горчайшую казнь от того, что недолюбил при жизни: мог, а не любил.)

Жажда быть любимым вечно мучит,  
Вянут, как без влаги вянет цвет.  
Светлые дворцы их опустели,  
Дэвы спят во прахе на земле  
Или молча горько-горько плачут,  
Вспоминая о былых любвях.  
Кто родился, грустен в увяданьи,  
Кто, любимый, умер, горе в том —  
Так стремятся к радостям небесным  
И в борьбе себе готовят боль.  
Что же стоят радости такие?  
Кто же будет, здраво, жаждать их?  
Чтоб добиться их, усиле нужно,  
Но они бессильны боль прогнать.  
Горе! Горе! В этом нет различья!

Дэвы в том обмануты равно!  
Чрез века они страданье терпят,  
Чрез века с хотеньем бой ведут.  
Достоверно ждут отдохновенья,  
И опять — паденье их удел.  
Пытки их в Аду подстерегают,  
Рвут друг друга, точно зверя зверь.

(Как элементы химии, сходя из пространства на землю, в ходе воплощения обнимают, разделяют друг друга, уплотняясь.)

Ищут в жгучей жажде и сгорают,  
Ищут — «Где восторги?» — ждет их боль,  
В Небесах — мечтают — верный отдых,  
Но с рождением в Небе тоже боль.  
Раз рожден — страданье непрерывно,  
В мире нет приюта от тоски,  
Круговратность смерти и рожденья —  
Поворот несчастный колеса. (151—152)

Колесо-то ведь вращающееся упадет тебя, хоть ты сейчас и на вершине его, на небе.

Так вот первая благородная истина, открытая Буддой: наладил он обратную связь между небом, землей, преисподней, заключил их все по сю сторону бытия (как сплошное страдание, куда включено и небо) и поставил вопрос о том, что за их пределами? — тогда как раньше небо и бытие в качестве богов уже и представлялось как абсолютный выход — в блаженство. Будда же показал, что блаженство есть приготовление к страданию и его плод; так что если хочешь в мире преодолеть страдание, отвергни и хоть блаженства. То есть: не преодолеть в мире страдания, оставив одно блаженство; и не преодолеть зло во имя добра — а, обретя правильное видение, что это одно и то же, не ловиться на приманку блаженства и добра, — но искать истину и выход по ту от них сторону.

Итак, и ад не потом, а при нас, и рай — тут же. Ну и что из того? Упростил он ад и рай, показал, что мы их непрерывно в своем существовании проходим и испытываем.

П. Флоренский в своем опыте православной теодицеи «Столп и утверждение истины» показал посюсторонность «геенны огненной»: как пытки, которую мы переживаем, находясь в состоянии духовной раздвоенности, сомнения, рефлексии — том, которое Гегель обозначил как разорванное «несчастное сознание».

Но в основном ад и рай видятся в Европе как пребывающие потом, трансцендентные состояния. Будда же явил, что мы — попеременно и люди, и животные, и бесы, и ангелы, так что хотеть быть ангелом и богом — никакой не выход.

Итак, первая благородная истина, открытая Буддой: всё в мире есть страдание, и каждый — болен. Вторая истина — что страдание имеет причину: она — в привязанностях: к родным, к вещам, к благу иль злу.

В этих **волах** бьется все живое,  
В этих **зыхях** плоть не отдохнет.

...Все равно, бесплодно и напрасно,  
Дрожь листка, на миг **пузырь волны**.  
...Целый мир созданий созерцал он,  
Приносящий боль **водоворот**. (152)

Воды — главная стихия, в которой материализуется круговорот, колесо бытия: они и внизу — океаном и реками, вздымаются паром-облаком, падают с неба ливнем, — и эти потоки круговращающихся капель нас несут с собой, как и все атомы вещества. А мы еще и желания свои связываем преимущественно с водами: большинство молитв людских — о ниспослании дождя иль прекращении его, о тепле иль прохладе — тем самым еще плотнее вовлекаемся и обвязываемся интересами воды, чтим их как свои собственные и молитвами прочищаем закупорки вен — русл, застой вод.

Если огонь — главный образ для страдания и боли в мире: жжение вожделений = вечная мука, то вода — главный образ для **связи** всего, его круговой поруки в круговороте бытия, для необходимости, детерминизма и причинности: все вовлечены в течение. Вода — образ отступающей отовсюду социальности. Оттого путь спасения имеет образ: переплыть поток, вырваться из течения. На этом берегу — страдание, в этом — первая истина; как берег образуется рекой, так и страдание имеет причину в круговороте, в течении всего — образ потока. И это: страдание имеет причину — вторая истина. Намерением должно стать преодоление страдания, значит — отворот от этого берега, отвязыванье от желаний чего-либо. А третья истина: нацеленность на другой берег — освобождения. И четвертая истина — восьмеричный путь, само плаванье в челне дхармы через поток и перипетии этого долгого пути.

Но пока еще мы на уровне второй истины: Бодхисаттва открывает причинную связь всего, и прежде всего: страдания — с желанием приятного, удовольствия.

Все исходит в мире из цеплянья,  
Как, схватив траву, горит огонь.  
А идет цеплянье из хотенья,  
Хоть из ощущения идет.  
От касанья это все идет.

(Выстраивает причины в ряд, получается цепь причин.)

К дереву так деревом коснешься,  
И огонь из тренья порожден.

Даже святое дерево — сей храм истины — таково оно, когда само по себе; когда ж в касанье приведено цепляньем — горит в муке желанья.

Как зерно идет в росток и в лист,  
...Как корабль уходит с человеком  
При сплетеньи суши и воды,  
Так из знания вышло имя с ликом (pāṃa-gūra),

Имя с ликом корни создает;  
От корней рождается касанье;  
От касанья к ощущенью путь;  
В ощущеньи кроется хотенье;  
И в хотеньи вязь цеплянья есть;  
Эта связь причина есть деяний;  
А они ведут к рожденью вновь;  
А в рожденьи скрыты смерть и старость —  
В этом всех живых круговорот. (153—154)

Вот здание бытия и иерархия наших ощущений, чувств, которыми мы подключаемся к круговороту, как проводниками, — через гносеологию.

Древо растет из корня — корабль отплывает от берега; древо отплывает на ладье листа-стебля (а стебель исходно — лист) в воздушное пространство, вверх — в большое плаванье на свой век отправляется; корабль поднимается по водам, растет над собой. Берег — корень, корабль — ствол, океан — воздух. Разница лишь в направлениях: дерево плывет вверх, корабль растет по горизонтали (наращивает расстояние).

И цепь причин, и путь спасения — равно материализуются в образы дерева и корабля.

Кто, сломав бамбук, сустав разнимет,  
Все суставы разделит легко. (153)

Древо и дает нам возможность понять тезис Нагарджуны, что нирвана и самсара — одно и то же: раз дерево способно выражать собой и то и другое<sup>34</sup>.

Итак, цель — вырваться из дурной бесконечности связей и причин (цепи кармы). А для того — хоть раз выскочить из инерции потока и сделать не то, что от тебя ожидают, а иррациональный ход, нелепый: сам Будда так нелепо покидает царство и красавицу жену и новорожденного сына своего. Одним таким актом разрывается невосстановимо вся цепь причин и идет на попятную. Останавливается бытие, нет больше цели, бытие завершено:

Так великий Риши завершен.

Стоит только отказаться от цели (которая всегда — часть, фрагмент бытия) — и тебе дается целое. Так Брама величает озаренного Будду:

Царь людей, ты вышел из рождений,  
(как из части — в целое)  
От смертей несчастных ускользнул, (157)  
Так сполна он самость уничтожил,  
Гаснет так огонь, пожрав траву. (155)

---

<sup>34</sup> А вот древо Бодхи, древо познания — образ нирваны:  
Будда, потерявшись в созерцаньи,  
В сердце ощущая светлый мир,  
День ко дню семь дней смотрел на Бодхи,  
На святое древо он смотрел. (156)

Древо — гносеологический храм. Оно — сама истина.

Как в тайге сбивают пожар тем, что направляют встречный пожар,— так и попятным огнем воли душат огонь самопричинный вожелений и привязанностей.

И когда свершилось в Будде озарение — это космогонический акт завершения бытия. И в знак этого цветы стали не расти с земли вверх, но падать с неба, растения сверху вниз расти:

И цветы не дожидались сроков

(Как сам царевич, не в срок уйдя в отшельники,— тем уничтожил связь времен, а значит — всякое время.)

...Из пространства, в пышном изобилии,  
Молнийные падали цветы,  
И других цветов лились гирлянды,  
Светлому к ногам свежая дань. (155)

Из жилищ небесных упали  
Приношенья, как цветочный дождь. (156)

Отчего же так ликуют существа природы, духи, боги на небесах? Хотя бы по этому ликованию можно заключить, что озарение Будды и весь буддизм — не во человецех лишь запертое законодательство, но в нем заинтересован космос. Вникнем:

Восхотел закон он проповедать,  
Жатву боли в мире осмотрел.  
Брама-Дэва, видя эти мысли  
И желая свет распространить,  
Чтобы плоть от боли отдохнула,  
Снизойдя отшельника узрел. (157)

И высший бог индуизма Брама благословляет Будду

Озарить смутительную топь!  
...Ты спаси из этих бездн других. (157)

Итак, что происходит с миром, если убрать боль? Боль есть давление плоти на плоть. Значит, надо либо раздвинуть пространства, либо уменьшить поток возникновений тел. Озарение Будды совершает и то и другое.

Повернув вспять колесо бытия — вкатив в него колесо дхармы и направив против круговорота колеса сансары,— Будда затормозил и остановил бытие, дав ему статус-кво и уничтожив движенье, касанье (а оттуда ведь боль),— и все существа как бы замерли во взвешенном состоянии динамического покоя.

Убрав в людях и существах боль и страдание — изъял искажение из мира (в боли — существу не по себе, кривится рот, катается то, чему присуще стоять) и восстановил меру и справедливость каждой твари. Тем укреплен тот космогонический закон гта, что поддерживается всеми богами «Ригведы». Суть его — отслоить небо от земли, раздвинуть и, образовав воздушное пространство меж ними, поддерживать так три мира.

А поскольку человек — между небом и землей и переплетен со всем существованием целью перерождений, а с богами —

культом, то торжество дхармы во человецех равно укреплению столпа между небом и землей. Когда человек в боли и скорби, он свивается, не прям. Скорбь — стеснение, пресс, гнет — человеку тяжело под ношей, и он того и гляди сплющится. А нужно это небу и земле? Потому воспомоществование дается человеку светом (озарением) и воздухом. Створки-скобы скорби раздвигаются, в душу — свет, грудь распахивается, человеку легче дышать, он выпрямляется.

В космическом смысле что есть скорбь? Угнетение, раковина улитки, стеснение, скованность, небо с овчинку, вновь его слитость с землей, нет воздушного пространства. Так что Будда, выпрямляя человека, делает основной космогонический акт: вновь раздвигает небо и землю, что в скорби каждый раз сходятся в яйцо.

То есть, в деятельности Будды мы усматриваем тот же основной, очевидно, для Индии космогонический акт, что всем великим богам Ригведы приписывался: Индре, Адитьям и Вишну («Три шага Вишну») — раздвинуть небо и землю, создав воздушное пространство для света. Будда — как Вишну — широко шагающий: своим озарением испускает раздвигающие небо и землю лучи.

Только Мара, темный Дэвараджа,  
В сердце сжатом чувствовал тоску. (156)

Последний он оплот плоти плотной, Мара — антираздвижение.  
А Будда направил свой путь к Бенаресу:

Царь быков глядит так взором кротким,  
Так ступает ровным шагом лев. (158)

Образы ригведийские: Будда здесь, как Индра — бык, лев.

## 15. Вращенье колеса

Зачем же шагает? То сидел, отрицал движение, — а то в путь пошел. То отрицал любовь — и к ближним, и ратовал за отъединение, — а то пошел в люди, проповедовать, спасать. Вообще в линии поведения Будды все время попятные, встречные движения — словно сам демонстрирует относительность = переносность истины — в тех ее ипостасях, в каких она разным людям открывается и в разные полосы их жизненного пути. Так и он, отрицавший любовь, становится всестрадающим Бодхисаттвой, который даже тигрице даст себя на съедение — только чтоб она, голодная, греха не соделала — не сожрала своих тигрят. Да, но теперь все существа — ему ближние. И чтоб так стало, надо было порвать избирательную любовь — к родным.

Благоговейно молчащий  
Блеском сиял лучистым,  
Свет изливал прекрасный,  
И, не сравнимый ни с кем,  
Полный достоинства шел он. (158)

Шагал он, расширяя, как Вишну, пространство света и воздуха в бытии.

Ибо сам получив в сидении озарение по вертикали, т. е. сплошной луч, прямой провод меж небом и землей,— теперь Будда-бульдозер пошел по горизонтали: прорезать этой световой плоскостью потемневший лес мира. И Христос так шагает по миру. Их цель — облегчить работу солнца, света с неба, поставив людей на световое самообслуживанье, возжегши в душах светильник прямой световой вертикальной связи души с небом, с богом, пробуждал в людях Бога=небо, свободу, легкость, воздух.

Солнцу тяжело светить в кварталах городов с узкими улочками, где даже ослу туго приходится, не то что лучу. И вот почему у людей должна явиться самосветность — в срединном мире свой источник света должен появиться. И когда Будда подходит к Бенаресу, встреченный брахман поражен сиянием и вопрошает: «Кто твой владыка?», то есть какой бог с неба возлил на него, одолжил света,— на что Будда отвечает:

«Я не имею владыки,  
Нет и почетного рода,  
Нет у меня и побед.  
Самонаученный этой  
Мудрости самой глубокой.

И далее:

Светит лампада собою,  
Самолучистым сияньем,—  
Тени в ней личного чувства  
Нет, а одна самосветность». (160)

Личное чувство при истине — есть жар при свете. Оба они — в огне, и жар оттягивает световую энергию пространства на тепловую энергию — служения телу, особи и «я», запирает огонь внутрь себя; это для себя бог — как Прометеев низведенный огонь — электричество.

Космический переворот Будды — в том, что он главное в бытии перетянул с верха (неба, богов, света солнца) — в центр, а в центре — человек: от него, а не от бога зависит отныне сохранность и праведность бытия. От него — все причины. Он — самопричина.

Ветер в пространстве свободный  
Двигается — собственной силой.  
Землю вскопаешь глубоко —  
Влаги дойдешь ключевой.  
Самопричинности в этом  
Дышит устав непреклонный. (161)

Самость на Западе ищется как самозарождение, самодвижение (regretium mobile), а здесь — как самопокой.

Встречают Будду отшельники, с которыми он шесть лет пре-

давался аскезе, но не вынес,— и гордо они от него отвернулись: он — недотепа, гадкий утенок с точки зрения старого закона — не вынес его:

И говорили, что раньше  
Он в отречение был правом,  
Но, ничего не достигши,  
Тело и мысль распустил.  
Как же, они спросили,  
Мог бы он сделаться Буддой?

«Какой же ты Царь Иудейский!» — надсмеивались над Христом в лохмотьях фарисеи и саддукеи.

Кстати, в обоих комплексах: Царь — истина (Свет, Слово). Только Гаутама исходно царь-помазанник и добывает себе Озарение («буддство») и имя «Будды», а Христос (букв. «Помазанник») исходно — безымянная Истина, Сын Божий, Логос, Слово, а добывает себе человеческое имя Иисус и царство на земле; ходит, провозгласив себя: «Христос», «Царь Иудейский», с каким словом и распят: I.N.R.I.<sup>35</sup>

Когда отшельники называют его Гаутамой, по семье, Будда просит их:

«Не называйте, прошу вас,  
Именем личным меня». (163) —

ибо нет у него отныне ни личности, «я», ни рода, ни прошлого. Он — самопроизвольное начало; нет — он вышел из зоны начал и концов и теперь — **пребывает**, как истина-естина — бытие. Он — центр. А центр, средоточие нельзя назвать ни началом, ни концом. Недаром с Буддой тотчас связуется образ Колеса дхармы, которое он привел во вращение. Демиург платонов в «Тимее» тоже вращательное движение придал миру, как наиболее совершенное, притом тоже два шара, один в другом, и раскручиваются, колеблясь, как маятник, попеременно в противоположные стороны. И у Будды: навстречу наличному колесу сансары, цепи рождений — поворачивается колесо дхармы, истины. И ликуют все существа:

В день, что отмечен средь дней,  
Осуществил Совершенный  
Тот оборот во вращеньи,  
Что никогда еще не был,—  
Ход беспримерный свершен.

Вот — как поворот времен в «Теогонии» Гесиода с воцарением Крона-Хроноса. Здесь, у Будды, **Новотолчок** — вспять, в отличие от Запада, где дискутируется вопрос о **Первотолчке**, Перводвигателе (Аристотель, Ньютон), придавшем бытию однонаправленное, прогрессивное движение к умножению.

Что это так — сравните пример, каким Будда поясняет свою мысль, с притчей Христа о зерне:

<sup>35</sup> Jesus Nazareus Rex Iudeae — Иисус Назорей — царь Иудейский (лат.).

Хочешь зерно уничтожить,  
Влаги ему не давай.  
Если земли и воды нет,  
Если причин нет согласных,  
Лист и росток не родятся. (168)

Христос в притче о зерне научает, как умножить урожай;  
Будда — как задушить плодородие и умножение.

Важно направление, в каком толкуется и используется свойство зерна умножаться: у Христа умножение — понятие положительное и применяется к идее блага; у Будды умножение чего-либо — идея отрицательная в принципе и потому прилагается им к дурному началу — «я». Поясняя отшельникам, почему не приводит к цели аскетизм, Будда указывает на раздраженный энергетический импульс «я», который придавлен, как искра, и врыт, как зерно,— но не уничтожен и готов развиваться:

«Я» как зерно, остается  
Скорби великой источник.

И далее чрез это, как у зерна, взрастет и умножится зло и желанья.

Колесо Дхармы описывается так:

То колесо — совершенно;  
Спицы суть — правда поступков;  
Ровный размах — созерцанья,  
Равный размер их длины;  
Твердо-глядящая мудрость —  
Есть на ступице насадка;  
Скромность и вдумчивость мысли  
Суть углубленья в гнезде;  
Ось вкреплена здесь надежно;  
Правая мысль есть ступица;  
То колесо в завершенья  
Правды есть полный закон.  
**Полная истина** ныне  
В мире означила путь свой.  
...Дальне-прославленный Будда  
Движет всем миром могучим,  
Миру он точный рычаг. (172) —

Ньютоно-Галилеево дело совершилось!

Означилась полная истина бытия. Узрев его всё в совокупности и взаимосвязи, Будда смог увидеть, куда дальше ведут те цели, которые преследуют аскеты на пути спасения,— а именно к ожесточению и вспыльчивости «я» угнетенного и к нагнетанию желаний:

Есть и такие, что бьются  
Против желаний — желая. (167)

Космическое назначение буддизма — восстановить понимание, что единственно достойная цель — лишь Целое (а были цели — части). Потому в новоорганизованном космосе отвергается самостоятельность любой части, стихии:

Нет ни рожденья, ни смерти,  
Старости нет, ни болезни.  
Нет ни земли и ни ветра,  
Нет ни воды, ни огня.  
Нет ни конца, ни начала,  
Нет середины, обманов  
Недостовверных учений,—  
Верная точка одна.  
Это предел окончанья,  
Тут завершенность Нирваны. (168—169)

Буддизм — распутыванье клубка бытия. Его первая из 4-х истин:

Это есть знание скорби,  
Это есть — срезать причину  
Во избежание завязок  
В сложных узлах бытия. (169)

Каждое существо, клетка есть таков узел, завязка. Буддизм, останавливая трансом волнения нитей, потоков,— как факир, дает сложному навороченному узлу без усилий распасться — и опять зыблется рассеянное бытие.

Оно утомилось воплощением — слишком тяжка, засасывающая и схватывающая оказалась эта игра, так что Бытие и забывать стало себя, став Жизнью и предавшись ее интересам и заботам. Так что потребовалось именно порождение в жизни существа, которое возлюбило бытие, естину-истину пуще жизни, чтобы прорезать путь назад и вывести, вызволить бытие из воплощения в жизнь — в его исходное состояние: рассеянного бытия — Нирваны. Таким космогоном явился Гаутама Будда: он дал опаматоваться расхोдившемуся в воплощении (в сансаре) бытию: прочистка ему нужна время от времени. И как Пушан в Ригведе надзирает за дорогами, буддизм в клубке бытия проложил пути спасения, вызволения: разным существам — разные, в зависимости от плотности и уровня просветления (множество есть участков пути, зон, средств и т. д.). По идее, каждое существо должно вывести сошедшиеся в нем, в его узле и клубке, мириады элементов из блуждания в натворенном за эры воплощения лесу жизни, должно быть спасителем дхамм, чувствовать ответственность за них и вернуть их на родину. Для того он сам выключается из рождения, потом приостанавливает все волнения, колебания частиц, замирает в трансе — и источает их в воздух, рассеивает по бытию в ходе умного созерцания (ибо оно — лучеиспускающее).

Сдвинув туман ослепленья,  
Чистый закон увидавши,  
Дэвы, а также земные  
Знали, что круг завершен. (170)

Бытие потеряло себя в воплощении — надо вернуть самосознание ему. И богам и стихиям это нужно, но зародиться вы-

зволюющее движение может лишь из центра — из человека (а не от бога и стихий). Как в него сошлось воплощение, так от него обратное рассеяние лишь и может начаться.

Правое слово — чертог мой,  
Правое дело есть сад мой,  
Правая жизнь есть беседка,  
Где я могу отдохнуть.  
Путь надлежащего средства  
В рощи такие приводит.  
Правая память — мой город,  
Правые мысли — постель.  
Ровные это дороги,  
Чтоб ускользнуть от рожденья,  
Чтобы избавиться смерти,  
Вечную боль победить. (166)

Здесь, собственно, перечислены элементы восьмеричного пути: правильное видение, правильное намерение, правильное слово, правильные поступки, правильный образ жизни, правильное старание, правильная память, правильное сосредоточение.

Но с чем сравнивает их Будда? С элементами городского жилища, чем опять подтверждается, что буддизм — мировоззрение, возникшее уже из развитой городской цивилизации.

## 16. Ученики

Из первых: Ясас, благородный, из града Кушинара. Узрев Будду, он устыдился своего пышного наряда, но Совершенный,

Внутреннюю мысль его увидев,  
Голосом напевным возвестил:  
Пусть и украшения не сняты,  
Сердце покорить способно чувства,—  
Раз на все взираешь без пристрастья,  
Внешнее не может захватить.

Тело может ведать власяницу,  
Мысли же — цепляться за мирское:  
Кто в лесу глухом мирского жаждет,  
Не подвижник он, а мирянин.

(Как я в прошлом году в палатке...)

Лик мирской являть способно тело,  
Сердцем же к высокому вноситься:  
Мирянин ли ты или отшельник,  
Все равно, коль победил себя. (174)

И в этом сказывается расчет буддизма на горожанина: хотя в отношении Жизни он направлен экстравертно из нее, в отношении города, Общества — он социален, мирск. И сам Будда не вынес подвига аскетизма, стыдно ему перед аскетами, и он теорию подводит под слабость своей плоти и городскую свою природу. Главное — снять напряжения телесные, а аскетизм — напря-

жение, преследующее дух через плоть, и тем дающий только усиленное ощущение тела, а до духа так и не добирается.

Буддизм — ловец мыслей, а не тел и душ человека (как Христос<sup>36</sup>); его цель: собрать и прочистить ум — ибо он, как ничто, невидимое и в то же время существующее, энергичное, есть представитель нирваны в воплощении, чистых энергий рассеянного бытия. Даже не душа, поскольку она индивидуальна, «я», лична, ограничена и ее зона — чувства, то есть регулятор она страданий и блаженств, хотей, привязанностей, сцеплений душ, тел, через тела, органы чувств и т. д. — всё увязает в телесности и воплощении. Ум же — не мой, мысль — ничья, безлична, чисто проносится, передается сквозь существа; но душа цепляет мысль, хочет ее запятнать, привязать.

Буддизм же борется за незапятнанную мысль, зону ума, интеллекта, ибо отсюда далее воля, энергия и проч. Потому начало восьмеричного пути — это правильный взгляд на вещи (мысль), правильные намерения, правильное слово — а потом уже, как следствие этого, — правильные поступки и образ жизни.

Аскетизм же туп, ум совсем не был предметом их заботы, а лишь душа — все на низовом жизненном уровне, для жизни и ее благ временная прочистка и панацея: старики — в аскезе, чтоб молодые могли каме предаваться, — такой тут договор и равновесие, паллиатив.

В Европе мысль, ум слишком тесно спаяны с душой и чувством; оттого говорил Экклезиаст: «...во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». И позарившись на древо познания, Ева и Адам стяжали муки и скорбь.

Буддизм настаивает и заботится об отсоединении мысли от радостей и печалей — надо ровным быть, и глубокая мысль не должна доставлять радость: в ней человек просто бытийствует по ту сторону жизни и ее измерений. Потому она — единственный путь, канал и древо, по которому человек может выйти к Нирване: потому так разработаны этапы погружения в транс, созерцание, развеществляющее все предметы, и меня, «я» свое, — и так выходят из зоны смерти-рождений.

Отсюда и буддийские чудеса с полетами, невесомостью и т. д.: их видят тоже умным зрением, мыслью, посвященные; здесь мысль к мысли апеллирует, а не к органам чувств. Вот Будда просит новообращенного Касиапу явить свои сокровища.

Тотчас же в присутствии собранья,  
Тело погружая в бестелесность  
И в восторг молельный повергаясь,  
Он в пространство вышнее взошел.

Там себя пред взорами явил он,  
Ходя, стоя, сидя, засыпая,  
Пар огнистый испуская телом,  
Справа, слева пламень был с водой, —

<sup>36</sup> Ред.: ...или дьявол.

Тело же его не обжигалось,  
Тело же его не увлажнялось,—  
Тучу дождевую испустил он,  
Грянул гром, и молния зажглась,  
И Земля и Небо содрогались... и т. д. (180)

Но ведь это же все проносимо в нашей мысли: идея о невесомости, замысел летать и испарять, и свет испускать. И все это свершено уже — умом, техникой. Так что парение буддиста, созданное его мыслью, которое видят другие тоже мыслью,— это же как диспут ученых-физиков, где идеи, проекты, гипотезы одним выдвигаются, умопостигаемые лишь, не вещественные, другими понимаются, потом инженерами в плоть самолетов, паровоза и электричества осуществляются — и в целом прогрессе человечества и индустрии все это чудо реально и есть.

Но ведь мысль буддийская, целя зреть вне времени и не данный им в то время и там (здесь и теперь) опыт, но прозревая сразу целое бытие, мира,— почему ж бы им не зреть и невесомость, и искусственные грозы, и ходьбу, сидение, сон на воздухе (разве нет этого в реактивном самолете?).

Буддизм таким образом вполне впрягаем в естествознание и технику и, сосредоточивая способности человека в мысль,— все это и стимулирует. А его замысел — развоплощения — разве не делает это труд и техника: высвобождает элементы из связанного естественной жизнью природы состояния — и выпускает энергии, потоки дхамм, частиц; а возможным атомным взрывом Земли — все узлы распутает и погрузит все в рассеянное бытие, сплошную Нирвану?

Потому, кстати, так и популярен стал буддизм как мировоззрение ученых, естествоиспытателей как раз в XX веке, когда формы, материю и атомы заменили истечение частиц, пучки лучей, волн — сии кучи (скандхи) элементов и потоки дхамм.

В обращении Касиапы Будда как бы привораживает стихии природы, и прежде всего огонь, на службу человеку, для праведного космотворчества.

Риши Касиапа в огненной пещере

Совершил там жертвоприношение,  
В пламенном том гроте злой жил Нага, (175)

Когда Будда попросился к Касиапе на ночлег, тот сказал, что ничего нет, кроме этой огненной пещеры со змеем; но Будда воссел там в глубоком размышлении.

Увидавши Будду, злой тот Нага  
Изрыгнул свирепый яд огнистый  
И наполнил грот горячим паром,  
Но коснуться Будды пар не мог.  
Он сидел там неприкосновенный,  
А огонь перегорел в пещере,—  
Так до Неба Брами пламень вьется,  
Брама же сидит невозмутим.  
Злой тот Нага, увидавши Будду,

Видя лик, сияющий покоем,  
Прекратил отравленные вихри,  
Сердцем стих и преклонил главу.  
...А Будда, покоривши  
Злого Нагу, сделал Нагу кротким,  
В нищенскую чашу положил (176) —

как солнце в лампочку на столе. Просто Будда здесь — Франклин: приручение молнии и подземного огня осуществляет.

До сих пор огонь был из стихий главным антиподом Будды. Но ведь и огонь должен быть спасен, выведены заключенные в него дхаммы — в нирвану. Потому Будда приходит к совершенному ведийскому огнепоклоннику, жрецу Агни, Касиапе, который так о себе рассказывает по обращению:

Огненного духа почитая,  
Выгоду я извлекал такую:  
В колесе был жизни непрерывно,  
Ведая смерть, рождение, боль, недуг,  
Потому служенье это бросил.  
Я в огнепоклонстве был усердным,  
Я искал конца пяти желаний,  
И в ответ — желаний был возврат.  
...Я был сведущ в самоогорченьи,  
Способ мой считался наилучшим,  
Мудрости же высшей был я чуждым. (179)

Будда в этой пещере с огненным змеем — цивилизатор: совершает космогонический акт — как Индра демона Вригру побеждает, так и он змея огненного Нагу; как алхимик, в тигле пещеры опыт по превращению вещества в стихию делающий: из польмя полыхающего добыл портативную, в чаше переносимую энергию = аккумулятор; а в электричестве огонь уже не огонь (стихия, форма, вещество, пāṭa—gūra), — но поток элементов, дхамм, электронов: познан и высвобожден. Индустриален Будда — разрывает землю, самость ее вещества уничтожая, добывает ископаемые, добывает огонь — химией разлагает на дхаммы = элементы Менделеева.

Накопленный в земле за прежние времена, рожденья и слои уголь есть накопление кармы, и как он загорается от искры, так и ученик Будды Ясас сразу понял ученье:

Силой благодетельного корня,  
Что в других рожденьях накопился,  
Быстро получил он просветленье,  
Тайный свет познания в нем светил.

Готов он уже был, созрел, очищена его субстанция.

Он уразумел — Закон услыша:  
Так мгновенно шелк меняет краски.  
Самоозаренье засветилось. (173)

Индия — страна самоцветных камней, так и существа здесь — самосветы, священны (от слова «свет»: недаром нельзя там уби-

вать ни корову, ни обезьяну, а вообще-то и жучка водяного тоже). То, что накопление светоносной кармы в Ясасе уподобляется корню, наталкивает на предположение, что параллельно цепи животных перевоплощений у существа растет его единый дублер и сопроводитель — но уже в виде растения, дерева. Действительно, если сансара — кругова, колесо (живот), то карма видится однолинейною (прямая — растение).

Вот ведь как, прибегая к растению, рисует Будда последовательность, в какой выстраивается мир и наше познание, гносеология — как космогония:

Шесть есть чувств, и шесть предметов чувства,  
...Чувства и предметы чувства, с знаньем,  
Единаясь, родят прикосновенья.  
Меж собой они переплетаясь,  
Сеть воспоминания родят.  
Как стекло и трут чрез силу Солнца  
Возжигают огненное пламя,

(индустриально-технический образ)

Так, чрез чувства и предмет, есть знанье,  
А чрез знанье есть Владыка сам;  
Стебель есть из семени стремленье,  
Семя есть не то же, что есть стебель,  
Не одно и все же не другое. (183)

Вот растение служит как образом кармы, так и моделью буддийской диалектике (как, впрочем, и Гегелю для его триады: зерно-тезис, стебель-антитезис, колос-синтез). Кстати, здесь образец буддийской логики и определения через нагнетание «не».

«Учение Будды таково: все — истина; все — не истина; все — истина и не истина; все — не истина и не неистина»<sup>37</sup>.

## 17. Свита

Здесь рассказывается, как образовалась при Будде первая община — сангха. Будда остановился в бамбуковой роще, в саду, что ему подарил Бимбисара Раджа (ср. Гефсиманский сад Христа: мир растений роднее, ближе к святости). Новообращенные проходят, отличаясь «достоинством и мягкостью движений»: округлы они, в мире новая плоть образовалась (будды — к кругу и шару тяготеют, к этой технике: недаром на стопе новорожденного был означен образ колеса).

Тройной в руках у них явился посох

(Образ пути и трех стадий: шила, дхьяна, праджня?)

Сосуд с водой пред ними появился,

(И в христианстве крещение = водой; язычники ж — огнем, как и ведизм — чрез Агни всё.)

<sup>37</sup> Цит. по: Мяль Л. Нулевой путь, с. 189.

Мгновенно каждый принял постриженье,

(= новое тело: без волос—веревок, связей, вожжей)

Их лик был словом Будды изменен.

...Простертые пред Буддою упали,

И, вставши, сели около него. (187)

(Умерли и вновь родились в новой плоти и сели одесную отца.)

Третий был Агнидатта (=Огнедар — недаром: всё огонь надо Будде приручить). Он — «Многоведец», как огонь — Джатаведас=«знаток существ».

Соотношениям доверяясь внешним,

В уме взметаешь призрачные мысли,

Но мыслью эти тучи разгоняешь —

**Болотный огонек бежит ее.**

Ища освобожденья, погасил он

Неверное хотение, стремленье,

Но сердце беспокойное дрожало,

**Как в ветре гладь воды приемлет рябь.** (188)

Все превзошел он уже в прежних рождениях, даже «я» преодолел, но дальше не пошел.

Теперь заполнилась пустота и мрак.

Он отстранил три жгучие отравы,

Неведенье, хотение и злобу,

Три восприял сокровища в замену,

То — Община, и Будда, и Закон. (189)

Он явственно увидел пред собою

Конец того, что было бесконечно,

И десять разных **точек** совершенства,

Разочаровавши тьму, он сосчитал. (188)

Буддизм и против формы, но и против беспредельности, дурной бесконечности (которая — пафос индуизма) — ищет конца, точки. (Запада мысль отыскивает начало бытия, первотолчок, исток движения.)

Опять здесь образ подрезания стебля есть:

И стебель срежь — цвет лотоса с ним срезан,

Так стебель скорби словом Будды срезан. (186)

Всё укорачивает бытие: умалить его, подрезать, сократить. Видимо, такова потребность пышно-тропической Индии и множеств ее существ.

А домогание до покоя — тоже от жары. В холоде Руси иль Германии радостны дорога, движенье — согревающие; жизнь — бьющая через край.

## 18. Щедрый

Щедрый раздаёт — не чтоб получить сторицею, не для славы — то есть без обратной связи и замыкания на «я»: тогда все коль-

ю — на укрепление «я» и щедрота возвратна. Здесь же сама задача — благо, как освобождение от жиров, облегчение, развязывание себя от пут и хотей.

Если кладовая загорелась,  
То, что ускользнуло от огня,  
Мудрый отдает другим охотно,  
Не держась за шаткое добро. (197)

Щедрость — расточительство вещества, рассеяние твердых атомов воплощений; разгоняя их на своем синхрофазотроне, щедрость способствует возврату дхарм из воплощения в рассеянное бытие, их спасению. Щедрость — центрифуга развоплощения, что выводит дхармы из плена.

Вот такой есть воин и рыцарь Будды:  
Человек способный быть щедротным —  
Сильный и способный есть боец.

(= Воин отдачи, а не присвоения.)

...В имени его широкий свет.  
...В смертный час он полон тишины.

(Вот космос щедрого: свет, широта, тишина.)

Демоном не может он родиться,  
Призраком не будет он бродить.  
Из щедрот — цветок произрастает. (197)

Ну да: разбросал он все излишки вещества, вокруг него уплотнившиеся (богатства, атомы, золото), да еще последнюю рубашку с себя снял, — ясно, что до минимума свел плоть свою и ее связи, так что эстафета рождений передает его уже не в миры тяжелых, а в миры легких существ со световоздушной плотью.

Любящий и щедрый, отдавая,  
Что имеет, гонит тени прочь,  
Устраняет жадное желанье,  
Копит мудрость зрячую в душе. (198)

Отбрасывая от себя во все стороны атомы плотного вещества вещей, центрифуга щедрого, по закону противодействия, накапливает в центре, в сердце чистые силы — бестелесную энергию мудрости.

Щедрый человек нашел дорогу,  
Чтоб достичь конечного пути;  
Кто взрастит растение, тень имеет. (198)

Вот: нужна-то лишь тень, а не сама плоть дерева и плодов по себе, так что раздавая, отдавая, создавая нечто в творчестве, которое есть — самоотдача, я вещь, произведение, даже город, завод из себя выбрасываю, и дорого оно мне по пустоте, что во

мне оставляет,— по облегчению и освобожденности — то есть по тени<sup>38</sup> своей.

И Нирвана щедрому дана.

(Ибо освободил тару от затовариванья — и ему дана срединная легкость, энергическая пустота, вакуум).

Отдавая платье — мы красивей,  
Разлучаясь с пищей — мы сильней.  
...И дают не все красиво — щедро:  
Так дают, чтоб радости найти,  
И дают, чтоб получить сторицей,  
И дают, чтоб славу приобрести,  
И дают, чтоб счастье ведать в Небе,—  
Но, давая, ты даешь не так:  
Истинная щедрость вне расчетов,  
Ты, давая, просто лишь даешь. (198)

То есть действие без цели — оно тогда совершается. Оно лишь тогда таково, когда я уже пребываю в Целом. И обратно: как только я начинаю делать благо без цели, расточать его, я тем самым уже ввергаю себя в целое, на уровень совершенного бытия поднимаюсь — этим реактивным актом: незаинтересованного действия.

Что задумал, делай это быстро!  
Бродит сердце, если ждет чего,  
Но когда глаза открыты благу,  
Сердце возвращается домой. (198)

То есть, чтоб не бродил центр — точка — сердце: установить центр — в этом космогоническая забота буддизма.

Нирвана поэтому антипод движению — туда-сюда и его отцу — ветру. Будда Щедрому так говорит:

От меня, как дар, прими Нирвану,  
Щедрый дар Безветрия души. (191)

Стоячее воздушное пространство. Ветер — посланец извне воздуха: толчки от неба—земли, жизни—смерти.

Среди четырех великих элементов («махабхута» — земля, вода, огонь и ветер), сообщает О. О. Розенберг, «...особое место занимает „ветер“, он имеет двойное значение: во-первых, ветер есть носитель—субстрат осязаемых элементов: „тяжело“ и „легко“, во-вторых, он является субстратом явления „движение“. Так как дары рождаются только на момент, они не в состоянии передвигаться, на опыте же движение наблюдается; нужно по-

<sup>38</sup> Образ тени — важный в буддизме: например, поясняет понятие одиннадцатой рупа — **авиджняпти** — не обнаружимого элемента, но обусловленного материальными качествами. «Косвенная зависимость авиджняпти иллюстрируется аллегорией тени дерева. Мы говорим: „Тень движется“, хотя на самом деле тень не имеет самостоятельного движения: движется не тень, а ветви дерева, которое дало тень» (Розенберг О. О. Проблемы буддийской философии. Пг., 1918, с. 168).

этому допустить, что дарма, проявившаяся в один момент здесь, в следующий момент проявляется в другом месте... Проблема движения и значения „ветра“ более подробно разбирается в „Абидармакоше“ в связи со спором о том, что такое карма, является ли карма только „организованностью“ или „формой“, в которой расположены дармы данного потока сознания, или же „движением“.

Разумеется, что дармы — сущности сами по себе не могут двигаться. О каком-либо промежутке между исчезновением одного момента и рождением следующего говорить нельзя. Чем же объяснить фактически наблюдаемое движение? Этот факт перемены места или точки проявления в чередующихся моментах называется „ветром“, или объясняется действием ветра.

Привожу следующий отрывок из китайского комментария Фу-гуана (1а, 21а, 1—3): „Дармы“, подверженные быванию („санскрита—дармы“), мгновенны, они не могут переходить на другое место; если же мы говорим, что континуум перешел на другое место, то мы это говорим в том смысле, что континуум, передвигаюсь, дошел до другого места. Про движение туда и сюда чувственных дарм („рупа“) говорят только благодаря „ветру“: не будь „ветра“, не было бы и передвижения. Цитатами из шастр и сутр можно доказать, что „ветер“ имеет в качестве специфического характера движение. Что же касается „легкости“, то она есть всего только осязаемо-объективное, „обусловленное“, т. е. зависящее от 4 великих элементов; сама по себе она не есть великий элемент. Слово „легкость“ употребляется для обозначения „ветра“, так как сущность ветра „похожа“ на его признак, „легкость“. То обстоятельство, что ветер, который, как реальность, есть движение, называется легкостью, вызвано тем, что его сущность — т. е. движение — „субтильна“ и трудно познаваема; поэтому пользуются его эмпирическим признаком („лакшана“), т. е. „легкостью“, для того, чтобы обозначить его сущность, которая есть движение (т. е. доэмпирическое перемещение дарм)»<sup>39</sup>.

Итак, Нирвана — Безветрие.

А стоячесть — не есть загнивание? Или она стерильность, так как не впускается извне ничто? Но ведь как раз жизнь есть сплошное гниение: гниет лист — перегной, удобрение (гниль = добро), картошка, пища, дерьмо — опять удобрение. И это — благодаря кругообороту, производимому движением — ветром, что высвобождает место от одной гнили для другой: очищение, им дающееся (а в Бхагавадгите ветер назван среди очистителей), временно. Кстати, среди четырех великих элементов назван в буддизме не воздух, а ветер. И это, видимо, не случайно.

Ветер, как абсолютно отрицательное начало в космогонии буддизма, соответственно окрашивает и три других элемента: землю, воду и огонь. Напротив, получается, что воздух — един-

<sup>39</sup> Розенберг О. О. Проблемы буддийской философии, с. 164—166.

ственная положительная стихия, принимаемая Нирваной,— чистое движение, световоздух. В компании ж «чарвака» — материализма, исповедующего четыре материальных элемента, образующих состав существования, ему не место, и его здесь замечает его сансарная ипостась — ветер.

Щедрый, наставившись в новом Законе,  
Осушил он море жизни-смерти,  
И осталась капля лишь одна  
В стороне от общества людского,  
Погашая вспышки всех страстей,  
Он достиг безличных состояний. (192—193)

Освободить надо мир от огня, воды; приемлется земля (гора, скала, остров) — но не подвижная, в стерильном воздухе: когда не тяготеет, не желает другого. А связанные бытия — вода, огонь и ветер — они приводят и землю к грехопадению (внося гниль, брожение, рождение), и воздух: пар в него и чад внося. Но главная первостихия — воздух. Будда здесь как Анаксимен.

Мы — нагромождение осадков,  
Мы — переплетение семян.

И выше:

Видя это вечное томленье,  
Мы должны стремиться к тишине,  
Слитны быть в одном великом сердце. (192)

Опять — в центр: не рыпаться, свиться в гнездо, как дети, и замереть. И Будда — младенец головастый, норовит все существа назад в младенцев, в головастики, в куколку сонную превратить — чтоб не вылуплялись.

## 19. Свидание

Вот зрелище попятности: Будда посещает родной город Капилавасту, и там отец-царь встает на колени перед сыном. Действительно, яйца кур учат, и стали первые последними, и будьте как дети, и устами младенца глаголет истина. Как царевич в юности создал энергетический импульс, забжевав вперед времени и сроков в отшельничество, так набрал энергии для раскручивания колеса дхармы назад, навстречу колесу сансары. И вот они столкнулись: именно этот смысл имеет свидание сына с отцом в родительском городе. Ведь именно любовь, семья — освятители сансары, удерживают нас в коловращении бытия. Именно за слезинку младенца демагогический Иван Карамазов свой билетик в царство Божие возвращает (демагогический бес он, ибо нет в нем любви к этому младенцу, да и ни к кому, а словесность одна, словцо красное. Просто бес он, и до Бога допустить не

хочет — любыми средствами, и прежде всего спекулируя на гуманности, на «человеческом, слишком человеческом»).

И вот сидят друг напротив друга Будда, ныне великий Риши, и робеющий отец, который понимает, что ничего то не значит, что Будда — сын ему. Он, сын его, стал отцом человечеству всему, в том числе и ему, отцу его по плоти.

Кстати, Христос — Сын человеческий, Будда — всеотец человеческий. Разница: образ сына растравляет любовь и семейно-родные, литотно-умилительные чувства в людях. Образ отца — строже, меньше эмоций возбуждает. Да и не отец Будда. На то и проделано в этой сцене спутыванье измерений «отец», «сын», чтобы вывести наше сознание из этого уровня и его отношений. Будда — и не отец вовсе, и не сын, а просто — Будда=Озаренный, светоносный, и это в нем главное, и тушуются в его свете кровнородственные притязания и чувства. Вот глядят друг на друга два колеса: благочестивейшей сансары, но все ж сансары — в лице отца,— и бесстрастной дхармы — в лице Будды:

Сын его, меж тем, приблизясь,  
Сел, молчанье храня,  
В совершенство облеченный,  
Не меняясь в лице.  
Так мгновенья истекали,  
И один перед другим,  
Хоронили чувство оба,  
И с тоской подумал царь:  
«...Сердце ждавшее — пустыня,  
Был родник — и где родник?  
Пред иссохшим руслом я». (203)

Отец все в понятиях Вед: воду просит, в воде видит благо. Будда ж, видя мысли отца, сказал:

Знаю царское я сердце,  
И любовь, и память в нем,  
Но да будут узы сердца  
Вмиг разъяты у него:  
Пусть не думает о сыне,  
Прибавляя к скорби скорбь.  
... Я молитвенную пищу  
Моему принес отцу.  
Царь, прими: такого яства  
Сын отцу не приносил.  
Путь росистый указую,  
**Это нежная роса,**  
Этот путь ведет к бессмертью  
Чрез рожденья и дела. (205)

Итак, роса вместо родника, источника, ручья (образы ожидания отца). Роса — не вода; она тоже — влага, но не связанная, есть одиночная капля, каждая как средоточие, а не вовлеченная в касание с другими каплями и через то — в зацепления, хоти и движение.

И роса — светова, утрення.

И роса — исчезновенна, временна: высохнет.

Так что она — временное пособие, поскольку на промежуточном пути не можешь без влаги обойтись. Однако торопись: недолга роса, привыкай к климату чистого воздуха, не влажного и не огненного — перестраивай свое существо и элементы в нем, всю конституцию, чтобы в рассеянном бытии существовать смог.

Роса — образ той же переходной между стихиями природы, как тут же: «пена» и «накипь».

Так! Три мира только пена.  
Накипь в море в час грозы. (206)

Это все ложные субстанции, не чистые: пена — не вода, не воздух; накипь — не вода, не земля.

Нирвана же — как четвертое измерение бытия, где чистые суги пребывают; Будда говорит отцу: ты уж был в трех мирах (это как три измерения), в том числе и на Небе, Дэвой, так что нечего тебе желать блаженства богов:

«Все же не желай восторгов Неба,  
Их искать — великое есть зло,  
Ибо в возрастании хотенья,  
Как полутный призрак, скорбь растет». (191)

Небо — высь. А Будда — центр, воздушное пространство; все — при нас, здесь. Потому и к Богу нечего стремиться и любить его.

Так к четвертому рождению  
Приготовься делом ты. (206)

Выйдя в Нирвану, ускользаем из телесно-объемных измерений бытия, то есть из рождения-смерти, плоти, вещества.

Мы живем среди восторгов  
Как с отравною змеей.  
Мудрый видит мир горящим. (206)

Змей — синтетический образ. Мир чувств, зацепляний, вожделений, протянутых рук: змея (дракон) — образ (по)хоти. И огонь змеится. Так что змей — универсальное существо сансары, ее суть: в нем извивы волн(ений) — как вода, ручей и поток воплощенный, ползет; он земля — но не твердая скала, а вся желеобразная, водянистая, текучая плазма — земля, водой стать хотящая. В змее нет, откуда его ни возьми, чистой субстанции: он весь переходен, на гранях земли, воды, огня, и оттого — чистое движение (недаром ветер-вихрь — другой образ движения — постоянно представляют драконом летящим), изменчивость, измена, предательство: он — сводник, связной (как в Библии), оттягивающий существа со своего места и своей дхармы — на чужое, соблазном лишает устойчивости, самостоятельности, и в итоге Адам и Ева данное им теряют, а познания-мудрости не добывают, но оказываются в вечно жалящей переходности.

(Ибо что это за знание они добыли, укусив яблоко? Что наги — и тут же на сцепление потянулись. Познания-то добра и зла, мудрости они же не добились. Напротив, ее добыча теперь будет по крупицам — среди мук сансары: трудов в поте лица своего и рождений.)

Потому змей цепенит: взгляд на него лишает нас способности двигаться самим, ибо он сам — бог движения, воплощенное движение, так что, даже недвижим оставаясь и лишь глядя, всю из нас подвижность мгновенно перетягивает телепатически через пространство, и мы — стоим как столбы, сваи, стволы, в землю вросшие.

Змей, как животное *par excellence*, — тут же и животность с нас снимает (способность самодвигаться) и превращает в дерево, растение.

Змей — химера из всех стихий: абсолютное ни то ни се, ненадежность, неустойчивость. И потому лицом к лицу с ним теряемся, голова ходуном: на чем мы, где? Нет ни земли ни воды, ни верха ни низа, ни конца ни начала: у змеи хвост — как голова, и к тому же еще змея свой хвост кусает.

Утрата всех критериев, устоев, понятий, основ — вышиблена парадигма мира из нас, модель бытия, и мы в совершенной растерянности. А что зона Будды центральная — воздух, видно из чудес, что он отцу являет:

И чтоб дух его подвигнуть,  
И жалея весь народ,—

(Т. е. снисходя до уровня профанического сознания.)

Он явил свою чудесность,  
В средний воздух был взнесен,  
И рукой Луны касаясь,  
И до Солнца досягал.  
И ходил он по пространству,  
Изменял различно лик,  
Разделял на части тело,

(Воздух рассеянного бытия меж атомами впуская.)

Вновь его соединял.  
Шел по водам, как по суше,  
Был в земле он, как в воде,  
И сквозь каменные стены  
Без помехи проходил

(Так же как мысль или понятия: «тяжесть», «форма» суть представление, фантазия, что за стеной может крыться.)

Справа, слева, он из бока

(Опять бок — из бока ведь Майи он исшел, родившись.)

Огонь и воду изводил (204)

(как тягой: воздух-ваккум, в том и сила его).

Что зона Будды — центр, видно и из его изображений в искусстве: будды ставятся в нишах, а не на верху здания, храма — т. е. как центр, а не верх мира.

Община же когда образуется,—

К верной общине пристали,  
Чтоб обнять Закон сполна (203)

Община — это «встаньте, дети, встаньте в круг», чтоб обнять центр, пустоту, нуль, шуньяту.

И царь-отец снимает все претензии к сыну:

Стал сосуд он совершенный,  
Чтоб принять в себя Закон,  
И, сложив свои ладони,  
Восхваленье произнес. (207)

Что значит этот жест? Это значит: руки, ладони, сии лопасти, орудие захвата, образ нашей самонедостаточности и жажды — прикрыл, отрекся от жадности, всякого бранья, стал целостен; два — в одно, две недостащи-половинки свел в целое, из полостей впадин — шаровидную выпуклую, преизобильную фигуру образовал.

А именно так объяснял отцу Будда Нирвану:

В месте том, где хочет мудрый  
Дом свой верный основать,  
Нет оружия, нет орудий

(для захвата внешнего мира и освоения, понятия: Begriff = прибрание к рукам, по немецкой логике).

Победив свое желанье,  
Все ты в жизни победил. (206—207)

Принцип — тоже противоположный немецкой Воле к жизни и принципу Tat, деятельности.

И когда Будда рисует идеал Нирваны:

Силой должного старанья  
Слово с телом укроти,  
День и ночь не в смуте будут,  
А в молчании ума.  
Только в этом смысле конечный,  
Правды жизни — нет иной (208),—

нам тут же припоминается исповедание смысла жизни из «Фауста» Гёте:

Ясен предо мной  
Конечный вывод мудрости земной:  
Лишь тот достоин жизни и свободы,  
Кто каждый день идет за них на бой<sup>40</sup>.

Борьба — смысл жизни. И недаром против жеста складыванья ладоней выдвигается Фауст — Faust, по-немецки — «кулак». Кулак тоже — целое, шар, сфера: убрана, вобрана, скрыта

<sup>40</sup> Пер. Н. А. Холодковского.

просительная полость ладони. Но здесь шар из самообразования, из одной руки, из индивида, есть его настаивание и утверждение в бытии, его свобода рук и пробивная нацеленность. При сложении же ладоней обе руки обвязываются, несвободны, это жест отказа от вторжения в мир — такой текст в сем жесте прочитывается. Кулак — динамичен даже, когда он не ударяет: заряд, квант энергии в нем. И выпад руки при немецком приветствии «Heil!» есть врезанье в бытие, кинжальный по нему огонь. Сложенные ладони: на, бери меня, вяжи за обе руки — как путы на сведенные передние конечности лошади. Это уничтожение переда, ликвидация груди открытой, как приманки бытия, ему, солнцу и ветру навстречу с вызовом обращенной.

Глядя на сына, царь думает:

Мог бы женское он сердце  
Красотою услаждать!  
Мог бы яркою короной  
Возноситься над толпой!  
Красота мужская скрыта,  
Сердце ведает узду.

Вот источник сверхсилы: обузданный фалл. Кулак, Фауст — есть фалл на стол<sup>41</sup> (недаром и жест неприличный, фалл обозначаящий, делается, проводя от локтя к кулаку), открытый, вызывающий.

Именно Эросом плененным светится сверхсильный Будда: отсюда флюиды.

Муже-женские символы у буддийского монаха отчуждены — в посох и чашу. **Посох** = экстравертный фалл, **чаша** = отчужденное влагалище, опредмеченный и навек раскрытый рот.

## 20. Обитель

25.VI.68. У Будды — индивидуальный подход: Закон обретает разную ипостась в зависимости от человека, его состава и его проблем.

Знал Будда все, что было в сердце  
У Прасэнаджиты, и знал он,  
Что два препятствия мешают  
Ему всю правду воспринять —  
Чрезмерная до денег жажда  
И жажда внешних развлечений. (214)

Что се есть? Как жажда — оттягиванье во вне? Чем? Деньги — золото, заземленное солнце, разбитое на атомы: привязанность к множеству тел, вместо единого света. Р а з в л е ч е н и я — напротив, рассеивают имеющуюся крепь души, ее твердь овоздушнивают, облегчают: на ветер себя разбросать и те же деньги — золотые атомы. Так и может, благодаря такому кругообороту,

<sup>41</sup> Ср. команда в игре: «руки на стол!» и французское выражение *les couilles sur la table*, что значит тоже «откровенно», «руки на стол»...

существовать человек: жадность расточительностью исходит и вакуум для новой жадности образует. Жестко замкнут атом человека в такой орбите. Чтоб его с нее сорвать, такому человеку надо явить модель бытия не как круг, а как цепь поступательно наращавающейся кармы.

Деянья добрые и злые  
За нами следуют, как тень. (214)

Тень — слой, слепок, уплотняет плоть — не мою, но кармы моей.

Что сделал — сделал. Путь намечен,  
И след идет по всей дороге. (216)

Путь, дорога, след — вот эту прямолинейную необратимость подчеркивает он круговоротному. Свой след — свой хвост; своя карма = *causa sui*, самопричина — никто другой не виноват (Бог, творец и т. д.), кроме тебя самого. Сам трамбуешь членистый вырост из своих деяний и мыслей, на кончике которого, как головка червя, — находишься вот ты в настоящий момент. Так что и предопределен ты, и свободен — проблема эта не трудна в буддизме (в отличие от христианства, католицизма), так как предопределен я не Богом — творцом, сверхсилой, — но деяниями, натворенными моим же составом в прежних существованиях; оттого и исправимо дело, ибо от меня же зависит, от моего усилия.

Отбросить лживые ученья,  
Идти во всем прямой дорогой,  
И возноситься лишь собою,  
А не вставая на других. (215)

Вот принцип накопления силы: не через отталкиванье, толчок внешний от другого атома, но через уплотнение своего атома — кармы и взрыв, реактивно.

Но главное направление усилий по пути спасения — это средоточье и покой, а не движение вперед или куда-либо вовне.

Без средоточья — нет покоя. (217)

Покой — центр: во вращающемся теле лишь центр в покое пребывает. Движение ж — то притяжение вовне: вниз, ввысь, вбок. Вся наука Запада занимается движением (Галилей, Ньютон, Эйнштейн), и даже покой взорвали, истолковав его как инерционное движение, относительный покой. Мысль Индии изучает покой, замирание и его достижение.

Хотя б родился в бестелесном,  
От перемен не убежать.  
И потому-то так желает  
Беспеременного он тела:  
Где перемена не меняет  
Невозмутимый там покой<sup>42</sup>. (217)

---

<sup>42</sup> Индийская (в жарком космосе) дилемма: «Что к покою иль к несчастью» (с. 226). В студеной России «покойник» — мертвый: покой и есть несчастье, смерть. Пушкинское ж «На свете счастья нет, но есть покой и воля»

Но что значит достичь покоя? — Это парализовать накопленное движение, пожрать свою карму, выесть ее до дна, рассеять, опрозрачить, свести отрезок к точке, а точку — в нуль, «шунья» — тогда-то и достигнуто будет развоплощение и возврат в рассеянное бытие.

В космогоническом плане такой взрыв твердого вещества кармы:

Мы замкнуты в горе скалистой,  
Лишь благостью пробьешь тропу (216) —

напоминает основной космогонический миф Ригведы о том, как Индра с Ангирасами — певцами и богом молитв Брахманаспати рассекли скалу Вала, где демоны Пани упрятали коров (= свет, молоко и плодородие), и, рассекая молнией скалу, извлекли отсюда свет и воздух и образовали воздушное пространство. Здесь гипотеза возникновения Вселенной путем взрыва первичного атома (твердь скалы): раздвинули створки бытия (Небо и Землю образовали), разбили первичное яйцо (скалу-атом), а там — желток=солнышко и вода=воздух=белок: ведь воздушное пространство с облаками, откуда космические воды,— это ж белок; и свет (в отличие от солнца) бел и рыхл и влажен (особенно в тропиках-то).

Рождение, старость и болезни  
Нас стерегут, не выпуская (216),—

то нажим, пресс, скорбь, гнет, притеснение, давление=демоны Пани стерегут в темнице скалы (=плоти) уловленный свет и воздух.

Итак, возникновение различного космоса=образование воздушного пространства меж твердями неба и земли и население его четырьмя стихиями и существами. Космогоническая же задача буддизма — эту центральную в бытии зону световоздуха распространить повсюду и растопить в нем все стихии и предметы и твари.

Вот как конец мира представляется:

Круговорот времен — **пожаром**  
Растопит **скалы** Златогорья,  
Растает вся **гора** Сумеру,  
Иссохнет **Океан** до дна. (216)

И ничего о воздухе. Значит, все стихии пройдут: огонь, земля, вода,— один воздух останется.

Интересно, что Тютчев, сын русской матери-сырой земли, в «Последнем катаклизме» в конце оставил воды и божий лик, т. е. чистый свет, изображенный в них.

---

вполне годится как сжатое изложение ядра буддизма, его «четырех благородных истин». «На свете счастья нет»=«есть страдание»(первая истина). Сама структура выражения «счастья нет, но есть ...» означает, что страдание взято по уздцы и в полон мыслью, что есть и найдена причина страдания (=вторая истина), так что, если устранить причину, зло и страдания прекратятся (=третья истина). «Есть покой и воля» — в этом суть благородного восьмеричного пути (=четвертая истина) и Нирваны.— 28.XII.75.

Будда = озаренный оставляет воздух и свет.

Так что же наш неверный облик,  
Тень человека, что бледнеет?  
Пузырь, на миг огнем горящий,  
Через мгновенье — нет его.  
Сосуд обмана наше тело,  
Неверный знак мечты бродячей. (216)

Я — воздух стесненный среди других стихий, есмь пузырь, сосуд, тень [тень тоже из оперы световоздуха, только это есть воздух, через который проходит отсутствие света: тень = воздух + (—свет)]. А если отринуть другие стихии, то **все** — воздух, а не пузырь; чистая суть, а не знак (оформленный пузырь содержания) пребудет.

Через страданья долгой ночи  
Приходит к нам мгновенно Смерть. (216)

Итак, Смерть — за пузырем = душой в створках тела — приходит: лишь над воздухом как пузырем, над «я» — властна.

А вот картина истинного бытия, нирваны, — как антиводы (вообще об Абсолютном, по Нагарджуне, нельзя сказать что-либо, приписать какой-либо атрибут: можно лишь через отнятие атрибутов сансары его характеризовать):

Порой отшельник погибает,  
Порою мирянин спасется,  
Захвачен омут маловерья,  
Исходишь с верой из пучин.  
Прилив хотенья прочь уносит,  
Кто в вожделеньи — вне спасенья,  
Свет мудрости — челнок послушный,  
И размышление есть руль.  
Молеельность мысли завершенной —  
Призывный рокот барабана.

(звук чрез воздух — положительное: на тишине в Индии не настаивают)

Плотину мысли строй упорно,  
Бессилен будет всякий вал. (218)

И что зона Будды — центр, в том сказывается, что он вознесся чрез воздух на небо, чтоб поведать матери покойной — Майе — Новый Закон (в христианстве Богородица нисходит в ад грешников утолить), обращает в буддизм богов — три месяца там пребывал, где тридцать три сияют бога. Но потом

По лестнице семи сокровищ,  
По семицветной шел он книзу. (219)

Числа эти: 3, 7 — свяшенно ведийские, природно космогонические; в буддизме числа: 4, 6, 8 — трудово-цивилизаторские.

Итак, Будда проповедовал на Небе. В Христианстве Европы это невозможно: именно Небо — Царствие небесное, высь, — есть предел истины. А здесь Небо — Майя, иллюзия. И если Христос, свершив свои космотворческие дела, возносится на не-

бо, то Будда, обратив богов Неба в Новый Закон, спускается в срединную зону — световоздуха, на поверхность земли, меж небом и землей.

## 21. Пьяный слон

Будда продолжает приобщать разные твари к Новому Закону: царь, демон, бес, брамачарин, Нага-змей, Лев и т. д. Всех склоняет к центру мира, воздуху, из разных зон существования. И дерево недаром символ Будды: это житель срединного воздушного пространства по преимуществу. Перед новообращенными что открывается?

Царь страны Закон воспринял,  
Перед ним **врата** раскрылись,  
Путь, обрызганный **росой**. (21)

Опять створки скалы Вала — т. е. в микромасштабе с каждым совершается мировой космогонический акт: расщепляется твердь — и образуется пустота, зона новая, пространство для света, воздуха, пути-луча — и капля росы, прообраз жизни как особи.

И, напротив, враг Будды — Дэвадатта, чтоб остановить Закон, хочет усилить твердь и умножить движение:

Он взошел на Гридракуту,  
Камень тяжкий покати.  
Был на Будду он нацелен,  
Но, с горы скатившись, камень  
Разделился на две части  
И прошел по сторонам. (222—223)

То есть, воздух расщепил, рассек твердь камня — т. е. опять осуществился тот же акт, что и в мифе о коровах Вала: скала — на две створки (небо и земля), средину явив, создав. Только здесь не скала стоит, а луч ее рассекает своим движением, но мир-камень налетает, а луч-свет-воздух стоит. И именно такое космообращение пристало Будде: то Индре надо быть могучим силой и движеньем налетать с дубиной — ваджра — с перуном и разить тьму инерции. Будде же надо покоем разить движение, обуздывать коня на скаку. Вот и еще: насылает Дэвадатта на Будду пьяного слона:

Вознося могучий хобот  
И стремя раскаты грома,  
Этим хоботом трубил он,  
И дыханьем заражал.  
Сумасшедшее дыханье  
Поднималось чадной тучей,  
Дикий бег его был ветер,  
Сумасбродная гроза. (223)

Се вихрь на воздух наслан, смерч, чад и чума. Слон — гора, вулкан, землетрясение. Все разбегаются, но Будда кротко на его пути — и тот склоняется, припадает, и Будда так говорит:

Если я дракон могучий,  
Как же слон возможет ранить  
Быстролетного дракона,  
Совершенного в бою! (234)

По сравнению со слоном — сыном земли и воды — Будда — дракон, сын воздуха.

Ты, валяющийся в страсти,  
Словно в темной грязной луже,  
Откажись от пут неверных. (224) —

свинья в луже=землевода. Слон в Индии — образ любовной похоти, страсти, течки. В драмах времен Калидасы постоянно влюбленным человекам аккомпанирует любовь слонов. И Будда, укротив слона, укротил каму — желание, страсть. Все существа, созерцая укрощение слона, в еще большую стройность духа и покой приходят. Будда изгнал из воздуха последний злой вестер, неорганизованный мир — в низ его из центра направил.

Лишь свирепый Дэвадатта,  
Что чудесно был летучим,  
Низко пал и пребывает  
В глубочайшем он Аду. (225)

То есть, произошло, как обычно в космогониях: Хаос, что был в начале везде, потом, когда мир организовался как космос, — размещается внизу, как ад. В науке есть мнение, что «созданию организованной вселенной следовала такая реорганизация ведийской вселенной, в результате которой мир хаоса разместился внизу, представляя собой, таким образом, противочлен созданной вселенной»<sup>43</sup>.

Где Будда ступал, там колесо изображается — его знак, подобно тому как свастика или звезда знаменуют конфигурацию вселенной<sup>44</sup>. Не на ступне-ноге он движется, а на колесе (как ведьма — на метле=фалле); может, и вообще Будда есть машина вселенская, как перводвигатель Аристотелев, а человек Гаутама — лишь ипостась и одно из воплощений всеобщего принципа бытия? Да так это и по самому буддизму, где у Будды — несколько тел: абсолютное — д а р м а - к а я; собственное — с а м б о г а - к а я, а для явления другим — н и р м а н а - к а я, тело прозрачное<sup>45</sup>.

## 22. Амра

Подвиг трудный обращения (=поворот колеса бытия)  
Чтимый миром завершил,

<sup>43</sup> Огибенин Б. Л. Структура мифологических текстов «Ригvedы». М., 1968, с. 15.

<sup>44</sup> Христос стоит, распят, конечности развиз,— ловец человеков. Его знак+или ☆ У Христа поза объятия, захватчик. Будда свит, сидит, убрал руки — защепки бытия, отовсюду округл стал — сосредоточенное, самодостаточное колесо.

<sup>45</sup> См.: Розенберг О. Проблемы буддийской философии, с. 254—255.

И своим глядящим сердцем  
Был к Нирване наклонен (=как склонение светила).  
(226)

И тут явилась на молитву прекрасная женщина, небесной красоты дева Амра, что скромно просит принять от нее дар И в связи с нею произносит Будда проповедь о женщине:

Лучше в пасти быть у тигра  
Иль на плахе палача,  
Чем быть с женщиною вместе,  
Вожделению служа.  
Тайность чары сделать явной —  
Это мысль ее всегда. (229—230)

Женщина — собрание, конгломерат всех стихий, кроме воздуха, есть антинирвана — то, что цепляет, тянет, заземляет (чара — заземление) и не дает воспарить, стать легким.

Как же вам оберегаться?  
Тем что будете всегда —  
И в слезах ее, и в смехе  
Видеть собственных врагов.  
Враг ваш — нежное то тело,  
Наклоненное вперед,  
И протянутые руки (=цепи, крюки),  
И волна ее волос (=веревки).  
Это вражеские сети,  
Чтобы сердце уловить (=поймать центр, оттянуть)  
И распутаны те пряди (=в клубок мир превратить),  
Чтоб запутать ум мужской.

Пять врагов сражай упорно,  
В пять желаний метко цель,  
Чтоб не смели подступиться  
И сознанием завладеть.  
И железом раскаленным  
Лучше вырвать вам глаза,  
Чем на хитрый женский облик  
С вожделением смотреть. (230—231)

Как у Христа: если правое око соблазняет тебя, лучше вырвать его...

Почему же женщина — космос антинирваны? Потому что она — воплощенная дыра, тяга, недостача, жажда — т. е. увод от равновесия и центра. Она — начало движения: не тем, что сама движется, но его навевает — как перводвигатель свой Аристотель поясняет примером: прекрасная статуя притягивает к себе — и тем, сама не движась, создает движение.

Ну ее! Лучше и толковать не буду, а то стану умом в нее вгребываться — уж достаточно в «Еросе» в ней покопошился<sup>46</sup>.

## 23. Предел

Здесь — одно из последних изложений Закона. Особенно настаивает на прямоте, на прямом пути, что есть знак растения (де-

<sup>46</sup> Имеется в виду мой «Русский Эрос» — сочинение 1966—1967 гг. (6.9.87).

рево прямо) и цивилизации, труда (их линии — прямые), но не животного: оно — извилисто, волна. Лестница — стержень против савана — окутыванья, влагания:

Чтобы лестницы светлой достигнуть,  
Самогордость в душе победы —  
Затеняет она и высоты,  
Это саван вокруг сердца людей. (236)

Ну да: гордость — надутость, пыженье, уплотнение вокруг сердца — центра. Недаром по христианству — первейший грех: не дает прямого пути от бытия к сердцу, а преломляет лучи на волны в своем поле. Растопить, растворить, рассеять гордость — это убрать буфер «я» и оставить открытое сердце. Гордость — ему оболочка предохранительная, самозащитная (оттого излишнюю гордость проявляют ранимые, застенчивые и робкие).

Кто стремится к победе над внешним,  
Победить не желая себя,  
Тот — безумец, ищет опоры  
Не в твердыне — в гнилом тростнике. (236)

Точка опоры, значит, не вовне, а внутри, в сердце, в центре. Другой грех — вожделье: тоже оттягивает от себя, от средоточения. Если гордость — броня, стена, земля, то вожделье — огонь, пожар, иссушение сердца:

По сухой травянистой пустыне  
Пробегает проворный огонь,  
Пробежит, отгорит и потухнет —  
Нет молитв, если сердце сожжешь.  
От улады к уладе — оковы,  
И от жизни до жизни — звено,  
Нет врага человеку сильнее,  
Чем хотенье, что к Карме ведет. (236)

Карма — тверда. Хоть — уплотнение, наяриванье кармы = огнеземли. Вожделье — тяготение: в соитии пленка, слой существа снимается и прилепляется к другому, да там и остается. А потом — снова, ненасытно — как в химии электролиз; снимается вещество с катода и наяривается, наслаивается на анод. А в итоге — одно и то же: что анод плотен, что катод плотен — пластинка все равно однотипная! Зато движение этим переливанием питалось: чтоб его утвердить, эта бестолковщина нелепых перевозок туда-сюда существует.

Карма — огнеземля.

Удушают туманом слепым,  
Этот чад затрудняет дыханье (236) —

агрессия на воздух. Недаром жизненная сила в Индии — прана: в дыханье, в воздушном пространстве.

Другая страсть — гнев. Се — конь.

Тот, кто гневное сердце сдержал,  
В мире назван — высокий возница. (237)

Гнев — конь — наскок от себя на другого, направленность вовне, центробежная сила, уводит от центра, побуждает изме-

нять другое существо, а не себя. То есть, гнев — энергетический импульс экстравертный — вторжение во внешний мир стимулирует, т. е. его полыхание, колебание, волнение — волн прокатывание. Гнев — ярость, закипание = огнен.

Кто же дикому сердцу даст волю,  
Тот сперва свое сердце сожжет,  
И к **пожару** прибавит он **ветер** (237) —

вот космос человека хоти, сансары. (Нирвана ж ему антимир: есть угасание, безветрие.)

Последний космогонический акт — отмена времени — совершается через самоопределение смерти себе: назначил через три месяца. (И Христос час видел и смертью смерть поправ.)

Совершенный же, сидя под древом,  
Был восхищен восторгом души,  
И отверг добровольно свой возраст,  
И назначил для жизни конец. (239)

Отречение от лет = от времени — грандиозный переворот во вселенной: сам выйдя из-под власти времени, прецедент всему существующему дает. Се — мятеж в бытии.

И едва он от лет отказался,  
Задрожала в основах земля,  
Содрогнулись границы Вселенной,  
Был повсюду великий огонь.

(= Инерционное выделение мировой энергии — при крутом переломе инерции и повороте вспять.)

«От предела я лет отказался,  
Я живу только верой одной.  
Это тело — повозка — сломалось,

(«Хинаяна» = малая повозка, «Махаяна» = большая повозка — разновидности буддизма, судя по тому: сам ли, один ли идешь к спасению — или вместе со всеми существами.)

Приходить — уходить — нет причин,  
Я свободен от дней Троемирья,  
Я, как птица, исшел из **яйца**. (239)

Опять образ космогонического яйца: или ушел, или вернулся в него — одно и то же, смотря откуда смотреть.

## 24. Канун

26.VI.68

## 25. Прощание

Начинается скорбь мира и существ в предвидении ухода Будды. В плаче Ананды такие образы:

Сжался, сжался! Был во тьме я,  
Был озябшим, шел к огню,

Вот уж, вот уж приближался,—  
Вмиг исчез он и погас. (241)

И далее:

В пустыне был — путь потерял,  
Через трясину иссохшую в жажде шел —  
озеро сверкнуло и исчезло.  
Росток бьется сквозь землю —  
ветер иссушил.  
Фиалковые очи озарили мрак — и исчезли.  
Лампада мудрости воссияла — и погасла.

А когда уже отходит:

«Погасло око Мира, умер Свет!»  
Ручьи притихли, ветер притаился,  
Умолкли птицы, замолчали звери,  
И крупные с деревьев сочились капли,  
До срока листья падали с ветвей,  
Цветы, склонив головки, увядали,  
Меж тем как Небожители и люди,  
Еще желаний полные, дрожали,

(Таковы боги — полны желаний, не блаженны, не мудры — как и эллинские боги.)

И ими овладел захватный страх. (249)

В чем же здесь загвоздка? То был космос с Буддой, с творцом своим, а то ему остаться самоуправным: был с монархом — а теперь быть ему демократией: ответственности на каждом больше, переход от детства у Христа за пазухой — к мужеству изыскивается. Перестройка требуется — оттого растерянность. Но Будда оставляет им свой образ, общину и закон. Образ — для любви и индивидуального сверяния каждым наедине — так чтобы и без других, без общины — группы, церкви, не входя в нее, и без особого образования — знания закона, — просто через любовь и тягу к образу Будды, к центру бытия тяготение имели.

Община — это уже орбита, регуляция буддо-одержимых особей, концентр вокруг центра — стенка его и ограда. Закон — уже для бытия, для всех существ космоорганизация.

А до сих пор была прямая воля Будды: ум его, взгляд, слово, пример и чудеса. Но это еще предварение: он здесь сам — в живом телесном облике оставаясь — еще лишь Иоанн-предтеча. Ибо, по идее, поскольку он должен возвратить все в рассеянное бытие, он сам не должен быть воплощенным телом, атомом — но энергетическим полем бытия, его имматериальными силовыми линиями, постигаемыми лишь умом и сердцем. К такому бытию он и переходит, рассеиваясь в Нирвану.

«Вот здесь, меж этих двух плакучих ив,  
Очисти место, постели циновку,  
Час полночи придет, уйду в Нирвану» (248) —

говорит он ученику — Ананде.

Два дерева — как рельсы в Нирвану.

Он принимает позу — свое тело как ладья для себя же перевозки:

Циновку разостлал (=днище ладьи), и Совершенный  
На правый бок лег, головой на Север (= лег на курс).  
И спал, как Львиный царь, скрестивши ноги,  
Как на подушке, на своей руке (=то руль и киль).  
Вся скорбь прешла. Изношенное тело  
Последний сон в тени дерев прияло. (248—249)

Капли, листья и цветы — как приближенные — первые реагируют на воронку в бытии, образовавшуюся от ухода — и ринулись туда, в силовые его линии, прося и их с собой взять: так на погребальный костер вождя всходили жены, рабы, кони... (Вот из соседнего дома собака строгаёт воздух лаем.)

В сравнении с распятием Христа отделение Будды от своего тела не так больно: не так, значит, срашен дух и ум с телом, как у Христа и европейского человека: этого распять потребовалось, то есть усилием гвоздя душу от тела отделить; а когда самоубийство в Европе — это усилие, воля, событие — и тяжкий грех: жизнь славна (и в поучениях старца Зосимы самоубийцы — самые несчастные, за них душе всех молись). Будда же умом повелевает изойти из тела своего, и самоубийства в Индии — как одежду сменить: в другое воплощение и рождение перейти, на другой уровень. Самое же высшее — но это высоко торжественный и редчайший уход, подготавливаемый целым народом рождений и требующий надстроек мудрости, и государства транса, и службы воли, министерства внутренних дел = прочистки всей субстанции вплоть до кишок, чтоб прозрачно, как на духу было, — это восьмеричный путь, дхьяна, праджня, архатство, бодхисаттство и, наконец — буддство, когда существо изымает своим усилием себя из существования, и атом рассеивается чистой энергией.

Итак, более приращены друг к другу душа и тело в христианском человеке — более долго их выдерживали в тигле, сплавляя и закаливая в резких перепадах жары и холода, так что отслоить — жесточайшая операция требуется. И Христос хоть тоже, как и Будда, знает свой час, но он его себе не назначает и не слишком сам исполняет, а призывает дополнительную силу — людей, чтоб они его казнили, часть труда его смерти на себя бы взяли.

Убрав себя, Будда изымает отчуждение из мира:

«Раз выбрав цель, не отступайтесь цели,  
Достигнете ее не тем, что буду  
Я виден вам,— кто хочет быть здоровым,  
Тот может быть здоровым без врача.  
Кто не свершает то, что повелел, и  
Меня напрасно будет этот видеть:  
Кто от меня вдали Закон свершает,  
Тот постоянно около меня.  
Заботливо в свое глядите сердце,

Да не находит места в нем оплошность,  
Жизнь человека — что свеча под ветром,  
Следи — и ночь тебя не обоймет». (251)

«Быть здоровым без врача» — вот принцип. Покуда есть врач — он есть твое воплощенное здоровье, изъятое от тебя, отделившееся. Врач — твое здоровье как предмет, отделенный от тебя, маленький объект веры. Или наоборот: врач — отделившаяся твоя сила, воля, энергия, субъект, которая превращает тебя самого в пациента, клиента, объект, предмет для манипуляции, глину, дряблое месиво.

Покуда Будда в миру как тело и предмет, — мудрость, сила и воля вытянуты из людей и лучами своего восхищения, мольбы и любви его тело образуют. Рассеяв себя по бытию, он возвращает мудрость, свет, лекарственность и здоровье назад в людей, в существа.

Так что, уходя, Будда и весь мир поднимает на иной уровень бытия, иной принцип функционирования в нем вызывая.

До сих пор он оставался в видимости и достижимости — доступный органам чувств: глазу, слуху, касанию, а чрез воздух и спутников своих: цветов и плодов — обонянию (где он, природа благоухает) и вкусу (сладок плод его учения).

Но то — низший уровень контакта, еще вынужденный профанством существ, — иначе вообще не восприимлют, и мудрость пройдет облаком стороной, не зацепив их.

А так хоть, видя Будду, заподозрят о небывальщине и потянутся на иные уровни. Ведь уже тридцать или сорок лет назад Будда прозрел и мог бы уйти, но оставил свое тело — на поглощение, питание, лицезрение, слушанье, касание людям, ветрам и ветвям:

Близ Гайи, на горе высокой Сирше,  
От тела я избавиться хотел  
Когда-то. Но дабы свершить удел мой,  
Доныне пребывал с людьми я в мире,  
И сохранял болезненное тело,  
И жил — как с ядовитой жил змеей. (250)

Ему-то это уже давно не нужно. Но людям поначалу нужно его тело как канал и русло для восхождения к мудрости, чтобы в наивном реализме удостоверяться в истине и чудесах — что они и впрямь есть: можно увидеть, услышать и даже потрогать. Но вообще-то такое бытие есть не присущее откровенной Буддой истине, компромисс с ее стороны, снисхождение до Майи. С другой стороны, чтоб быть всепроникающей и всеохватной, истина должна и Майю причастить, охватить собой — и вот Бог-Слово воплощается во Человека Иисуса и ходит меж людей — как крючок и живец, чтоб ловить человеков и на связку лучей царствия небесного нанизать и возвернуть.

И недаром многоуровневны христианство и буддизм: и младенец и ученый имеют свои пути и средства к святости. Есть

в буддизме отрасли, где достаточно слово-имя «Амитабха» проникновенно произнести — и ты уже сопричастен истинному бытию. То же и в христианстве: дано бывает младенцам и нищим духом — и не дается многоученым книжникам.

30.VI.68

Но вот главное различие: ребенок и рождение. В христианстве как-то само собой получилось, что в поклонении образ Мадонны с младенцем, богоматери с ребенком потеснил Христа распятого,—и встал по важности с ним рядом, хотя в евангельском тексте, созданном на полуВостоке, в Палестине,— для этого нет оснований: рождество и богоматерь — там события менее важные, нежели последующие.

Но Европа постепенно стала делать акцент на рождестве: матери, ребенку. Христианство послужило одухотворению Эроса, семьи, естественно-природного культа плодородия, рождения, матери, земли — и оттого образовался образ огромной емкости: Богоматерь есть и мать истинная, рождающая, и духовная — дева,— так что все в нем вмещаются: и спиритуалы и телесники.

В буддизме нет женского образа; рождение Будды не справляется — важны даты озарения под дровом Бодхи и перехода в Нирвану, то есть акты только духовного рождения, тогда как в христианстве — рождество во плоти, радость воплощения во человеке справляется.

Но с другой стороны, Будда по образу своему более младенец, нежели Христос: он вытянут страданием и в кость хлестанием людским пошел, в мужество загнан. Будда же — головаст, пухл и округл — как младенец. Взрослый, старец — младенец здесь — в попятности основная идея буддства: остановка времени через попятный ход.

## 26. Нирвана

Перед уходом Будды обращен был брамачарин Субхадра.

Был он **сосудом**, готовым  
Для воспрятья Закона,  
Будда **смягчил** его жажду,  
Восемь путей указав.

Освобожденье увидя,  
**Пути** свои порывая,  
Он заблужденья отбросил,  
**Берег** другой увидал.  
**Сердце** его расширилось... (253)

Вот набор озарения — космогонический акт в миниатюре.

Сел в стороне, самосдержан,  
Лет истечение отверг,  
И достигнул он Нирваны  
Светлым путем отреченья —  
**Малый костер** так погашен  
**Брызгами ливня** с Небес. (254)

Из суммы стихий — получается ноль: вода + огонь = 0. Другой взгляд, любящий превращения (Эмпедокл, Гераклит, Дарвин), вливается в точки, где смерть одной стихии есть рождение другой, где одна уступает место другой — и так они носятся по бытию, творя вещи, существа и формы. Буддизм же любит не взаимопорождение, а взаимоубывание, погашение стихий. Но для чего так? Чтоб косвенно явить Нирвану. Прямое слово о ней невозможно — тогда она была бы низведена до уровня предметов и форм: была бы одним в ряду других.

Но поздравление о том, что она такое, можно явить и через стихии и существа и т. д. — как здесь: костер погашен ливнем. В итоге — ни огня, ни воды. Можно ли сказать, что причиной Нирваны является огонь? или вода? или их сумма нам что-нибудь скажет? Нет — ни грана этих субстанций в итоговом результате нет. Этот энергический ноль может образоваться из погашения любых противоположных и иных пар, так что огонь и вода — ни при чем, совсем необязательный способ намека на Нирвану; но в данном случае почему б и не через них пробудить (уже вневещийную) мысль о ней?

Так, в *Vajramandadhāraṇī* явлен этот же ход буддийской логики — только в применении к миру вещей, скорбей, чувств — словом, самсары. «Так это есть, о Манджушри, что, обусловленный куском дерева и обусловленный трением, и обусловленный усилием человеческой руки, дым появляется и огонь появляется. Но это возгорание не есть ни в куске дерева, ни в трении, не включено оно и в усилия рук. Ровно так же, о Манджушри, в индивидуальности, [именуемой] человеком, ощущают себя сбитыми с толку иллюзорной нереальностью. Возгорание похоти, возгорание ненависти и возгорание ослепления производятся. Но это возгорание не находится ни в нем, ни в объектах вне его, ни в промежуточном пространстве между обоими»<sup>47</sup>.

И далее: ады (the hells) тоже воображаются и оттого переживаются. Как огонь не сидит в дереве или в трении или усилении руки — так и Нирвана и любое понятие, по буддизму, не причиняемо, не извлекаемо из его условий. Так называемые условия, причины — лишь ближайший обиняк, косвенные пути для намека на то, что не есть они, а другое.

Кстати, с точки зрения индийского образа мира не случайно, что и Нирвана является в поэме Асвагоши через образ костра, залитого ливнями, и самсара в вышеприведенном отрывке из трактата — через воспламенение огня толкуется. В гимнах Ригведы постоянно воспевается зачатие огня через соитие и трение двух дощечек древесных и с помощью усилия и молитвы жреца. Так что этот Агни, костер, огонь — Джатаведас далее в отрицательно относящихся к огню концепциях мира (как буддизм) служит для индийской мысли не избегаемой точкой отсчета, по-

<sup>47</sup> Цит. по: Stchrbatsky F. The Conception of Buddhist Nirvāṇa. Leningrad, 1927, с. 131.

стоянным образом, через который (или через отталкивание от которого) нечто является, может натолкнуть на представление.

Однако телесные, чувственные образы в буддизме лишь подспорье для обычных людей и умов — чтобы они натолкнуты были на путь. Когда ж уже в пути или переплыли, эти образы, как те, что в поэме Асвагоши, или которые я выискиваю для описания буддийской космогонии (Нирвана = безветрие, угасание, значит, буддизм — антиогонь, но воздух и т. д.), — все это образы низового уровня, которые потом, понявшему, с их помощью приобшившемуся, уже не нужны. Так в «Алмазной сутре» Учитель уподобляет начальное представление об истине, о Нирване — плоту, который выбрасывают, когда, использовав его, уже переправились на другой берег.

Учитель объясняет архату Субхути:

«Теми, кто знает речь о дхарме, — подобно плоту, дхармы должны быть покинуты, тем более — недхармы»<sup>48</sup>.

То есть, и идея дхармы — высшее в буддизме слово (= истина, путь) — для прошедших уже путь теряет смысл в понимании бытия и Нирваны.

Образ плота и в палийском каноне:

«Используя образ плота, брата, буду я учить вас, что Норма есть нечто, что надо оставить позади, а не брать с собой. Если кто пересек с помощью плота большое пространство воды с этой стороны, полной сомнений и страхов, на другую сторону, безопасную и свободную от страхов, — тот не станет затем взваливать его на свои плечи и не понесет с собой. Но, хотя он был очень полезен ему, он оставит его позади и покончит с ним. Итак, брата, если мы поняли образ плота, мы должны оставить правые пути позади, не говоря уже о неправых путях»<sup>49</sup>.

Как комментирует Конзе:

«Пример с плотом показывает, что дхармы должны рассматриваться как предварительные, как средства к цели. То же самое справедливо и в отношении „пустоты“, отрицания дхарм. Этот корроларий в другом месте иллюстрируется подобием с врачом Агадой, который может излечить любую болезнь. Раз лекарство подействовало, оно должно быть покинуто вместе с болезнью, потому что его дальнейшее употребление сделает вас снова больным. Точно так и когда это лекарство, называемое „пустотой“, привлекается для исцеления от болезни веры в существование. Привязанность к пустоте есть болезнь в такой же мере, как и привязанность к существованию. Те, кто продолжают принимать это лекарство „пустоты“ после того как они стяжали обладание полной мудростью, только делают себя снова больными»<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> Buddhist Wisdom Books. Translated and Explained by Edward Conze. L., 1958, с. 34.

<sup>49</sup> Там же, с. 35.

<sup>50</sup> Там же, с. 35—36.

Конце так толкует отрицание в буддийской логике:

«Высшая реальность, определенная как „это не есть недхарма“, — не есть отрицание дхармы. Психологически отрицание имеет смысл только как покушение на снятое утверждение. Когда же нет соблазна делать положительные предложения, отрицания подобным же образом теряют свое значение. Другими словами, дхармы, как строго пустые, не могут даже быть отрицаемы<sup>51</sup>.

А в Mahāyāna-saṃgraha о том, что есть Бодхисаттва:

«Целью бодхисаттв является Нирвана, которая не есть нечто постоянно фиксированное, которая не исключает Сансары. Потому что они не выбирают, подобно обычным людям, Сансару, не желают, подобно Ученикам и Пратьекабуддам, убежать в Нирвану. Они не оставляют и не покидают мир Сансары, но он более не имеет власти осквернить их»<sup>52</sup>.

Потому последние поучения и слова о Нирване и вещественные образы, в которых это все выражается, — это для остающихся, для тех, кто еще в пути или не ступил на путь, — маяк и приглашение:

Вот досягну Нирваны,  
Чтите ее, — и за мною  
Вы досягайте Нирваны.  
Это светильник в ночи.  
Камень ее самоцветный —  
Клад человеку, что беден.  
...Чара домов и поместий  
Да не пленяет вас в мире:  
Это колодезь горячий.

(Вот опять огне-вода — теперь через сочетание этих стихий выражается мир сансары.)

Это блюда, укротите  
Токи животного чувства...  
Если же чувства не сдержишь,  
Это есть конь разъяренный,  
Все он пространство измерит,  
Нагромождая беду. (254—255)

= засорит пространство хотями.

Мудрый обходит овраги,  
...Легкого сердца боится,  
Этого лишь одного.  
Видели вы обезьяну,  
Как она в лес убегает?  
Вот — это легкое сердце,  
Мудрый удержит его.  
Если же сердце отпустишь,  
Не достигнешь до Нирваны. (255—256)

Итак, сердце, центр — должен быть крепь, ось, твердь, гора.

<sup>51</sup> Там же, с. 37.

<sup>52</sup> Там же, с. 47.

Было вначале все твердым,  
Но, пошатнувшись, расселось,  
И сочетанья возникли,  
Непостоянства, борьба. (259)

Приходится внести поправку в толкование земли в космоустройстве по-буддистски. Она уже тем хороша, положительна — что недвижна, устойчива, оплот против эфемерных скользящих змей — волн(ений) воды и огня. Даже воздух, хоть как легкость угоден буддизму, но — колебим, податлив. И потом земля — съезживание, стяжение в малое, не расширение, средоточье, центр, тогда как даже воздух — это блеф: места много занимает, а толку мало. Но этот хоть спокоен. А вода и огонь — рыщут, вспучивают бочку бытия, брожение и нездоровое волнение в ней вызывают.

А вещественность земли, что она — тело, не так пугает буддизм, в отличие от христианства, которое в земле, в плоти, как антидуше — противовоздухе, видело врага большего, нежели в косвенных к воздуху огне и воде: в них больше легкости, духовности. Но легкость и снимаемость огня, воды, по-буддизму, — это их подвижность, изменчивость, предательство, так что тупая плоть земли, твердость ее атома — хороша как устой, центр, точка опоры и оплот. Потому в буддизме есть своя атомистика (как один из возможных уровней понимания бытия). Только твердь вещества, увесистость его не пугает, ибо мнима: чрез так называемую «землю» текут потоки дхарм-элементов так же, как и сквозь так называемый «огонь»; зато в земле, помимо состояния из общих с огнем и другими стихиями потоков элементов, — есть еще качество незыблемости, покоя, стойкости (или, по позе буддийской, лучше — «усидчивости») — качество, в буддийской центрирующей космогонии абсолютно положительное.

И недаром, когда уходит Будда,

Остров Вселенной, лишенный  
Самой блистательной славы,  
Был как гора без вершины,  
Был словно слон без клыков,  
Бык был — рога потерявший,  
Темное Небо — без Солнца,  
Лилия, смятая бурей. —  
Умер Учитель. Ушел (261). —

образы из стихии земли, тверди, превосходят даже образы из стихии света: изъят центр, ось, опора, средоточие мира. Пророча бытие Вселенной на будущее, Будда говорит:

Но согласованность встанет,  
В замыслах разных взаимность, —  
Что ж тогда Хаосу делать,  
Где тогда творчеству быть! (259)

Вот: Хаос и Творение — взаимно друг друга изыскиющие идеи. Творчество любит пиитический беспорядок, дионисийское начало

хаоса и опьянения, разнuzданности всего, чтоб насладиться своей способностью организовать все в целое и форму, по аполлоновскому началу.

Буддизм против творчества, которое, подобно рождению, есть прибавление к бытию, отчего вязнут существа все больше в топи сансары — выстраиваются на ней воздушные замки красоты, способствующие самодовольству кругооборота: ведь на болоте — красота возникает, из хаоса — творчество, значит, хаос нужен, зло оправдано, ибо добро возникнуть предоставляет.

Будет всеобщий конец,  
Час разрушенья Вселенной! (259)

Так что прибавление к бытию, творение новых форм — лишено смысла. Еще буддизм против сна, против смены дня и ночи:

Пусть в изменениях суток  
Сердце пребудет одним.  
В первую смену ночную  
Не отдавайтесь дремоте,  
После усните спокойно,  
К утру проснитесь светло.  
Кто отдается дремоте,  
Сонные ужасы кормит,  
Смерть стережет постоянно,  
Схватит — добыча в плену.  
Чарой змееною можно  
Выманить из дому змея.  
Рано проснешься — из сердца  
Черная жаба уйдет. (256)

Жаба — житель болота. Сон — время Мары, Ночи, Эроса, Камы. По общему в буддизме принципу попятности: не отдаваться потоку и так называемому естественному ходу — должно бодрствовать: буден будь. Будда — будный, бодрствующий, один и тот же днем и ночью, ушедший в центр, средоточие, и для кого эти чувственные различения света и тьмы не имеют значения.

Связи семьи не скрепляйте:  
Если на ветке чрезмерность  
Птиц, прилетевших и севших,  
Ветка склоняется ниц.  
Раз многочисленны узы,  
Будешь запутан ты в сети. (257)

А о гневе:

Гневное слово и мысли  
Ранят лишь вас, не другого.  
Молча претерпишь мученье —  
Это победа побед. (257)

И еще хорошо:

Видели вы над цветами,  
Как мотылек пролетает?  
Чуть лишь коснется — и будет,  
Не нарушает цветка. (256)

Так ко всему относиться: не привязываясь, не заземляясь.

## 27. Восхваление

Встречаем постоянно тот же образ огня, потушаемого водой. Вот в словах Дэвапутры:

Слава дел, как дым, восходит к Небу,  
В свой черед дожди потушат все,  
Как в мирах огонь круговоротов  
Будет смыт потоком в крайний миг. (262)

Будда уподобляется птице, что в прудках хватала хитрых змей, когда ж иссох прудок, умирает птица, кончив свое дело, и коню, что, окончив сражение, притихает.

Эту пыль земного тоскованья  
Он смывал живой своей водой. (264)

Когда ж сожгли тело Будды,

Только кость алмазная осталась (266),—

как ось, стержень мира. Алмаз есть и твердь, и блеск=земля и свет. Точно так же и Нирвана названа «Златогорьем», «Горною Обителью Нирваны» (263).

## 28. Благо мира

За останки, алмазную кость тела Будды, затеялся бой семи царей, но брамин некий убедил, что не угодно Будде воевать из-за него же, хотя цари, рьяные в вере, так аргументировали:

Из-за женщины красивой  
Был не раз смертельный бой,—  
Сколь же больше нужно биться,  
Чтоб Учителя почтить! (270).

Но тем Будда ставится на один уровень с женщиной, вещами — лишь дороже чуть.

Брамин же воздвиг первый храм: «Златой кувшином». N. В.—сосуд опять, как и канон буддийский называется «Три питака» — три корзины.

Конечно, удручает, что мы, прибегая к образам, стихиям, предметам, чтоб уловить космос буддизма, его строй и состав,—выходит, не о том совсем речь ведем и ничего не схватываем: ведь сказано и Татхагатой (эпитет Будды):

«Те, кто под моей формой видят меня,  
И те, кто следуют за мной по голосу,—  
В напрасные вдаются усилья —  
Меня эти люди не узрят.

Из Дхармы видимы Будды,  
Из тел Дхармы исходит к ним путеводительство.  
Но истинная природа Дхармы не подлежит различению,  
И никто не может сознать ее как объект».<sup>53</sup>

<sup>53</sup> «Алмазная сутра». Цит. по: Buddhist Wisdom Books, с. 63.

Но ведь и тот, кто по дхарме толкует бытие,— тоже временным подспорьем пользуется, плотом, который должен быть отброшен. И, наоборот, мы, толкуя буддизм чрез стихии: землю, воду, воздух, огонь — через язык форм чувственных, будто отвергнуты в притязаниях на знание; однако не торопитесь падать духом: вспомните смысл отрицания в буддийской логике!

В принципе здесь ни о чем нельзя сказать: «Это есть то», ибо тут же готовы равноценные три тезиса: «это есть нечто», «это есть то и не то», «это не есть то и не то».

Например:

Нирвана — воздух.

Нирвана не воздух.

Нирвана есть воздух и не воздух.

Нирвана не есть воздух и не есть не воздух.

Вот почему, заключает Учитель в аналогичных рассуждениях в «Алмазной сутре»: это есть то, Нирвана есть воздух.

Ибо привлекается все-таки атрибут «воздух», чтобы, выдоив его и поиздевавшись, его отвергнуть,— но все ж через эти процедуры именно над «воздухом» какая-то лакуна в наших представлениях о том, что есть Нирвана по истине,— восполняется. В этом смысле работают и наши инструменты: земля, вода, воздух, огонь и проч. Мы воссоздали чрез них какую-то структуру, которая представляет буддизм как естествознание. Так ли это? Так. Не так. Так и не так. Не так и не не так.

Однако же это «так» должно было быть выявлено и высказано.

В этом смысле можно утверждать:

«Это — так и есть, как здесь представлено».

Вот тип такого рассуждения по буддийской логике:

«Господин спросил: Как ты думаешь, Субхути, видим ли Татхагата чрез обладание своими признаками? — Субхути ответил: Нет, воистину, о мой Господин.— И почему? — Это обладание признаками, о мой Господин, о котором учил Татхагата как о необладании непризнаками,— об этом учил Татхагата. Вот почему оно называется и обладанием признаками»<sup>54</sup>.

После того как отрицается «обладание признаками» для суждения о Будде, оно, разъятое, принимается, утверждается. И наоборот, когда на что-то Будда дает утвердительный ответ, например:

«Как ты думаешь, Субхути, существует ли телесное око Татхагаты? — Субхути ответил: Да это так: телесное око Татхагаты существует.— Господин спросил: Как ты думаешь, Субхути, существует ли небесное око Татхагаты, его око мудрости, его око Дхармы, его око Будды? — Субхути ответил: Да, это так, о мой Господин: небесное око Татхагаты существует, и также существует его око мудрости, и его око дхармы, и его око Будды»<sup>55</sup>.

<sup>54</sup> Buddhist Wisdom Books, с. 60—61.

<sup>55</sup> Там же, с. 59.

Не торопитесь цепляться за это утверждение как за прямое высказывание об Абсолюте. Хотя здесь это высказывание отражено в утвердительном суждении, а высказывание об «обладании признаками» дано в отрицательном суждении,— у первого не больше прав представлять штурмуемую ими обоими истину, чем у второго, ибо тут же, по поводу такого понятия, как «hear of merit» — «куча заслуг», сказано:

**«Но если бы, с другой стороны, была такая вещь, как „куча заслуг“ (или „нагромождение заслуг“), Татхагата не говорил бы о куче заслуг»<sup>56</sup>**,— т. е. если б это было истинной реальностью, об этом нельзя было б сказать, а лишь молчать. Абсолют не высказываем прямо, а через примеривание и отбрасывание атрибутов: «Нет, не то!»,— однако шаг познания в этой операции совершается (или не совершается, или и т. д.).

1.VII.68. А что логика эта естественна и здравомысляща, очевидно из такого примера. Вот передо мной стеллаж. Я говорю: «Это — шкаф». И это верно, ибо стеллаж — разновидность шкафа. Но ведь все-таки это стеллаж, а не шкаф, так что верно будет и такое суждение: «Это — не шкаф».

И все же стеллаж — не шкаф (ибо зачем тогда это понятие вводить?), и в то же время нельзя сказать, что он так уж совсем не шкаф, так что верно будет суждение: «Это — не шкаф и не нешкаф».

Но так это в любом суждении, даже в простейшем, аристотелевского стиля: «Сократ — смертен», вытекающего из силлогизма:

Все люди смертны.  
Сократ — человек,  
Значит, Сократ — смертен.

Это верно, так как Сократ умрет. Но ведь это всего лишь одно из мириадом качеств Сократа: он и умен, и безобразен, и денег не берет, и Ксантиппа у него, его лоб у Ленина (по Горькому), и имя его как раз — «Сократ» — бессмертно в человечестве, так что справедливым будет суждение:

Сократ — не смертен.

Все же качество смертности ему присуще, но несводимо емкое понятие «Сократ» к откуда-то из другой оперы взятому понятию «смерть», так что точнее будет совместить высказывания в формуле:

Сократ смертен и не смертен.

И все же и это не совсем удовлетворительно, ибо прилепили ни с того ни с сего один ярлычок, признак к существу-имени Сократу, будто ничего уж о нем, кроме этого, помыслить нечего,

<sup>56</sup> Там же, с. 60.

так что вообще отказываюсь под термином «смерть — не смерть» рассматривать Сократа. И потому верно будет сказать:

Сократ — не(смертен и не смертен) —

то есть отрицая весь подход с точки зрения этого признака.

**Индия — логика «не». А Запад — «да».**

6.VII.68. В дыхании йогов самое важное — выдох до конца, то есть акт отрицания, «не»; глубокий же полный вдох от этого получится само собой, и принцип дыхания здесь: «не мешайте вдоху». Сознательное же усилие — в зоне выдоха, в «не», действует.

То же самое и в познании Абсолюта, Истины, Нирваны и т. д. работает отрицательная диалектика, отбрасывающая все возможные трактовки и толкования. Но тем самым абсолютно очищается почва, сосуд наш, существо и ум для восприятия и вхождения Абсолюта в нас. Индийское умозрение, рассудок и логика заботятся не о том, чтобы понять Абсолют, а чтоб убрать преграды, мешающие его пониманию, которое совершается уже само собой: положительности здесь нет.

На Западе стремятся понять Абсолют впрямую, в лоб, назвать его, обозначить, путем прямым, кратчайшим, скорее и экономичнее до него добраться: Бог, субстанция, идея, выговорить Истину...<sup>57</sup>

И в гимнастике заботятся о глубоком вдохе, полагая, что так, впрямую расширяется и развивается система дыхания. В Индии же уважают во всем косвенные пути, обиняк (оттого и в искусстве — символ, аллегория, тогда как на Западе тождество идеи и образа, мысли и слова — вот цель), оставляя центр Истины зоной немых собеседований; потому Запад и обозначает ее как Void, Emptiness — пустота, небытие, — тогда как это именно средоточие бытия, но потому и превышающее возможности речи.

---

<sup>57</sup> Ред.: Не скажите! А «отрицательная теология»?

Приложение

ДНЕВНИК  
ПОЕЗДКИ В ИНДИЮ  
(16·IX—3·X·1989)



**17.9.89.** 10.30 вечера. Давай, не отлынивай! Включай ум, голубчик. Другого времени не будет — ты ж работать сюда приехал: впрягут завтра лекции читать — и некогда станет записюльки свои делать: впечатления осмыслять.

Итак, вчера прилетели в Дели, бродили по городу. А сегодня, купив за 300 рупий билеты на однодневную экскурсию, ездили в Агру — глядеть Тадж Махал.

Мой книжный образ Индии, кажется, рассыпался. Какие там «четыре стихии» и проблема умножения стихий воз-духа, когда тут борьба за пропитание на сей день! Когда тебя, идущего по городу иностранца, облепливают и нищие, и предлагающие купить какой-нибудь мизер... Вон девочка и мальчик: только бросил на них взор, тут же как нанизались на него и бросились идти со мной, босоногие, тычут кулачками мне слегка в ребро, теребят, показывают рот и живот: «ам-ам» говоря (вроде). И целый квартал эти их детские касания, теребления робкие меня за левое нижнее ребро (выше не доставали) мне душу вынимали...

Или на тротуаре сидят женщины в сари с ребенком грудным, разложили всякую мелочь, многие предлагают карты Дели, Индии. Мне надо, но ведь они подержанные, и Бог знает, какая на них зараза... Липнут и мужчины, предлагая бусы иль еще что, прося, и их налитые, черные глаза... Но при том, что липнут, нет назойливости, наглости, но кротко, не обидчиво, готовно и на отказ...

И вот эта мягкость, кротость, грусть и веселость, довольство или просто принятие своего жребия, независть — при нищете предельной — поражают! Нет почвы для революции, посягания, перемены... А у нас, на Руси, клокочет зависть и раздражительность.

Густота людей в каждом месте. Если в машину или на трехколесное такси садятся — то человек 10 набьется. По Агре велосипедные рикши везут-катят и в гору.

По дороге — шалаши, в которых семьи живут; женщины чего-то подметают, готовят. Мужчины сидят, как птички. Спят прямо на тротуаре или растянувшись на своем велосипеде (велорикши). А в Тадж Махале одна женщина в зеленом прямо на плитах, где сотни туристов в минуту проходят, спит себе безмятежно — и ее не задевают, обходят. И в Дели мужчина поперек тротуара спит — и его перешагивают, не тревожа.

Какие нервы! Внутренний покой. В ладу с бытием. Неприятельность. Довольство своим малым, мизером.

И примеры тут — как раз древние святые-нищие. Эта культура не прекращалась. Просить — не унижительно. Дают мало. Но мало и надо. И малым, малейшим — проживут...

И в этом — гениальность: проживать 700 миллионам — ни на чем и ничем. Не воюя, не расширяясь по горизонтали, не взбучивая вертикаль Социума мятежом-переворотом — в революции.

Касты умеряли амбиции: воспитанный народ, не хам-лакей. И служат — с достоинством своего положения, как слуги. Свою дхарму понимают и исполняют. Знают, что чужая дхарма опасна. Русские этого, невоспитанные, не понимали: засели в дхарму господ (начальнички все стали) — и погубили страну и народ, себя...

Жизнь на открытом воздухе: нет четырех стен, а три, две, а то и одна: навес — и все...

Коровы спокойные прямо на дорогах и по обочинам. Буйволы пасутся. На деревьях — грифы. А метрах в двадцати от места, где кучка буйволов пасется, — кучка скелетов таких же буйволов: где лежали — там и умерли, и грифы расклевали все мягкое, а скелеты чистые оставили, торчат.

И все — рядом. Космос переходов и открытого бытия. Все явно всем, и нет тайны. Умудрены сим лицезрением индусы, и оттого так глубоки их глаза.

Но до чего черны, загорелы, костлявы, тряпичны! И ты, кто проходишь, проезжаешь мимо них на машине и вот в отеле с ванной, балконом и кондишн, — да ты другая порода существ! На самолете еще прилетел... Между тобой и Онассисом-Рокфеллером да лордом Англии меньше разница, чем с этим спящим поперек тротуара. Вы — поля цивилизации ягоды, а эти — из Бытия прямо, метафизика физики жизни в них. Дрожь...

Когда вдруг возникло белое чудо Тадж Махала — этого мавзолея, который 20 лет строил султан для умершей любимой жены, — меня как молнией стукнуло, и исторглись слезы из скалы моего сердца жестоковыйного.

Любовь, Смерть, Красота!

Светлана... Ее тут тема и тут же ее образ...

Сказал, оборотаясь к Урнову, не скрывая слез:

— Значит, не совсем пропащий я человек: слеза прошибла от Красоты. Любовь, Смерть, Красота! — повторил я объясняющую формулу.

Читал историю Индии: все ее повоевывали — вот и исламيتها. Они (индийцы) даются: им не важен этот уровень — политики, истории. А чудеса архитектуры на севере — мусульманского, арабо-персидского почерка, как наш Самарканд. Или на юге — буддийские храмы... А где же свое, индуизма?

Ну ладно, спи...

18.9.89. А ведь похоже, что в Индии я, а Индии не увижу! Сидим в отеле в Дели, никто нами не занимается, машины нет. 5 дней тут торчат, 2 университета, по 2 дня лекции в каждом. Потом 4 дня — Бомбей, 5 — Калькутта. Но предупредили, что белому человеку выходить там одному нельзя: облепят нищие, прокаженные; пить-есть нигде нельзя, кроме гостиницы: подцепишь холеру, проказу... Лишь в Дели находиться — еще как-то безопасно.

Мои коллеги — люди деловые, служащие — хотят скорее, раньше срока вернуться: у них дела дома. 21 день нам положен,

и на них деньги выдали, но они хотят лететь 3 октября. Я бы — затынул... Но вроде бы это не имеет смысла.

Да и лекции наши не нужны, а лишь бы отчитаться обеим сторонам, галочки поставить. Деньги нам выдали; билеты на когда — наметили, мы расписались — и все...

19.9.89. Сплю здесь хорошо: с 11 до 7. И не просыпаюсь. Потому что мало едим и мало пьем, так что и отливаться не надо.

Между прочим — тоже черта Космоса: сам воздух, тепло-влажный, кормящ: той же температуры он, что и тело твое почти; так что не надо лишних вод и земель (=твердой пищи) в себя запускать. Потому тут меньшей едой обходится человек, нежели в климатах холодных. Горсть риса со специями, банан — и хватит на день сухому и поджар(ист)ому. Выглядит тело индусов — как тело мумий и мощей: черной кожей обтянуты мослы; нет влаги в организме, ибо ее достаточно вокруг в космосе, где люди = сухие рыбы плавают, как в океане щепки...

А северянин = «все мое ношу с собой» — в том числе и воду: водянисто тело немца-баварца, пиевлянина; иль русака Мити Урнова — тело белое, большое. Индусы и ростом меньше: как мальчики, отроки. Потому и весят двое-трое индусов взрослых — как один Митя Урнов. Вот и секрет многонаселенности — дробность: много счетом из той же массы человеческого вещества насечено фигурок.

Но женщины тут мясистее: они — водоземля, тогда как мужчины — огневоздух. И вот что обнажено в сари — зона пояса, живота чуть и спины в крестце. И нет талии (что, тонкая, в чести у европейцев и у персиянок: осиная талия при пышных бедрах), а даже складки жира не стыдны и обнажены.

Европейская женщина обнажает лицо, плечи, руки, ноги, но средина тела покрыта. Что бы это значило?

И скульптуры индианок — с полным животом. Зона плодородия.

Но как тут цапуч и опасен Космос — чужим! Чума, холера, дизентерия, микробы, проказа — зацепит и не отмоешься, запечатлит на всю жизнь... Укусит Космос — как тигр. Напугали нас: ни воду не пить, ни на улице не есть из мириадов их малюсеньких очагов, где что-то дымится, печется, и подходят свои, выжженные, и жуют безболезненно. С детства плоть их ко Космосу приспособлена и им благословенна. Да, здесь особо себя отлученным чувствуешь, существом иной породы.

8 вечера. Ладно: и такой жанр — экспромтный (так, как все само идет) — легок и приятен. Без натуги — обязательно как можно больше посмотреть. Но и само что-то подается.

Заехали с утра за нами из посольства двое и повезли к югу от Дели в Институт русских штудий Университета им. Неру. В 11 там были. Шеф говорил по-русски и наметил нам на завтра встречу на полтора часа всем троим. Вести общий разговор о перестройке и литературе. Так что зря я трепетал, готовя свои гигантские лекции по-английски...

Потом нас завезли на Кутаб Минар: из разрушенных индусских храмов сооружен был мусульманский дворец. Но на колоннах камни с изображениями животных — от индуистских колонн. Ислам — геометрические фигуры читит, тело изгнано — и его формы, и лица. Самое абстрактно-математико-геометрическое тут мышление. И телесность изгнана там, где — чувственность (гарем)! Где запрет и на вино. И, напротив, где вино — там и тело: Эллада, Рим, Франция... Где водка, там тело сокрыто, зато лицо и глаза вылезают на передний план: Север Европы — Германия, Россия...

Национальные садизмы. Культурный советник Алексей рассказал, как древние индусские раджи убивали своих царственных соперников. Намечали девочку-красоточку и с детства ее кормили малыми дозами яда, так что организм пропитывался, но ей безопасно. И когда она входила в возраст цветущей красоты, посылали ее в дар радже, намеченному в жертву. Через месяц-полтора тот умирал. Яд из нее переходил по мосту члена в его организм.

— Вот это Кама-сутра! — воскликнул я. — Казнь через наслаждение! Снова Любовь-Смерть. Но — как изысканно! И не удар, как в Европе: скорее, сразу (кинжал, топор или яд в чаше), но — не торопясь, длительность Времени привлекая.

Подобно и в Китае казнь: посадить на прорастающий бамбук, что через несколько дней проколет жертву насквозь. Не то, что быстрые турки: на кол острый насадят-надвинут жертву — и та на-рраз! — испускает дух. А две вечные страны-цивилизации не торопятся. Время — не важно...

Увидев спящую собаку, мы заговорили об индусах, что спят поперек тротуара: «Разлеглась-то: не в тени, а на солнце, и хоть бы хны!» И неподалеку от той женщины в зеленом, что в Тадж Махале на плитах спала, — собака тоже. И медведь-работяга-плясун — под дудку (для туристов) тоже, пока не работал, тюфяком плашмя лежал. Такое тут расслабление всем необходимо — и оно подается. Будто Космос освобождает своих верных от натуги: нервы — от напряжения, человека — от подпруги.

— А в Калькутте тоже так лежали, да появился по ночам какой-то новый Джек Потрошитель, что ходил и мозжил черепа. Так что теперь лежащие — как увидят ночью прохожего, сами его приканчивают. Так что не ходите там любопытничать в поздний час.

— А кто такой Джек Потрошитель? — я, невежественный.

— А ведь так и не дознались, кто был Джек Потрошитель, — Урнов тут.

— Ну! Это в конце XIX века в Англии объявился некто: ходил по ночам и проституткам крошил головы. Несколько жертв было. Но его не нашли. Подозревают, что то чуть ли не Принц Уэльский или кто из королевской семьи был. А может, сама проститутка-садистка переодевалась и так удовлетворяла свои потребности.

— Вот национальные варианты садизма! — я подхватил.— Француз Синяя Борода сначала насладится телом женским, а потом смерти предает. А англичанин — разом кончит, ударом. Или андрогинно, мужеженски, вампирно...

А потом, когда по наущению Урнова зашли в торговые ряды: присмотреть, что покупать:

— А я открыл, как Светлану буду садистски мучить,— сказал я.— Кипятильника мне не подумала найти в доме, чтоб с собой взять,—так я за завтраком проедал целое ожерелье за 35 рупий. А мог бы яйцо да чаек в номере. (Яиц десяток — 7 рупий: как чашка чаю в ресторане нашей гостиницы.) Так что мужа надо собирать в дорогу, а не забирать кипятильник в дом творчества...

— И ведь вполне то будет,— заключаю,— садизм по-русски, по-достоевски: в душу вонзаться, мучить ее поздним раскаяньем: «Ах, счастье было так возможно, так близко!» Или что есть Ад? — как объяснял старец Зосима.— Сожаление, что мог любить, а теперь — никогда. «Цветы запоздалые» — туда же сей образ-символ у нас важный.

### ВРЕМЯ В ИНДИИ И В РОССИИ — НЕВАЖНО

— Чем больше живу тут,— Алексей из посольства,— тем более нахожу с русскими общего у индийцев: тоже тянут, откладывают, не спешат, лучше бы и не делать...

— Вот и нас пригласившие,— заметил Урнов,— вполне бы рады не слушать наши долгие лекции, а отделаться формальной встречей, что и будет завтра на часок-полтора.

— А в Латинской Америке,— Гунтис, кто испанский язык знает и ездил,— на все скажут: «Маньяна» = «Завтра». А завтра тоже скажут: «Маньяна».

— Так переключают настоящее на будущее,— толкую я,— тогда как в Америке Северной такое заведение, как КРЕДИТ: тем будущее притягивают служить настоящему деланию, бизнесу. Успеть! = успех! А у нас — УСПЕЕТСЯ!..

### 1 РУССКИЙ = 3 ИНДУСА

— Вот из тебя, Дурнов,— говорю,— можно сделать трех индусов. Теперь понятно: у нас 280 млн., тут — 750, но масса населения, человеческого материала, человековещества,— одинакова.

— Но ведь легче стране одного прокормить...

— Не скажи: а шесть рабочих рук вместо твоих двоих! Да и прокормить их, неприхотливых, дешевле.

### ИНДИЙСКИЙ КОММУНИСТ

А вчера были в семье Чокана... Это знакомые Урнова: приехали в 1964 году с женой в ИМЛИ они, индийские коммунисты, писали об СССР, о советской литературе, пропагандируя: что все хорошо в стране Ленина. И каково же им сейчас? Перестройка, разоблачения.

— Вы хоть Ленина не трогайте! — его милая жена возмолилась.— И Союз ССР не растаскивайте. (Это она Гунтису.) А то и у нас Индию по кускам откусывают, отъединяться норовят.

Но каково им, в самом деле? Он еще в 30-е годы — борец за независимость Индии, в тюрьме сидел. Сам из рода знатного («чокан» — некое высокое положение означает в социуме). В 30-е годы писал об войне в Испании, советскую точку зрения на нее доверчиво доказывал, а теперь его книга выглядит — лживой. Потом еще что-то писал о социализме в СССР И теперь растерян: вся жизнь — насмарку? И она — из рода сподвижника Ганди: ее отцу — письмо Толстого было. Сама — добрая женщина. И что же им? Как теперь путь своей жизни оценивать?

— Приходится к Ганди возвратиться, — всерьез задумался, рассуждал старый Чокан, в белом халате и шапочке, как у пандита Неру. — Воздержание (abstinence) — и от действия, и от пищи, и от потребностей лишних, чтобы не губить природу.

И думал я, чем строй кастовый мудр: иерархичен, и потому многоуровневый, разны потребности и способы существования: не хотят все одного и того же (не посягают хотеть) — и все счастливы в своем роде и на своем уровне. Ведь мера радостей — одна, а религия нищего, свободного от потреб тела брахмана-отшельника-санньясина высшим чтит. И больше народу таким макаром одна земля прокормить может: в малопотребности.

— Но умирают от болезней, дети — что скажешь?

— Так ведь живут же до болезни! И все равно — перенаселение Земли. Чем же лучше — убивать в абортах или войнах? А так — органически, естественно Земля свою меру народонаселения регулирует: болезнями, бедностью, смертностью...

И снова я о стариках-коммунистах думал. Сколько сейчас людей, поколения целые, растеряны, себя обманутыми в идеале и пути чувствуют; а жизни ведь не повторить, не переиграть, не исправить!... И надо дать этим людям утешение, напрячь интеллект — и рассудить.

В самом деле, в Божьей бухгалтерии должны быть равны пути и ценности жизни. И Сатана — служитель Бога необходимый: свою нишу в Бытии занимает и службу несет. И упоенные коммунизмом, которого лишь image, образ себе создавали в СССР, западные левые (и восточные) — добрые люди, к идеалу стремились, свою жизнь высоко настраивали. А то, что кумир оказался ложным, — так и тем они необходимую человечеству миссию-стадию тупикового пути своим опытом и телом и жизнями во научение прошли-реализовали. А в Индии вообще на пути кармы все звенья небесплодны, смысл имеют. А архат буддизма может даже убить — и не выходить из святости...

— Так что же — к манихейству? К нему, верно, многие склоняются, — тут Урнов, когда я ему про это вслух рассуждал.

— Ну, манихейство — слабо и уныло. Двоица... А душа взыскует Абсолюта, преодоления раскола и подъема. Бог все же во Едином одолевает эти антиномии добра и зла. И — прощать врагу, даже возлюбить. Но — не становиться врагом. Разница!.. Выбирать путь все равно надо, искать высшего. Однако когда

я впал в низший или не тот — не отчаиваться: и он — в путях Господних смысл имеет и причтен... «У Бога обителей много».

Это правило — для другого: как к нему относиться и утешить. Но не для себя.

**21.9.89.** Обвыкаюсь: не напрягаться, отдаваться течению. Вчера разработался жанр наших выступлений втроем: сначала Урнов полчаса говорит, потом Гунтис — минут 15, и я под конец минуток 20 философически повеселю народ. Потом вопросы, на которые отвечает опять же Урнов и немного — мы. Всего — часа полтора, ну — два. На троих — не натужно. Так выступали в центре советском культурном вчера с 10, потом в университете среди русистов — человек 8—9 их было. А вечером опять же в Центре большой ужин... Старостин Борис Сергеевич, заведующий, китаист-востоковед, и его жена — лингвист, Юлия. Было мило... А днем дали нам машину на два часа, и видели мы Красный форт, походили там, затем в старом Дели, к мечети прошли.

**КИШЕНИЕ** — этим словом бы обозначил, что там в старом Дели возле мечети и вообще. Но не спуют человечки, как в европейски-городском кишении, где все торопятся, в бегах и на гонке будто, а — как бы раскачиваются, колеблются на одном месте или вокруг своей оси. Но когдаходишь в их плотность — они не расступаются, а, напротив, приближаются, обступают, и вот уже кто-то что-то просит, другой предлагает услугу, третий у тех перебивает. Цапучий космос. Будто сам Индийский Космос настораживается к вошельцу в него и выпускает шупальца облепить, восать и поглотить. Аж страшно... -вато (договорю-смягчу по размышлении в сей паузе). Мы идем некоей группой — тараном троих, и — расступаются. А коли ты один рискнешь, влекомый любопытством, сам походить тут или в Калькутте (где ты на 3 дня собираешься еще остаться, отделись от спутников, у кого дела дома и они торопятся и, укоротив пребывание, улетают 3-го октября, а ты билет на 7-е сам выпросил...)? Выйдешь из отеля, войдешь в люд, как в плотные слои людской атмосферы, — и сгоришь там, так что и косточек не найдут...

Жадность фрайера губит. Как Любопытного Слопенка в сказке Киплинга (именно в этом Космосе). Сам, видно, был мальчик любопытный к индусам — и ему тоже мог крокодил-Космос вытянуть хобот. И в тебе началась пугливая реакция: назад, в свою группу, вместе — так удобно! Защищенно! Однако в группе человек обложен ею, и не выходишь напрямую в Космос. Так что лучше останься один — на экзистенциальный опыт...

Но тут — как заплыть в океан — и не вернуться...

Как, однако, используется **ПРОСТРАНСТВО** человечками! На десяти квадратных метрах и магазинчик, и жарится что-то, и нищий-увечный просит, и семья у очага... Миньютюрная проработка пространства человечками — как в резьбе по слоновой кости или в ювелирном деле. А у нас как протянется один тупой

магазин на весь нижний этаж дома, да еще профилированный, где и товару-то своего нету и на огромном пространстве скучают бездельные продавцы. Велика Федора и в этом... Как Русь растянулась без конца и без смысла — явного...

Но какой островной тип у людей посольства и культурного центра! Забитые люди, всего боящиеся; еще в них стиль сталинско-брежневский: с ним сюда приехали, послушные начальнику-отцу дети. Там, в метрополии,— буча, перемены, а здесь сохранилась архаика советчины неизменной. Так сохраняются диалекты старого языка в ушелях или как вон по болгарам в Молдавии, переселенцам из Болгарии 1828 года, можно обычаи и формы тогдашнего языка изучать.

**22.9.89. ВЕСЕЛЫЕ БОГИ.** С утра сходил по соседству с отелем нашим в храм Ханумана, царя обезьян из «Рамаяны». Тут же рядом еще один храм, где Шива, Вишну, Лакшми, Парвати, Ганеша, Дурга... И все улыбаются, полные, довольные, в цветах и красках. Тут рай на земле: среди слонов, обезьян, львов, змей, бананов, и не надо куда-то трансцендировать, пострадав здесь и набрав аскезою реактивной энергии вонзиться в небо, прорвать слой воздушных духов-демонов и вознестись в небо Славы Господней.

В христианском храме святые — мученики. А тут божества — жизненаслажденцы.

В христианстве культ страдания — отчего? «Смертью смерть поправ», как клином — клин? Буддизм — освободиться от страдания. Христианство — навстречу страданию, на себя его навлечь. Велико-МУЧЕНИКИ. Могут ничего хорошего и не делать, а лишь страдать-терпеть. Бодхисаттва — не мученик, а СО-страдалец, податель благ. Но сам не обязан мучиться.

И все — Космос: он тут тепл, перенаселен густо, так что каждому завет — на месте своем, не рыпаться, а с ближним соединиться — его не задевая: в улыбке и благорасположении, в терпимости и принятии. Космос доброжелательства. По Петру Кропоткину (взаимопомощь существ — организатор строя Природы), а не по Дарвину (борьба и вытеснение). В России ж, среди холода, сыри и пустот,— именно напрягаться надо человеку: через страдание, раздражение, зло, гнев — и так сорвать с места в путь-дорогу, на мысль, слово и дело.

Вчера встречались с индусскими литераторами в Академии литературы, и они спросили: почему это в России все рвут традицию? Урнов объяснил из революции: «Разрушим — и новый мир построим». Я предложил дополнение — из Космоса. Среди хляби и мороза тянет в берлогу, на обломовский диван. И надо разозлиться-разогреться, пофырчать, чтоб мысль и творчество из тебя пробилась и воспламенились.

...Как осуждающе смотрят в христианском храме на тебя, неумеху! А тут улыбаются, объясняют, когда спрашиваешь: что за изображение? Разлитый в Космосе Эрос дружит и существа разные, в миролюбии их со-держит. Недаром и англичанин Кип-

линг то в «Маугли» изобразил: человек принят зверьми в свою мудрую общину. В этом — встречный ход индийству, где животные (обезьяна Хануман, слон Ганеша...) приняты в антропоморфный пантеон богов и героев.

Хотя тут я рассудил по европейской логике: от человека, его в безусловно первое и ценное положив; а в Индии человек именно удостоен быть принятым в пантеон существ...

И какая добрая религия — индуизм: много божеств — как и много народу на земле. Плотное население и божественного ареала.

В храме Ганеши — варят. И не унижительно это Богу, и не надо изгонять торгующих из храма. Бог = Жизнь.

Ислам — жесток и строг. И оцениваешь его высокую абстракцию в сравнении с животным мыслящим индуизмом. Ислам изгнал тела, лица, деревья — заменил линиями и орнаментами, условными, рукотворными. Мир — ургиен, сотворен. Креатура!

Поразительна «икона»: богиня на льве. Но когда взгляделся во «льва», увидел: всякая мышца его, и глаз, и язык — из вписанных в него (как многоугольники и многогранники в эллиптический Сфайрос — ихний образ мира) прочих существ. Отвисшая в оскале нижняя челюсть — это слон с хоботом. Глаз — обезьянка, грива — змеи, нога — воин, когти — еще существа какие... Такова и сама богиня, ее текстура-плоть. Все вписаны друг во друга — и в последовательности (карма, метемпсихоз), и в одновременности: сейчас в пространстве меня обитают все существа и идеи мира. Это понимание и в «монаде» Лейбница, и у Гегеля: все во всем. Но у них это — идеи, абстракции, а в индуизме это — чувственно: я = космос, вселенная живых существ, и в себе их знаю, чувствую.

Возле храма на площади — я рано пришел — спят, просыпаются, моются, стирают, едят что-то, один бреет других. Весь мир — табор цыганский. И такие же черные и оборванные, в цветастом тряпье. Но не «цыганят»: не пристают так вьедливо. Ну да: цыгане — отряд индусов в инокобсомье, в чужом окружении, и потому там пружинны, напряжены. А эти — при себе: и на земле, и на плетеном столе-кровати, и на дереве. Вверху, с боков — везде.

«Грязь» и «нечистоты» — будто не опасны им, не «зараза». Ибо все это — тоже детали местного Космоса, элементы его пищеварения внутри себя. Приспособлены их кишки пропускать такое, отчего наши, европейские, изъязвляются.

Та же нам нагрузка и на ноздри: ароматы, вонь, курения. На площади перед Красным фортом в углу мочатся; тут же, метрах в трех, семья из девяти человек, расстелив, что-то кушает, веселы...

Ну а Дух? А нравственность — где? Спиритуальность?

Да в их улыбках, незлобивости, а не как у нас, в Европе и на Руси: спиритус — после возгонки и перегонки Бытия и Жиз-

ни через самогонный аппарат аскезы как самовоспитания: духовность — некая отличенность от модуса вивенди, от образа жизни.

Вечером продвигались мы по улице Чандни Чоук (у Красно-го форта) еле: базар, кишение невообразимой плотности, впри-тирку почти, — и все равно не задевают друг друга, не мешают.

Вон очередь к котлу: бесплатная раздача. Но наш чичероне, Валентин Пархоменко из Культурного центра, сказал, что из 800 млн. 300 живут вполне обеспеченно, а 500 — кое-как... Все ж огромна цифра нормально живущих.

А применительно к бедным такое предложу рассуждение при-миряющее: Солнце ведь они видят! Глаза есть, уши... Женщи-ну — любят. Воздух — вдыхают. Воду — пьют. Словам внимают, говорят. Какие все это абсолютные блага и дары! И они, хоть спят на тротуарах и ничего не имеют, — главное же имеют, вкушают.

...Да, гнев и озлобленность в русских спорах — это как СПЕ-ЦИЯ, необходимая приправа, перец, острота: дабы среди вялости космоса сырой земли нечто обрело огненность, энергию мысли, смысла и отточенность формы.

...На ступенях восхождения к главной мечети (Джама Мас-джид, кажется) — человек-обрубок: без рук-ног на туловище с головой.

**24.9.89.** Проснулся в Бомбее — и удивился: 6 часов уже, а темно! Это — чудеса тропиков. Мы-то привыкли: коли тепло и лето — то и солнце рано, и день велик. А тут он — одно и то же, и не качаются с такою амплитудой ночь и день, как на севере, где то одно побеждает — сильно и надолго, то другое. Тут же свет и жар равномернее.

Хотя здесь свои перемены: муссоны, их сезон — и сушь. По воде в воздухе различаются времена года, а не по морозу и свету. Теперь понимаю Агни, его значимость в Ригведе: огонь — как жар. У нас же огонь — как свет — в первочести.

Вчерашним днем я впервые снова доволен, как и поездкой в Агру: много Индии вкусили. Утром — аэропорт Дели. Перелет в Бомбей полтора часа, полупустой аэробус. Стюардессы — подобранные красотики, но сидят у себя в помещении — на по-лу. И вообще эта поза им, индусам, удобна. И, пожалуй, спра-ведливо: таз, самое тяжелое в нас, центр тяжести, спустить, приложить к земле; тогда всему остальному телу — не ощущать тяжести, а — лёгкость. В том числе и ногам. Они тогда — как крылья тоже, как и руки. И могут быть легки и тонки, тогда как у северян, сидящих на стуле, икры наливаются и ноги толсты.

Вот уже и естественно светло — и я тушу лампы.

Но и обезьяны так сидят, как и люди. Сродство очевидно, и Хануман, царь обезьян, — бог тут любимый.

Днем дали машину — и обзорную поездку по Бомбею имели. Скульптуры животных из кустарника — в саду городском: слон,

жирафа, медведь, волк, обезьяна, лев... — в такой форме выращены и подстрижены деревья и кустарники. У нас на севере зимой из снега и льда лепят-заливают фигуры животных, а тут растительность — материал-глина для скульптуры. И тоже символично: Растение служит Животному. Животное как модель — важнее. Стволы же деревьев являют такую живую мускулатуру! И — как пучки змей...

Еще из чудес природы: прилив-отлив — разница в 4 метра. Надо посмотреть. Заливает ниточку дороги к гробнице Хаджи Али. (По преданию, завещал похоронить себя в Мекке. Погрузили на корабль, но буря разбила и пригнала к острову — одному из многих, что составили затем Бомбей. И ему построили свой мавзолей: между двух мечетей.)

Rule, Britania! — вот стиль архитектуры в центре. Возвышаются мрачные готические громады из серого камня, а под ними — легкий, веселый, животный, южный народ кишит — в белом и пестром. Берет свое Космос... Но, глядя на эту толпу людей, извлеченных в город, женщин нарядных (интеллигентный и чистый тут более город, чем Дели), оценишь англичан: прибылы — и, как магнитом, извлекли люд из лесов-джунглей — на тротуары.

ЦАРЬ-ЖЕНЩИНА. На аэрополе в Бомбее взгляд упал на крупную молодую женщину в зеленом сари, с обнажением пояса, шеи и рук; полное тело несет легко, мощные высокие бедра проступают под сари. Встречает кого-то, экскурсию?.. Сама Индия — обильная — в ней. Таких и во храмах богинь скульптуры: Дурга, Лакшми, Парвати — полнотелые, крупные, улыбающиеся... Я, как магнитом притянутый, норовил обойти, еще с одного бока-ракурса заглянуть на это изобилие женщины.

А Город — лес из торговли: по аркадам и улицам — как по аллеям, дорогам в лес. И — заблудились. Не туда вышли. Морет-то с обеих сторон Бомбея как полуострова. Но зато лишних два часа походили, что мне и надо — для ощущения пространства, его впитать.

И — впитал. Заметил, что к вечеру (хотя ели в 3 часа в китайском ресторане: сингапурское блюдо я заказал — оказалось спагетти из рисовой лапши с кусочками мяса, перцем, креветками и специями — много навалили) ни есть, ни пить не хотелось, хотя много ходили. Сам воздух тепло-влажный поит тут и кормит энергией, и потому мало корму надо индусам, чтобы жить.

И тут спят на тротуарах, как и собаки, — мирно протянуты, расслаблены.

В магазинном азарте зашли в гостиницу Тадж Махал — из белого мрамора. Наша роскошна (Амбассадор), а эта — еще лучше: бассейн внутри. Но и валяющийся рядом среди нечистот в своем тряпье мирно спит человек. Ему тоже так можно, и никто не мешает (полиция, приличия, порядок...).

— Тут каждый может, как хочет и может, — Урнов заме-

тил, — и не приводят к единому знаменателю, виду и приличию, как в Европе.

— Но и социальной зависти нет, — я тут. — Не считает спящий на набережной, что ему положено вселиться в номер Амбассадора и за ужин съесть годовой доход бедной семьи (400 рупий).

Когда шли по городу, словно воздушные сферы собою пронизывали: то слой миазмов и вони, будто выкупались в них; потом — сухой воздух проспекта и дезинфекция огнем выхлопных газов. А еще город очищается ливнями муссонов: ураган, наводнение смывает нечистоты и трущобы и уносит в Океан (рассказывал встречавший нас Юрий из советского тут консульства).

Однако уж 7.20. Пора на выход.

Съем-ка банан. Вот пугают: не есть, что местные едят. И вообще европеец здесь огражден своим космосом — с эйр-кондишн: прохлада и в номере, и в машине, в ресторанах. А на улице — жара.

— Тут наоборот, — Урнов заметил. — У нас в домходишь — в тепло, с улицы, с морозу-холоду, а здесь на улицу — как в баню.

Урнов, много ездивший по миру, верно понимает свою задачу:

— Мы ездим, а домашние сидят. Так что на нас долг — им компенсировать, привезти что...

И я вслед за ним купил кожаное пальто Светлане large-size за 1150 рупий. Еще жемчужные ожерелья и набор в коробке (на уши, перстень и на серебряной цепочке что-то) — за 1000 с чем-то<sup>1</sup>. А дали нам на 21 день всего 5500 рупий — больше месячной зарплаты профессора. Правда, если есть в гостиницах, в ресторанах, один обед — 100—150 рупий. А уличную дешевую пищу, что они жарят и продают, нам есть-пить нельзя. Тут, кстати, малярийные места.

5 ч. Седею и желтею тут. Взглянул в зеркало — ба! Столько седины на космах — от жары, что ли, черепушка выцветает? А лицо — желтовато становится. Эта Индия — опасный космос северянам.

Ездили на остров Элефанту с пещерой Шиве. На рейде Бомбея огромное количество судов: ждут причала. Вода грязная, так что искупаться в Индийском океане не удастся. Думал: у острова Элефанты пляж будет — куда там! Ил — из-за отлива днем: даже прогулочный катерок не мог пристать — пересаживались на лодку. Метра на 4, говорят, на полтора этажа дома, — разница прилива-отлива. Это заметно по катеру, что у причала острова на киле стоял, а ночью — всплывает.

Все ж — дыхание Океана, его следы.

На острове горы и перевал на южную сторону: сразу иная

---

18.8.90. И ругали же меня: надо было КАМНИ везти! А пальто все равно мало оказалось...

растительность — жгучая, пышная, душная. Как Земля обороняется от испепеляющего Солнца, Сурьи! Выбрасывает ему навстречу картечь зонтичных шатров — непроницаемость листьев.

Теперь и таитянок Гогена понимаю — их коровье спокойные глаза, лица, позы. Юг-зной располагает к лени.

На палубе индианка с парнем. Блестят белые зубы в вагине губ. Так и вижу: ИНДИАНКА = ЖЕМЧУЖИНА В РАКОВИНЕ тела. Рот — это она в миниатюре: за губами — жемчуг зуб[ов]. Как и вообще рот = микрокосм: Небо = небо, зубы = земля, губы = вода (волна), язык = огонь...

А деревья наступают на Океан: в отлив, днем, вода отступает, и корням и земле подается жар солнца. А ночью — полив: деревья погружаются до кроны в воду.

25.9.89. Вечером вышли на набережную, и пожилой интеллигентный индус разговорился со мной, с нами. Повел нас вперед на место фестиваля, по пути рассказывая. Я спросил: как поступают с телами умерших? — и он привел к крематорию.

— Вот слева — богатые мусульмане, на 200 лет закупают место, а бедные — на 6. Их хоронят в землю. Также в землю младенцев-индусов — на 6 месяцев. (По истечении срока в это место можно другого захоранивать.) Вон видите: завёрнут на руках у отца. Его заруют. А остальных — сжигают. Видите — склады дров. Одновременно сжигают 12 трупов. Пойдемте покажу.

И он повел вглубь, где под открытым небом за оградой по обе стороны аллеи горят жарко костры.

— Вот тазовая кость в огне, как череп. А это сидит семья, ждет, когда сгорит их человек, и соберут пепел. Потом развеют над Гангом. А когда сжигали Индиру Ганди, 800 тонн сандалового дерева положили в костер.

По пути к местам сожжения показывал изображения бо-жеств; потом подвел к баньяновому дереву в конце территории, в углу, и показал серебряные ленточки.

— Их матери умерших младенцев вешают, чтобы родить нового на протяжении 3 лет. А когда родят — приходят, забирают, благодарят.

Тут подошел смотритель, которого он у входа представил как человека из общества Матери Терезы, и тот попросил написать на листке мое имя и страну. Я написал. Потом он подвел отца, только что похоронившего младенца, и сказал подать ему: он бедный. Я полез в карман, вытащил 10 рупий, дал. Тот просто возмутился:

— Тут перед вами француз 500 рупий дал!

— Да мы сами мало имеем.

Потом у выхода наш гид ко мне:

— Ну хоть 5 рупий мне дадите?

Я дал. Он-то заслужил.

— А где же место, где сейчас фестиваль будет? — я его спросил. Но он сказал, что устал и чтобы мы сами возвраща-

лись через мост. Мои спутники надо мной смеялись, но я все равно благодарен этому человеку.

— Он явно обедневший интеллигент, все объяснял верно и на хорошем английском.

— Это да, тут это не часто.

— Я бы вообще нанял его поводить по храмам, рупий 20, а то и 50 бы заплатил.

Но каково! Угодили вместо фестиваля, про который тот говорил, что такой лишь раз в году бывает (его, видно, и не было тут нигде: это он заманивал), — на кладбище! Но это-то и ценнее фестиваля всякого.

— Как Гамлет к могильщикам, — Урнову говорю.

В 10 вечера я снова вышел из гостиницы в город — и уже улеглись спать на улицах, площадях, на тряпье, на газетах и просто так, голые... Так мирно, мило, милосердно, доверчиво к городу и миру. Вот возле ларька на стуле, табурете и кресле плетеном спит хозяин, сняв туфли: не возьмут. Лужайка за фонтаном Флоры в центре города оцеплена колючей проволокой, а то бы всю ее заселили таборы... Палатка — это уже роскошь; а так — накидка. Детки в массе какие-то очень маленькие: такие у нас младенцы, а здесь им уж по два-три годика. И матери их сухие женщины.

Вчера в газете разглядывал я целый лист зазываний невесты, жениха. И во многих выражают пожелание, чтобы невеста была крупной женщиной. При этом хотят, чтобы той же религии (сикх, католик, мусульманин, джайн...) и касты. Хотя в некоторых: Caste по баг — «каста — не препятствие» — не имеет значения.

Так что национальный идеал женщины тут — чтоб была обильна, как Природа Индии. И все божества женские излучают пышную прелесть.

Среди куч орехов кокосовых, скорлуп и отбросов бродят крысы крупные. У входа в пригородный вокзал уселась кружком и вольно семейка человек в 8 и что-то покусывают, веселятся.

А как укрывают своих женщин на тротуаре: или в середину семьи кладут, а по бокам ее детки, или вон муж с женой рядом...

На острове Элефанта прыгали обезьяны, и вот одна — как препоясана португеей. Пригляделся — да это же сосунок к ней снизу, повиснув, прицепился ручками.

А ну-ка попробую сесть на пол в позу их... Однако понижаются вьсь головы.

Но какие благообразные лица у высших, у интеллигентных индусов! Как божества. Даже ревность и раздражение вызвало вчера во мне лицо писателя Шахида Надима — аж страничку из газеты вырвал себе как памятку и образец. Какая правильность крупных губ, носа, округлость лица!

2 ч. 20 мин. Понял Бхагавадгиту! Когда мы бездарно

ждали у банка, пока Урнов сменяет наши чеки, и ездили от банка к банку, а я рвался в храм джайнов смотреть и переживал, что так глупо проходят уже два часа и скоро обед,— вдруг я взвидел все не от себя, а извне себя: ведь все это ПРОИСХОДИТ! Так живет Реальность: вот она — в толчее людей, в небе, в магазинах, в нас переминающихся — ОНА полностью ЕСТЬ ВСЯ целиком; а ты откажись от узенькой своей будто хорошей тебе линии и воспринимай и себя как часть повсюду (и в «абсурде» сего утра) присутствующей Реальности.

б ч. Бежала девочка возле нас, далеко сопровождала, выпрашивая, показывая жестом ротик и пузико. Я не выдержал — вынул монету. И при этом заметил: ручки-то у нее в браслетах нескольких слов: красненькие, как кораллы, зелененькие, как бирюза, и проч. Наверное, дешевенькие, но они — есть!.. Еще Афанасий Никитин удивлялся, что бедные индусы голы, а украшения на шее, груди, руках, ногах — носят. Магическая, верно, их роль.

Ездили по храмам. Последний, индуистский (Лакшми, кажется, посвящен), на берегу моря. Какой приветливый квартал, какая спокойная религия жизни — индуизм! Без надрывов, без аскезы. Тянутся ряды лавок, где гирлянды цветов, лотос в воде, орехи кокосовые продают. Грядет неделя большого праздника. На прилавках восседают полные молодые женщины в позе полулота, небрежно-изящной, и продают — не мелочась, не зазывая голосом, но с достоинством глядя — не на тебя даже, а так, в мир...

В храме джайнистском объяснял один молодой-худой — о 25 богах, о житии Махавиры: рождество, проповедь...— сюжеты как из жизни Христа — иконами на стенах рассказаны. Спросил я его:

— А почему Вы выбрали именно эту религию?

Он удивился вопросу, пожал плечами:

— Родители так. И их родители. Я продолжаю.

Религию не выбирают здесь. Для того надо себя личностью зачувствовать, усомниться, начать судить, на себя оперевшись.

Но так ведь и Будда, и их Махавира — начальники веры — поступали: выбрали, создали новое, отвергнув индуизм животный.

Однако и в джайнизме — те же любимые божества: Ганеша, Хануман, Лакшми — кружатся. Только теперь — вокруг Махавиры. И непременно это в Индии. Ибо что это за религия будет без Человеко-Слона Ганеши, без Человеко-Обезьяны Ханумана? Так нежно на них показывал нас сопровождавший, называя «Хани!..»

И буддизм, посягнув на народные верования, был вытеснен. Но в Японии, Китае, Тибете, куда переселился буддизм, и он оброс множеством местных живоотно-телесных божеств: Авалокитешвара и др.

26.9.89. Тяжелый сон в Бомбее. Мне снилось, что Светлана —

не «изменила», а хуже: разлюбила и сосредоточенно и серьезно перешла к другому. И этот человек — Меньшутин Андрей, нам устроивший крещение (в 72-м году — 19.8.90). Когда проснулся, вспомнил, что он умер — лет 10 назад. Но во сне он весел, деятелен, русский мужчина, и я перед ним стушевался. И они едут даже в деревню «мою», и он что-то там строит, и она с ним.

А ко мне — серьезной букой Светлана: насупясь, даже не смотрит.

А вышло — по беспечности: весело заикнулся я, что так гладко у нас стало, и сам навел и подсказал — и привел в дом. А и Светлана будто проснулась от оцепенения со мной — все в ней заиграло.

Впервые такой сон: об «измене» — за 23 года наши...

Ну ладно — к Бомбею!

Вечером заехал Юрий из консульства: обещал свозить в бассейн. И вот — на берегу океана устроено озеро из морской воды (есть и крытый бассейн, где — когда муссоны) — для избранной публики, КЛУБ, как английский, куда принимают на особой лужайке, с ритуалом, только европейцев и дипломатов; вступительный взнос — 4 тыс. рупий и за год — 3 тыс. Так как он еще жену и дочь записал, то ему в год — 10 тыс. Индусу, хоть богачу, не попасть, редко кто бешеные деньги на взнос — 100 тыс.

Итак, считай: искупался в Индийском океане. Вода солености сильной — сразу глаза почувствовали. И очень теплая — даже размаривает.

По бокам бассейна под открытым небом — лужайки, трава, шезлонги, теннис, волейбол, ресторан — как свой курорт устроен за оградой... Ну и неформальные общения тут дипломатов... А этот маленький Юрий, поначалу простеньким показавшийся, весьма остер оказался и умен.

Повез нас потом, по моей просьбе, на Lady-street, где проститутки — двумя рядами: портовый же город! Самых разных пород: из Малайзии, кореянки и проч. — привозят, продают; индианки разные. Сутенеры стаями сидят-торчат. Шумно, весело, светло.

— Остановите где-нибудь машину, а мы пройдемся, — это я прошу.

— Машина с дипломатическим номером, нельзя.

— Какие красотики, смотри! — Урнов восклицает.

— Я думал: у индианок этого не должно быть, — Гунтис.

— Почему? — я. — И храмовые жрицы были. И вообще в Индии мягки к телу, как и ко всему; нет европейского ханжества и отлучения.

Но вообще — ослепительно густая, чужая жизнь. И себя инопланетянином чувствуешь, не причастным.

Лишь в Духе — все родное, понятное. Вот Бхагавадгиту читаю: в номере лежит, рядом с Библией. Не украсть ли? Ведь заинтересованы в распространении. Издана миссионерским об-

ществом not for sale — «не для продажи». Но шикарное издание, а в магазинах издание попроще стоит 100 и больше...

Город — лес лавок, товаров. Как деревья, да и чаще, — лавочки, лотки, люди. Дивлюсь: не видно производств. Где же это все создается, откуда? Кажется, что откуда ни возьмись все это готовое на рынок бесконечный — слетает? выползает?..

Сопровождавший нас индус, интеллигентный клерк из Университета, получает 4 тыс. в месяц; у него жена, ребенок, ездит на работу целый час на электричке. И не выезжал из Бомбея никуда, даже в Дели... А мы-то! Шастаем! Привилегированные...

Плотна жизнь, но плотна и работа тут: трудись, вертись... Не то, что у нас, где и жизнь разреженна, как и пространство, а и работа — «делать НИЧЕГО» (как про русско-советский труд сформулировал эстонский поэт и философ Уку Мазинг, когда мы с индологом Пятигорским А. М. к нему домой в Тарту в 1964 году заходили. — 19.8.90).

Однако позавтракаю. Купил кипятыльник за 20 рупий позавчера на острове Элефанта (советские моряки многое тут индусам привозят — вплоть до сигарет советских марок) — вдоль лестницы на лотках. И в первый же вечер поставил стакан на мрамор в туалете — и испортил его: желтое пятно образовалось. Позор! И — «жадность фраера губит» — еще счет предъявят на все мои оставшиеся 2 тысячи. Вот и сэкономил ты!..

Однако вчера — ничего. Уборщик убрал, но никто не позвал к ответу. Хотя тут это не так будет сделано, а под конец — расчет. Вежливо...

Но почему-то успокоился я. И сейчас себе чай сделаю. Уж за вечер и утро кипятыльник окупился: чай стоит 10 рупий чашка!..

**27.9.89.** Вчера утром вышел побродить. Просыпался торговый стан, отгороженный от улицы тряпьем и полиэтиленом. Ряды лавок на колесах. Внутри товар, сверху закрыт, и крышка образует поверхность-ложе, на котором спят целой семьей: готовят еду, живут; еще и занавесясь если — целый «дом» масштаба палатки образуют. Такие — уже «средний класс». Обступили меня несколько человек, говорили. Один — индус с юга (там его семья), другой — мусульманин, третий — католик с комнатой в Бомбее. Веселы.

Вошел во вкус go shopping (покупок): это же приключения, авантюра — разглядываешь как диковинные цветы товаров — в лесу, в аллеях лавок. Вот сумку — себе, Светлане? — кожаную: продавали за 225 — сторговал за 180 (а можно было б и дешевле: надо уходить — тогда они вцепляются: «А сколько дашь?.. Ладно, бери!»).

Несколько бестселлеров по 10 рупий: про sex, «Как преуспеть в бизнесе» Карнеги, «Как иметь хорошее настроение», «Язык тела»... Используют религиозные рецепты: чувствовать себя счастливым — хорошо для удачи в делах; но еще удачнее дело пойдет, если настроишься сделать счастливым — другого.

Потом повезли в Музей Принца Уэльского. Разнообразная

коллекция. Змей я разглядывал и читал, как яд выпускают. (Перепечатаывая сейчас ту прошлогоднюю тетрадь, вижу: большой тут материал для психоанализа моей персоны: чем интересуюсь и какие фобии? Ну что ж: прятать не стану — это входит в правила моей писательской игры: в «жизнемысли» и «привлеченное мышление»: с внесением субъекта в объект.— 18.9.90.) Зубы их малы и не в состоянии с зубами хищников состязаться, так что их оружие — скорость: вонзание зуба, впрыскивание яда и его мгновенное действие. То есть бьют сжатым Временем, как сгущенным газом, пневматическим молотком.

Среди статуй — веселящаяся танцующая богиня с круглым блаженным лицом. Буду ее вспоминать, когда надо улыбку вызвать в душе и радостное приятие всего. Подошел записать ее имя: Mahishasuramardini (11—12 век н. э.).

Обедать не успевал: вскипятил чаю, да банана два с хлебом. Повезли «работать» — в Университет Бомбея в Центр советских исследований. Набрали человек 12—15 на беседу. Женщина, что преподает советскую систему по советским книжкам; коммунисты... Народ наивный... Доверчивые глаза. Не понимают обмана. Индусы — не хитрые, не ловчат. Отчего?

Вечером русские женщины, жены пришли в Советский культурный центр нас слушать, и после я их спросил: что они в индусах заметили? Они согласились: что покой душевный, даже в нищем состоянии.

— Может, это — от инкарнации? — одна дама.— Они верят, что это существование — не последнее, есть шанс наперед, а пока твоя жизнь — звено твоей кармы, так что ты спокойно осуществляй положенный сейчас отрезок существования по его законам и не рвись менять.

Я говорил, призывал, чтобы учились у Индии. А то они тут выставку Советской Туркмении по лучшим образцам советской пропагандистской ЛАЖИ устроили. Ловить дурачков-простаков на будто идеал страны советов... Спросил я Юрия: какова установка в работе Культурного центра — научиться чему у индусов или учить их нашему? И конечно — последнее: пропаганда. И на это, уже бессмысленное дело тратятся такие силы!

— А поучиться чему,— он,— это уж необязательно, факультативно, от себя, если кто захочет. Вот врачи их, натуральная медицина, психотерапия, йога — полезны.

— То есть, гуманизм: служба телу, душе, духу. Но тут коэффициент переводимости надо иметь в виду: что хорошо им на Юге — то не пойдет у нас на Севере.

Говорил Юрий, что из 3 млрд. наших закупок потребительских товаров за рубежом («Так мало!» — воскликнул я) 1 млрд., треть — на Индию приходится. Могли бы и больше, да вывезти не можем.

— А морем?

— Флот наш на годы вперед зафрахтован: валюту привозит.

— Да, через Гималаи поездом не вывезешь.

— Самолеты гоняют.

— Так дороже выходит, чем в Европе купить, в итоге-то!

Ну, пора чай ставить. Включил радио — вездесущий Штраус-венский вальс зазвучал в Бомбее.

**28.9.89. КАЛЬКУТТА** — морось и грязь. Вчера прилетели, и долго нас везли по тепло-жидким улочкам. Муссон не муссон, а так, остаточек дождливого сезона и нам достался.

— А когда муссон,— сказал нас встречавший,— не успевает дворник стекло машины счищать.

В гостиницу вселили старинную, когда-то роскошную, но в ней влажный воздух, как в человеческом хлеву, от многих и многаяжды здесь живших, потевших и вонявших, сразу в ноздри безгрязливо ударил.

О, Бомбей — сух, чист и благороден! Там можно бы жить: цивилизованный перекресток между Западом и Востоком, где восточные и южные подтянуты под западную чистоту, деловитость и воспитанность. А и концерты, театры, все мировые светила там выступают (как Юрий говорил).

Эх, забыл в сетке сиденья самолета Оксфордский мини-словарик. Так был удобен! Ведь знаешь, что забываешь, и надо себе не верить, еще раз проверить,— так нет же, пошел!

— Но зачем огорчаться? Потеря — тоже событие Бытия, а ты в нем будь равный в счастье и страдании: они ж — в тебе как Бытии!

— Но ведь можно огорчаться тоже: и оно — элемент Бытия: чувство малого «я» как его. Но одновременно и не чувствуй — будучи растворенным в высшем «Я», в Self Реальности.

Потому глаза Шивы полуоткрыты: и здесь, и не здесь...

Это я читаю книжку про символизм божеств и ритуалов индуизма, полезную очень. К стати, там удивило: Вишну — синий цветом (как небо-океан, цвет Высшей Реальности) одет в желтое, цвет земли. Желтый=цвет земли! У нас — черный. Хотя и — бурый. Но здесь — красно-желтый=огненная земля, просковленная богом Агни.

В самолете с Урновым говорили о людях поколения отцов, выживших в огне: Храпченко, Эльсберг, Ермилов...

— Это же индивидуальности, эстетические персонажи, перекрученные, со многими днами и слоями,— говорю.— Агенты реальности. Божьи орудия. И в своей подлости — богаче, как художественные персонажи, нежели просто прямо честные и нравственные, прошедшие ту эпоху. Таких она пережигала или переламывала и перекручивала — в эстетическую сложность.

Смешно! Потерял словарик — жалеешь! Но ведь стянул Бхагавадгиту, роскошное издание, из Амбасадора, отеля в Бомбее. Приобретение! (В недавние времена это я бы брал на себя риск провоза религиозной книги в Советский Союз.) Да и вся поездка в Индию — разве тебе не подарок, не приобретение?.. А номер в Амбасадоре стоил 1200 рупий в сутки — как кожаное пальто Светлане.

Да, оказывается, это — национализированная гостиница: социализм тут — и сразу грязь и служители в сером, как тени, крысы, спуют, унылые. А там были гостиницы частных компаний.

Выйдешь из отеля — нельзя встать, посмотреть, остановить взгляд: тут же человек липнет, предлагает услугу иль зазывает к чему. Космос ими присасывается, чтобы отсосать твоё здоровье, свежесть, силу, бодрость, деньги — и растворить...

6 ч. В Калькутском университете готовлюсь к выступлению. Мы — разные. Население. Простор. Завоевания.

Пары: Индия — Англия — терпимость, плюрализм.

Россия — Германия — или-или.

Внутренний покой — и зуд раздражения.

СССР — ценность негативного опыта.

**30.9.89.** Улицы Индии, особенно Калькутты, — как ОБЩИЙ ВАГОН, где везде приткнулись жить, спать, варить и играть: и на боковых полках, и на третьих, и на полу, и все проходы забиты, — и тем не менее ходят — и не дают... Виртуозно лавируют в кишашем пространстве и машины среди себе подобных рикш и скутеров на трех колесах и среди коров и лежащих людей.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАУЧЕНИЕ получил от рикш. Вот, мол, унизительно: человеку человека возить бегом! — «наши» так считают. Да зато человек имеет свою малую работу: повозку или себя, свое тело, — как орудие производства на себя, не спросясь, — сам себя кормит и семью; мало, но жить можно. И такой труд нужен по улочкам и проходам, где машине не проехать, и в толчее людской, среди Броунова движения, так быстрее продвигаться.

Гений Индии — на малой (сравнительно) территории дать возможность огромному населению жить — и радоваться. Хоть нищие — а живут, солнце видят, семьи имеют... А если болезни уносят жизни или наводнения, — то это естественная саморегуляция от Бытия, от Природы. А что, лучше, что ли, искусственные регуляции: из войн, революций, аборт? Убийством человеков человеками? И что лучше: на просторе жить малому количеству людей (как в США) или скученно, но многому: в терпимости, веселости, не обижая друг друга? А в России: среди таких-то просторов еще и самоуничтожением людишек заниматься! В СССР же — история по теории, искусственное развитие...

«СПЕЦХРАН». В национальной библиотеке в Калькутте директор Гупта показал запрещенные в Индии книги: пересказ «Рамаяны» (Меноном?... ) индийцем, живущим в Штатах, который считается кошунственным (фривольно там о Раме...), и пакистанскую книгу о Кашмире, который Индия будто бы узурпировала. Так что и здесь тоже есть «спецхран», свой...

...Космос липнет человечками, шупальцами их к тебе протягивается, услуги предлагающими, — и как бы втягивает тебя ими

Бытие в свою перистальтику кишок, хотя всосать и переварить. Потому — не поддаваться, оставаться жестким и отделенным, трансцендентным. Так и держались англичане. И их постройки в Бомбее и здесь — принципиально антикосмосны: серые, суровые, готические, холодные, отчужденные, закрытые, застегнутые. Как джентльмены. Потому Киплинг, кто здесь родился и вырос, понимал непереходимость: что «Запад есть Запад, Восток есть Восток — и вместе им не сойтись». Так и гостиницы с condition: Север на Юг герметически ввезен. Как подводная лодка в Океане чужекосмосья.

Кстати, об Англии рассказывал Урнов: как с русскими лошадьми и жокеями ездил туда в 1963-м году. Русские удивлялись, что собаки не лают, и пытались их дразнить. Но те взглянут — и идут мимо спокойно, не реагируют.

— И дог тут джентльмен, self-made,— говорю,— воспитанность...

— Были мы в провинции, и наши, глядя на чистенькие домики и садики, не могли представить, что в них живут: казались декорациями. Жизнь, по-нашему, есть грязь: отбросы должны быть и проч. Там, как и в Средней Европе, ни одного камушка не осталось, естественно лежащего, но он ПОЛОЖЕН, КАК БЫ естественно...

Вот «-ургия» подлезла под «-гонию» — в моих терминах если...

ЦЫГАН. Урнов продолжал рассказ об Англии:

— К нам стал один цыган, боксер, приходит: интеллигентный, возил нас на машине, сам не пил, состоятелен. Но англичане удивлялись, что мы с ним явшаемся: «Он же цыган!» — «Ну и что? — говорили мы.— Человек же хороший». — «Но он же цыган!» — снова они повторяли.

— Вот снобизм, перегородки, не хотят понимать другого, не могут! — я тут.

— Слушай дальше. Он стал приценяться к лошадям, их купить. Мы говорим, что сами не можем, но в Лондоне есть Английское агентство, там миссис, ей позвонить можно за счет того, кому звонишь. Телефонистке называешь свою фамилию, фамилию того, кому звонишь, и что за его счет. И вот цыган взял у меня номер телефона и позвонил по автомату, говорил минут 40, выяснял; я волновался: какой счет огромный! Он кончил говорить, и тут надо объявить телефонистке о конце разговора, а он бросил трубку и говорит: «А теперь — бежим!» — «Как так „бежим“?» Но он убежал, я остался. Телефон в ярости трезвонит. Я выждал 2 минуты и взял трубку. Телефонистка: «Вы — такой-то?» (Цыган назвал чью-то фамилию.) — «Нет, я Смит. Проходил — мне надо звонить». Та возмущалась... Так что цыган есть цыган. В крови это — надуть. Хоть и образован.

— И это-то и чуяли англичане: свою меру и закон каждого вида. «Цыган есть цыган», «Восток есть Восток» — логика несводимости в отличие от: «Цыган есть человек», «Сократ есть

человек» — логика эллинская, трансцендирующая. А тут, в Англии,— плюрализм начал, каждый — свое начало, *causa Sui, selfmade essence...*

**1.10.89.** Сяду-ка по-индийски: на полу у окна, ближе к свету — и запишу. А то коли утром не запишешь, потом не выйдет.

Вчера занимался нами Гупта из Национальной библиотеки. Возил в Ботанический сад, где смотрели *Banyan-tree* (баньяновое дерево): 400 м в окружности, 1850 стволов-ветвей. Целый храм и город. Символ Индии: живой политеизм, каждому существу — по своей Дхарме=вертикали в небо; и все божества переливаются субстанцией Единого, Реальности, как все ветви=стволы=аватары, воплощения=переселения Единого первого. Причем первый ствол сгнил, а истекшие из него живут и плодятся.

Гунтис Валуев, латыш, тоже усмотрел в этом прообраз Индии, но уже с политической точки: Индия как государство — множественное единство.

Лотоса цветы (в воде прудов их видели) превращаются в плавающие корзинки, как подносы-тарелки; на них можно ребенку сидеть-плавать. И божества сидящими на лотосе изображают... Правда, Гупта объяснил, что то — Американский лотос: это у него большие цветы с бортами, как плавающие тарелки; индийский лотос меньше.

С моста глядели на Хугли-ривер, рукав Ганга, величиной с Дунай иль Волгу. С берегов уже входили на священное омовение прямо в одеждах. Сейчас назревает «Пуджа» — праздник Дурги, богини изобилия и удачи, патронессы Калькутты. Сооружаются из бамбука временные храмы.

Гупта возил обедать в Английский клуб: огромная заповедная территория с зеленым полем для гольфа, подстриженная трава, английский себе пейзаж устроили среди джунглей. Там и лошади, и скачки, и бассейн. Обедали на веранде дома клуба, построенного еще 200 лет назад губернатором Гастингсом. (Процесс был над ним в Англии за присвоения в Индии: дворцы себе построил; в одном из них ныне — читальный зал Национальной библиотеки, и в отделе редких книг Гупта показывал том — суд над Гастингсом, издание 1801 года.)

Будто в мягком северном пейзаже Англии мы побывали. Создали себе, огородили субстанцию родную, чтобы здесь жить им было можно, продохнуть, отодвинуть наползающий отовсюду — джунглями, змеями, птицами, москитами, индийцами бедными, просящими — Космос; дворцы, дома — их. А улицы — индийцев.

— Тут революция уже произошла,— говорю спутникам. — Улицы и площади залиты и заняты народом: там живут, спят, готовят пищу — вечный бивуак и табор. И никто их не гонит.

— Согнать некуда.

— И вот мирное сосуществование разного: дворцов и хижин, богатей и бедных,— и не надо перемешивать все в революции

и равенстве. Так лучше (раздельно) и больше народу, органичнее все живут, своим устройством.

Гупта — человек интересный, энтузиаст-библиофил, сам выучил русский язык и говорит наилучше из индийцев, с кем мы встречались. Собрал упоминания о Ленине в местных газетах за какие-то годы. То же — о Толстом, Рерихе. Урнов предлагает издать у нас. Но можно предвидеть: все будут одно и то же говорить, и может получиться скучная монотонь, книга — как пещера тысячи будд (заметок на одно лицо)... Но человек — радостный, округлый.

— Беспроblemны индийские души, — думаю. — Какая-то априорная благообразная устроенность и гармония. Потому тут им близок Толстой и чужд Достоевский. И русский надрыв... И в библиотеке и библиографии: море о Толстом и лишь единичное — о Достоевском.

Красавец благоуханный — Рабиндранат Тагор. Пышный, как Рама и Кришна. Гупта рассказал, что Тагор, будучи студентом, продавал посмотрение на свою внешность — так был красив. (Это в полушутку-полусерьез делал: сам-то он из тысячелетнего рода просвещенных властителей, или брахманов... Еще прапрадеды его что-то строили и просвещали...)

Примираюсь уже с индийскими улицами. Перестаю бояться. Выйду вечером. А то уж второй вечер засаживаемся с Урновым у меня в номере чай распивать и телевизор смотреть. Всякие видеофильмы тут ставят в отеле. Вчера смотрели один вестерн. Потасовки...

Это как балет: фигуры, па... и нужно срежиссировать варианты из клишеобразных фигур. И когда так себе понял, уже любопытнее и понятнее стало смотреть эти драки коллективные — как кордебалет: все эти швыряния через окна, разбивания винных стоек в баре, столы на голову и т. п. Вообще понравилось несерьезное.

— Перестать мучить ум серьезностью, — Урнову говорю, — как хорошо! Кстати и фильм-спектакль по пьесе Уайльда «Как важно быть серьезным» пришелся. Прелестные английские типы: беленькие юноши и мисс. Тут, на фоне жгуче черных-то...

**2.10.89.** Последние полдня предстоят в Калькутте. Вчера в зоопарке два сильных впечатления. Глядел на спящих в полдень тигров и львов, на медведя пузом вверх — и удивился, какие частые вдохи-выдохи совершают эти большие тела! Раза в три-четыре чаще человеческого дыхания. Или это тут, в тропиках?.. Теперь понятнее задержка дыхания в йоге: антиживотный вектор человека, в чистый воз-Дух — туда выход.

И — чудо Жирафы. Когда подходили к вольеру и увидел возвышенную недвижимую фигуру, подумал на миг, что это — статуя. Но подошли — живая! На 4—5 метров высоты. Шея — как нога, элегантная и гибкая, King-size (как нога Светланы. — 23.8.90...). И вот они вышли: Она, Он и «малыш»-подросток, метра 3,5 во росте — и я ощутил свое недостоинство, пигмея-

человека, перед этой возвышенной продолговатостью (в отличие от лежачей продолговатости змеи) и красотой. А круп, а нога, а бедро! Femina! И когда Урнов вечером рассказывал (после моего похода на ориентировочную Lady-street, где вдруг погас свет, и ни одной так и не видел...), как трудно было английским солдатам без женщин, так что один совокупился со священной короной, чем вызвал гнев туземцев и его судили, причем адвокат начал речь так: «Моя подзащитная мирно жевала травку на пастбище...» (впрочем, оказалось, что она «давала» из своего рода самцам разным, так что корова была — баядера...), — я сказал, что совокупился бы с жирафой.

— Да, но как дотянулся бы до нее? — резонно заметил Гунтис.

И когда жирафы оттянулись из открытого вольера под сень своего дома, я через щель в стене глядел на возвышенные стройные бедра — как отрок в дырку подглядывает за голыми женщинами на пляже.

Ездили еще в храм Кали. Но храм был закрыт. Продавали изображения богини. В ожерелье из мужских голов, многорукая, черной рекой волосы, синеватое лицо... Страшна! Испугался покупать: везти Смерть с собой и в нее вглядываться. А — яркое изображение...

Надо танцующего Шиву купить — вот символ Индии. Много-рукий Шива в колесе — да это ж свастика: 

Или такую фигуру принять за характерную схему-модель Индийского Космоса:  <sup>2</sup>? Это как глаз. И круг, и животные формы. Нет прямых линий. Тут и Двоица, и Эрос... Свастика жестка, не годится. А тут — и динамика (вихрь, вращение) и статика, равновесие. Причем полусферы — по вертикали. И форма — сперматозоидов вокруг яйца. Их танец и обволакивание. И, конечно, =гонимый образ. А еще лучше — Ганеша: и хобот=ступа Будды вниз...

**3.10.89.** Дописываю про Индию уже в Москве. Холодища! 2 градуса ниже нуля в аэропорте, а в Дели — 37 жары! Зябну тут.

Когда летели из Калькутты в Дели вчера, я оказался у окна и глядел Космос Индии. Облака как храмы стояли, высеченные из гор. Вертикально. В них тоже — прообраз индийской архитектуры.

Нет (не акцентируется) чувства собственного достоинства в индусе; а как пружинен, горд европеец; вызывающ чувствительный и обидчивый на этот счет русский... Хорош Гупта — как радовался оказать нам услугу! Два дня с нами возился бескорыстно, кормил в изысканном клубе. И — простодушно, не заметил в нем затаенного...

---

<sup>2</sup> Ред.: А это китайская модель «инь—ян»!

Главное впечатление: в Индии люди не ропщут, но довольны своим жребием — потому что любое состояние освящено высоким смыслом. И вот нищий, спящий на тротуаре, может быть брахман-отшельник, в стадии санньясина, перешедшего мир и его поток. Так что незачем смешивать состояния-сословия и добиваться равенства.

...Зябкость, сонливость. Уныло входить в свою шкуру, в московскую свою рамку и ляжку.

## Указатель предметов и образов

- Абсолют 231, 262, 351—352  
Абстракция 150  
Авидья 298  
Ад 287, 305—311, 336  
Активизм 144  
Альбинос 151  
Америка 145, 149, 158  
Анализ 289  
Ангелы 306  
Англия 122, 148, 158, 180, 376  
Антенна 301  
Ангивремя 105  
Антимир 90, 305  
Антиномия 169, 179, 192  
Анти-Фауст 230  
Антихрист 151, 160  
Априоризм 169  
Аромат 207  
Артха 205, 259, 289  
Архат 107  
Асана 70—72  
Аскетизм 128, 270, 294, 315, 317  
Атеизм 86  
Атом 246, 275  
Аханкара 30, 193  
Ахинса, см. Недеяние  
Ашрамы 259
- Баба 204  
Бабые царство 99  
Базис 201  
Баянс 121, 143, 179  
Балет 378  
Бедра 205  
Безветрие 230, 324—325  
Бездарность 253  
Безобразия 209, 261, 299  
Белый 44, 145, 236, 303  
Береза 165  
Беседа застольная 97  
Бесконечность 174  
Беспамятство 247  
Бесформенность 303  
Бесы 299, 306, 326  
Бетховен 164  
Би-образ 242  
Благообразие 369, 378  
Блаженство 241, 308  
Блондин и брюнет 151  
Блюд 109  
Бог 88—89, 230, 254, 307  
Богатство 78  
Богема 129  
Богоматерь 231, 343  
Бодрствующий 262
- Бок 180, 224—225, 329  
Болезни (национальные) 148—149  
Боль 133, 165, 224, 244, 311  
Борода 113  
Борьба 159, 330  
Брак 109  
Братство 106  
Брахманизм 272  
Бритый 113, 275  
Брови 237  
Брызги 154  
Буддизм 139, 220  
Будущее 252, 277  
Буйвол 357  
Бурый 150, 173  
Бык 149  
Бытие и быт 214  
    и Жизнь 39, 44, 254, 316  
    рассеянное 14, 99, 126, 151, 155,  
    226, 316  
Бэкон 148  
Бюстхальтер 101
- Вагнер 171, 236, 285  
Вакуум 236, 306, 324  
Вежливость 133  
Века и расы 20  
Вера 86, 90, 265  
Вероятность 91  
Вертикаль 296  
Вестерн 378  
Ветвь 294  
Ветер 33, 118, 244, 295, 324—325  
Вечность 105  
Вещество и движение 263  
Взаимозависимость 277—279  
Взрыв 333  
    демографический 108  
    социальный 161  
Вилка 102  
Вино 40, 145, 152, 359  
Виноград 152  
Вкус 129, 148, 154, 167  
Влаговоздух 131  
Влюбленность 207  
Внимание 302  
Вода 26—27, 152, 167, 171, 228, 300,  
    334  
Водоворот 309  
Вождение 286, 338  
Воздержание 361  
Воз-дух 154, 294, 326  
Вознесение 296  
Война 51

- Волна 245—246, 298  
 Волосы 78, 113, 236, 266, 274, 322  
 Вольтер 151  
 Воля 169, 200, 293, 330  
 Воображение 139  
 Воплощение рассеянного бытия 14, 241  
 Вор 57  
 Воспоминание 248  
 Восток 16—17  
 Восхищение 86, 255  
 Враг 151  
 Вражда и Любовь 259  
 Врач 66, 342  
 Вращение 15, 297, 314  
 Времена года 27  
 Время 13, 15, 45, 56, 105, 125, 142, 154, 170, 227, 235, 238, 246, 260, 265, 280, 284, 287, 290, 339, 359—360  
 Всё 175  
 Всё во всём 239, 300, 364  
 Выбор 193, 370  
 Выдох 352  
 Высь 173  
 Вытеснение «я» 315
- Гастрономия 148  
 Геенна 309  
 Гелиоцентризм 155  
 Гениталии 224  
 Гетера 109  
 Гильотина 152—153, 192  
 Гимн 59—60  
 Гитлер 151  
 Глаз 211, 237  
 Глубина 173, 175  
 Глухота 164  
 Гнев 338—339  
 Гнет 161  
 Гниение 75, 325  
 Гносеология 321  
 Голова 84, 94—95, 113  
 Головастик 326  
 -Гония и- ургия 14, 154, 175—177, 187, 220, 260, 376  
 Гора 156, 197  
 Горизонталь 237  
 Горное дело 196  
 Гордость, гордыня — 85, 338  
 Город 153, 164, 176, 197, 220, 234, 281, 313, 317  
 Государство и общество 166  
 Градус (алкоголя и широты) 146  
 Грехопадение 17, 192, 328  
 Гриф 357  
 Громоотвод 295, 300  
 Грудь 100, 205  
 Гуманность 327
- «Да»—«нет» 235, 284—285, 352  
 Дао 175
- Движение 222, 235, 238, 246, 262, 300—302, 325, 328, 332, 337  
 вращательное 237, 314  
 Двойца 178, 240, 361, 379  
 Двор 117  
 Двухязычие 123  
 Девство 211, 232  
 Действие без цели 324  
 Дело 302  
 Демагог 326  
 Демократия 340  
 Деньги 331  
 Деревня 153  
 Дерево 224, 233, 249, 256, 297, 300  
 Дерево-город 32, 377  
 Десятичная система 174  
 Деторождение 108  
 Диалектика 242, 321  
 Динамика 68  
 Дитя 237  
 Добро и зло 197, 251  
 Добродетель 286  
 Доброта 364  
 Довольство малым 356, 379  
 Дождь 41  
 Доистория 142  
 Долг 126, 141, 232, 270  
 Дом 37—38, 173, 197  
 Дорога 229, 292, 322  
 Драгоценности 111  
 Дракон 328, 336  
 Драма 38  
 Древо Мировое 198, 296, 301, 305  
 Друнды 153  
 Дуализм 174  
 Дуб 165—166  
 Дурак 236  
 Дух 40, 146  
 Душа 139, 292, 301, 318  
 Дхарма 36, 51, 72—73, 141, 259, 299, 304, 345  
 Дыхание 338, 378
- Евразия 15—21  
 Еда 97, 103  
 Единое 243  
 Единство 275  
 Ель 166  
 Ересь 157
- Жадность 306, 332  
 Жажда 331  
 Жар 129, 152, 163, 208  
 Жвачка 104  
 Желание 77, 221, 229, 247, 272  
 Железо 20, 151  
 Желтый 374  
 Жемчужина 368  
 Жена 276  
 Женское 65—65, 171, 245  
 Женщина 135, 153, 166, 298, 337  
 Жест 330—331  
 Жестокость 243

- Животное 48, 288, 298, 301, 321, 366  
 Жидкость 143  
 Жизненаслаждение 363  
 Жизнестерть 242  
 Жизнь и Бытие 44, 234, 240  
     вечная 228  
 Жир 149  
 Жирафа 378—379  
  
 Завет Новый 159  
 Зависть 356, 367  
 Закон 140, 142, 147, 304, 340  
 Запад 17, 149, 376  
 Запас 76  
 Запах 43, 206—207  
 Заря 211  
 Затылок 85  
 Захоронение 75, 173, 368  
 Зачатие 109, 223, 295  
 Звук 306  
 Зелень вечная 45  
 Землетрясение 33  
 Земля 16, 17, 152, 347  
 Зенит 163  
 Зеркало 96, 300  
 Зерно 293, 315  
 Зигфрид 236, 285  
 Зло 50, 197, 234, 247, 250, 290  
 Знание 228, 293, 300  
     до знания 136  
 Зодиак национальный 149  
 Золото 20, 149  
 Золотой век 191  
 Зороастризм 156  
  
 Ива 166  
 Игра любовная 210  
 Идальго 160  
 Идеи врожденные 87  
 Измена 250, 371  
 Изольда 171  
 Изолятор 271  
 Иконопись 115  
 Имморализм святого 107  
 Иммуитет 240  
 Импрессионизм 131  
 Имя-форма 30, 302—304  
 Инерция 335, 339  
 Индогерманское 172, 181—184  
 Индустрия 305, 319  
 Инструмент 268  
 Интерференция 250  
 Интуиция 124  
 Искра 19, 154, 208  
 Искушение 298  
 Ислам 146, 359, 364  
 Испания 122, 149, 158, 160  
 Исповедь 82  
 Истина-естина 236, 304  
 Историзм 13, 15  
 История-шахта 196—198, 201  
 Йога 68, 202, 221, 279  
  
 Кабан 149—150, 211  
 Кажимость 136  
 Казаться и быть 135  
 Казнь 289, 307, 359  
 Как будто 231  
 Как и Что 188  
 Календарь 91  
 Кама 110, 205, 259, 286  
 Камень 111, 335  
 Капля 208, 295  
 Карма 225, 232, 247, 252, 332, 338  
 Картошка 102  
 Касание 100, 271  
 Каста 106, 361  
 Католицизм 165  
 Кафтан 112  
 Каша 101  
 Квадрат 176, 297  
 Квадратура круга 176  
 Квант 225  
 Кислород 154, 161—163  
 Китай 144  
 Кишение 235, 362  
 Климат 35, 90, 127, 140, 155  
 Клятва 60  
 Кожа 120, 127, 132, 148, 154, 284  
 Колесо 13—14, 222, 227, 244, 250,  
     305, 308—310, 314—315  
 Колорит локальный 166  
 Коммунизм 201, 360—361  
 Конечности 292  
 Конец 322  
 Конь 53, 118  
 Корень 292, 321  
 Корзина 291  
 Корова 39  
 Коррида 122, 149  
 Коса 112  
 Косметика 206—207  
 Космогония 300, 316, 320, 335—336  
 Космо-Психо-Логос 6, 13, 15, 23—  
     24  
 Косоглазие 128, 204  
 Костер 279, 296  
 Костюм 289  
 Кофе 129  
 Кочевье 21, 154  
 Краски 207  
 Красота 246  
 Кредит 360  
 Крест 114, 176  
 Кривая 245  
 Кровь 37, 152  
 Круговорот 232, 254, 278, 306  
 Кузнец 202  
 Кукушка 233—234, 285  
 Кулак 49, 190, 331  
 Культ 276  
 Курение 43  
 Курица 163—165  
 Кшатрий 51, 281

- Ладонь 330  
 Ладья 291  
 Ландшафт 214  
 Левитация 319, 329  
 Левое и правое 99  
 Легкие 46—47  
 Легкомыслие 122  
 Легкость 325  
 Лень 143  
 Лес 233, 305, 317  
 Лестница 296  
 Лето 163  
 Лже-Индия 158  
 Ливень 212  
 Лилия 38, 263  
 Лингам 108  
 Лирика 170  
 Лист 206, 301  
 Литература в России 82  
 Лицо 85, 94—96  
 Личность 30, 85, 370  
 Логика национальная 38, 107, 321, 344, 346, 350—352, 376  
 Логическое и историческое 198  
 Ложка 98, 101  
 Лоно 219—220, 224  
 Лук 297  
 Луна 204, 211, 244, 294  
 Луч 224, 282, 313  
 Любовь 126, 133, 156, 164, 208, 241, 259, 264, 280, 287, 307, 326  
 Люди-огни 18  
 Люцифер 57, 150  
 Лысый 275
- Магнетизм 87, 162  
 Майя 223, 342  
 Манихейство 361  
 Маска 85  
 Марсельеза 166  
 Материя 185, 231  
 Маятник 192, 314  
 Менструация 205  
 Мера 129, 285  
 Металлы 20, 79, 156, 202  
 Метемпсихоз 32, 193—194, 213, 299, 364  
 Механизм 176  
 Миг 262  
 Мимоза 271, 295  
 Минус 236  
 Младенец 326, 343  
 Мода 160, 167  
 Молитва 93, 221  
 Молния 256, 320  
 Монада 125, 300, 364  
 Монархия 340  
 Монета 156  
 Море 91, 291  
 Мороз 208  
 Мудрость 172  
 Мужское 62—65, 153
- Музыка 171  
     программная 131  
 Мученик 363  
 Мыслеобраз 217  
 Мысль 59, 318,  
     и поза 70—72  
 Мясо 102—103
- Нагота 94—95  
 Награда 270, 275  
 Надежда 252, 265  
 Напитки национальные 146  
 Наполеон 151  
 Наркотики 146  
 Наслаждение 110, 224, 251, см. Кама  
 Настоящее 277  
 Наука 45, 89  
 Нации-женщины 203  
 Начало 322  
 Небо 79, 226, 231, 267, 289, 334  
 Небоскреб 197  
 Небытие 126  
 Невеста 276  
 Негры 145  
 Недеяние 143, 290  
 Незавершенность 180  
 Нейтральное 29  
 Неприкасаемость 100—103  
 Непротивление 31, см. Ахинса  
 Нет 236  
 Не убий! 290  
 Нирвана 230, 257, 285, 303, 316, 344  
 Нить 187, 247  
 Ничто 175  
 Нищета 356  
 Новое 157  
 Нога 292  
 Норма 238  
 Ночь 129  
 Нуль 174, 332, 344  
 Ньютон 151, 155
- Обмен (существ) 307  
 Образ 340  
 Общество 166, 317  
 Община 340  
 Огневода 37, 57  
 Огнеземля 173  
 Огнепоклонники 155, 273  
 Огонь 152, 279, 288, 320  
 Одежда 100, 112, 266  
 Озарение 240, 256  
 Онтология 141  
 Опнум 43  
 Опосредование 61  
 Опыт 141, 269  
 Орбита 110  
 Орнамент 128  
 Осадок народов 20  
 Осень 204  
 Основа 201, в Боге 197  
 Ось 222, 224  
 Осязание 132

- Отец и Сын 275—276, 327  
 Отказ 310  
 Откожность 148  
 Отлив 244  
 Относительность 262  
 Отождествление 235  
 Отрицание 346, 350  
 Отрицательность 173  
 Отчуждение 120  
 Охорашиванье 206  
 Охота 149  
 Очаг 37—38  
 Очищение 105
- Павлин 233, 285  
 Падаль 103  
 Падмасана 296, 299  
 Палка 236—237, 238  
 Пальцы 227  
 Память 246—248, 300  
 Пантеизм 189—194  
 Пар 155, 171  
 Париж 154  
 Пассивность 143  
 Пастбище и пашня 154  
 Пена 328  
 Перводвигатель 166, 314, 336—337  
 Перевод 170  
 Перенаселение 108, 361  
 Переселение душ 32, 193, см. Мес-  
 темпсихоз народов 16  
 Перестройка 340  
 Песня 198  
 Петух 163—165  
 Пиво 150  
 Пила 165  
 Письмо и Слово 58  
 Питье 116  
 Пища 100, 147, 358  
 Плагальный 179—180  
 Плач 92  
 Пленэр 130, 154  
 Плот 345  
 Плотность 283  
 Плоть 294—295, 329  
   новая 323  
 Плюрализм 376  
 Поведение 255  
 Поверхность 122, 301  
 Повозка 339  
 Поворот 262  
 Повторность 300  
 Погребение 16, см. Захоронение  
 Подозрительность 128  
 Поза 70—72  
 Познание 185  
   женщины 232  
 Пожар 213, 333  
 Покой 222, 256, 311, 322, 332  
 Покойник 241  
 Полдень 163  
 Поле 155
- силовое 87  
 Политензм 377  
 Политика 137, 165  
 Полнота 251  
 Полушарие 205  
 Польза 270  
 Польша 155  
 По(н)ятие 210, 302, 344  
 Помойка 150  
 Попятность 326, 343, 348  
 Пора 290  
 Порода 238  
 Посольство 363  
 Посох 331  
 Посредство 187  
 Постриг 322  
 Пот 155, 208—209, 253  
 Потеря 374  
 Поток 291—292, 309  
 Потом и сейчас 239  
 Потомство 225  
 Потоп 19  
 Потребность 248  
 Поход 21  
 Почва 130  
 Почта 256  
 Пояс 210  
 Правда 124  
 Право 141  
 Праздник 78  
 Прана 338  
 Пребывание 255  
 Предопределение 125  
 Предмет 255  
 Представление 169  
 Преисподняя 306  
 Прецедент 141  
 Прибавочный продукт 105  
 Прибор 236  
 Привлеченное мышление 78  
 Привычка 141  
 Привязанность 258  
 Принципиальность 50  
 Природа и Свобода 194, 257  
   и Цивилизация 220  
 Приручение 49  
 При-сут-ствие 252  
 Причина 125, 186, 309, 344  
 Проводник 127  
 Прогресс 251  
 Происхождение 186  
 Проказа 148—149  
 Пропаганда 373  
 Простор 286  
 Пространство 362  
 Противоположности 199  
 Прямая 127, 250  
 Пряности 103, 148  
 Психология 141  
 Пузырь 334  
 Пуп 296  
 Пустота 292, 323—324, 345, 352

- Путь 229, 247, 291  
     стоячий 304  
 Пьянство 40, 146, 155  
 Пятерица 175  
  
 Работа 253, 256, 372  
 Радуга 210  
 Развлечение 319, 323, 333  
 Развоплощение 331  
 Раздвоение 192  
 Разлука 208, 257—259, 264, 280  
 Разоблачение 85  
 Разум 185  
 Рай 306—308  
 Раскол 275  
 Распятие 270, 341  
 Рассеяние воплощенного бытия 283, 316  
 Растение 48, 87, 114, 170, 198—199, 237, 282, 304, 321, 366  
 Расы 20  
 Радио-нализм 121, 124, 176  
 Реакция химическая 209  
 Реализм 303  
 Реальность 370, 374  
 Революция 142, 161, 356, 363, 377  
 Река 33  
 Реле 122, 132  
 Ре-лигия 86, 279, 286, 370  
 Ренессанс 184  
 Рикша 375  
 Рис 38, 295  
 Род-ство 198, 258—259  
 Рожь 38  
 Рожде-ние 228, -ство 343  
 Романс цыганский 180  
 Романтизм 150  
 Ромб 26  
 Рондо социальное 121  
 Роса 291, 327—328, 335  
 Россия 180  
 Рот 97, 368  
 Рука 33, 190, 238, 292  
 Русло 292  
 Рыжий 151  
 Рычаг 315  
  
 Саван 338  
 Сад 321  
 Садизм 150  
     национальный 359  
 Самоотдача 323  
 Самопознание 185, 236  
 Самопричина 313, 332, 376  
 Самосвет 313  
 Самость 30, 186  
 Самоубийство 73—74, 341  
 Сансара 230, 250, 277  
 Сарн 112, 267, 289, 358  
 Сатана 57, 150—151  
 Свастика 379  
 Сверхчеловек 151  
  
 Свет 129, 200  
 «Свет» 123  
 Светопреставление 333  
 Свобода, равенство, братство 106  
     воли 125, 193, 292  
     и Природа 194  
 Своеволие 85  
 Свинья 148—150  
 Связь 200, 251, 277  
     обратная 306—309  
 Седина 151, 236  
 Сезоны 27  
 Секс 133  
 Семья 326  
 Семя 37, 208  
 Сенсуализм 120  
 Сердце 256, 278, 324  
 Середина 295, 304, 335  
 Серый 44, 99, 159  
 Сила 49, 283  
 Силлогизм 351  
 Симметрия 121, 143, 179  
 Система 124  
 Сифилис 149  
 Скала 335  
 Склонение магнитное 87  
 Скорбь 229, 286, 312  
 Скорость 239  
 Скука 137  
 Слава 154, 322  
 След 332  
 Слон 39, 53, 103, 108, 223, 257, 335  
 Слух 164, 300  
 Случай 91, 238  
 Смерть 51, 73—74, 228, 235, 242, 280, 339, 379  
 Смесь 199—200, 299  
 Смола 162  
 Сновидение 210  
 Собственность 17  
 Совершенство 180  
 Содержание 200  
 Соеятие 209, 212, 251, 338  
 Солнце 39, 152, см. Черное с.  
 Соль 39, 149, 209  
 Сомнение 192  
 Сон 348, 370—371  
 Соната 171  
 Сопrotивление 127  
 Сословие 202  
 Сосна 166  
 Со-страдание 77, 259, 264, 280, 308  
 Сосуд 127, 145, 152, 160, 236, 291, 334, 349  
 Социализм 375  
 Социальность 120, 125, 152  
 Специя 148, 365  
 Спина 284  
 Спиритус 146, 364  
 Спицы 297  
 Средний путь 301  
 Срок 227, 260, 287, 290

Старик 237  
Статика 68, 222  
Статуя 166, 290  
Ствол 198, 304  
Стебель 322  
Стиль 131, 137  
Стихи 24—26, 285  
Стойкость 250  
Столица 138  
Столп 244, 304  
Сторона 180, см. Бок  
Страны света 46  
Страх 19, 243, 284  
Стрелы 297  
Структура 186  
Стужа 288  
Ступ(иц)а 296—297  
Ступня 227  
Стыд 78  
Субъект 189  
Судьба 187  
Суждение 351  
Существо 259  
Сын, см. Отец  
Сытость 221  
  
Такт 130  
Талия 205  
Тапас 257  
Творение 300, 347  
    как Пре-творение 14,  
    продолжающееся 227  
Творчество 323, 348  
Тензм 88  
Телеология 126  
Тело 94—95, 318, 359, 366, 369  
    бога 342  
Темнота 199  
Тень 323—332, 334  
Терпение 75  
Тетка 231  
Техника 319  
Типизация 107  
Тожество 186, 200  
Ток 127, 162  
Торговля 157  
Тоска 229  
Точка 222, 246, 296, 322, 332  
Трагедия 38  
Традиция 363  
Транс-порт 302  
Трансформизм 45  
Трансцензус 199, 243, 248, 301, 307  
Трапеза 97  
Трение 14, 138, 162, 210  
Триада 174, 178  
Троица 177, 237, 284  
Труд 38—41, 164, 176—177, 254, 289  
Трудящийся 253—256  
Труп 173, 368  
Трус(ость) 87  
Туманность 171

Туча 223  
Тщеславие 134  
Тьма 197, 200, 250  
Тяга 279, 301  
Тяготение 200, 269  
  
Угасание 230, 279  
Уголь 150—151, 320  
Удел 249  
Украшения 62, 370  
Улыбка 211, 245  
Ум 272, 318  
    ум сердца и ум ума 278  
Умножение 315  
Умозрение 45  
Упряжка 296  
-Ургия, см. -Гония  
Условия 344  
Успех и «успеется!» 360  
Утро 163  
Ухо 57  
Уход 341

Фаворит 166  
Факел 291  
Факт 302  
Фалл 108, 253, 331  
Фатализм 125  
Фауст 49, 150, 330  
Фигура 156  
Фонтан 227  
Форма 257, 302—303  
Формы (женские) 205—206  
Фотография 132  
Фурье 164

Характер 127  
Хаос 299, 336, 347  
Химия 303—304, 320, 338  
Хлорофилл 304  
Храм 299  
Христианство 159

Царствие небесное 231  
Царь 117, 283  
Цвет 35, 43, 131, 303  
Цветок 206  
Целое 200—201, 310  
Цель 125, 310, 315  
Центр 219, 224, 275, 281, 290, 296,  
    314, 324  
Центрифуга 323  
Центростремительность 297  
Цепь (рождений) 228  
Цивилизация 156, 220, 257  
Цифра 175  
Цыган(е) 180, 364, 376

Чара 337  
Часть и Целое 315  
Чаша 331  
Человек 307, 313

- Черное солнце 18, 150—151, 157—  
162, 196, 202  
Черт 196, 202  
Честь 165  
Четверница 176—178, 297  
Число 174—181, 260, 289, 334  
Чистое 199  
Что 239, и как 188  
Чувственность 121, 127, 295, 359  
Чувствительность 270  
Чувство 141  
    пять чувств 285  
Чудо-вище 15, 299
- Шакал 75  
Шансонье 163  
Шапка 85  
Шар 321  
Шахта 196—198  
Шесть 223  
Шпион 85  
Шутка 245
- Щедрость 322—323  
Щелочь 209
- Эволюция 125, 252, 268  
Эдипов комплекс 266
- Экватор 103  
Экзистенциальная культурология 7—  
9  
Экономия 286  
Эксперимент 236  
Электричество 127, 159, 162, 313, 320  
Электролиз 209, 338  
Электрон 110, 162  
Элементы 24—26  
Эманация 193—195  
Энергия 339  
Энциклопедия 122  
Эрос 14, 86, 109, 133, 164, 232, 331  
Эротика 204—205  
Этика 270  
    к природе 144  
Это 239
- «Я» 30, 173, 193, 239, 292, 305, 334  
«Я — Не-я» 185—189  
Явление 198  
Яд 55, 63  
Язык 172, 252  
    русский и французский 123  
    элементов 24—26  
Яйцо 333  
Янтарь 162  
Япония 122

# Содержание

Предисловие. П. Гринцер	3
От автора	6
<b>Книга первая</b>	
<b>ОБРАЗЫ ИНДИИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ</b> <i>(опыт «спектрального анализа» национальных мировоззрений)</i>	11
Мой миф о мире	13
Панорама Евразии	15
<b>ЭЛЛИНСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНДИИ</b>	22
Язык четырех элементов	24
Вода — промыслитель	26
Космос переходов	32
Огонь—вода	34
Эрос. Цвет. Запах	41
Времена года. Страны света	44
Животные и человек	47
Мудрость Змеи	54
Обычай	57
Мужское и женское	62
Йога. Космичность мышления	68
Смерть и труд	73
<b>РУССКИЙ ОБРАЗ ИНДИИ</b>	81
Русское слово — Родина	81
Смыслы членов тела	83
Национальный вариант Бога	88
На Юге Жизнь — нагая	94
Религиозность одежды и пищи	100
Сраму не имут — живые!	108
Человек — Животное или Растение?	111
<b>ФРАНЦУЗСКИЙ ОБРАЗ ИНДИИ</b>	119
Назначение Франции в Евразии	119
Социальное рондо	123
Климат и добродетели	126
Откожное и нутряное мышление	132
Баланс законов и природы	138
Градусы широты и спирта	145
Де Сад — Сатана по-французски	149
Спектр стихий	152
Черное и ясное солнца	155
Петух и дуб	162
<b>ГЕРМАНСКИЙ ОБРАЗ ИНДИИ</b>	168
Гёте, Тютчев и Шакунтала	168
Язык и мудрость индусов	170

Символика чисел с Востока на Запад	173
Индо-германство	181
Германский Логос	184
Стремление на Восток	188
Внутренние образы	195

### Интермедия

КОСМОС И КОСМЕТИКА (по индийской драме)	203
---	-----

### Книга вторая

## СОПОСТАВЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ СИМВОЛИКИ (по поэме Асвагоши «Жизнь Будды»), или БУДДИЗМ — КАК ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

1. Рождение	219
2. Юность	230
3. Тревога	233
4. Отречение	245
5. Разлука	252
6. Возвращение Чандаки	263
7. Лес	267
8. Скорбь во дворце	274
9. Поиски	277
10. Зов	281
11. Ответ	284
12. Отшельник	290
13. Мара	296
14. Лицом к лицу	299
15. Вращенье колеса	312
16. Ученики	317
17. Свита	321
18. Щедрый	322
19. Свидание	326
20. Обитель	331
21. Пьяный слон	335
22. Амра	336
23. Предел	337
24. Канун	339
25. Прощание	339
26. Нирвана	343
27. Восхваление	349
28. Благо мира	349

### Приложение

ДНЕВНИК ПОЕЗДКИ В ИНДИЮ (16.IX—3.X.1989)	353
Указатель предметов и образов	381

Научное издание  
Гачев Георгий Дмитриевич

ОБРАЗЫ ИНДИИ  
(Опыт экзистенциальной  
культурологии)

Заведующий редакцией *Л. Ш. Рожанский*  
Редактор *В. Г. Лысенко*  
Младший редактор *М. И. Новицкая*  
Художник *Л. Л. Михалевский*  
Художественный редактор *Э. Л. Эрман*  
Технический редактор *М. Г. Гущина*  
Корректор *В. И. Мартынюк*

ИБ № 16658

Сдано в набор 15.08.91. Подписано к печати 30.09.92. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 24,5. Усл. кр.-отт. 24,75. Уч.-изд. л. 27,2. Тираж 5000 экз. Изд. № 7087. Зак. № 383. «С»—1

ВО «Наука»  
Издательская фирма  
«Восточная литература»  
103051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21  
3-я типография ВО «Наука»  
107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28

**ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ  
ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»**

**готовит к изданию книгу:**

**В. Г. Эрман. Калидаса. 2-е изд., доп. (Писатели и мыслители Востока). 14 л.**

Книга рассказывает о величайшем поэте древней Индии, авторе знаменитой драмы «Шакунтала» — одного из первых произведений литератур Востока, ставших известными европейскому читателю. На широком фоне истории, культуры и религии Индии той эпохи в книге подробно рассматривается творчество Калидасы, приводятся многие отрывки из его поэм и драм, раскрываются особенности его поэтического дарования.

*Заказы на книгу принимаются всеми магазинами книготоргов и «Академкниги», а также по адресу: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 2, магазин № 3 («Книга — почтой») «Академкниги».*

Как правило, мы начинаем читать любую книгу с заранее сложившимся ожиданием. Ожиданием встречи с определенной авторской позицией, определенным стилем, определенным жанром. И если это ожидание не оправдывается, оно часто оборачивается предубеждением, отчуждением. Тот, кто знаком с другими книгами Г. Гачева, приблизительно знает, что его ждет. Но многие, вероятно, не знакомы, и в первую очередь к ним обращено это короткое предисловие.

«Образы Индии» — название, настраивающее на информативное, научное чтение. Между тем с первых страниц книги убеждаешься, что перед тобой не очерк, не описание, а вскоре — что и не вполне наука. Книга как бы целиком вписывается в контуры научного знания, но — к разочарованию, скажем, ученого-индолога — весьма мало считается с принятыми научными критериями. Легко поэтому поставить в вину автору неполноту материала (отобранного иногда «по случаю», иногда «по вкусу»), нестрогость аргументации (подменной подчас прихотливыми ассоциациями и метафорами), указать на противоречия в тексте, слишком смелые толкования и прямые ошибки, ложные этимологии и т. п. Однако, как это ни парадоксально, подобного рода перечень неточностей, недоговоренностей, ошибок при оценке книги Г. Гачева выглядит неуместным. Приходится признать, что она не укладывается в привычное научное измерение, призвана не убеждать, а скорее заражать читателя своими идеями и наблюдениями. Она не об Индии, какая та есть сама по себе (а есть ли такая Индия?), но об образе Индии, складывающемся не из фактических доказательств, а из впечатлений, для которых факт мало что значит без интуиции, догадки, домысла.

Так, может быть, речь идет о книге художественной, тем более что Г. Гачев известен не только как ученый, но и как оригинальный писатель, критик? Однако и это определение едва ли верно. Во всяком случае, в книге доминирует не эстетическая, а познавательная установка, и пользуется Г. Гачев не художественными образами, а, по его же словам, мыслеобразами, в которых воображение подчинено рассуждению, а эмоциональное начало — рациональному.

Если же попытаться охарактеризовать жанр книги, то ее можно было бы назвать своего рода интеллектуальным дневником, но дневником не событий жизни, а авторского чтения и размышлений об этом чтении. Отсюда аккуратно проставленные даты написания большинства отрывков (от 68 до 89 года), отсюда обращенные к самому себе вопросы и увещания: «Что с того?», «Ну да, так оно и есть», «Теперь только мне понятно», «Лучше об этом и толковать не буду» и т. п. Отсюда естественный переход во второй части книги, касающейся «Жизни Будды» Ашвагхоши, к литературной форме «заметок на полях». Отсюда постоянное присутствие автора, его вовлеченность в материал и увлеченность, так что постепенно авторский образ мыслей и чувств стано-



# ОБРАЗЫ ИНДИИ

«Г. Гачев рисует свой образ Индии (и вместе с ним и вступающих с нею в общение стран). В какой-то мере он следует романтической традиции, но в большей — находит иные точки отсчета и иную основу для соотношений, избегая, в частности, прямолинейного и догматического противопоставления Востока и Запада. Что-то в этом образе, вероятно, покажется читателю надуманным, а что-то угаданным, что-то ошибочным, а что-то верным, что-то от фантазии, а что-то от знания. Однако нельзя не согласиться, что Индия увидена по-новому и увидена свежим и острым взглядом».

*П. Гринцер*

